Тимур Гулабов

ЗАВСЕГДАТАЙ

Scan Kreyder - 27.10.2018 - STERLITAMAK

БИБЛИОТЕКА "ДРУЖБЫ НАРОДОВ

ТИМУР ПУЛАТОВ

ЗАВСЕГДАТАЙ

ПОВЕСТИ. РАССКАЗЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ИЗВЕСТИЯ"

МОСКВА ● 1982

С (узб.) 2
П

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ "ДРУЖБЫ НАРОДОВ"

Председатель редакционного совета
Сергей Баруздин

Первый заместитель председателя
Леонид Теракопян

Заместитель председателя
Александр Руденко-Десняк

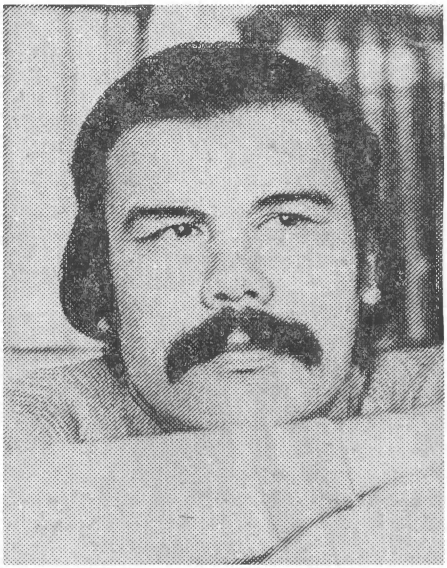
Ответственный секретарь
Елена Мовчан

Члены совета.

Сурен Агабабян, Ануар Алимжанов,
Лев Аннинский, Альгимантас Бучис,
Игорь Захорошко, Имант Зиедонис,
Мирза Ибрагимов, Юрий Калещук,
Алим Кешоков, Григорий Корабельников,
Георгий Ломидзе, Андрей Лупан,
Юстинас Марцинкявичюс, Рафаэль Мустафин,
Леонид Новиченко, Александр Овчаренко,
Борис Панкин, Инна Сергеева,
Петр Серебряков, Юрий Суровцев,
Бронислав Холопов, Иван Шамякин,
Камиль Яшен

Художник Л. ЛАММ

П $\frac{70302-010}{074(02)-82}$ 568—82 подписное



Тимур Кулибаев

ОКЛИКНИ МЕНЯ В ЛЕСУ

1

Людям моего возраста нравится воображать, что они относятся к военному поколению. Для этого у них масса веских причин. И самая веская та, что они помнят первый день войны.

Правда, вовсе не важно, что процентов пятьдесят из них встретило этот исторический момент, сидя на горшке, а остальные пятьдесят — криками в мокрых пеленках. Но это не беда: главное, из рассказов мам и бабушек твердо усвоить, чем ты занимался в тот день, 22 июня, и этого вполне достаточно, чтобы причислить себя к так называемому военному поколению...

Если бы всем им установили персональную пенсию, я бы ни шиша не получил. Просто потому, что я не помню первого дня войны. Он почему-то не врезался в мою младенческую память, и сколько бы я ни изощрялся в красноречии перед комиссией, которая устанавливает пенсии, меня бы выставили за дверь.

Войну я помню с ее сорок первого дня — но за это ведь ничего не дали бы!.. Итак, сорок первый день войны...

Я — Магди. Первого сентября мне будет недоставать каких-то десяти дней до семи лет, и из-за этого меня,

наверное, не возьмут в школу. Это моя самая большая беда в жизни.

Мама — врач. У нее всегда такой вид, будто на свете все хорошо и чудесно. Может быть, оттого, что все вокруг только и говорят: мама моя самая красивая, самая милая женщина на нашей улице.

Папа. Дедушка считает, что его со дня на день должны запрятать в тюрьму. Потому что, как выражается старик, папа "страшно либеральничает" с подчиненными. Папа у меня маленький начальник. У него десять человек рабочих, которые только и знают, что целыми днями торчат на столбах и возятся с лампочками.

Дедушка особых заслуг не имеет. Живет в деревне и растит очень вкусные дыни. Он очень смешной и немножко хитрый. О нем можно еще много кое-чего рассказать. Но рассказы эти я приберегу до следующего раза.

Бабушка когда-то была его женой, но она умерла. И перед смертью просила как можно меньше вспоминать о ней, чтобы ей было спокойнее лежать в земле.

Еще у меня есть дядя, которым я горжусь. Он далеко, на войне, и когда война кончится, он вернется, и мы снова будем сочинять с ним песню... "На веселых, на зеленых, на Азорских островах..."

Наш дом. У нас три маленькие комнаты, где каждый из нас спит отдельно, и одна большая. Зимой там очень холодно и пусто, а летом мама вешает на стену ковер, которому двести лет, и достался он нам по наследству от прапракакой-то там тетки. На ковре двести дыр, как будто кто-то нарочно 31 декабря каждого года сверлит на нем дырочку. Но все равно от этого ковра в комнате становится уютно и красиво.

И еще летом в этой комнате в углу стоит сундук, а на нем до самого потолка штук тридцать одеял. И никто никогда не берет их оттуда, просто они лежат для красоты и ждут, что когда-нибудь к нам разом нагрянут тридцать гостей, и всем будет на чем спать.

Одно только плохо — все окна у нас выходят во двор, и нельзя поглядеть, что творится на улице. Наш двор вроде замка из сказки "Али-баба и сорок разбойников" — все наглухо отгорожено от посторонних глаз четырьмя высокими стенами: попробуй сунься — нос сломаешь! И не только у нас — у всех соседей наших такие слепые и глухие дома. И сколько бы ты ни бегал и ни искал дом с глазами в нашем городе, могу поспорить — не найдешь.

Можно я не буду рассказывать о нашей улице? Я ни-

когда не говорю о том, что мне не нравится. И вообще, почему я должен рассказывать обо всем по порядку? Смешно!

О соседях тоже не буду рассказывать. Они люди взрослые, пусть о них рассказывает домоуправ. Он-то расскажет, будьте уверены. И про сплетни, и про ссоры, и кто на ком женился, и кто кого обозвал дураком бухарским.

Расскажу-ка я лучше о своих сверстниках. На улице у нас шесть... нет, семь девочек моего возраста и два мальчика, если отнять меня. Девочки с мальчиками не дружат — родители не разрешают. Говорят, так в коране написано, чтобы женщины не дружили с мужчинами, не баловались и не играли с ними. А так как мы маленькие мужчины, то нам нельзя играть с маленькими женщинами.

Ребят, как я уже говорил, только двое, не считая меня. Одного из них, Бахрама, я видел всего два раза. У него грыжа, и он редко выходит на улицу. А со вторым, Кадыром, я дружил и подрался. Он назвал моего папу трусом и дезертиром и сказал, что папа боится идти на войну, в то время как его отец — герой; рубит саблей направо и налево головы немцам. Я ему начал объяснять по-хорошему, но он, дурак, все твердил одно. Тут я не выдержал и так огрел его, что у него под глазом загорелся фонарь. А он, как девчонка, поцарапал мне нос. Ну как после этого называть его другом, если он даже драться по-человечески не может?

Война. Война для меня темный лес. Везде только и слышишь — война, война, но никто не может толком объяснить, что это такое. Все было просто и хорошо, и вдруг начали убивать друг друга. Испортили всем настроение и жизнь. Люди стали нервными и сердитыми. Никто не улыбнется, не скажет ласкового слова. Все помешались на войне.

И чуть-чуть о взрослых. Я их не совсем понимаю, но думаю, что они народ хороший. Плохо только, что придумали войну...

...Итак, сегодня сорок первый день войны.

Проснулся я сразу, как только солнечный зайчик подкрался к моему левому глазу и начал щекотать его. Осторожно поднес руку к лицу, поймал зайчика в кулак и, сложив пальцы в трубочку, стал рассматривать солнце. Синие, красные, желтые иголочки лучей запрыгали у меня в руке.

И вдруг я увидел в трубочке черное пятно, испугался и вскочил. Что-то щелкнуло в кровати, потом в

комнате, и из маленького репродуктора на винограднике вырвался наружу властный голос отца:

— На зарядку становись! Руки на бедра, ноги вместе, начали...

— Куда ты? — услышал я голос мамы. — Ну-ка, не отлынивай от зарядки!

Я выскочил на улицу, крепко захлопнув за собой дверь.

Черное пятно оказалось головой почтальона. Письмо! Письмо! Нам письмо, как это хорошо, как я люблю, когда к нам приходит почтальон с добрыми вестями!

...Вот тогда-то я впервые увидел твоего отца, Марат. Он стоял, опустив сумку на землю, и вид у него был такой грустный.

— Где дядя? — спросил твой отец, как-то странно улыбаясь.

— На войне... Письмо от него? Давайте, я не потеряю.

Вместо ответа он притянул меня к себе и начал гладить по голове. Я отступил — что за нежности?

— Мальчик, — сказал твой отец, и голос его я помню по сей день, — скажи маме, что, понимаешь, у всех, у многих сейчас несчастье — война, война... И не плачь, мальчик, будь мужественным. Страшная немилость на нашу голову, будь она проклята! — и подал мне бумажку, одну из тех, которые мы с тобой, Марат, называли потом "черными бумажками".

Но тогда я не понимал, что она черная. Я подумал, что это самая обыкновенная записка от дяди с войны, где он пишет: "Все хорошо, мои дорогие, мы идем, идем по дорогам и лесам России, я смотрю на небо, на деревья, на деревни, и все здесь так же, как пять лет назад, когда я служил в армии. Оно не покоряется войне — небо России, и сколько бы его ни жгли, оно такое же голубое и чистое..." — так дядя писал в прошлом письме.

Я зажал бумажку в кулак и как ни в чем не бывало вернулся во двор. Репродуктор давал последние приказания:

— ...теперь глубокий вдох и выдох — раз, два, три...

— Куда ты пропал, Магди? — спросила мама строго. Она стояла на лестнице, срезала с виноградника синие ягоды на поднос.

— Я... ничего, просто...

Походил вокруг виноградника и, когда стало скучно, протянул маме бумажку.

— Письмо от дяди. Я первый взял его. Дашь мне за это несколько, совсем мало, копеек для камеры?

Мама развернула бумажку и вскрикнула:

— О! — как будто порезала себе садовым ножом руку. — Анвар! Анвар! — Лестница заскрипела под ней.

— Я здесь, дорогая. Что случилось? — Папа выбежал из комнаты в одних подштанниках, подхватил плачущую маму на руки.

Что случилось? Почему мама вдруг заплакала?

— Фархад, Фархад, о!

Папа разжал маме руку, взял бумажку, и глаза его побежали по буквам.

— Смертью храбрых, — услышал я. — Смертью...

Вдруг папа тоже весь сжался, стал маленьким и несчастным.

— Он умер? Фархад умер? — спрашивала мама.

— Смертью храбрых, — услышал я снова голос папы и только теперь понял, что с дядей, с моим дядей, случилось что-то ужасное, до того ужасное, что папа и мама уже не могут больше говорить и смотреть друг на друга, на меня, будто мы втроем убили его, моего дядю...

...Это значит, что мой дядя, — глаза которого, руки, лицо, всего его я вижу так отчетливо, будто он рядом, будто он стоит, как всегда, веселый, красивый, молодой и очень добрый, будто он берет меня на руки, подбрасывает на самый верх виноградника, хохочет, а я боюсь и плачу; будто мы ловим с ним рыбу, а рыба не ловится, а он сидит тихо-тихо, не шелохнувшись, а потом как засвистит, заулюлюкает, бросит прочь, к чертям, удочки, хватает меня и — в воду, и сам ныряет следом, и мы барахтаемся в воде, счастливые, веселые, такие родные; дядя, с которым мы выдумывали тысячу смешных историй, ужасных и страшных историй, про кошек с человечьими лицами, про деревья-змеи, пели песенку: "На веселых, на зеленых, на Азорских островах, по свидетельству ученых, ходят все на головах; говорят, что там живет трехголовый кашалот, сам играет на гитаре, сам танцует, сам поет..."; он, этот дядя, мой родной дядя, больше не придет, не будет играть со мной, и петь, и танцевать, и смеяться, он ушел навсегда туда, в леса, и будет, как в той сказке, ходить невидимкой и стучать палкой по соснам и слушать, как по стволу идут с неба вниз звуки; он очень любил эту страну, Россию, мой дядя, вот он и ушел туда ото всех — и от меня, и от мамы, и больше никогда-никогда, сколько

бы я его ни звал: "Дядя Фархад, идем ко мне, дядя Фархад, идем ловить рыбу, прыгать и радоваться", — он никогда не вернется, никогда... Чем же я его обидел, что же мы сделали плохого, что он навсегда ушел от нас, мой дядя, мой любимый дядя?..

— Не надо, маленький, не плачь, — сказала мама, обняв меня, и слезы ее закапали мне на голову.

2

Какой лютой ненавистью я возненавидел твоего отца, Марат, как я боялся его, ты представить себе не можешь! Несколько ночей подряд он снился мне в обличье самых страшных зверей, какие только могут быть. Я проклинал его во сне, дрался, царапал ему лицо, бороду.

Бедный отец твой, таким, наверное, представляли его все, кому он приносил черные бумажки смерти. Теперь мне понятно, отчего он вскоре так жестоко и надолго заболел...

...Спустя три дня он снова просунул голову в наши ворота, я сидел один под виноградником и очищал кишмиш для плова — ведь сегодня были дядины поминки. Тихим чмоканьем губ — тиц, тиц — отец твой позвал меня.

— Ну, чего же ты? Не бойся, это не смерть... На! — подал он мне снова бумажку, бумажку без конверта, не письмо.

И пока я стоял, ничего не соображая, он, рассерженный и нервный, толкнул меня в дом и захлопнул за мной дверь. Я не мог идти. Мне казалось, что он толкнул меня не в наш, а в чужой дом, где меня ждет что-то ужасное.

Отец подошел совсем неожиданно, неизвестно откуда.

— Чего ты испугался, мальчик?

Я протянул ему бумажку и убежал в сад за виноградник. Кругом было тихо-тихо, как ночью, и страшно.

Папа прочитал бумажку, резко дернул рукой, как будто его ужалила оса, засунул руку в карман и позвал меня:

— Магди! — И, когда я подошел к нему, шепотом сказал: — Ничего страшного, — и еще тише: — Это мне... повестка на фронт... Но маме пока ни слова.

— Да, папа.

— Умница.

— Да, папа.

— Ну, не надо, мальчик. Выше нос, до облаков, как Буратино, помнишь?

— Да, папа.

— Ладно, идем-ка вместе перебирать кишмиш.

Мы сели за стол.

— Но ведь тебя не убьют, как дядю Фархада? Ты вернешься к нам из лесов?

— Не кричи так громко!.. Буду стараться...

— А убивать? Ты убьешь кого-нибудь, и он не сможет вернуться к своим из лесов. Убьешь?

— На войне обычно один из противников должен остаться в лесах, — сказал отец, и я ничего не понял.

Тогда я еще многого не понимал, Марат, и мне было простительно.

Третий день дядиных поминок я уже не мог вынести — дядя сам, наверное, перевернулся в гробу от диких воплей. У меня закружилась голова, и меня вынесли во двор на свежий воздух и уложили возле виноградника.

Какие же они бессмысленные и ханжеские, эти обряды, Марат! Да что объяснять, ты ведь и сам мог узнать их, когда умер твой отец. Помнишь толпу ревущих старух? И хоть бы одну слезинку выдавили из своих беззастенчивых глаз ради приличия! Нет, они просто ревут час, два, целый день и следующий день, как марионетки, которых кто-то сзади тянет за резинку.

Я знаю, маме совершенно не нужно все это, весь этот обряд, все эти вопли и крики. Но ведь, когда, не дай бог, кто-то умирает в вашем доме, покойник уже не ваш. Он полностью попадает в руки старух. Не спрашивая вас, они штурмуют ваш дом и начинают реветь и пожирать все, что попадется им на глаза. Попробуй только как-нибудь не так посмотреть на них — ужас! Тебя будут проклинать весь век и называть неверным, а это самое худшее клеймо; так что лучше не надо.

...В самый разгар поминок приехал дедушка. Обессиленный, я дремал у виноградника, когда услышал его крик:

— Нора, дурная твоя голова! Что за рев ослиц?

— Тише, умоляю тебя. Ведь не могу же я их прогнать.

— А что Анвар? Что он спрятался, как трусливый страус? Не можете — я сам прогоню. Покойник неизвестно где, мы его в глаза не видели. Может, Фархад и не умер вовсе, а они крик подняли. Гнать!

— Умоляю, отец, не надо. Что потом будет?

— Знаю, что будет. Прикрываясь святым именем бога, они здесь театр устроили. Не нужен богу весь этот спектакль, покойнику тем более. Ханжи и ослицы! — И дедушка вбежал в комнату, расталкивая старух. — Что же вы, уважаемые, так долго гостите у нас? Поели разок — и хватит! И где это в коране, на какой его странице, сказано, чтобы поминать умершего, не видя его самого? Вон! Долой с глаз! Хватит! И смотрите не захватите с собой чужие галоши...

Потом дедушка пришел ко мне, закрыл меня всего бородой и поцеловал. От него приятно пахло дынями, клевером и кислым молоком.

— Боже, что сделали с моим мальчиком! На нем лица нет.

— Здравствуй, — сказал я как можно бодрее. — Как дела?

— А у тебя?

— Как видишь, лежу... Страшно смешной ты, милый дедушка. Такого смешного я нигде еще не встречал. Как они там? Без задних ног бежали?

— Вообще без ног, внучек. Перебросили ноги за шею и бежать. Ха-ха!

— Хо-хо!

— Хи-хи!

— Скажу тебе что-то на ухо: папу забирают на войну.

— Знаю. Он звонил мне в кишлак. Я сразу на ослика и сюда. Ничего, не расстраивайся. Вернется мужчиной.

— Как тебе не стыдно?

— А тебе не стыдно? У всех отцы воюют, только твой за маминой юбкой орехи щелкает.

— А если, если его...

— Если, если! Вставай, хватит лежать.

— Не кричи на меня, я больной. И вообще, ты злой человек, нехороший.

— Это ты ослиц имеешь в виду?

— Нет, вообще...

— Что, прикажешь бороду теперь рвать на себе? Если бы только его одного. В кишлаке у нас одни женщины остались, да и те одурели от слез. Каждый день две-три вдовы и десять—двадцать сирот. Война, братец мой, людоедство. Недаром в коране написано: "...и разделится род людской, и начнется между ними людоедство..."

Потом меня уложили в постель и приказали спать. Уснул я сразу, но ночью просыпался много раз, потный,

ворочался в постели и вздыхал, пугался теней и снова уходил в забытье. Не то во сне, не то наяву я слышал плач мамы, тихие голоса отца и дедушки и снова плач. И так всю ночь. И еще я никак не мог понять, во сне это или наяву видел все время черных птиц на деревьях, какие-то непонятные тени, красные и синие зигзаги и пятна и светлые горящие точки между ними.

А утром я уже понял — все это было во сне, а плач мамы и голоса отца и дедушки наяву. Когда я проснулся, мама еще спала, и отец сказал, что она уснула лишь полчаса назад, а мужчины вообще не спали.

Я смотрел на мамино лицо и думал: каково теперь будет ей? Хотя мама скрывает, но я-то знаю, что она и дня не может прожить без папы. Папа для нее все. Он делает для нее то, чего не делает ни один мужчина для своей жены, по крайней мере на нашей улице. Он сердится, нервничает, когда она много стирает и устает, волнуется, когда она где-то задерживается. Боится, что она поскользнется и упадет, когда идет снег, что кто-нибудь обидит и обманет мою наивную, ничего не смыслящую в жизни и людях маму.

Им обоим нравится быть такими — маме парить где-то в облаках, оторванной от суеты и забот, а папе, наоборот, чувствовать себя сильным, волевым, очень земным, быть глазами и руками для мамы.

И я совсем не представляю, что же будет теперь с моей милой мамой. Бедная она, бедная...

Все случилось быстро и просто, будто отец собрался уезжать в обычную командировку. Пришли его друзья по работе, посидели, помолчали, выпили, а я бродил по двору, забытый всеми, и уже не помню, о чем я тогда думал. Помню только, что очень жалел маму и не знал, что теперь будет с нами. А потом все вышли во двор, и я очень испугался, когда увидел отца в старой одежде. Она делала его неуклюжим, похожим не то на монтера, не то на водопроводчика. На маму смотреть я боялся...

Отец поднял меня на руки и сказал:

— Ну, мальчик, нос до неба, как Буратино! Мы еще посмеемся, когда я вернусь, будь здоров!

Я старался улыбнуться отцу, но что-то сдавило мне щеки. Отец торопливо поцеловал меня в лоб, похлопал по плечу, сказал что-то, и все они вышли за ворота к машине.

Сели и уехали. Я побежал было за папой, но закашлялся от пыли и отстал.

Ну ладно, ладно, не надо распускать нюни, никому это не нужно, и, пожалуйста, выше нос, как Буратино,

пора уже быть мужественным: как-никак семь лет, тем более что на твоем попечении осталась мама; ерунда, ничего не случилось, он вернется и мы еще не так посмеемся, будем хохотать до колик в животе, правда, обидно, что тебя не взяли на вокзал, но это не страшно, тем более что ты будешь отвечать за все, и за дом в том числе...

Я вернулся во двор, постоял на том самом месте, где только сейчас стоял отец и держал меня на руках. Что-то щелкнуло рядом — и из репродуктора на винограднике вырвался голос моего папы:

— Внимание! На зарядку становись! Руки на пояс, ноги на ширину плеч, начали — раз, два, три, молодец, мальчик, продолжай в том же духе...

— Папа! — закричал я. — Папа, это все шутка, ты не уехал, нет... Пусть, — сказал я сам себе, — пусть он уехал, но все равно каждое утро мы будем слышать с мамой его голос, и нам станет легче. Я буду делать все, что папа прикажет, буду бегать, прыгать, перегибаться. И буду помнить его и любить...

3

Два дня мама не могла ничего делать, была какая-то потерянная, невнимательная. Лицо ее изменилось, стало некрасивым, и все потому, что она забыла, что она женщина и надо немножко следить за собой, укладывать волосы и мазать щеки кремом. Ничего этого она не делала, ходила в своем длинном черном платье и уже не меняла платья, как прежде, штук по десять на день.

Она брала папины вещи, долго рассматривала, принималась целовать их и плакать.

Мы совсем растерялись с дедушкой — не заболела ли наша мама?

— Ну скажи ей что-нибудь, — просил я дедушку, — ведь она твоя дочь.

Он пожимал плечами, что-то растерянно бормотал, затем шел к ней в комнату и буквально через минуту выходил обратно ко мне, еще более подавленный.

— Что прикажешь делать с твоей сумасшедшей матерью? Ни в какую. Ну-ка ты, ведь ты ее сын...

И тогда наставала моя очередь.

— Мамочка, не надо, прошу тебя... Я буду тебя слушаться и не обижать, вот увидишь.

Она как-то невесело улыбалась, прижимала меня к груди и начинала целовать.

Ночью, когда она наконец засыпала, я прятал отцовские вещи, его брюки, пижаму, шляпу, уносил их в сад, за виноградник.

Потом мама пошла к соседке, у которой собрались в тот день все женщины, чьи мужья и сыновья были на войне, хорошенько выплакала все свои слезы и, вернувшись, сказала:

— Завтра открывается еще один госпиталь. И я пойду туда работать.

— Правильно, дочка, — сказал дедушка, — умница. Поработаешь немного, развеешься, потом можно опять сына воспитывать. А он пока потерпит.

— Нет уж, милый отец! Хватит ходить наивненькой, чистенькой, красивенькой женой. Все думала, пусть бы Анвар уехал куда-нибудь на несколько месяцев, чтобы самостоятельно пожить. Все самой делать. Думать самой, падать и вставать самой... Вот он и уехал...

Ох, этот дедушка, дедушка! Он минуты не может без того, чтобы не сцепиться с кем-нибудь — энергии у него уйма, девать просто некуда.

Сегодня пятница, и в мечети полно мусульман — день Большой молитвы. В этот день лучше сиди под одеялом, заткнув уши — перепонки лопнут от их воя.

Дедушке совсем плохо, он вообще не переносит ни малейшего шума, а тут тысячеголосый монотонный вой, как в книжке о собаке Баскервилей.

Дедушка сперва бледнеет, кусает губы от злости, затем, не выдержав, выскакивает на улицу.

Когда дедушка на улице, соседям лучше не показывать своих носов. Он обязательно подденет их каким-нибудь каверзным вопросом насчет бога и, не слушая их объяснений, говорит и говорит дальше. Моим дедушкой — сумасшедшим острословом, неверным — ночью пугают детей, если они капризничают. Стоит сказать, сейчас позовем дедушку Магди и он съест вас, как все дети засыпают от страха.

Сейчас он, широко расставляя кривые ноги, направляется к мечети. Полы его халата, как два полотнища знамени, колышутся на ветру. Мне весело — будет спектакль!

Мечеть похожа на громадный каменный ящик фокусника, на который посадили сову, вернее, ее голову с десятью глазами — проемами. И внутри этого ящика — старики. Изгибаются, как куклы: то встают все разом, то разом падают на колени и начинают целовать

землю, будто там рассыпан сахар. Вкусно! И командует всем этим совсем молодой ишан Калантар, сын того ишана, который умер, проглотив во время сна шмеля. И теперь ишан Калантар, если он злой, обзывает всех неверующих шмелями и в знак пожизненного траура отказался брать в рот мед, думая, что мед дают людям не пчелы, а шмели.

— Шара-бара! — Дедушка хлопает в ладоши. — Старые вещи меняю на мыло, шара-бара!

Какой грех кричать "шара-бара", когда столько достопочтенных мусульман беседуют с самим богом! Вдруг старьевщик с грязным бельем и мылом. В мечети ропот: шу-шу.

— Шара-бара! — кричу я. — Старые галоши меняю на новые.

— Старые чалмы на новые!

Боже, какой ужас! Но ничего не поделаешь, надо прерывать молитву и просить бога подождать с беседой. Калантар первым бросается к выходу и, ползая на четвереньках, ищет среди тысяч галош свои, с шелковой кисточкой. Начинается свалка. Каждый старается воспользоваться суматохой, схватить галоши поновее.

А мы удираем. Пролезаем через дыру в заборе, сворачиваем в переулок, а оттуда уже виден наш дом. На всякий случай, как и в прошлый наш налет, закрываем ворота на засов и хохочем.

А вечером дедушка возвращается к себе в кишлак — дела, дела, хлопок цветет, — а ты тут сиди и жди его до следующего спектакля.

Жаль, что ты так мало знал моего дедушку, Марат! Это был человек, полный противоречий и загадок. В нем была мудрость и наивность нашего достопочтенного муллы Насреддина.

"Бог живет внутри каждого, — говорил старик, — о боге надо говорить тихо или вообще не говорить, носить его с собой, в своем теле, как дух. Ишаны и муллы не могут вместить в себя этот дух, потому что зарабатывают на боге".

Вот поэтому-то соседи считали его сумасшедшим, неверным, смеялись над ним и боялись его. А Калантар даже пригрозил, что не разрешит хоронить дедушку на мусульманском кладбище.

...И когда он умер, наш дедушка, его похоронили совсем отдельно, на краю поля, где цвел хлопок, там, где он любил прилечь и помечтать.

А совсем недавно, когда с отцом были в деревне, мы не нашли холмика дедушки. Его сровняли и посадили кусты граната. И каждую осень, когда зреют гранаты, они падают и будят старика. И тогда он снится всем нам...

С утра мама ушла работать в госпиталь, а я остался один на весь дом. Сначала слонялся из комнаты в комнату, рылся, не знаю зачем, в папином столе, перелистал наш семейный альбом и увидел там дядю Фархада, почти на каждой странице дядя, дядя, дядя. Одна из фотографий мне особенно нравилась. Дядя сидит на стуле под виноградником, а я у него на коленях.

— Здравствуй, дядя... Тебе еще не скучно без нас?

— Здравствуй, мальчик. . Давай споем с тобой нашу песенку.

— Мне что-то не хочется сегодня петь, не сердись.

— Ну, прошу тебя, мальчик.

— Хорошо... "На зеленых, на Азорских..." Скажи, дядя! Дядя! Папа уехал на войну...

— "На веселых", ты пропустил "на веселых". Давай снова: "на веселых, на веселых, на веселых"...

Я бросил альбом, выбежал во двор, залез на виноградник, в свой домик из веток и листьев, и спрятался... И вот тут-то я впервые и увидел тебя, Марат...

С грязными, взъерошенными волосами, в отцовском пиджаке до голых колен и с громадной почтальонской сумкой за спиной ты просунулся в наши ворота и крикнул:

— Хозяева, письмо!

Сумку твоего отца я узнал сразу, перепугался и решил ждать, не высовываясь из убежища.

— Эй, вам письмо! — И действительно вынул из сумки письмо, не черную бумажку, а письмо в конверте.

Я спрыгнул вниз и, на всякий случай сжав кулаки, пошел к тебе.

— Давай!

Ты строго осведомился:

— Как фамилия?

— Не твое дело.

— Тогда ничего не получишь. Может быть, ты вовсе не Нуров, а Буров.

Это меня взбесило. Я хотел было броситься на тебя, бить и кусать за все — за твоего отца, за черные бумажки, за то, что ты такой остолоп, но силы были слишком

неравны. Ты был на голову выше, шире в плечах и, видно по всему, дрался неплохо.

— А кто же я такой? Иди лучше спроси у своего папаши, какая фамилия была написана на той бумажке, которую он принес нам недавно.

Лицо твое изменилось при этих словах, с него мигом сошла спесь, и по всему было видно, что тебе стало стыдно за отца — за то, что принес нам такую весть о дяде Фархаде.

— Не сердись, — сказал ты, — получай. Это, наверное, от отца. У него, наверное, все хорошо.

— Ты уверен?

— Конечно! Даю голову на отсечение. Уж я-то знаю, раз он сам написал письмо, значит, он живой и даже не ранен. Хочешь, я прочитаю тебе?

— Прочитай... Нет, не надо.

Мама обидится, если мы распечатаем письмо без нее.

— Нет, — сказал я, — не думай, я и сам лучше тебя читаю.

Ты не уходил. Потоптался, подул на ладони, будто они замерзли, и вдруг сказал:

— Давай будем дружить, хочешь? Со мной тебе не будет скучно. Я знаю много историй о ведьмах и колдунах. И еще у меня бывают интересные марки.

Вид у тебя был такой жалкий, умоляющий, словно от нашей дружбы зависело многое.

— А что, тебе скучно одному?

— Да нет. Просто ты мне сразу чем-то понравился.

Я подумал: интересно быть другом почтальона. Он будет мне самому первому приносить письма от папы, рассказывать, где что делается. Но тут я испугался: что, если он принесет черную бумажку о папе, что тогда, Марат? Как мне на тебя смотреть? Мне ведь и убивать тебя жалко будет, потому что ты мой друг. Что мне делать тогда?

Ты догадался:

— Боишься, что я?..

— Нет, не боюсь. Этого не будет, правда?

— Из-за этого никто и не хочет дружить со мной... А старые друзья стали мне врагами, потому что... потому что я приносил им такие бумажки... Но ведь я же не виноват! При чем здесь я, если взрослые убивают друг друга? При чем здесь мы?

— Нет, — сказал я, — я не боюсь. И мы будем дружить с тобой. Что бы ни случилось, мы останемся друзьями.

Вот так и началась наша дружба, Марат...

Мамы не было весь день до самого вечера. Я слонялся голодный по дому, до тошноты ел виноград и несколько раз катался по полу от колик в животе. Вот во что обошелся мне первый день маминой самостоятельности.

Я нервничал — мама меня совсем забыла, сама, наверное, ест в госпитале вкусный суп и котлеты, а у меня от кислого винограда вздулся живот и вот-вот лопнет от обиды.

Много раз мне хотелось сходить к соседям, чтобы они прочли мне папино письмо, а потом я бы его порвал и выбросил, не показывая маме. Ведь папа, наверное, догадывается, что мама морит меня голодом, и поэтому не обидится. И вообще, он написал мне, а не маме. Если бы ей нужно было его письмо, она давно почувствовала бы, что оно пришло, и прибежала бы.

Я взял и заснул ей назло. Вначале спал и одним ухом прислушивался, не идет ли она, но быстрых маминых тук-так-тук-так все не было, а затем я уже перестал слушать.

Снился мне папа. Я увидел его лицо. Большое-пребольшое, как в кино. Просто лицо, и все. Папа ничего не говорил, а только смотрел на меня. Папа молчит — молчу и я.

— Что с тобой, мальчик? — услышал я голос мамы. — Чего испугался, весь дрожишь?

Я открыл глаза: мама пришла!

— Нет, я не дрожу. Папа ничего плохого не делал.

— Тебе снился папа? Ты кричал, как будто тебя бьют.

— Нет, никто меня не бил.

Странно: почему же я кричал во сне?

— Ты давно пришла?

— Успела только раздеться... Ой, как страшно! Не знаю, что делать. Я ведь все почти забыла...

— Ты хочешь есть, мама?

— Очень! Сидела в библиотеке, пока не закрыли. Прочла уйму книг, но все равно боюсь... Сейчас я нарву винограда, и мы поедим.

О! Я чуть не закричал, когда услышал о винограде. Но ведь и мама тоже ничего не ела, ее можно простить.

Наверное, я кричал во сне потому, что жаловался папе на свою голодную жизнь. Дурак я, дурак.

Мама съела полную тарелку винограда, а я одну ягодку, да и то меня чуть не стошнило.

— Вот письмо, — сказал я, — от папы.

— От папы? Чего же ты молчал? — Мама начала вер-

теть конверт. Потом немного успокоилась, распечатала наконец и стала читать.

— "Милая Нора, милые мои..." Ну, и так далее...

— Нора — это ты, понятно, — прерываю я маму, — а кто такие "и так далее"?

— Ну, это ты и дедушка.

— А!

"Пишу вам со станции Казалинск, где наш поезд стоит полчаса. Завтра утром мы будем уже в России, на той земле, которую мы будем защищать. Со мной едут такие же простые смертные, которые на время, а может быть, уже навсегда, оставили свои дома и меньше всего думали, что им придется когда-нибудь убивать, но что поделаешь — война!

Как все пришло неожиданно! И пройдет еще много времени, пока они привыкнут к своей новой профессии. А многие, может быть, так и уйдут, не привыкнув. Это те люди, которые всю жизнь выращивали хлопок и виноград и не слышали ни одного выстрела. А теперь едут выполнять самое трудное на земле дело..."

Дальше раз сто "милая Нора", "люблю", "целую", наставления, как жить, как есть, как ходить по улице,— на целых три года.

— Какой милый чудак наш папа, — сказала мама.— Как он неуклюже пишет о любви. Совсем не умеет писать.

4

Я понимаю — для мамы сегодня необычный день.

Через много лет я так же волновался, когда шел давать свой первый в жизни урок. Ты, должно быть, помнишь, Марат? Помнишь, после окончания института нас направили учительствовать в одну школу. Преподавать язык и литературу. Помнишь, в мой самый первый урок ты был свободен и, чтобы я не умер от волнения, решил сидеть в моем классе. Ты подбадривающе мигал мне с последней парты, а я стоял перед учениками и несколько минут не мог ничего произнести, хотя прекрасно знал, о чем надо говорить. Ученики стали посмеиваться, и от этого я еще больше струсил. Я уже собрался махнуть на все рукой и выбежать из класса, как вдруг поднялся ты, Марат, и сказал:

— Ребята, не волнуйтесь. Магди Анварович в спешке прихватил мои конспекты. И не может разобраться в моем ужасном почерке!

Ученики рассмеялись, я облегченно вздохнул и ска-

зал свое первое в жизни учительское слово: "А ну-ка, доставайте тетради", — и все пошло нормально с этой минуты.

Вот так и у мамы.

"Но все будет хорошо, мама. Раненые полюбят тебя, я знаю, только не надо бояться", — думал я, сидя на самом верху виноградника. Раз в неделю я забираюсь сюда, чтобы посмотреть бесплатное кино. Наша улица — большой экран, а артистов хоть отбавляй. Спрячьтесь где-нибудь и наблюдайте, только чтобы вас не заметили. И вы увидите интереснейшие вещи.

Вот, например, каждое утро из ворот напротив выходит старикашка Сираж-бобо. Выходит, закидывает голову вверх и пристально смотрит в небо, будто увидел там летающего осла. Смотрит и все время без всякой надобности подтягивает брюки.

Брюки он начал носить недавно, когда поступил сторожем на макаронную фабрику, и еще к ним не привык. Раньше, пока сын его не был на войне, старик нигде не работал и ходил в белых штанах. В них прохладно и удобно сидеть в чайхане. И ходить в мечеть. Ведь появись в мечети в брюках — осмеют.

Стоит Сираж-бобо, смотрит в небо десять минут, полчаса, пока шея не одеревенеет, затем выдернет из ватника под мышкой комочек ваты, выдует из него сор и одним выдохом выстрелит в небо. И радостно следит за полетом ваты, подпрыгивает, машет руками. И так до тех пор, пока вата благополучно не застревает на дереве между листьями.

Отец объяснял, что у него такой возраст, когда хочется повторять все, что делал в детстве. Представляю, какой ужас будет со мной в его возрасте! С утра до ночи, как дурак, буду сидеть на винограднике и следить, кто куда пошел и зачем. Меня так и будут звать соседи: старый дурак на винограднике. Незавидная участь!

Или вот другое кино. Тоже соседи — дед и бабка. Они так похожи друг на друга, что до прошлого года я считал их близнецами. Но отец сказал, это муж и жена, и я долго не верил, как такие старые могут быть мужем и женой. Мне казалось, что муж и жена обязательно должны быть молодыми и писать, как супруги Буттенгот и Готтенгот, точно не помню, сказки о своей любви.

Деда зовут Мекка, а бабку Медина. И вот они появляются на улице, поворачиваются ко мне спиной и начинают глядеть на свои ворота, и вздыхать, и плакать, и ворчать друг на друга. Боже, как постарели, потреска-

лись их ворота, любимые ворота, молчаливые свидетели их молодости! Какая мерзкая штука эта жизнь, что не пожалела даже ворот — гордость рода, предмет зависти соседей и дальних родственников.

Ворота у них действительно великолепные, массивные и угрюмые, из самого крепкого дерева на свете — карагача, разрисованные, как ковер, узорами и ромбиками. Из поколения в поколение передаются они по наследству, кочуют из города в город.

Мекка и Медина оказались на редкость плохими хозяевами. На их глазах ворота стали сохнуть и трескаться и, чтобы предотвратить дальнейшую гибель, каждое утро дед и бабка чистят их керосином. Трут, ругаются, плачут, но все напрасно. На следующий день на воротах появляется новая трещина — жизнь, жизнь, ничего не поделаешь! Только одно немного волнует меня в этом кино: кому же после их смерти достанутся ворота, ведь наследников у стариков не осталось?

У меня в запасе еще много картин, но обо всех рассказывать сразу не стоит — скучно будет. Тем более что внизу по улице идешь ты, Марат. Вид у тебя, дружище, очень печальный.

Встряхнись же наконец, выше нос, как Буратино! Но ты, оказывается, и не знаешь, кто это такой. В детстве у тебя были одни только выдуманные тобой и твоим дедом истории о ведьмах и колдунах и ни одной приличной сказки. А как нужны нам, дружище, сказки, чистые и светлые сказки — нам, семилетним и тридцатилетним, особенно тридцатилетним. Потому что без них, как говорил поэт, "нет житья... ни людям, ни зверям".

— Эй, Марат!

Только сейчас я заметил, что на тебе порвана рубашка.

— Дрался?

— Надоело все, Магди! Не могу больше. Каждый день черные бумажки — смерть, смерть, смерть... И будто я виноват.

Морщась, ты снял рубашку, и я ахнул — вся спина была в синяках.

— Кто тебя? Скажи, мы отомстим.

— Глупый. Я принес одному старику черную бумажку, а он начал бить меня палкой... А я стоял и не мог убежать.

— Так тебя убьют когда-нибудь.

Мы помолчали, и я сказал:

— Знаешь, что сейчас я... Слушай, отец мой дома, понимаешь? Он совсем не на войне. Все думают, что он воюет, а он прячется дома.

— Поклянись!

— Серьезно. Идем. — И я заставил тебя сесть на кровать, потом в комнате раздался голос папы.

— Внимание! На зарядку становись! Руки на пояс, мальчик...

Ты был растерян, а я хохотал:

— Это мой отец, честное слово. Теперь ты веришь, веришь?

Но ты сразу понял, что к чему, и сказал:

— Кто это придумал?

Я-то знал, в комнате пластинка, где записан голос отца, и, как только встаешь с кровати, пластинка включается и начинает передавать приказы в репродуктор на винограднике, но я не мог объяснить тебе, понимаешь, не мог, потому что я не хотел верить, что это обыкновенная пластинка, а не живой, настоящий голос папы, который потом много-много дней поддерживал меня, и мне даже стало обидно и больно, что я показал тебе, раскрыл тайну своей сказки...

Ты, видимо, понял мое состояние, сказал:

— А я... я сразу поверил, что это твой отец. Я даже знаю, что, если ты спросишь у него что-нибудь, он ответит. Спроси-ка...

5

Я подумал, как будет приятно маме, если мы с Маратом придем за ней в госпиталь — уж очень она волновалась в первый день работы и сразу бы поняла, что и мы волнуемся вместе с ней.

Марат знал, где находится госпиталь, и мы пошли. Мне запрещали уходить далеко от дома — в улочках нашего города не мудрено заблудиться. И в тот день я впервые нарушил этот запрет.

Какой интересный мир открылся мне! Мы шли друг за другом, потому что только так можно было пройти по узким улицам. На каждом шагу мечеть — поднимаешь голову, а там голубая шапка с гнездами аистов, и от этих шапок и дома, и деревья, и люди — все кажется голубым, хотя на самом деле улицы угрюмые, безглазые, и никто не высунет голову и не скажет "здравствуйте!".

И вдруг, как что-то совсем чужое, возникло перед нами каменное здание с множеством глаз — в этом единственном тогда здании европейского типа через много лет я учился в институте, набираясь ума-разума.

— Что же ты остановился? — Марат толкнул меня к этому зданию, и я посмотрел на окна в надежде увидеть живых, настоящих раненых, людей оттуда, с войны.

— Туда нельзя, — остановила нас у входа женщина с красной повязкой.

— К маме, — сказал я, — она работает здесь.

— К маме тоже нельзя. Она занята.

— У них дом горит, тетя.

— А не врешь? — женщина схватила Марата за руку.

— Обманывает, — поспешил я признаться, зная, что мама упадет в обморок, если ей скажут: у вас пожар!

— Ах, врет! — женщина принялась поучать бедного Марата, что-то говорить про взрослых, которые на войне, и про детей, которые занимаются враньем... Хорошо, что сзади нас протяжно загудела машина, и мы отскочили в сторону.

— Раненые, — шепнул Марат.

Из машины с большим красным крестом санитары начали вытаскивать носилки — одни, другие, третьи, седьмые... Я смотрел на них и ничего не видел, кроме ног, высохших, синих. Тебя, слава богу, не было среди них, отец, все чужое, незнакомое. А их несли, несли на носилках, с запахами крови, с запахами войны — мимо нас.

— Все, — сказала женщина с повязкой, — этого пока положите под деревом. Мест нет...

— Да вы что? Он очень плох. Он без сознания.

— Говорю вам узбекским языком — мест нет.

Его положили под деревом, восьмого, бедного, которому не хватило места, и мы медленно подошли к носилкам. Ветер откинул край простыни, и я увидел, отец, совсем худое, совсем безжизненное, страдальческое лицо человека, который чем-то был похож на тебя — такой же высокий и худой, но с широкими плечами, которые еле умещались на носилках.

Он лежал, и губы его дрожали. Наверное, он никак не мог отогнать от себя картины войны: бегут, падают и умирают солдаты, раскалываются пополам деревья и небо.

Вдруг я подумал, что он должен обязательно знать тебя, отец. И дядю Фархада. Солдат этот шел с вами по лесу, по темному, запутанному лесу, и дядю убили, а

его ранили, а ты бросился к нему, чтобы спасти. А тут еще снаряд. И что стало с тобой, отец?..

— Дядя, дядя! — стал звать его я, стал будить, чтобы он смог отогнать от себя прочь картины войны и сказать, что стало с тобой...

— Мальчик! Оставь в покое раненого. Иди домой. Мама твоя очень занята...

И мы ушли. Шли и молчали. Совсем забыли, что нас двое, не разговаривали, не смотрели друг на друга.

Долго, очень долго я сидел, ни о чем не думая, словно меня нет, улетучился. Потом начал ходить из комнаты в комнату, по двору и думать.

Наверное, он все еще лежит под деревом и смотрит картины войны, и ему больно и нехорошо. А жена его и дети ждут письма и совсем не подозревают, что он лежит сейчас под деревом, не знают и не могут прийти к нему, чтобы помочь.

И я побежал на кухню, стал резать, резать хлеб, мазать маслом. Завернул все это в газету. Решил отнести ему, чтобы он обрадовался. И ему станет хорошо.

Но вот и мама. Я спрятал сверток и вышел ей навстречу.

— Поздравляю тебя, мама.

— С чем? Письмо от папы?.. Да, да, день прошел удачно. Но как я устала, ты даже представить не можешь! Зато восемь операций — восемь!

— Это мало или много?

— Это ужасно много для мирного времени, мальчик. Но сейчас... Один из врачей сделал двенадцать, и все удачные.

— У тебя сколько удачных?

— Будем надеяться, что все. Но одна была такая жуткая, как я волновалась!.. А зачем ты приходил в госпиталь?

— Просто мне хотелось поглядеть на тебя. Нельзя?

— Нельзя, маленький. Ты понял меня?

И, хотя я не понял, сказал:

— Да.

— Завтра у нас будет гость.

— Кто, мама?

— В госпитале очень тесно. Мы, врачи, решили взять к себе домой раненых.

— А зачем?

— Там им тесно.

— У нас в доме будет лежать раненый?

— Да, мальчик. И ты будешь помогать мне.

— Буду, мама. А ты уже выбрала кого? Ты знаешь его? А ему у нас понравится?

— Я еще не выбрала. Не знаю, понравится или нет. Но мы должны его вылечить.

— Я сделаю все, чтобы он вылечился. Ладно, мама?

— Хорошо, хорошо. Давай ужинать.

— Мама, давай возьмем его. Он лежит один под деревом. Ему не хватило места. Тебе ведь все равно. Я знаю, он будет хороший и послушный и не станет капризничать.

— Ладно, маленький. Мы пойдем вместе, и ты покажешь его.

— Он такой хороший! Такой славный! Мама! Знаешь, что я придумал? Сказать? Давай пойдем и возьмем его сейчас. Я прошу тебя...

И мы пошли в госпиталь. Он страшно удивится, когда узнает, что мы забираем его к себе. А вдруг он не захочет? Тогда я скажу маме, пусть она сделает ему укол, усыпит, и мы понесем его, а утром, когда он проснется, скажем, что мы не виноваты, так получилось. А потом ему у нас понравится и он согласится.

— Подожди здесь. Я узнаю сама, кто лежал сегодня под деревом, и заберу его.

Только бы мама не перепутала!

Мы угостим его хлебом, и маслом, и виноградом. А потом что будем с ним делать? Как лечить? Мама скажет как. А кто он — капитан, генерал, танкист, летчик? Хорошо, если он летчик, — я люблю летчиков. Есть ли у него ордена? Наверное, есть. Если бы он был трусом, он бы прятался и его бы не ранили. Что-то долго их нет. Неужели мама перепутала? Здорово же мы придумали взять к себе раненого, веселая пойдет жизнь! Ну и ладно, пусть я не пойду теперь в школу, надо ухаживать за раненым, не жалко. Жалко, конечно. Но раненый гораздо интереснее, чем школа.

— Мама!

Я бросился к носилкам. Взглянул — он!

— Он, мама!

Я бегал вокруг носилок, не зная, что же делать дальше.

Но все решилось просто. Подъехала машина с большим красным крестом, открылась дверца сзади, носилки всунули туда, мама крикнула: "Садись в кабину, Магди!", — и мы поехали, повезли нашего раненого, по-

везли к себе лечить его. Теперь он наш, и мы никому не дадим его в обиду. Все решилось просто и хорошо, а я боялся, нервничал.

Шофер был угрюмый дядька, молча крутил баранку, мне же хотелось петь, смеяться, прыгать, а он был такой важный и гордый, будто делает великое дело — крутит баранку и молчит. Я смотрел назад в белое окошечко, но ничего не мог увидеть. Мама там, все хорошо, и не надо волноваться.

А ехали мы очень медленно, как назло. Въезжали в какие-то узкие улочки, поворачивали обратно, царапали стены, на нас кричали, проклинали нас, а мы везли домой раненого: лечить его и возвращать к жизни.

И когда машина еле-еле проехала к нашему дому, выбежали все соседи. А я очень гордый выскочил из кабины, помог шоферу открыть заднюю дверцу. Люди придвинулись к нам, окружили, а мы, не обращая ни на кого внимания, торжественно понесли носилки к воротам.

— Боюсь сказать, милая Нора, неужто отец Магди? — спросила Медина.

— Нет, — ответила мама.

— Кто это, Нора?

— Раненый из госпиталя.

Мы внесли нашего раненого в комнату и уложили его. И когда вышли попрощаться с шофером, соседи уже обсуждали это событие.

— А отец Магди? Если он узнает, что в доме чужой мужчина...

— Пусть это вас не волнует, — ответила мама и побежала обратно в комнату к раненому, сказав мне: — Не заходи пока...

Что это им не понравилось, соседям? Ладно, сейчас некогда об этом думать. У нас гость, у нас раненый в доме.

Добро пожаловать в наш дом, незнакомый дядя! Поверь, тебе здесь будет неплохо, ты быстро поправишься и сможешь снова идти на войну. Только смотри потом в оба, как бы тебя опять не ранили и не убили. Я буду плакать, если тебя убьют, плакать будет и мама, и все, все, кто знал тебя, тоже будут плакать. Будет плакать и колыбель, где ты рос в детстве, мячик, которым ты играл, подбрасывал его в небо к облакам, и книжки твои будут плакать, твои сказки, и твои самые первые туфли, которые ты надел, когда научился ходить, и речка, где ты купался, и яблоня, на которую залезал, и окно твое, и паук на окне тоже

заплачет, будет плакать твоя мама, она поседеет и состарится.

Прошу тебя, возвращайся с войны живым и невредимым.

А пока ты наш гость, мы с мамой сделаем все, чтобы ты в один прекрасный день мог встать, улыбнуться и сказать — все в порядке. По утрам, когда мама уйдет на работу, я буду поить тебя молоком. И, хотя это очень неприятная штука — пить молоко, но пить его надо, потому что без молока ты быстро не поправишься. И еще я буду давать тебе лекарства. Ладно, так уж и быть, самые горькие ты сможешь незаметно выбросить под кровать, но остальные надо принимать обязательно.

Хочешь, я буду рассказывать тебе интересные истории, которые мы сочинили вместе с дядей Фархадом? И когда ты уже сможешь разговаривать, когда у тебя ничего не будет болеть, посмотрим, сможешь ли ты сочинить какую-нибудь историю. Я люблю людей, которые фантазируют и сочиняют истории.

Мама тебе понравится. Ты не бойся, если она иногда будет строга. На самом деле она добрая, и, уж раз ты попал в ее руки, она тебя вылечит.

Я расскажу тебе о папе. А когда он вернется с войны, вы будете дружить с ним, играть в шахматы. У папы мало хороших друзей, и он согласится дружить с тобой, не волнуйся.

Дедушка тебе вначале может не понравиться, он покажется тебе злым-презлым. На самом деле он любит пошутить, но ни в коем случае не ругай при нем деревню — тогда все, вы враги навеки.

Потом я познакомлю тебя с моим другом Маратом. Он будет приносить тебе письма твоих родных, и, если кто-нибудь обидит тебя, будь уверен, он заступится.

Если тебе понравится у нас, понравится наш город, ты можешь приехать сюда после войны. Ты будешь приходить к нам в гости, и мы будем сидеть и вспоминать: "А помнишь, когда?.. — "Конечно, помню..." — "А ты не забыл, как?.."

Все это я думал, дядя Эркин, в тот вечер, когда тебя привезли к нам в дом. Мама сказала, что будет делать тебе уколы, и запретила мне заходить в комнату, а ты лежал без сознания.

Мне надоело слоняться по двору, я подкрался к окну, встал на камень и чуть было не свалился, когда увидел маму, растерянную, плачущую. Она бегала по

комнате со шприцем в руке, выбрасывала из тумбочки вату, бинты, флаконы с лекарствами, что-то говорила не то тебе, не то себе.

Я застучал по стеклу:

— Мама, можно я помогу?

Но она замахала руками и еще больше растерялась, забегала.

Видно, тебе было совсем плохо — машина укачала тебя, когда везла из госпиталя, и мама не знала, что делать.

Я хотел бежать на улицу, звать людей на помощь, но вместо этого ушел за виноградник и забился там в угол от страха.

И снова видел маму, куски ваты на полу, руки мамы на твоей спине и твою спину. Я зажмурился — так было страшно. Что они сделали с твоей спиной, дядя Эркин? О, эти изверги фашисты! Взяли твою гладкую, сильную спину и изуродовали ее.

Потерпи немного, мама поможет тебе, она сделает тебе хорошо. Немножко, чуть-чуть потерпи.

И мы еще посмеемся, вспоминая обо всем этом. Будем бить кулаком по твоей спине, по тому месту, где была рана, и ничего, ни капельки тебе не будет больно.

— Все!

Мама села на крыльцо и закрыла лицо руками. Я подошел к ней и осторожно дотронулся до ее плеча. Она улыбнулась сквозь слезы, сказала:

— Знаешь, мальчик, сегодня я выросла в своих глазах вот на столько, — и показала на сколько. — Как чудесно!

И, хотя я не понимал, что здесь чудесного, когда дядя Эркин так намучился, я поддержал ее:

— Не до крыши — до неба, мама, ты выросла.

Она притянула меня к себе и начала целовать и смеяться, и мы с ней стали прыгать, как сумасшедшие, и мама все повторяла:

— Чудесно, как хорошо!

Не успел я досмотреть коротенький сон о разных цветных шариках, которые лопались, едва взлетая к небу, как мама разбудила меня — ей пора на работу.

Раньше бы я капризничал, и мама бы целый час щекотала меня, чтобы окончательно разбудить, но сейчас я вскочил.

— Как дядя Эркин?

— Спит еще...

Голос у мамы был тихий и усталый, и вся она была измученная, как после болезни, похудевшая. Куда исчезла моя прежняя мама, веселая хохотунья. Встанет, бывало, рано-рано, тормошит папу, кричит:

— Посмотри хоть раз, как встает солнце, красота!

И бросается к окну встречать новый день, приветствовать солнце, капли росы на винограднике.

Где она, эта моя мама? За ночь она будто постарела. Еще бы, не спать, нервничать, все время сидеть возле дяди Эркина, поить его лекарствами и ходить по комнате и думать.

Только изредка она приходила ко мне, ложилась, не раздеваясь, на край кровати и лежала, и смотрела на тени на окне, на потолке.

— Слушай внимательно, Магди, — сказала мама, — теперь ты должен быть взрослым и помогать мне во всем.

— Да, мама.

— Как только дядя проснется, заставишь его принять лекарство в красной бумажке, а когда часы пробьют двенадцать раз — таблетки в белой бумажке. И будешь поить его молоком. А в полдень я прибегу, чтобы сделать ему укол... От тебя, малыш, зависит многое. И я верю тебе, понял?

— Да, мама. А что я должен делать сейчас?

— Ждать, пока он проснется. И дашь ему лекарство в красной бумажке... Будь умницей...

Мама ушла, а я постоял немного у двери дяди Эркина и начал ругать себя за то, что я трус и белоручка, и что я не могу открыть дверь, зайти в комнату и сесть на стул рядом с дядей Эркином и ждать, пока он проснется, и что не могу сочинить смешную историю, чтобы потом рассказать ее дяде Эркину, когда он откроет глаза.

Жил-был дядя, нет, мальчик. Этот дядя, то есть мальчик, был маленьким, а дядя большой, в два раза больше мальчика. И у него была жена и курица Ряба. И мальчик сказал жене: скажи, чтобы он поймал курицу. Курица была не простая — золотая, и мальчик гонялся за ней и наконец поймал...

Нет, жил-был Буратино. У него был дядя. Дядя был похож на Карабаса-Барабаса. У дяди была курица Ряба. Они жили на веселых, на зеленых, на Азорских островах, где, по свидетельству ученых, ходят все на головах, там жил Кашалот с тремя головами, он сам сочинял, сам исполнял и сам себе аплодировал. А курица Ряба сказала мальчику: съешь мое яйцо, не простое, а золотое. А дядя...

Он проснулся, открыл глаза, и я чуть не залез под кровать от страха. Он глядел на меня и не видел, что это я, смотрел сквозь меня — такой у него был взгляд, и у меня от его взгляда заболело все внутри.

— Здравствуйте, — сказал я. — Не бойтесь, я Магди.

А он не только не боялся, но и продолжал не видеть меня, гордый очень. Лицо его теперь было немного похоже на человеческое, и можно было разобрать, где глаза и где губы, а то все было одного цвета.

— Хорошо, — сказал я. — Не думайте, что это я хочу дать вам лекарство, мама приказала.

Ему было все равно: пить лекарство или нет. Но почему он так смотрит? Почему молчит? Может быть, ему очень плохо? И как его поить лекарством, если он ничего не понимает и не хочет открывать рот?

— Здравствуйте, — сказал я. — Здравствуйте!

И вдруг он посмотрел на меня и увидел. Он увидел меня и понял, что я сижу перед ним, и, кажется, чуть-чуть улыбнулся.

Он улыбался мне, я — ему, и мы смотрели друг на друга и улыбались. Я совсем не боялся его — удивительно, даже подмигнул ему и сказал:

— Это я, Магди. А я вас знаю. Вас зовут дядя Эркин. Вас ранили на войне, а потом мы взяли вас. В госпитале не было места. И мы вас взяли. Вам там негде было лежать и выздоравливать... Здравствуйте...

Он смотрел на меня и улыбался для приличия. И отвечал мне только тем, что чуть-чуть шевелил губами.

— Ладно, — сказал я строго, — давайте принимать лекарство. А то мы с вами заболтались тут.

И, как только он приоткрыл рот, шевеля губами, я бросил ему на язык таблетку.

— Глотайте, глотайте. Оно маленькое.

Он поворочал во рту белым, совершенно белым языком, и таблетка выкатилась на подушку.

— Не плюйтесь, пожалуйста, — сказал я, — если не хотите иметь неприятности с моей мамой.

Я снова бросил ему в рот таблетку.

— Вы глотайте. А я вам спою. Чтобы не было горько... На веселых, на зеленых, на Азорских островах, по свидетельству ученых, ходят все на головах — тах-тах-тах!

И, пока он слушал меня, раскрыв рот, таблетка растаяла у него на языке, потекла внутрь — туда, куда положено.

— Вот и все, — сказал я. — И, если вы всегда будете послушным, мы подружимся с вами...

И тут часы пробили двенадцать раз — надо снова впихивать таблетку. Ох, как тяжело!

А потом прибежала мама. И прогнала меня, и начала осматривать дядю Эркина, и проверять, все ли таблетки я впихнул в него, а затем вышла во двор с ведром, полным красной жуткой ваты и бинтов и разных ампул, и, грустная, молчаливая, отнесла все это в мусорный ящик.

— Как он вел себя? — спросила она.

— Он меня слушался во всем! И не отказывался от лекарства. Мама, он там стонет!

— Слышу. Сейчас перестанет.

Дядя стонал очень жалобно, как маленькая собачонка, которую бросили одну. Мама пошла к нему. Дядя Эркин вскоре затих, и мне было интересно посмотреть, как же мама делает ему легко, но она меня не впускала к нему.

А когда мама снова ушла в госпиталь, я зашел к дяде и увидел, что он спит. Заснул дядя... Спал он как-то сердито, будто все время видел один и тот же сон про войну, про то, как в него стреляли и хотели убить и как он падает и уже не помнит ничего, ничего не видит и не слышит — потерялся.

И тут пришел ты, Марат.

— Я слышал, что у вас раненый?

— Откуда? Кто тебе сказал?

— Соседка ваша. Это правда?

— А как она сказала?

— Да никак!

— Скажи. Я же вижу по твоим глазам...

— Я отругал ее, не волнуйся. Мерзавка сказала: не успел уехать отец Магди, как мать его привела к себе другого мужчину.

— А что здесь плохого?

— Ничего плохого... Можно посмотреть на него? — попросил ты.

— Только краешком глаза, хорошо? Он спит.

Ты, чего-то боясь, просунул голову в дверь, увидел его, поглядел, поглядел и шепнул:

— Он кто, сержант?

Я не знал, сержант лучше, чем простой солдат, или нет, но на всякий случай сказал:

— Кажется, он генерал. Молоко не пьет, лекарства не принимает, капризничает.

Когда мы вышли во двор, ты спросил:

— Наверное, теперь ты не будешь дружить со мной?

— Что ты! Я буду дружить и с генералом и с тобой.

— Ты ведь знаешь меня раньше, чем генерала, на целых десять дней.

— Конечно. Притом с генералом надо много возиться. И не знаю, можно ли дружить с ним по-настоящему. И говорить ему правду в глаза... Если бы ты знал, как я сегодня спасал генерала! У него были припадки, он кричал и бил посуду, а я ему дал такое лекарство, что он сразу пришел в себя и целый час благодарил меня. И сказал, что даст мне орден, когда выздоровеет...

— Магди, — прервал ты меня, — можешь помочь мне?

— Могу, — сказал я растерянно.

— Вот видишь, — и ты вынул из сумки бумажки, много черных, жутких, противных бумажек. — Видишь, их сколько?.. Одну из них нужно отнести Лейле-апе, а я не могу. Она мне как мать. Делает мне все. Это о Хакиме, о дяде Хакиме, ее сыне.

— Его убили?

— Да.

— Я попробую. Сделаю, Марат... Только сейчас жарко на улице...

— Сейчас, Магди. Я не могу носить с собой его черную бумажку. Сейчас, пока генерал спит.

— Ладно, — сказал я, — как хочешь... Только ты смотри, чтобы генерал не проснулся.

И я пошел. Сжимая в руке черную бумажку дяди Хакима, сильного и большого дяди Хакима, который ушел и вернулся домой, став черной, злой бумажкой. И Лейла-апа будет плакать и рыдать, ей будет очень, очень плохо, и она будет звать сына, дядю Хакима, просить, чтобы он вернулся — оттуда, из лесов, и будет думать, что это она, мать, так обидела своего сына, что он ушел от нее навсегда... Нет, нет, это шутка, все это злая шутка, не может быть, чтобы дядя Хаким не вернулся к своей маме, ведь он так любил ее!

С минуту я постоял у ворот ее дома, потом открыл их, сделал шаг, второй, прошел по темному коридору и, увидев во дворе, под виноградником, Лейлу-апу, покраснел, будто без спросу залез в чужой дом.

— Чего тебе, Магди? — спросила она.

— Я...

— Ничего не слышу. Сейчас я достану вот эту большую кисть и слезу к тебе... Это я Хакиму, сыну... Он пишет, что скучает по винограду, мой мальчик...

Да, да, я так и думал! Дядя Хаким жив. Мать собирает для него виноград. Сын ее обрадуется, он так соскучился по винограду...

— Мой Хаким так любит виноград, — сказала мать,— в детстве, когда он был таким, как ты, Магди, он целыми днями сидел в винограднике и ел, ел, а я, дурная, кричала, гнала его, боялась, что живот его лопнет...

Да, конечно, он сидел в винограднике и сейчас сидит и вспоминает и ждет виноград матери... Нет, он жив, дядя Хаким!..

— Марат! — закричал я. — Он жив, это ложь. Я сам видел. Мать собирает для него виноград!

— О чем ты говоришь, Магди?

— На! На! На! — разорвал я черную бумажку, бросил и начал топтать ногами и кричать: — Он жив, дядя Хаким! Не смей! Не смей!

Три ночи подряд мама не выходила из комнаты раненого, три ночи подряд за стеной были слышны ее тревожные шаги и стоны дяди Эркина. Часто дом замирал совсем, не шелестели даже листья виноградника — дядя терял сознание. Три дня и три ночи подряд мама выносила из комнаты раненого полное ведро жуткой ваты и бинтов.

Ни о чем другом мы не говорили, кроме как о раненом. Ложились спать и просыпались с мыслями о нем. Как ему? Что с ним? И только по глазам мамы я видел, как плохо дяде Эркину и как трудно ей. Утром чуть свет она бежит в госпиталь, в полдень опять домой — перевязка, уколы, а вечером снова тревоги, волнения. И мама совсем не жаловалась, а наоборот — старалась делать так, будто все хорошо и нечего опасаться. Я совсем не знал, что мама моя может быть такой выносливой и самостоятельной, не подозревал, что она такая сильная без тебя, отец. А мы-то с тобой боялись, что будет с ней, когда ты уедешь на войну!

И тут еще мы получили от тебя, отец, хорошее, смешное письмо и совсем воспрянули духом. Мы несколько раз перечитали с мамой твое письмо, потом на следующий день Марат прочитал мне еще два раза, и я запомнил все слова письма.

И я представил, как вас привезли наконец к месту, где должна была быть война. А там войны вовсе и нет, кругом лес, большие, толстые деревья, и ничего не видно в двух шагах. И ты ходишь, и удивляешься, и не поймешь ничего, потому что впервые видишь лес. Радуешься, залезаешь на деревья, собираешь шишки и, как говорит мама, совсем не думаешь о нас в эти минуты.

А потом командир кричит: "Стройся!", — и ты, как белка, сползаешь с дерева. "Направо, налево!" И тебе здорово достается от командира, — ты плохо понимаешь по-русски, путаешь, все идут направо, только ты один налево — смешно!

Затем командир заставляет тебя лечь, ползать между деревьями. У всех это получается хорошо и нормально, только ты один, как назло, застреваешь между двумя соснами и не можешь ни вперед, ни назад, кричишь: "Братцы, помогите мне, не оставляйте, медведи съедят!" Бедный папа... Солдаты тянут тебя за ноги, вытаскивают, а командир влепляет тебе выговор за неуклюжесть. Ну и смешной же ты, отец, на войне, прямо как храбрый Клыч-батыр из сказки.

Ничего, только пиши нам почаще с войны такие веселые письма. И пусть все ходят хмурые и убивают, а ты не падай духом...

Мама сказала, что, пока шло твое письмо, у тебя закончились учения и тебя отправили воевать по-настоящему. Желаю тебе быть хорошим солдатом, храбрым, веселым, и тогда, я уверен, тебя никогда не смогут убить...

6

Как хорошо! Сегодня дядя Эркин сказал наконец первое слово. Проснулся, поглядел на нас с мамой и сказал: "Ситора". Мы вскочили со стульев и начали ждать, что он скажет еще, но дядя молчал, словно говоря — хватит с меня сегодня. Уставился на нас, чуть застенчиво улыбаясь, и смотрел то на маму, то на меня, на комнату, на стену и на часы, на окно.

Маме надо было бежать в госпиталь, и она быстро перевернула его на бок и, в честь того, что дядя заговорил, влепила ему укол большущей иглой.

— Что это, мама, Ситора? — спросил я, провожая ее к воротам.

— Название местности, где дядя родился. Где-то в Фергане... Ну, будь умником и не надоедай ему своими разговорами.

"Ситора", — сказал я и прислушался. Хорошо звучит, красиво! Понятно, дядя спал и увидел во сне родной кишлак у гор, детство, как он, маленький, босоногий, карабкается по горе, за ним бежит собачка, трусливо повизгивая: не поднимайся так высоко, Эркин, там страшно. Но он лезет, лезет к самым облакам.

Внизу красота какая! Маки горят. И между маками кубики-дома. А вот и дом Эркина, мама сидит за пряжей, во дворе сестренка играет с козликом. Здесь хорошо, хо-ро-шо! И горы, и ветер повторяют, как попугаи: "Хо-ро-шо!"

И тут дядя Эркин просыпается. И долго не может понять, отчего ему было так хорошо. Ведь на самом деле: незнакомые лица — мое лицо, мамы, боль в теле и уколы, уколы. "А, — думает он, — совсем забыл, была же война..."

Я снова сажусь на стул у его изголовья и какой уж день подряд смотрю ему в лицо и жду, жду, что вот он наконец заговорит, улыбнется и встанет... Но все это придет не скоро. Ладно, я буду терпеть и ждать...

Дядя Эркин уже должен понимать все, раз он заговорил. Я смотрю ему в лицо и вижу, что оно порозовело, стало немного спокойнее, и глаза поумнели у дяди. Умные такие глаза, все понимающие. Лицо красивое, все острое и гладкое, нос острый, подбородок. И сам он крепкий, широкий — большие ноги, половину кровати занимают, даже чуть-чуть висят, и плечи еле вмещаются. А на подбородке ямочка прорезана, наверное еще с детства.

Он лежит и смотрит на меня, изучает, смотрит на мои руки, волосы, нос и улыбается — я ему, конечно, нравлюсь. И я начинаю рассказывать:

— Папа прислал такое смешное письмо, просто ужас. Мы с мамой так хохотали. Будто он застрял между деревьями в лесу и его вытаскивали за ноги. Папа у меня умный, не думайте, это он так, балуется на войне... Он все делал раньше за маму. Маму мою зовут Нора, она...

— Мама хо-ро-ша-я, — прошептал Эркин, — хо-ро-ша-я... — И начал смотреть на потолок и думать о чем-то и совсем перестал меня слушать. Конечно же, он думал о моей маме, о тех ночах, которые она провела у его постели, и о неприятных уколах, о болях, которые мама старалась ему облегчить.

— Хотите послушать моего папу?

Я распахнул окно, сел на кровать, что-то щелкнуло, переключилось и началось:

— Внимание! На зарядку становись! Раз, два — марш! Направо, налево!

Дядя Эркин застыл, заскрежетал зубами и застонал.

— Это же папа! Мой папа!

Но он не понимал, все стонал и ерзал в постели.

И первый раз в жизни я не дослушал до конца папу — выключил.

— Не надо, — сказал я. — Ну, не надо...

А может быть, он завидовал папе? Папа на войне, а он, раненый, беспомощный, лежит здесь. Кто знает?

Я уже не помню, сколько дней мы ухаживали за дядей Эркином: может, месяц, а может, и два, точно не помню. С утра до вечера я пихал в него лекарства, развлекая рассказами, а с вечера всю ночь до утра с ним сидела мама. Вот поэтому-то дни текли однообразно и казались одним длинным, ненормальным днем. Я почти не выходил на улицу и однажды очень удивился, когда увидел, что все листья слетели с виноградника. И вот тогда-то — ура! — дядя Эркин, который столько намучился, у которого так сильно болела спина, — мы с мамой волновались и боялись, сможет ли он встать, выйти на улицу, смотреть на деревья вокруг, на людей, на небо, на солнце и кричать: "У-лю-лю! Чертовски хороша она, эта жизнь!" — он, мой дядя Эркин, встал!

Встал наконец! Крикнул:

— Магди, ко мне!

Я вскочил как сумасшедший, испуганный и радостный, побежал к нему в комнату и, весь съежившись, как будто это не у него, а у меня сейчас хрустнет спина, схватил его за руку и помог выпрямить спину, затем сбросить ноги с кровати на землю, встать.

— Вот! — весело сказал он. — Вот и все! Ура!

— Ура! Хо-хо!

— Ха-ха! Ура!

— Теперь можно обратно! Раз-два, на войну!

— Да, — сказал я, — теперь можно!

А самому, дуралею, вдруг захотелось плакать.

— Да, теперь все.

Все, дядя Эркин выздоровел. И он уедет опять в леса, о которых так интересно рассказывал по вечерам. И не будет теперь дяди Эркина. И я останусь, как и прежде, один с мамой. И нам будет скучно и тоскливо. Останется только сидеть и ждать папу с войны — больше ничего. И мама, наверное, погонит меня в школу к страшному хромому учителю.

Мама скажет: "Хватит шалопайничать. Тебе уже восьмой год пошел и пора браться за ум".

Раньше она этого не говорила и не заставляла хвататься за ум — за дядей Эркином надо было присматривать.

— Теперь все, — повторил я и поежился.

Дядя Эркин засмеялся и потрепал меня по воло-

сам — дурная привычка трепать волосы, которых почти нет, — и сказал:

— Ничего, малыш. У вас будет другой дядя. Мама возьмет другого.

— Не нужно другого. Он будет капризничать и важничать. И выплевывать лекарства обратно.

— Тот, другой, будет поинтереснее — генерал! А не солдатишко.

— Не хочу генерала! Он будет важничать. Я назло не стану за ним ухаживать.

— Чудак человечек! Генералы бывают разные. Придете с мамой в госпиталь, и ты сам выберешь доброго генерала.

Все равно мне будет плохо без тебя, дядя Эркин, нечего уговаривать. Проснусь утром, а тебя нет. Кровать пустая и холодная... Скажу "доброе утро", будешь молчать, будто обиделся. Выйду во двор, прислушаюсь — только виноградник шелестит, скучно-скучно. И на улице тебя не будет, буду ждать, ждать, и неизвестно, вернешься ли ты к нам снова с войны.

— Не бойся, — сказал вдруг дядя Эркин, — буду стараться...

— А вы зря не надеваете талисман, который дала вам ваша мама. Старики знают...

— Ничего никто не знает. Посмотрим, мальчик. Там видно будет. На месте всегда виднее.

— Вы ведь не скоро? Вам еще надо потолстеть. А на это уйдет месяц, а то и больше.

— А я на войне потолстею. Самый раз...

Ну почему ты шутишь, дядя Эркин? Видно, тебе все равно, буду я с тобой или нет. Странный вы народ, взрослые...

— Ну, хватит, — сказал дядя Эркин, — помнишь, что наказывал тебе папа — выше нос, как Буратино!

И я вздохнул, взял дядю Эркина под руку и вывел на улицу.

Вот и наша улица, даже стыдно перед дядей Эркином. А он зажмурил глаза, задышал часто-часто, глубоко-глубоко.

— Эх! — и смахнул что-то с глаз, наверное соринку. И начал смотреть по сторонам и радоваться. И опять смахнул с глаз соринку. Проклятая улица — минуту нельзя постоять, ветер обязательно сдует с крыш саман.

— Хорошо! — сказал дядя Эркин. — Замечательно, малыш! И зря ты наговаривал на вашу улицу. — Посмотрел на вывеску на наших воротах и вдруг рассмеялся: — Улица Кирпичная, дом 5.

Что тут смешного? Сегодня ему все кажется веселым, смешным. Не то что мне.

— Кирпичная! Ни одного кирпича вокруг.

— Я же говорил вам...

— В этом тоже своя прелесть, малыш. Ни черта ты не смыслишь в жизни!

И, пока мы смотрели на вывеску, смеялись, сзади послышались шаги — прямо на нас.

Полоумная Медина и ее неумная подруга Шарофат, соседки!

Я вздрогнул — смотрят так, будто мы в чем-то виноваты. А дядя Эркин, ничего не соображая, кивнул им — мол, здравствуйте.

— Это тот мужчина, соседка, — сказала Медина, презрительно кивая в сторону дяди Эркина, — которого Нора, мать этого несчастного мальчика, пригрела возле своей бесстыжей груди. А отец на войне кровь проливает и ничего, бедный, не ведает!.. Э-хе! Времена...

— Времена, времена, — закивала белой головой Шарофат. — Все смешалось. И правда и неправда. И чужие жены с чужими мужьями. И как говорится в коране: во тьме люди волкам уподобились.

Дядя Эркин стоял бледный и растерянный и все время тер себе щеку.

— И вам не стыдно?

— Ты нас не стыди. Мы чужих жен не развращаем, на чужой постели не спим. Ты отца его постыдись, не умер еще. Вы с его матерью в любовь играете, а мы, думаете, слепые и глухие? Ничего не слышим? Ничего не видим? Убирайся-ка ты подобру-поздорову с нашей улицы!

— Да что вы, черт возьми, — начал было сердито дядя Эркин, но тут у меня прошел страх. И я сказал:

— Вы злые и нехорошие! Мы еле-еле вылечили, а вы... И улица эта не ваша, а общая...

Меня никто не слушал, перебивали:

— Где это видано? У какого народа? Чтобы замужняя, неразведенная? Стыд и позор!

— Уходите вы, злые, нехорошие! Придет папа, он вам покажет! Идемте домой. — Я стал тянуть дядю к воротам, но он упирался, весь дрожал. И кричал что-то.

И так до тех пор, пока на улице не появилась моя мама.

Я бросился к ней:

— Мама!

Мама остановилась, ничего не понимая, бросила мне в руки свою санитарную сумку — и быстро к дому.

И, не обращая ни на кого внимания, — дяде Эркину:

— Как?! Я же говорила вам, еще рано! Я же говорила!.. Что здесь происходит?

Минуту все молчали, поглядывая на маму, будто видели ее впервые, а дядя Эркин пожимал плечами и, заикаясь, говорил:

— Чушь какая-то! Ей-богу...

А я протиснулся между мамой и дядей Эркином и выглядывал оттуда на злые, удивленные лица соседок.

— Кому что неясно? — спросила мама. — Я слушаю...

Но по лицу ее было видно, как она волнуется, растерялась и боится за дядю Эркина.

— Мы хотим знать, Нора, — сказала Медина спокойно, — кто этот мужчина?

— Вы об этом спрашивали в первый день его приезда. Что еще?

— Ты умная женщина, докторша, и мы тебя уважаем, но люди... они удивляются...

— Чему же?

— Как это, чужой мужчина...

— Эркин лечится в моем доме. И пусть это вас не волнует!

— ...Ты женщина замужняя...

— Так что же? Не понимаю.

— ...и мы думаем, что твой муж, Анвар, наш уважаемый инженер...

— Будет огорчен, так? Так знайте все, что мой муж инженер Анвар, он рад, он доволен!.. Надеюсь, после такого объяснения всякие разговоры прекратятся... Но, если бы даже мой муж инженер Анвар не был бы рад и доволен, все равно Эркин должен лечиться в моем доме!.. Что еще?

Вопросов больше не было.

— Идите домой и ложитесь, — строго приказала мама дяде Эркину, и он пошел, лег на кровать и стал смотреть на тени на потолке. А мама как ни в чем не бывало начала готовить шприц для укола.

Мне же все было очень и очень непонятно. При чем здесь папа? Непонятно. И что плохого, если мама взяла из госпиталя совсем умирающего дядю Эркина и сегодня наконец он встал? Взрослые должны радоваться, а они... И что тут плохого, если дядя Эркин очень хорошо относится к маме, ждет ее целыми днями из госпиталя, и радуется, и чуть не прыгает до потолка, когда она приходит и начинает делать ему больный-пребольный укол? И мама, я замечаю, в последнее время часто сидит с дядей Эркином, они разговаривают вполголоса,

иногда смеются, и им обоим хорошо и весело. Что тут плохого? Непонятно. И папа, когда мы ему написали про дядю Эркина, похвалил маму и прислал ей вырезанный из картона орден, где было написано: "За милосердие, 1-й степени", — и обещал ей настоящий, когда сам заработает.

— Магди, — позвала меня мама. — Иди посиди с дядей. Я на кухню.

Я зашел к дяде в комнату, а он даже не пошевельнулся, смотрел на потолок.

— Ладно, — сказал я, — не переживайте. Мы их победим, этих старух. Ерунда!

— Да, — сказал дядя Эркин, но очень тихо, — ерунда. Откуда ты знаешь, что ерунда?

Он подвинулся, и я сел на край кровати.

— Расскажите мне лучше про лес, — сказал я, — про тот самый лес.

— О, как много я уже тебе рассказывал!

— Я люблю слушать про лес.

— Ладно, — сказал дядя. — ...В том лесу... Мы идем, идем по лесу, целый отряд, много солдат. Идем день, два, идем, идем, а лес все не кончается. И вдруг темно и ничего не видно. Ни дороги. Ни огня. Страшно. Идем тихо, осторожно... Вокруг немцы. Много немцев... И вдруг один солдат не выдерживает и кричит: "Мама, мама, окликни меня в лесу! Помоги мне, мама!" И тут немцы начинают стрелять... Строчат из пулеметов, пушек, танков. А солдат все кричит: "Ок-лик-ни ме-ня в ле-су..."

И тогда командир вырывает из своей груди сердце, горящее, ослепительное сердце, и, высоко подняв над головой, ведет нас по лесу уже не страшному и светлому... И звали этого командира Данко...

— И все?

— Да.

— А дальше? Они вышли из леса? Солдат успокоился?

— Остальное завтра. Тебе пора спать.

...И я иду по лесу. И кругом темно и страшно. И страшные коряги протягивают руки, чтобы схватить меня. Я кричу, хочу бежать. Но ноги будто привязаны к земле. А с дерева на меня смотрит Баба Яга, очень похожая на Медину. Смотрит и смеется противным смехом:

— Ха-ха! Вы еще ответите перед всей улицей...

А с другого дерева другая страшная старуха, Шарофат.

— Времена, времена... Да, ответите за все. — И протягивает ко мне руки и хочет задушить.

— Мама! — кричу я. — Мама, окликни меня в лесу! Помоги мне!

Кричу и не слышу своего голоса. Онемел от страха.

— Что с тобой, малыш, успокойся! — мама обняла меня, начала целовать.

Я открыл глаза: наша комната, мама, дядя Эркин, ночь.

— Мама, — прошу я, — не надо от меня скрывать. Что случилось? Чего хотят эти старухи? Я хочу знать, все хочу знать!..

— Умоляю вас, реже попадайтесь на глаза этой Медине, — сказала мама дяде Эркину, — она полоумная и может натворить глупостей.

— Спасибо, спасибо за все! Я уже вполне здоров. И скоро смогу опять на фронт.

Дядя встал и начал браво, как оловянный солдатик, расхаживать по комнате, а мама кричала ему:

— Ну, хватит, хватит. Хорошего понемножку. Не переутомляйтесь. — И они оба рассмеялись — так им было весело.

Странные они, эти взрослые. Часто смеются просто так, безо всякой причины, но у мамы и дяди была причина — дядя почти выздоровел, и пусть они смеются, пусть смеются побольше, потому что мама так давно не радовалась и не смеялась.

— Как хорошо снова жить, ходить, это очень здорово! — говорил дядя. — Я всегда буду помнить, что живет на свете женщина, которая помогла мне в беде. И эта женщина вы, Нора.

— Ну что вы! Зачем такие высокопарные слова?

— Это радость, поверьте мне.

И так они, взрослые, говорили и говорили в тот вечер, клянясь друг другу в признательности, и это меня смешило. Затем дядя Эркин сказал:

— Сегодня ровно три месяца, как я у вас в доме. Двадцатого августа — двадцатого ноября. Двадцатое число каждого месяца — это мой праздник. Представляете, Нора, какой я богатый — двенадцать праздников в году, каждый месяц — праздник!

И вдруг дядя Эркин сделал такое, что я просто ахнул. Он взял маму за руки, и они стали медленно передвигаться по комнате под грустную мелодию, которую

напевал дядя. Они совсем забыли обо мне, танцевали и смотрели друг на друга.

Я сидел и любовался ими. Еще никогда я не видел, чтобы у дяди было такое доброе и чуть грустное лицо. А мама, никогда бы не подумал, что она может так красиво танцевать, никогда я не видел, чтобы она танцевала с папой. Просто, наверное, папа не умел или не хотел, ему было не до танцев.

Дядя был в два раза шире мамы и почти в два раза выше, он был неуклюжим оттого, что рана не совсем зажила.

Они танцевали очень долго, потому что мелодия, которую напевал дядя, оказалась очень длинной.

Затем мама увидела, что я смотрю на них, и сказала дяде:

— Возьмем с собой мальчика.

И я стал между ними и тоже закружился, смеясь и напевая мелодию дяди...

Я совсем не знаю, спит мама все эти дни или нет. С вечера уйдет в комнату дяди Эркина и снова выносит оттуда ведро, полное жуткой и страшной ваты и ампул, бегает, суетится и совсем не отдыхает — все свое время, сон, еду, отдых отдает тому, чтобы окончательно вылечить дядю Эркина.

А по утрам проснусь я и сразу вижу их у окна — маму и дядю Эркина, — смотрят, как приходит в сад солнце, говорят тихо, вполголоса, словно боясь испугать солнце и новый день. О чем же они говорят? Прислушался как-то. И ничего не понял. Просто об осени, о листьях виноградника, будто ничего другого и нет на свете.

В те дни мы получили письмо от папы. Опять же он больше писал о нас, чем о себе. Единственное, что можно было узнать из его письма, это то, что он целыми днями и ночами идет с солдатами мимо деревень и городов. Непонятно, что это за война, если солдаты только тем и занимаются, что топают. Можно подумать, что война — прогулка по красивым местам, и больше ничего.

Мы тут же сели с мамой писать ему ответ. Вначале мама написала все то, что хотела сказать сама...

"Дорогой Анвар. Скорее бы кончилась война, ты представить себе не можешь, как мне трудно без тебя, родной. Эркин уже выздоравливает, выходит с Магди на улицу. Как я измучилась с ним! Но он хороший и добрый и совсем не капризный. Почему ты так мало пишешь о себе? Я совсем не знаю, как ты там, и мне становится порой очень страшно. Смотрю на Эркина и думаю, как мучается человек, как все нелепо бывает. Его ранили в самом первом бою. Но он уже выздоравливает и скоро отправится на фронт. А вдруг вы там встретитесь, вот будет интересно!..

Все Эркин да Эркин... Эркин то сделал, Эркин то сказал... Ладно, зато я не скажу о нем ни слова, назло маме.

"Папочка, я уже вырос. Все ходят в школу, а я нет. Решил подождать. Вот приедешь ты, тогда буду учиться, а сейчас учеба не лезет в голову. Все думаю о тебе..."

Мы сидели с мамой во дворе и грелись на солнце. Дядя Эркин спал. Мама только что перевязала ему рану, и он уснул.

— Скоро будет долгая, очень долгая зима, — сказала мама.

— А я люблю снег! Ты же знаешь, как я люблю снег!

— Бежишь в госпиталь, а на улице еще темно, — думая о чем-то другом, сказала мама.

Я давно хотел спросить у нее:

— Мама, скажи, дядя спит, я сплю, и папа, наверное, в это время спит на войне, только ты не спишь. Я же слышу, ворочаешься в кровати за стеной. Почему?

— Я слежу, как бы дяде ночью не стало плохо.

— Помнишь, у папы было что-то нехорошее на работе и вы не спали. Говорили мне, спи, а сами не спали. Если бы ты мне рассказала, тебе было бы, наверное, легче.

Но она ничего не ответила, только прижала меня к себе.

И еще она часто рассматривала папины вещи, возьмет папину рубашку, и сидит, и рассматривает... И еще перечитывает все папины письма. И ничего не говорит мне. Думает о чем-то, думает.

Я ей говорю:

— Тебе нельзя так много думать, будет склероз. Помнишь, ты папе запрещала много думать, говорила, что будет склероз.

Как бы я хотел превратиться в волшебника, тогда бы я сразу узнал, что у мамы на сердце и отчего она так много думает. Помню, волшебник из сказки любил повторять: один ум хорошо, а два лучше.

И тут пришло письмо от папы.

— Магди, — услышал я голос Марата, выскочил на улицу. — Станцуй, — сказал Марат.

— Некогда. — Я выхватил у него письмо и побежал к маме. — Письмо от папы! Станцуй!

— От папы? — Она не вскрикнула, как всегда, не обрадовалась. — Что-то невообразимое, — сказала она. — Я только что думала о папе — и вдруг от него письмо. Как будто он чувствует...

Странно, читала она его смешное и веселое письмо и плакала.

Целый день мама была грустной. Все падало у нее из рук, упало ведро, разбилась ампула с лекарством. Потом она заперлась в своей комнате и не выходила ни ко мне, ни к дяде Эркину.

Что происходит с моей мамой, не знаю.

Тогда я ведь очень многого не понимал, не понимал, что она мучилась и не знала, что поделать с собой, со своими чувствами...

"Здравствуй, дорогая мама. Я очень скучаю по тебе. Виноград был такой вкусный, что у всех солдат прямо слюнки текли. Но я поделился с ними, я же не скряга. Не бойся, мама, меня не убьют, я буду стараться, чтобы меня не убили, буду смотреть в оба. И твой талисман я всегда ношу с собой, и он спасает меня от смерти..."

— Хватит, — кричу я, — хватит о смерти!

Марат бросает карандаш.

— Пиши дальше ты. Я не могу. Не могу обманывать больше! А что мы напишем, когда кончится война, что?

— Иди тогда, признавайся. Скажи Лейле-апе — ваш Хаким давно умер. Это мы пишем вам письма за него.

Мы всегда злимся друг на друга, когда сочиняем письма умершего сына матери. Каждый из нас почему-то чувствует себя виноватым в том, что его убили. Но как пойти и сказать матери, что ее сына больше нет, и зря она пишет ему письма, и он их уже давно не читает?

И вот каждую неделю мы пишем матери письма умершего сына, и Марат читает их ей — она полуслепая и не видит, что почерк не дяди Хакима. Потом она диктует ответ, и Марат пишет умершему сыну от матери. Она говорит очень трогательные слова, и когда мы слушаем их, у нас по коже бегают мурашки оттого, что нет его уже, ее сына.

Сегодня моя очередь сочинять письмо. Я придумал сказку о лесе и о папе, и она так и вертится у меня на языке, так и хочется, чтобы сын писал матери:

"По темному лесу мы идем с солдатами, и с нами папа Магди. Помнишь, живет на нашей улице мальчик Магди, худенький, длинноногий? И вот мы идет с его папой, инженером Анваром, побеждать врагов. В лесу то вспыхнут глаза волка из-за кустов, то Баба Яга оскалит зубы, сидя на дереве... А деревья шумят, потому что все они заколдованные, и гром гремит, и молнии сверкают... И кто-то из солдат не выдерживает и начинает кричать: "Мама, мама, окликни меня в лесу, приди и помоги мне!" И тут папа Магди, инженер Анвар, вырывает из своей груди сердце, большое, сильное, яркое, как солнце, и ведет за собой солдат. И лес расступается, и убегают волки и Баба Яга, и успокаиваются деревья. И солдаты разбивают всех немцев, и мы побеждаем..."

Мы так и пишем. Дарим матери мою сказку. Пусть ей будет легче жить и верить...

Просто невозможно ходить по нашей улице. Выйдешь, обязательно увидишь, как полоумная Медина шушукается с какой-нибудь соседкой. О нас шушукаются, о маме и дяде Эркине, зло так, противно.

Что бы ей такое сделать, чтобы она замолчала?

А тут еще дядя Эркин тоску нагоняет своими расспросами: что, как?

— Что-нибудь опять говорила эта полоумная Медина?

— Нет, ничего!

— Говорила же, вижу по твоему лицу. — А сам побледнеет, или мне так кажется, не знаю.

Почему он такой, дядя Эркин? Неужели он боится их? Я маленький и то не боюсь ни капельки, а он...

Зато он был очень талантливый в детстве, не то что я. Играл на скрипке, да так, что все родственники плакали от умиления.

— А почему вы не стали великим музыкантом? — спросил я. — Ведь все, кто с детства играет, становятся великими.

— Бросил. Отец у меня был свирепый. Взял и сломал скрипку, когда увидел, что я всерьез занялся. Для него не существовало такой профессии — музыкант.

— Странный отец. А вы?

— Я горевал и даже заболел. Но потом свыкся. Глупый был.

— Я бы ни за что!

— Знаю, ты герой... Мой отец знал всего лишь семь букв алфавита. Считал центром вселенной сельсовет. Рассказывают, что, когда я вылупился на свет, он прибежал с поля, прогнал всех старух-богомолок и положил рядом со мной куст хлопка — на счастье!.. Хотел, чтобы я, как и он, рос с хлопком и любил землю. А я заупрямился, бросил все и уехал в Ташкент, и выучился там. Стал преподавателем.

— А у вас есть дети, дядя?

Он ответил не сразу. Пощупал горло, будто ему трудно стало дышать.

— Один я... — ответил он тихо. И добавил: — Мать умерла, и отец в прошлом году... Тебе хорошо, мальчик, у тебя такая мама...

Мы немного помолчали.

— Что ж, — сказал я, — ничего не поделаешь, надо принимать лекарство.

Бедный дядя Эркин молча соглашается. И я смот-

рю, как он глотает таблетку, и думаю: наверное, в животе у него накопилось больше тысячи таблеток. И непонятно, как это туда еще вмещается пища. Я бы не смог так, я бы кричал, швырял таблетки, а он глотает, глотает, глотает их без конца.

После таблетки дяде надо немного полежать вверх спиной, потерпеть. Он весь становится красным, как апельсиновая кожура, морщится и кусает губы от боли. И я пугаюсь, не знаю, как помочь ему.

Вот и сейчас, не успел он полежать две минуты, как начинает ерзать, будто лежит на горящей постели, стонет.

— Дядя, еще чуточку, еще чуточку, сейчас пройдет...

Дядя Эркин сбрасывает с себя одеяло. Пытается встать. Я помогаю ему, подвожу к окну. Он смотрит в окно и вдруг принимается насвистывать. Вначале еле слышно, потом сильнее. И забывает обо всем на свете, обо мне, о боли в спине. И смахивает что-то с глаз, наверное, соринку.

— Дядя...

Он берет палку, на которую опирается, и линейку со стола, вытягивает руку и играет. Будто это не палка, а настоящая скрипка, а я — полный зал слушателей.

Вот это да! Вот так дядя — настоящий музыкант!

— Что-нибудь веселое, дядя!

Он кивает, кланяется публике.

Все кружится вместе со мной, танцует. Стол на пузатых ногах топ-топ-топ, кастрюля, обнявшись с кружкой, тук-тук, и папин сапог тоже не выдерживает — том-том, и стекла на окне качаются, дрожат — дзинь-дзинь.

Вот это да! Вот так веселье! Такого веселья у нас давно не было!

7

Я всегда радовался зиме, ждал ее. Чистый снег на винограднике, на крышах, на шапках людей закрывал и прятал все гнилое, грязное, и все после зимы рождалось новое и хорошее, до следующего лета, пока на крышах опять не набирался мусор, а на винограднике— гнилые листья и ветки. Я всегда радовался зиме, ждал ее, но эта зима принесла в наш дом снова грусть, тревоги, потому что дяде Эркину снова стало плохо. Рана на спине у него закрылась, и мама больше не выносила на улицу противную вату и бинты, зато дядя начал мно-

го и долго кашлять, и кровь теперь шла у него из горла.

Что случилось с ним, с моим дядей? Что сделала с ним предательница-зима, которую я так ждал — думал, мы с дядей будем кататься по снегу, бегать, и смеяться, и дышать глубоко-глубоко чистым воздухом.

Я знал, это проклятая, полоумная Медина накликала на дядю беду. Говорят, она ходила к соседу Калантару, просила, чтобы он послал дяде смерть, а маме — муки ада. Ничего, приедет папа, он отомстит ей за все, если дядя Эркин сам не захочет мстить. Мне кажется, что дядя боится Медину и всех соседок, иначе он бы встал, пошел и заткнул бы им рот. А он... Он только спрашивает, что говорила Медина. Как она говорила? А мама вовсе не обращает на них внимания, она молодец. Глупости, пусть говорят, что хотят, мне все равно — вот слова мамы. Как это смогла она стать такой храброй, непонятно.

Однажды к нам в дом пришли сразу шесть врачей, и, когда они, осмотрев дядю, ушли, мама закрылась в своей комнате и начала плакать.

Мама плакала потому, что столько ночей не спала и сидела с дядей, а ему опять стало плохо. Она плакала потому, что сделала бедному столько уколов, ему было больно и страшно, а теперь опять все пошло сначала. Она плакала потому, что дядя выходил уже на улицу и играл на скрипке, а теперь не мог, и надо было снова лежать и ждать выздоровления.

Бедная мама, она снова начала ходить в старом платье, забыла, что она женщина и надо мазать лицо кремом. И снова все стало падать у нее из рук, и не было больше моей веселой, счастливой мамы, мамы, которая ходила гордо оттого, что очень нужна дяде, что делает ему добро, что и она теперь может быть кому-то полезной.

Но что же все-таки случилось с дядей Эркином? Я спрашивал об этом у мамы, но она твердила одно: "Все будет хорошо, все будет хорошо".

И только лет через десять, когда многое уже начало забываться, я случайно нашел в столе у отца наши с мамой письма. Среди них было одно, которое мама отправила отцу без меня, хотя все остальные писали мы вместе.

"Дорогой Анвар! Не знаю, как тебе рассказать. Случилось такое несчастье... Эркин болен. Он страшно болен. Что делать? Посоветуй мне. Как спасти его? Умереть сейчас — разве это справедливо, скажи мне, справедливо, ведь ты все знаешь, Анвар, умоляю..."

8

— Побежали в мечеть, — задыхаясь, сказал Марат, и мы по задворкам пробрались к мечети, полезли на самый ее верх, к куполу. Там было круглое отверстие, откуда можно наблюдать за всем, что творилось внутри мечети.

Старики, галоши, чалмы и ишан Калантар. Все это внизу, все перемешано, разные краски и запахи. Противные запахи заплесневелых стен вытягиваются в отверстие и не дают нам дышать.

Вот уже закончилась молитва, и верующие, поговорив с богом, окружили Калантара. А он, полон достоинства, мудрости, подняв руки к небу, сказал:

— О, мусульмане! Мы должны сегодня решить вопрос чести и благопристойности...

Марат был сосредоточен и хмур, а меня почему-то разбирал смех — вспомнил, как мы с дедушкой кричали: "Шарабара, продаем, меняем старые галоши на новые".

— В мудром писании говорится: и, когда начнут жиреть и в беспечности забывать о боге, появится на небе черная звезда несчастий, посланная богом, и тогда люди, как шмели бешеные, станут жалить друг друга...

Это он об отце своем вспомнил, как тот, бедный, скончался, проглотив во сне шмеля.

— Да будет вам известно, что война — это и есть та черная звезда несчастий! И да будет вам известно, что сами же узбеки, забывшие о боге, накликали на головы своих собственных детей эту черную звезду...

— Интересно, да, Марат?

— Тише!

— Выходит, наши отцы сами накликали черную звезду?

— Замолчи!

— И в то время, когда мужчины умирают на войне за веру нашу, против проклятых кафиров[1], жены их... о, да простит мне аллах, забывают о чести и совести...

И вдруг все закричали: "Правильно!", — все зашушукались, заволновались, непонятно отчего.

— Все вы знаете докторшу Нору, жену инженера Анвара...

И все сказали:

— Знаем!

И еще больше заволновались.

---

[1] К а ф и р — неверный, христианин.

Нора? Кто это Нора? Это же моя мама. Жена инженера Анвара.

— Женщины раздражены ее поведением. Они негодуют, страдают. Они приходят ко мне, они просят, умоляют, чтобы мы с вами, братья, установили наконец, нет ли в ее отношениях с тем мужчиной чего-нибудь такого, что порочит скромное, стыдливое имя узбекской женщины.

— Она совсем забыла о своем муже! — закричал Мекка, муж полоумной Медины. — Жена моя узнала об их порочной связи.

— Это позор! Что, если наши дочери возьмут с нее пример, с этой докторши?

— Мы, мужчины, станем посмешищем, жены уйдут из-под нашей власти!

— И распадутся семьи, как говорится в коране, и начнется кровосмешение, и исчезнут роды. Гнать их с нашей улицы! Гнать!

Я кусал губы со злости и шептал Марату:

— Ерунда! Ничего они не сделают. Это не их улица, а общая.

— Надо бежать и предупредить твою маму.

— Приедет папа... он покажет им...

— Неправда! — вдруг послышался голос там, внутри мечети.

"Кто это посмел?" — старики зашевелились, зашушукались.

— Неправда это, уважаемый! — Сираж-бобо, тот, который по утрам пускает вату в сторону солнца, вышел из толпы и сказал Калантару: — При всем моем уважении к вашей седой бороде (откуда он взял у Калантара седую бороду?) я не могу согласиться... Она лечит чужого человека. Она ему помогает. Она делает добро. И в коране нашем говорится: "Да славится тот, кто в трудную минуту протянул руку страннику". — Он говорил торопливо, обращаясь то к одному, то к другому старику, которые слушали его с презрением: — Хоть убейте меня, не согласен.

Калантар махнул рукой, как будто говоря: отстань, дурак.

— Сейчас война. И она помогает тем, у кого горе и боль. Мы не должны быть с ней жестокими.

— Выходит, я не прав? — сказал Калантар, противно усмехаясь. — Вы слышите, мусульмане, я не прав!

— Он с ума сошел! — раздались голоса.

— Гнать его из мечети!

Но Сираж-бобо, набравшись храбрости, закричал на Калантара:

— Ответьте мне, вы, наш отец, ответьте мне: зачем понадобилась богу душа моего двадцатилетнего сына? Невинного, кроткого, как агнец? Зачем? Немцы убили его, и бог взял его душу! Зачем?

— За грехи такого осла, как ты, — ответил Калантар, не задумываясь.

— Если богу так нужна душа, пусть он возьмет мою, старую. Я уже прожил свое. А он был молодым, он ничего не видел, он хотел жить. — Сираж-бобо заплакал.— Бог жесток, — продолжал он сквозь слезы, — и всегда он приходит за своей жертвой не вовремя. И берет того, кого не нужно, без разбора.

— Да замолчи ты!

— Сумасшедший!

— А эта женщина делает добро. Она все бы сделала, чтобы спасти моего мальчика, но бог его взял. Я преклоняюсь перед этой женщиной. А богу я говорю: ты жесток! Пусть он меня судит.

И все расступились перед ним, и Сираж-бобо медленно пошел сквозь ряды злых и противных людей...

Мы побежали домой. Я ходил по двору, прислушиваясь, затем пришел к дяде Эркину.

— Ничего они не сделают, не бойтесь! — Я закрыл дверь. — Сейчас пойдет дождь. И они побоятся.

— Они идут сюда?

Дядя побледнел, сел на кровать.

— Нет! Сейчас пойдет дождь. Скорее бы пошел дождь.

— Сейчас придет мама.

— Да, мама придет сейчас.

— Черт возьми, пусть они приходят! Они мне снились, эти призраки. Пусть скорее! Скорее же! — закричал он.

— Ложитесь, дядя, умоляю вас.

И тут начали стучать в дверь. Тихо, потом громче.

— Это ветер. Да, ветер.

— Иди, открой, Магди, не бойся!

— Докторша Нора, откройте!

— Это Калантар!

— Открой! — закричал дядя, не в силах встать сам.

— Голос мамы! Мама пришла, дядя!

Я бросился на улицу. Мама и Калантар... еще двое стариков.

— Мама! От папы письмо.

— Мы пришли, уважаемая докторша, от имени

мусульман и всех жителей улицы, — сказал Калантар.

— Прошу, заходите.

— Нет, нет.

Один из стариков, Мекка, злой, трет шею, руки, будто жарко. Второй, Сафар, смотрит в землю, качает головой. И еще какие-то люди бегут, еще дети. Медина возле своих ворот.

И мама все время поправляет волосы.

— Так что же вы решили узнать? Хотя, насколько я понимаю, от имени улицы всегда говорит домоуправ.

— А ты не хитри, не хитри! — Медина подбегает к маме и бьет почему-то себя в грудь. — Бесстыжая!

— Мы очень уважаем вас, докторша. И хотим уберечь от непродуманных поступков, которые, знаете ли, могут бросить тень на вашу семью.

— Магди, ты что здесь делаешь, иди к дяде, я сейчас...

— Почему ты, дочь таких почтенных родителей, жена человека ученого, сама ученая, привела в дом чужого мужчину? — спросил Мекка у мамы, и Медина поддакнула.

— Я врач, он раненый, и я обязана его лечить.

— Он твой любовник! — бьет себя Медина в грудь.

— Вы, наверное, забыли, что идет война. Он раненый, я должна вылечить его. — Мама была очень спокойна.

— А как же ваш муж, инженер? — спросил Калантар. — Я спрашиваю от имени всех мусульман.

— Я бы вам объяснила, Калантар, но ведь вы не поймете... Эркин! — закричала мама. — Не выходи!

Но дядя не послушался. Все отступили, увидев его, бледного, очень больного, еле переступающего через порог на улицу.

— Насколько я понимаю, речь обо мне? — он улыбался как-то очень странно, глаза его блестели. — Что ж, я готов! Обвиняйте меня!

Все молчали. Мама бросилась к нему.

— Магди! Его надо в постель!

— Только не трогайте ее... Она ни в чем не виновата...

— Ведите его в дом, — сказал кто-то. — Ему очень плохо.

И соседи начали расходиться. Калантар, Медина, старики — все исчезли. А мы уложили дядю в постель, и он забылся, потерял сознание.

А утром кто-то разбил о наши ворота сразу несколько бутылок, и порог дома был усыпан осколками.

Это значит, что соседи отвернулись от нас, объявили нам войну.

Что ж, ладно! Посмотрим, кто кого!

Я нашел в чулане банку с черной краской и рано утром перебежал улицу и всю краску вылил на любимые ворота Медины! Пусть теперь позлится!

И еще я решил написать папе, чтобы он прислал мне бомбу.

"Дорогой папа, пришли мне как-нибудь незаметно бомбу. Нет, только не подумай, что фашисты захватили наш город и держат маму в плену и мучают меня, чтобы я перешел на их сторону. Этого вовсе нет, если бы фашисты сунулись сюда, мы бы с Маратом ушли в партизаны и поймали бы самого главного фашиста, когда он проезжал бы на мотоцикле. Мы бы его допросили, а потом...

Я не знаю, что бы мы с ним делали, что-нибудь придумали бы.

Пришли мне, пожалуйста, бомбу. Это очень важно, и без бомбы я просто не знаю, как быть дальше".

Так я сидел и сочинял в уме послание папе, пока не прибежала к нам Медина вся, как ведьма, в черной краске.

— Убили меня! Хотели потопить в краске! Чтобы вы сгорели на медленном огне, чтобы на ваш дом чума налетела!

Мама растерялась от ее крика, а я спрятался. Мама спрашивала, что случилось, но Медина кричала как чумная, и ничего нельзя было разобрать, кроме угроз. Мама не выдержала и закрыла перед ней дверь на задвижку. Медина еще долго кричала и стучала кулаками в дверь, и это действовало на нервы дяде Эркину.

— Ну чего они все хотят? Чего? — не понимал он.

— Не обращай внимания, — сказала мама как можно спокойнее.

— Думал, скоро все кончится — уеду, забуду! Но нет же, нет! И кончится ли все это, Нора?

— Ты обязательно поправишься. Это от зимы, от зимы у тебя все началось снова.

— Ты что-то скрываешь, Нора. Я знаю, как тебе тяжело. Не мучайся со мной, прошу тебя. Отвези меня в больницу.

— Верь мне, все будет хорошо.

Мама вошла в мою комнату, где я спрятался от Медины за шкафом, остановилась у окна и заплакала.

Я вылез из-за шкафа. Мама вздрогнула. Обняла меня.

— Прости, мама, я больше не буду обливать краской ворота Медины.

9

Часто, когда дяде становилось очень плохо, мама выбегала во двор и кричала:

— Магди, скорее!

Это значит, что мне надо было бежать в госпиталь и звать докторшу тетю Зульфию маме на помощь. Потому что маме казалось, что одна она уже ничего не сделает. Тетя Зульфия прибегала, что-то объясняла маме, успокаивала ее, они вместе возились с дядей Эркином, пока ему не становилось легче. Маме очень нужен был кто-то из взрослых, кто бы ее подбадривал, вот тетя Зульфия этим и занималась.

Сегодня тоже пришлось бежать в госпиталь за тетей Зульфией. Женщина с красной повязкой у ворот уже знала, что мне нужно, и вела меня по коридорам мимо раненых; и я не боялся их, как раньше, разглядывал и уже мог определить, кто из них солдат, а кто генерал.

— Куда же она пропала, Зульфия? Вы не видели Зульфию? — спрашивала женщина у каждого. А я торопил ее:

— Скорее, скорее, мама просила скорее!

И мы опять шли и шли по коридорам, заглядывали в палаты, но тети нигде не было. Где же тетя Зульфия? Мне чудилось, что мама зовет все время меня и тетю, что ей очень плохо.

Но оказалось, что тетя Зульфия поехала на вокзал встречать новых раненых.

— Как только она приедет, я пошлю ее к вам, — сказала женщина.

Я бежал домой и думал, что бы сказать маме такое, отчего бы она успокоилась.

Кто это выходит из наших ворот? Дедушка! Милый дедушка приехал, как всегда, нежданно-негаданно.

— Обманщики и ханжи! — кричал он, перебегая улицу. — Дышать нечем на этих улицах! Все загадили.

Видно, кто-то его встретил и насплетничал насчет мамы, вот он и вышел из себя.

— Дедушка! Милый!

Я обнял его — так соскучился! Он только раз не очень ласково поцеловал меня и пошел дальше. Я бросился за ним.

— Вернись, это не детское дело! — закричал дедушка.

— Я тоже хочу отомстить Калантару! Я так ждал тебя!

— Ишан! — Дедушка заколотил своими ручищами по воротам Калантара.

— Калантар! — закричал я. — Если ты не трус, выходи!

Калантар вышел к нам в чистеньком халате, без чалмы, совсем домашний и не похожий на того, которого я видел в мечети.

— О, друг мой! — Он бросился обнимать дедушку.— Рад видеть человека, которому дороги судьбы нашей религии! Прошу в дом. И тебя, мальчик. Хоть ты и обозвал меня в тот раз, но я простил. Ибо в коране говорится: "Нет греха у того, кто не достиг еще семи лет".

— Ему уже больше семи, — сказал дедушка, — но не в этом дело.

— Заходи, брат мой, в этот приют для странников.

Он повел нас в дом, в такой же, как и наш, с виноградником во дворе. А мне всегда почему-то представлялось, что дом у Калантара мрачный и темный, там бродят дикие, тощие кошки и с деревьев во дворе смотрят на вас филины.

— Ты обвинил меня когда-то в жульничестве, брат мой, — сказал Калантар дедушке. — Но теперь ты видишь, что я беден и нищ. Я сплю на дырявом одеяле, посмотри; и сандал мой совсем без угля. Мне важен дух бога, а не мирские сладости. Я все раздал беднякам. И властям я отдал два мешка муки для армии — вот справка... Садитесь, гости мои, грейте ноги в сандале. Я растопил его из старых, дорогих моему сердцу книг, иначе бы я замерз... Угощайтесь кишмишом, спасибо теще, прислала из деревни, чтобы я не умер с голода.

— Хватит, — сказал дедушка. Он не садился. — Все это я слышал сотни раз. Я хочу знать другое: почему ты проклинаешь мою дочь?

Калантар протянул дедушке поднос с кишмишом.

— Ешьте, гости мои, не обижайте...

— Что она сделала, моя дочь?

— Бери, мальчик, кишмиш. Ты любишь кишмиш?

— Нет!

Дедушка и Калантар помолчали.

— На то воля мусульман, — сказал Калантар. — Они потребовали, и я подчинился.

— Что сделала дурного моя дочь?

— Люди говорят, что она и этот мужчина... Она с этим мужчиной. В то время как муж ее на войне, рядом со смертью.

— Ее вина в том, что она помогает этому несчастному раненому?

— Прости, но люди говорят, что еще хуже...

— Дочь моя кроткая, любящая мать и верная жена. У нее и в мыслях не бывает дурного. И он болен, этот человек. А у этой толпы ослиц и бродяг есть доказательства? Кто поймал ее на месте преступления?

Калантар молча развел руками.

— Кто, назови!

Калантар протянул дедушке подушку:

— Приляг, брат мой, дай отдохнуть своим костям.

— Я плюну сейчас в твою бороду!

— Брат мой, успокойся.

— Допустим, она даже сделала зло. Но всякому злу есть только один судия — это бог. И ни ты, ни толпа этих ослов, ни мечеть — никто не имеет права судить человека. Ты опять нарушил предписание шариата[1], в тысячный раз нарушил, бычья твоя голова! А Нора моя чиста как слеза, которую она пролила сегодня при виде меня.

— Ну, если ты так уверен...

— Уверен! И хочу, чтобы ты не трогал ее больше. И унял эту толпу сумасшедших, этих ублюдков, которые воображают из себя людей бога. Все... Не хочется мне сегодня злить себя, хватит. Идем, Магди!

— Дай бог, чтобы в вашей семье было все благополучно. — Калантар протянул руки к потолку. — Аминь!

Когда мы вернулись домой, дедушка остановился во дворе, что-то обдумывая, затем помыл руки, долго вытирал их. И зашел к дяде в комнату.

Дядя привстал, увидев его, улыбнулся.

— Лежите, лежите... Выздоравливаете?

— Как будто бы да.

— Ничего, ничего. Я привез дыни. И сухих фруктов. Пойдет вам на пользу.

Затем спросил у мамы:

— Как ты тут, Нора? Трудно тебе очень? Что пишет Анвар?

— Пишет, что воюет. О чем он еще может писать. Долго ты не приезжал, отец.

— Дела, дочка, год был трудным. Воды в реках мало. И хлопок не рос. Кое-как выкрутились.

Я послушал их немного, пошел в свою комнату и лег на кровать. И почувствовал, что страшно хочется спать. Никогда еще такого не было. Наверное, это от

---

[1] Шариат — свод религиозно-нравственных законов.

волнений, потому что волнений сегодня было больше, чем надо. Вот я и уснул средь бела дня.

Проснулся и увидел Марата. Он дергал меня за руку и чуть не плакал. Я вскочил.

— Что случилось? Где дедушка?

— Дедушка уехал. Он торопился.

— Зачем?

— И дядя ушел.

— Куда? С дедушкой?

— Нет. Дедушка сам по себе. А дядя сам по себе, — сказал Марат и, схватив свою сумку, убежал куда-то.

Я бросился в комнату дяди. Потом к маме.

— Мама! Мама! Почему вы молчите? Где вы? Где дядя? Почему вы спрятались? Я же вижу, вы спрятались! Я же вижу!

Сейчас они выйдут все втроем — мама, дядя и дедушка — и засмеются. И скажут...

— А! — закричал я.

— А! — закричало эхо. И стало опять тихо.

Я кричал и бил кулаками в дверь. Потом упал на кровать дяди Эркина, на еще теплую, пахнущую лекарством, дядей кровать и заплакал, уткнувшись в подушку.

А когда выплакался, понял, что дяди Эркина больше нет.

Зачем ты ушел, дядя? Знаешь, как обрадуются теперь Медина и Калантар, выходит, они победили нас. А что мы скажем папе? Как он будет сердиться на маму, на меня за то, что мы не смогли удержать тебя! Мама такая храбрая, не побоялась их, смеялась им в лицо, а ты, мужчина... Эх, дядя, дядя...

Я молчал, не говорил тебе, даже себе боялся признаться... Но я немножко стыдился за тебя, понимаешь? Перед Маратом, перед мамой и даже перед собой. Но ведь он тяжело болен, он не мог... Все равно. А как же на войне? Папа пишет, что даже тяжелораненые и те сражаются...

Я уверен, что он трус. И сейчас он струсил. А трусов я терпеть не могу. Нет, я не могу ему простить. Он испугался. Сбежал, бросил нас. Мама столько лечила его, переживала, а он обманул и сбежал. Ну и пусть. Пусть он уходит. Не нужно мне такого дядю...

— Не нужно! — закричал я. И краешком уха слушал, не идет ли он назад. Если бы он вернулся... я бы простил... Вот сейчас, вот сейчас если бы он вернулся...

Нет, не простил бы. Он трус!

Я толкнул дверь. Выбежал во двор. Тихо. Никого.

— Мама!

Мама, что с тобой? Ты сидела почему-то на полу. Ты сидела так час, два, не меняя позы, будто превратилась в каменную.

— Мама!

Я звал тебя, кричал и плакал от страха, но ты не откликалась.

Мне почему-то было боязно дотронуться до тебя. А что если ты спросишь, где дядя? Что я скажу тогда? Мне было стыдно за него. И больно за тебя, мама. Разве можно было простить ему трусость? Нет! Но зачем, зачем ты так страдаешь из-за него? Разве ты не видишь, что он обманул нас?.. Ничего, потерпи немного, скоро приедет папа, и все будет хорошо, как раньше, все просто и понятно.

— Мама!

— Да, Магди... иди ко мне.

— Скоро приедет папа.

— Папа? Почему так темно, уже ночь?

— Нет еще...

— От папы письмо?

— Завтра будет письмо. Мы поспим, проснемся, и придет Марат с письмом.

— Да, да, письмо. Иди-ка на улицу и посмотри. Он должен написать письмо. Он не может так уйти. Иди скорее...

Я вышел во двор, постоял немного и хотел уже вернуться и сказать — нет, он не написал, он боится, потом вспомнил, побежал на кухню, схватил глиняного солдатика, которого лепил целую неделю, делал глаза, нос, винтовку, разукрасил, я взял и бросил его на землю: вот тебе! вот тебе! И не стыдно тебе! И почему это мама так убивается из-за тебя? Непонятно. Я говорю о письме папы, а она ждет твое. Не пиши нам и не возвращайся. Ты нам не нужен. Ты всегда дрожал и боялся соседей и никогда не любил ни меня, ни маму.

— Внимание! — сказал папа. — На зарядку становись!

— Магди! — От голоса мамы у меня по спине забегали мурашки. — Не надо! Что ты делаешь?

— Я... слушаю папу...

— Не надо!

Она ударила по пластинке.

— Не надо, у меня голова... Эта пластинка старая, она хрипит... Голова разламывается!

И бросилась на улицу. Наверное, искать письмо дяди Эркина.

Что делать? Бежать за ней? Остаться с папой, с его голосом?

— Вним... трг... ног... Маг... — и пластинка кончилась, замолчала.

— Папа!

Он молчал, разорванный и уничтоженный.

Зачем она это сделала? Ведь это был папа, его голос! Что плохого сделал ей папа?.. И кто теперь будет со мной разговаривать, кто? Дядя сбежал, мама молчит, а папы уже больше нет. И я остался один, совсем один, как в том темном и страшном лесу...

— Эй, Магди! — В воротах показалась полоумная Медина, зверюга. — Не придет он больше, твой новый отец-то. Сбежал. Все. Не жди...

"Дура", — подумал я и направился в госпиталь. Мама, наверное, там. Наверное, она не может быть больше одна, привыкла лечить кого-нибудь и хочет взять из госпиталя нового раненого. Хорошо было бы! Медина, наверное, думает, что победила нас. Как бы не так! Возьмем нового раненого, и пусть она себе локти кусает. Он покажет ей, этот новый раненый, как клеветать на маму! Он покажет всем, он будет сильный и смелый, настоящий солдат.

Кто знает, а вдруг мама возьмет к нам самого настоящего генерала, тогда Медина вообще умрет от злости! Он как гаркнет: "Разойдись!" — только держись! Приведет своих солдат, целый полк, тысячу человек, нет, миллион, и возьмут они Калантара за шиворот и выбросят на небо к его любимому богу, пусть там и живет. А с Мединой и другими старухами разговаривать даже не станут. Дунут на них разок, они и улетучатся.

Не успел я помечтать, как был уже возле госпиталя и увидел маму. Она стояла у дверей с какой-то тетей в халате, и обе они плакали.

— Ничего, Нора. Вот увидишь, вернется. Не может же он один, такой слабый, уйти куда-то...

— Зачем ты пришел?—спросила мама.—Иди домой.

— Не прогоняйте мальчика, ведь он тоже переживает, — сказала тетя. — Заходи, мальчик, сюда, погрейся.

— Идем, мой маленький, — сказала мама.

Мы зашли в коридор и стали греться у печки. Мама

все время выходила на улицу, потом снова грела руки, молчала и плакала.

— Мама, — сказал я, — давай возьмем другого раненого, только смелого и хорошего!

Как я пожалел потом!

— Не смей так говорить! Иди домой!

И я ушел. Пусть, она еще пожалеет, вот возьму и уйду куда глаза глядят. Пойду искать папу...

Все равно дядя Эркин не найдется, сколько бы его ни искали. И не напишет маме. У него нет ни карандаша, ни бумаги.

Ладно, пусть уж разок напишет, чтобы она не волновалась. Но только пусть не приходит, все равно я его не прощу.

Надо положить для него возле ворот карандаш и бумагу, пусть мама успокоится.

И опять эта дура Медина перед глазами, опять она радуется.

— Ничего, — сказал я ей, — сегодня к нам придет генерал. Тогда вы порадуетесь...

Мне было жутко, Марат. Я злился на них, взрослых, оттого, что у них все так сложно и запутанно — отец где-то на войне, был с нами дядя Эркин, мы привыкли к нему, все было хорошо, но он взял и сбежал, а мама совсем потеряла голову, просто не узнать ее, и дедушка, бывало, приедет, шутит, смеется, а тут на тебе — так быстро уехал.

Все перевернулось вверх ногами, все запуталось. Да ты еще со своей вечно мрачной физиономией. Мы почему-то говорим шепотом:

— Что, он ушел насовсем, да?

— Слушаешь всякие сплетни, да? Но мы возьмем другого, получше, генерала. Мама пошла в госпиталь.

— А правда? Правда, что они любили друг друга?

— Как ты сказал? Повтори!

— Что здесь плохого, дуралей? Честное слово, я ведь не говорю гадости, как Медина. Любила — это значит, я читал, это так хорошо, что люди убиваются.

— Убиваются? Зачем убиваются?

— Да нет же! Понимаешь, черт возьми, ну, это так хорошо, так хорошо и приятно, что, если у людей отнимают их любовь, они могут убить. Что ты так уставился на меня? Ты еще маленький чересчур и глупый, и я не могу объяснить, что такое любовь.

— Это как в сказке о Фархаде и Ширин, да? Как о

Золушке и добром Принце? Как Буратино и Мальвина, да?

— Да, да! Как Фархад и Ширин. Теперь ты понял?

Да, Марат, конечно же, я начинаю кое-что понимать. Любовь... Просто ты первый произнес это слово, и я начал понимать. Все говорили гадости, и ругались, и злились, но никто не сказал: любовь. Никто не сказал, что это любовь, и я не понимал. Если бы мне немного раньше сказали об этом, если бы мне объяснили, что это то же самое, что Фархад и Ширин, Буратино и Мальвина, что это то, из-за чего люди радуются, страдают, и плачут, и становятся совсем другими, и могут делать только добро, как Фархад, и искать золотой ключик счастья, как Буратино, и драться, и побеждать страшного Карабаса-Барабаса.

И вдруг я вздрогнул, испугался. А как же папа? Как же мой папа? Ведь он тоже любит тебя, мама, он ведь тоже, как Буратино, как Фархад, как добрый Принц! Как же он? Ты любишь и папу, и дядю Эркина, тебя любят и папа, и дядя Эркин. Опять все непонятно...

— Марат, скажи, ты говоришь, если отнимают любовь, люди убивают?

— Да... Как орел, у которого отнимают детеныша.

— Тогда как же отец? Неужели и он станет убивать? А можно так, Марат, как я? Люблю сразу и маму, и папу, а они вдвоем — меня?

— Взрослые, наверное, не могут, Магди.

— Могут! Могут! Врешь! Ты сам ничего не знаешь! Они смогут. Папа и мама смогут.

Я прошу тебя, отец, умоляю тебя, сделай так, чтобы мама любила и тебя, и дядю Эркина, если она не может без него. Пусть все останется по-старому. И никто не убивает никого, отец. Сделай так. Ты ведь добрый. Разве тебе жалко, чтобы мама любила и его? Зато я буду любить только тебя одного. Я ни чуточки не люблю его, и, даже сколько бы ни пытали меня, я все равно буду кричать: "Не люблю его, труса, ненавижу!"

Кто знает, может быть, маме очень нужно любить его. Может быть, ей недостаточно любить тебя и меня. Такая у нас мама, ничего не поделаешь. Ты ведь сам говорил, помнишь, нашей маме нужно любить всех людей, весь мир...

Я вышел на улицу, посмотрел: а вдруг покажется дядя Эркин, вдруг он возвращается.

Пусть возвращается, если это так нужно маме. Но все равно я не буду любить его. Я буду спать с тобой,

папа, и мы шепотом будем выдумывать всякие истории — пусть дядя не слышит, я с ним не играю...

Мы не спали. Я лежал в кровати, а мама сидела за столом. Оба чего-то ждали. Было тихо-тихо... И только часы никого не ждали, а продолжали, как всегда, бить— девять, десять, одиннадцать...

Мама прислушивалась. И я тоже прислушивался. Чего она ждет? И чего жду я?

Близко к полуночи мама еще больше забеспокоилась, чаще начала выходить во двор и возвращалась оттуда еще более подавленной и растерянной.

И вдруг я услышал ее страшный крик во дворе, выбежал из комнаты на мороз в одной рубашке.

— Лампу! — послышался мамин голос. — Скорее...

И я понял. Стоял как очумелый и смотрел, и ничего не видел. Только две темные фигуры у ворот.

Я посветил лампой и увидел его. Вернулся-таки! Дядя Эркин лежал возле порога, и мама тормошила его, звала, рыдала и смеялась. А я стоял, покачиваясь, не зная, что и подумать: хорошо это или плохо, что он вернулся. И никак не мог разобрать из-за проклятой лампы, жив он или нет.

И не помню уже, как мама сумела одна, без посторонней помощи поднять его, поставить на ноги и довести до комнаты. И когда она уложила дядю, и когда он открыл глаза, мама начала растирать ему руки, лицо и целовать их, целовать!

Я ушел к себе в комнату, лег и дал себе слово сразу же заснуть, чтобы не видеть ничего этого, ни дядю Эркина, ни маму.

Все это выдумки, говорил я сам себе, все это я придумал только что. Ничего этого не было, дядя не возвращался, и мама не целовала его, все это мне почудилось, потому что я простудился и сильно заболел.

Зачем вы вернулись, дядя Эркин? Зачем? Все было хорошо, и я уже начал привыкать к тому, что вас больше нет, и приготовился ждать папу, чтобы он приехал наконец и все пошло по-старому.

Пусть мама целует вас, пусть! Пусть она любит вас, пусть! Делайте, что хотите, и живите, как хотите — вы, взрослые. А я притворюсь, что ничего не случилось, что вы ушли навсегда и не возвращались. И буду жить один и ждать папу. Буду ждать его долго-долго. И он приедет и все объяснит мне. Хватит, я не могу больше. Ведь мне всего семь лет и четыре месяца...

10

— Папа!

Он стоял возле моей кровати, улыбался странной из-за рассеченной губы улыбкой, постаревший, с усталыми глазами. Чуть поодаль стояла мама и тоже смотрела на меня.

— Папа, папа!

Я знал, что проснулся, что открыл глаза, но не верил — все это могло случиться только во сне.

— Магди! — голос папы пришел откуда-то сквозь туман в голове, голос не чистый, как раньше, а со свистом из-за рассеченной губы. — Вставай, Магди, я приехал...

— Приехал? — Я все думал, что это сон.

— Здравствуй, мальчик... Ну, вставай же!

— Сейчас, сейчас... Только ты не уходи. Ты так редко мне снишься.

— Он все еще спит, — услышал я голос мамы. — Ну, пусть спит... Заснул только к утру.

— Да, мама, я еще чуточку посплю. Вы с папой очень редко мне снитесь. Теперь все будет хорошо. Папа вернулся... Что с твоей губой, папа? Тебя ранили?

— Ничего, все в порядке. Ну, открой глаза, посмотри, — папа поднял меня с постели и посадил на кровать.

Папа! Стоял живой, настоящий мой папа! Нет, я не сплю, я держу его руки, вот они, смотрю ему в лицо, и губа какая-то странная... Только губа не его...

— Папа! Приехал!

Приехал мой дорогой, мой родной папа, папа мой приехал с войны, живой, не убитый никем. Ведь правда же, это не обман, не выдумка, что он приехал!

— Ну, не надо, мальчик, не надо, будь мужественным, помнишь, как Буратино?

Ладно, еще немного, я буду мужественным... Я же не плачу. Я так долго тебя ждал, папа, даже устал, не верил, что ты когда-нибудь приедешь. А ты приехал, ты со мной опять... А губа, губа... что сделали они с твоими губами?

Он опустил меня на пол, и я стоял перед ним, и все еще не верил, и злился на себя, и радовался, и не понимал, что они сделали с его лицом. Уехал таким красивым, а вернулся немножко другим...

— Сколько у тебя орденов? Ты стал героем?

— Всего одну только медаль мне дали. Да и то перед самым отъездом.

— Где? Покажи!

— Да вот она...

И он достал из рюкзака медаль и приколол мне на грудь.

— Мама, ты видишь?! Настоящая!.. Подари ее маме.

— Хорошо, маленький... Нора, ты слышишь?

Мама хотела сказать что-то. Но только подошла ко мне, потрогала папину медаль...

— А ты уедешь? Не уезжай больше, папа.

— Через две недели я должен обратно, мальчик... Война еще не кончилась...

— Я столько ждал! И мама ждала. И все ждали. А ты, ты вдруг опять уедешь!

— Война, малыш.

Мама стояла, прислонившись к стене, и молчала. Хоть бы она поддержала меня. Странная какая-то мама. Не радуется, не бегает, как раньше, когда папа приезжал из командировки. Наверное, мама уже устала радоваться, ведь папа приехал рано утром, когда я еще спал.

— Пап, ты уже познакомился с дядей Эркином? Помнишь, мы писали о нем?

— Нет, не успел. Дядя спит...

— А как ты там воевал? Смешно же ты застревал между деревьями, помнишь?

— Помню, конечно.

— Ты метко стрелял? Ты уже не боишься стрелять? А почему ты нам не писал о войне?

— О войне писать невозможно, мальчик. Много такого, о чем невозможно писать.

Две недели, пятнадцать дней, папа будет с нами, пятнадцать дней!

— Папа, папа! А ты видел живого настоящего генерала? Правда, что они высокие, раза в два выше тебя, и голос у них сильный, как по радио?

— У моего генерала голос был писклявый, как у мошки. А ростом он был чуть выше тебя.

— Эркин проснулся, — вдруг сказала мама...

И он открыл дверь, споткнулся о порог, покраснел, пошел прямо к папе.

— Здравствуйте, здравствуйте! Простите, как всякий солдат, попавший в тыл, заспался. Что на фронте?— говорил дядя Эркин скороговоркой, будто боялся, что забудет то, о чем он решил спросить папу, будто заучил все, что хотел спросить.

— Немцев погнали из-под Москвы, — сказал папа.

Они стояли друг против друга — дядя Эркин в папи-

ном халате, большой, неуклюжий, не зная, что делать с руками, куда деть их, и папа — чуть ниже его и чуть уже в плечах, с умными, все понимающими глазами, прямо оттуда, с войны, из-под пуль и смерти. И рядом мама...

— Дядя Эркин, папа привез орден, настоящий, — сказал я.

Все посмотрели на меня, улыбнулись, вздохнули облегченно, будто каждый из них, взрослых, сбросил с плеч тяжелый камень.

Дядя Эркин осторожно дотронулся до медали на моей груди и сказал:

— Да, настоящая... Гордись папой!

— Вот бы и Марату такую медаль!

— Это какой Марат, малыш? — спросил папа. — Тот, что приносит мои письма?

— Да, папа. Ты еще с ним познакомишься.

— Что-то его давно не видно, — сказала мама, и дядя Эркин поддакнул ей.

Смешные эти взрослые; что с ними стряслось сегодня? Все занялись мною, засыпали вопросами, будто им не о чем говорить между собой.

— Папа тоже был ранен, — сказал я дяде Эркину. — Видите губу? Расскажи, папа, как тебя лечили.

— Да никак. Взял перевязал губу, и все прошло.

— Как перевязал? Ты знаешь, что говоришь? А если бы инфекция? — сказала мама.

— Какая там инфекция! Все к чертям полетело, все микробы сгорели в этой войне!

— Все равно, — сказал дядя Эркин, — надо было принять меры предосторожности.

— А как вы себя чувствуете?

— Лучше, — сказала вместо Эркина мама, — намного лучше.

— Уже собираюсь обратно.

Обманывают они папу, не лучше. Плохо с дядей Эркином, я вижу. Часто у него поднимается такая температура, что мама вызывает "Скорую помощь", потому что сама от страха не может справиться. Никогда, наверное, он уже не сможет вернуться на войну. Мама об этом не говорит больше... Не вспоминает о войне и сам дядя Эркин...

Папе не терпелось выйти скорее на улицу, побыть одному. Он ни за что не хотел взять меня с собой, сколько я ни просил.

Наконец — ура! — он сдался и сказал:

— Одевайся.

А я ему:

— Пойду, если ты наденешь медаль.

Папа подумал, подумал, махнул рукой и приколол медаль себе на грудь. И мы пошли. Взялись за руки, как в былые времена, папа делал громадные шаги, два моих шага, и я бежал, чтобы поспеть за ним.

Как назло, на улице никого не было. Никто не мог видеть папину медаль, никто из ребят не завидовал мне.

А вот Медина тут как тут. Наверное, целый день только тем и занимается, что смотрит в щелочку ворот, чтобы не пропустить никого, кто появляется на улице. Она увидела папу в щелочку, бросилась ему навстречу.

— Здравствуйте, инженер! С приездом, инженер! Слава богу, что вы живы, здоровы... Тут мы без вас, как без глаз, совсем ослепли от непонятных вещей...

Отец остановился и хитро заулыбался:

— Что же вам непонятно, соседка?

— Ой, как вам все это сказать! — Медина бегала вокруг моего отца, становилась то справа от нас, то слева.

— Остановитесь же наконец! Что это с вами?

— Я не верю слухам, инженер, я женщина трезвая, боже сохрани. Я даже разругалась со всей улицей из-за докторши Норы... Люди говорят, что она...

Папа молодец, даже не изменился в лице, только рука его дрогнула в моей руке. Он сказал:

— Вы знаете, уважаемая Медина, притчу о лошади, которая беспричинно лягалась, и так до тех пор, пока у нее не оторвалась нога? Знаете?

— Да, но...

— Все это ложь, соседка. И мне просто нечем отблагодарить вас за вашу чуткость.

— Что вы, инженер... не надо... я так, из дружбы к вашей семье. — И вдруг Медина пустилась бежать к своим воротам. — Трус ты, не мужчина! Жена твоя развратничает, а ты смеешься.

Папа тоже вышел из себя и закричал:

— Наиблагороднейшая Медина, не злите меня!

И папа шел, и рука его дрожала в моей руке, как будто его схватила малярия, и он все время чертыхался: черт возьми! Черт возьми!

Мы шли, шли по незнакомым улицам, где я никогда не был, и пришли почему-то к крепости, туда, где кончался город. Стали карабкаться вверх по белой, совершенно белой тропинке. Папа лез, тянул меня за руки и все время насвистывал и молчал, и мне было непонятно, что же мы будем делать на крепости.

На самой высоте ноги у меня подкосились от страха, и я сел. А папа стоял, смотрел на город внизу, на сто кубиков из глины, рассыпанных как попало, будто ребенок играл в кубики, затем его испугали, и он рассыпал их и убежал. И так и не вернулся больше, чтобы собрать их, поставить рядами, ровно и правильно.

Потом папа долго смотрел туда, где были поля, далеко-далеко уходила земля, туда, где были еще города, леса и реки, туда, где была война.

Что он там видел? О чем он думал?

Может быть, он видел то, что видел потом я, лет десять спустя, когда в самые грустные и невыносимые минуты приходил сюда, на крепость, и смотрел, смотрел вдаль, туда, где было просторно, много солнца и воздуха, туда, куда мне хотелось идти и идти, ни о чем не думая, просто идти и все, и никогда не останавливаться, потому что там, мне казалось, человек настолько свободен, независим, что может легко превратиться в дерево, в птиц, в облака, во все чистое и бесхитростное.

Может быть, отец сейчас и думал о том, о чем я буду думать потом, лет десять спустя?.. Может быть...

Но вдруг он сказал:

— Побежали вниз! Ну! Быстро!

Все бежало и свистело за нами, все мчалось и догоняло нас.

— Вот и чудесно! — сказал отец уже внизу. — Теперь все чудесно!

Потом он привел меня в парк, угрюмый и голый. И мы сидели там на старой скамейке, сидели, молчали, затем я что-то спрашивал у папы, а он не отвечал, не слышал, только изредка поднимал голову, смотрел на меня, улыбался в ответ и молчал.

И, когда мы уходили из парка, он снова сказал:

— Теперь все хорошо! Все хорошо!

Мы опять шли по каким-то незнакомым улицам, останавливались почти возле каждого дерева, и папа смотрел на их верхушки, думал о чем-то, думал...

— Папа, что с тобой?

Но он не слышал, будто меня вовсе не было.

Я начал приставать:

— Идем домой. Ты сегодня какой-то непонятный.

— Да, — говорил папа, — малопонятный.

— А почему?

— Почему, почему! — передразнил он меня.

— Когда мне что-нибудь непонятно, я знаю.

— Счастливец!
— А ты, разве ты несчастный?
— Ерунда! Марш домой! Левой, левой, левой!

— Мама, мама! Я же говорил, приедет папа, отомстит за тебя. Ты бы видела, как Медина бежала без задних ног!

В комнату вошел медленно-медленно дядя Эркин. Сел за стол и уставился на меня. Как он побледнел! Что с ним? Опять был приступ? И почему у мамы такие глаза? Она плакала?

— Где вы были? — спросила мама.

— На крепости. Потом папа водил меня по разным улицам, где я никогда не был.

Дядя Эркин встал и начал расхаживать по комнате взад-вперед.

— А еще? — спросила мама.

— Еще? Еще папа чертил на песке всякие непонятные значки. И еще я забыл, где мы потом были.

Папа вымыл руки и вошел в комнату, где мы сидели.

— Ты, конечно, уже все рассказал? — он потрепал мои волосы.

— Вы проголодались? — спросила мама.

— Очень! — воскликнул папа. — Воздух такой свежий...

Мама вышла на кухню, и несколько минут все мы молчали. Я ждал... И дядя Эркин вдруг заговорил первым:

— Я... я очень хотел бы покончить со своими болезнями к вашему отъезду. И мы бы уехали вместе.

— Ваше счастье, что смогли подняться через три месяца, — ответил папа. — Успеете.

— Да, мне повезло...

— А что говорит наш доктор?

— Наш доктор говорит: скоро. Но ведь все так неопределенно. И это мучает.

— Ничего, ничего.

— Но я не калека, не обреченный!

— Вы обязательно поправитесь. Потерпите немного. Терпение — это мужество.

— Спасибо. Спасибо.

Тихо вошла мама. Постояла у двери, послушала и начала подавать на стол. Сухие фрукты, дыню, лепешки — все так, как было много дней назад, когда папа еще не уезжал на войну.

— Я тебе помогу, — сказал папа. — Что еще нужно? Ножи. Тарелки. Они там, на старом месте?

— Да, на старом.

И папа пошел на кухню, и вернулся с приборами, и стал, как прежде, хозяйничать за столом, резать хлеб, расставлять тарелки.

— Отличная дыня! — сказал он, подбрасывая ее.

И все расселись, и папа, по обыкновению, перед тем, как резать, стал крутить дыню на столе.

За столом взрослые опять молчали.

Потом мама пошла на кухню мыть посуду и папа хотел, по обыкновению, помочь ей, но она запротестовала, и мы опять остались втроем — я, папа и дядя Эркин.

Дядя смотрел на папу открыто, и папа тоже вел себя с ним дружелюбно, а я радовался. Они привыкнут друг к другу, эти взрослые. Они обязательно подружатся. И мама, которая сейчас очень встревожена, снова придет в себя, и мы будем жить вчетвером — я, мама, папа и дядя Эркин, будем жить просто и хорошо. Скорее бы, скорее бы настал этот день!

Потом мы долго решали, как будем спать. И решили — мама в моей комнате, а мы с папой в большой, летней. Прижмемся друг к другу на одной кровати, и нам будет тепло. Я буду ночью поправлять одеяло, чтобы оно не сползло с папы, буду ложиться первым в холодную постель, и, когда она согреется, папа ляжет рядом.

А перед сном мы будем лежать и смотреть, как прыгают тени на потолке, и тихо, вполголоса, чтобы не разбудить маму и дядю Эркина, выдумывать всякие истории. И папа будет рассказывать мне о войне.

А утром я буду пересказывать ему свои сны — если приснится змея, пойдет дождь, если деньги — у меня заболит зуб, а если покойный дядя Фархад, то я не знаю, что будет.

Папа сказал:

— Сегодня я тебе ничего не буду рассказывать, устал страшно с дороги. А завтра, послезавтра, все пятнадцать ночей — пожалуйста.

Он сказал: спи, а сам не спал. Я смотрел на него краешком глаза, а он часто-часто мигал ресницами, вздыхал, а когда замечал что я не сплю, сердился:

— Спи уже!

— Положи мне руку на плечо, тогда я сразу усну.

Минуты две я притворялся, затем кончилось терпение:

— Пап, тебе понравился дядя Эркин? Правда же, он славный?

— Я сплю.

А сам не спал, я видел.

— Ты с ним будешь дружить?

Папа будто не слышит.

— Как хорошо мы гуляли! Завтра пойдем все вместе, ладно? И мама, и дядя Эркин.

Я говорил еще что-то, еще. Дал себе слово не спать, а смотреть на папу, потому что он тоже не спал.

А утром все было как в сказке с хорошим концом. Папа сбросил с меня одеяло и приказал:

— Собирайся, малыш, к дедушке! Видишь, я уже почти готов.

— Сейчас, папочка!

Во дворе в окно я увидел маму.

— Мама, мама! Ты слышишь, мы едем к дедушке!

Мама остановилась, посмотрела на папу, на меня...

— Без тебя нам будет скучно, мама. И дядю мы тоже возьмем.

— Дядя может простудиться, — сказала мама. И еще она сказала: — Мы поедем все вместе летом, когда дядя выздоровеет.

— Ты не едешь?

— Да, Магди, дядя может простудиться, — согласился папа.

Я подумал и тоже решил, что дяде лучше остаться, и мы все вместе, и мама тоже, обязательно поедем в деревню летом.

Зимой нельзя лазить по деревьям и срывать яблоки и абрикосы, нельзя купаться в речке, бегать и прыгать по траве. Зимой приходится сидеть дома, засунув ноги в теплый сандал, и есть сухой урюк, сухие лепешки...

Вначале я немного дулся на дедушку за то, что он так загадочно уехал в тот раз. Отвечал ему коротко "да" или "нет", папа тоже — "да", "нет", еще он говорил "разумеется" и "вероятно", и все мы втроем — я, папа и дедушка, — казалось, были чужими.

На третий день дедушка приготовил плов, очень вкусный плов варил он, и мы сели вокруг теплого сандала, говорили вначале о хлопке и о дынях, о зиме, а потом, я уже не помню, то ли дедушка, то ли папа, начал разговор о маме.

— Что ты мне объясняешь? — сказал дедушка. — Как только ты уехал на фронт, Нора заявила: не хочу жить по-старому!

Папа долго молчал, и все перестали есть. Потом он ответил:

— А что мы знали о ней?! Веселая, добрая, избалованная. Любит нас с Магди. Вот и все.

— Что ей еще нужно было?

— Она сама, может быть, думала, что это все, что в ней есть. А может быть, и нет. Может быть, она всегда чувствовала, что способна на большее.

— Уж ей-то не приходилось жаловаться на судьбу!

Папа, казалось, не слушал дедушку. Он говорил тихо, как будто самому себе:

— Но мы не могли и не хотели этого понять...

Дедушка хотел сказать что-то, но не решился. Затем обратился ко мне.

— Иди погуляй, Магди.

— Пусть остается, — возразил папа, — это его тоже касается. Он должен многое понять, наш мальчик... А потом вдруг оказалось, что есть человек, для которого она не игрушка, не развлечение, а сама жизнь. Да, жизнь. Она стала необходимой, и то, что она прятала от нас, прорвалось наружу. И теперь Нора — это совсем другой человек, сильный и смелый человек. Понимаешь, отец. Мне кажется, что она любит Эркина за то, что нужна ему. Ну, понимаешь, ей дорог человек, который помог ей стать другой...

— А как же вы?! Ты? Магди?

— Но и нам с Магди она очень нужна...

— Папа! — Я прервал его. Я впервые видел папу таким грустным, и мне хотелось плакать.

Я выбежал из комнаты и шел, шел по полям, по холодным и замерзшим полям. Тук-тук — стучали мои каблуки о замерзшую землю, и казалось, что это был чей-то голос, как будто я разговариваю с кем-то.

Да, я все это видел, думал я, я давно заметил, что мама стала другой. Но я многого не понимал и не знал, хорошо это или нет. Папа сказал: мама стала сильным и смелым человеком. А мы не замечали всего этого. Она очень хотела быть сильным и смелым человеком, быть самостоятельной, чтобы делать все самой. Я не знал, хорошо это или нет, я боялся: как быть с ней, когда она станет самостоятельной. Но папа сказал: это хорошо! Теперь у нас все сильные и смелые: и папа, и мама тоже. И мне надо, мне тоже надо делать все, чтобы быть таким же, как они, а не плаксой и пай-мальчи-

ком. И я догоню их, я тоже буду сильным и храбрым и тоже что-нибудь сделаю, буду лечить кого-нибудь, и когда вылечу, папа скажет: теперь и Магди стал другим человеком...

...А на следующий день мы все втроем — я, папа и дедушка — вернулись в город, к маме.

Вот и все, Марат, вся история. Война была слишком долгой, дни шли и шли, а война все не кончалась.

И опять мы разносили с тобой, Марат, страшные черные бумажки, и опять ждали от папы смешных писем, и считали дни, когда он вернется.

И не только мы, все ждали своих с войны, все надеялись... Только его уже никто не ждал, нашего дядю Эркина, только он так и не смог найти свой дом, хотя мама делала все, чтобы он выздоровел. Вскоре после отъезда папы на войну дяди не стало.

И хотя сейчас те далекие годы отодвинулись от всех нас, все равно мама иногда взгрустнет, поплачет. И папа тогда бывает особенно нежным и внимательным.

1964–1965

ПРОЧИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

ПРОЛОГ

В летнюю ночь 1932 года у здания обкома в Старой Бухаре стояли два чистокровных скакуна под военными седлами. На одном из коней дремал, покачиваясь, адъютант Бекова.

Вид его внушал робость постовому, который уже давно следил за ним из подъезда. На лице адъютанта был шрам, он начинался со лба, огибал левую щеку и заканчивался возле верхней губы — это след сабельного удара. И хотя адъютант давно уже не воевал, он продолжал носить, как и Беков, как и все бойцы Бухарского народного полка, защитный китель, галифе с красными линиями по фронту и сапоги из крепкой желтой кожи.

Постовой на цыпочках, чтобы не разбудить адъютанта, вышел из подъезда и вынес из обкомовской конюшни сена лошадям, но лошади не стали есть.

Постовой, помаргивая, смотрел на великолепных коней, на спящего в седле адъютанта. Уже светало.

В здании послышались шаги. Постовой вздрогнул и бросился к двери. Обитая железом, она со скрипом распахнулась, и вышел Беков. За ним — Мавлянов.

Постовой поспешно взял под козырек.

— Значит, день в Гаждиване, попрощайся и обратно, — сказал секретарь обкома Бекову.

Постовой на всякий случай еще раз козырнул. Беков небрежно ответил и шагнул к лошадям.

— А за проект Гаждивана не беспокойся, — крикнул вслед Мавлянов. — Не беспокойся!

Беков вскочил в седло, свистнул, и лощадь, танцуя, зацокала по мостовой, высекая копытами искры.

Он был превосходным наездником, командир Беков! Молод, красив, все на нем лучшего качества: и китель, и галифе, и сапоги, и лошадь под ним резвее адъютантской.

Гордо подняв головы, проскакали Беков и Эгамов через несколько пустынных кварталов, мимо двухэтажных и трехэтажных домов — их только начали строить в Старой Бухаре. Беков так торопился, что не взглянул даже в сторону чайханы "Десять тополей". А ведь раньше, перед отъездом из Бухары, он обязательно заходил сюда и пил в тишине чай и глядел на красных рыб в водоеме между корнями тополей...

— Ац! Ац! — кричал Беков и нахлестывал лошадь.

Когда всадники выскочили из города на мокрое от росы шоссе, Эгамов догнал Бекова, чтобы спросить, почему "попрощайся", но Беков приказал:

— Вопросов не задавать!

Они свернули с шоссе направо, и Беков ударил сапогом указатель "Бухара — Гаждиван — 20 километров". Указатель полетел далеко в песок, и Эгамов не решился сойти с коня, чтобы поставить его на место.

Начиналась степь. Обычно они ехали весело по этой холмистой степи, вспоминали о боях — тут не раз они гнали басмачей, да еще как гнали! Многих уложили у подножия соленых холмов, многих полонили...

Сегодня же Беков молчал и не разрешал Эгамову ехать рядом. Вспотев от духоты, Беков стал расстегивать китель, но рука не повиновалась. Она почти не гнулась, его левая рука, простреленная басмачом Бобо-Назаром, но упрямый Беков специально расстегивал китель левой рукой для того, чтобы натренировать ее.

— Смотри... — придержал вдруг Беков коня и обернулся к Эгамову, показывая на степь, где бежала лисица.

Эгамов привстал в седле — так близко был зверь, рыжий и крупный, с блестящими от зноя глазами!..

Беков выхватил маузер и начал целиться, продолжая скакать.

"Сейчас он убьет лисицу и даже не разрешит за-

брать, и зверь будет лежать в песках на съедение коршунам... Э-эх", — вздохнул Эгамов, и крестьянское сердце его сжалось.

Но напрасно целился Беков: лисица уже скрылась за барханами.

Командир в гневе сунул маузер в деревянную кобуру, но Эгамов все же решился успокоить:

— Не знаю, что бы мы делали с ней, если б, не дай бог...

— Знаешь, мне надоела твоя мелочная опека! — резко возразил Беков, словно ударил по лицу.

Ох, как больно всегда становилось Эгамову, когда командир повышал голос... Ведь он любил командира и хотел, чтобы тот говорил с ним нежнее, не так, как с остальными. Ведь адъютант — это его правая рука!..

Он боготворил Бекова, гордился, что живет вместе с ним, и даже подражал его манере говорить, жестикуляции и походке...

Впрочем, подражали Бекову почти все воины, но у маленького, грузного, совсем не воинственного, несмотря на шрам, Эгамова получалось это очень комично, и люди над ним смеялись...

— Вы не должны со мной так говорить, командир, — сказал Эгамов, мучась от обиды. — Даже в последний день... Ведь это последний день, командир? Ведь вы покидаете нас?..

Беков придержал лошадь и позволил Эгамову с ним поравняться.

— Прости, Кулихан. Ты настоящий солдат. Да, Кулихан... покидаю... Обком направляет меня на другую работу, в Бухару. Прости, Кулихан. Я выхлопочу в городе для тебя орден.

— Не это главное, командир...

— Нет, я хочу, чтобы тебя наградили.

— Если можно, вызовите меня к себе в Бухару, командир.

— Вызову, — поспешно согласился Беков.

— Я еще пригожусь. Я буду лечить вашу руку.

Беков не ответил, потом подумал вслух:

— В Бухаре лошади, конечно, не нужны. А вот если ты подучишься, я тебя сделаю своим шофером.

— Только не забудьте, прошу вас, командир...

Степь побежала вниз, и кони понесли к поселку за рекой, в Гаждиван.

Сто человек в страшный зной копали землю, зали-

вали водой канавы, перегоняли верблюдов, навьюченных досками и кирпичами.

Беков выпрямился в седле, лошади спустились к речке, глотнули мутную воду и забарабанили копытами по деревянному мосту.

Возле первых юрт на другом берегу Беков выхватил маузер и выстрелил в воздух.

Хотя стрелял он, почти всегда возвещая о своем приезде, люди с расшатанными от голода и зноя нервами не могли привыкнуть, пугались, прятались за верблюдов, за глиняные стены.

Беков на полном скаку осадил коня.

Люди окружили его, закричали:

— Мир вам, командир! Мир вам!

— Мир и вам, — по-отцовски добро ответил Беков.

Город только закладывался. Построили четыре глиняных домика-времянки и строили пятый всем отрядом.

Конечно, все знали, что Беков не очень одобрял тех, кто женился и наплодил детей, он считал, что пока еще рано обзаводиться личным счастьем, не организовав счастье другим; но людям, уставшим от войн, надо было жить, и они требовали построить в первую очередь дома семейным.

— Чей дом на очереди? — спросил Беков.

Оказалось, что Саидова, тихого и не очень смелого человека.

— Я был не всегда хорошим воином, командир. Но вы распорядились все же построить мне дом раньше, чем другим. Не знаю, чем отплатить вам. — И Саидов дал знак, чтобы жена принесла чай.

Жена Саидова, молоденькая уйгурка, которую привез он из дальних мест, протянула Бекову пиалу и стала робко благодарить его от имени детей.

Беков слушал, отпивая большими глотками чай. Воины, окружив командира и не сводя с него преданных глаз, ждали. Все знали, что Беков ездил в Бухару.

Дети Саидова ползали тут же на песке у ног Бекова, ощупывая его пыльные сапоги.

— Чем отблагодарить? — переспросил Беков. — Честным трудом. И расти детей, сделай их настоящими людьми. Вот самый достойный подарок отряду!

— Сделаю все, сделаю, командир!

— Что сказали в Бухаре, командир? — настороженно спросили сзади.

Беков секунду поколебался, но решил не говорить пока об отъезде.

— В Бухаре нами довольны. Обещали на днях прислать цемент и лес. Теперь надо работать с удвоенной энергией.

— Будем работать и ночью, командир. Зажжем много факелов.

— А кто будет факелоносцами? — решил пошутить Беков, вспомнив, что в отряде были и те, кто шел впереди колонны и для устрашения басмачей нес факелы.

— Те, кто были раньше.

Беков одобрительно кивнул и стал прощаться. И это снова насторожило людей.

Обычно он с утра до ночи был на стройке, давал указания, закладывал сам первый камень здания, и все это делал торжественно, под звуки отрядного оркестра. Он хотел, чтобы каждый штрих нового навсегда запомнился им, он хотел, чтобы труд был радостью, а не унынием.

Люди окружили Эгамова.

— Ты что-нибудь знаешь?

— Нет, — заупрямился адъютант.

Тогда они закричали:

— Кулихан скрывает!

Многие недолюбливали Эгамова, считая, что на его долю выпало самое легкое — быть адъютантом...

Эгамов передал лошадей Саидову, приказав, чтобы тот накормил их, и пошел за Бековым на завод.

Вдруг за спиной он услышал голос:

— Слышите, не будет с нами больше командира...

Это было сказано с такой тоскою, с таким отчаянием, что кольнуло сердце Эгамова.

Но он не оглянулся. Ему было ясно: командир сделает его своим шофером в Бухаре, а о лучшем и мечтать не надо...

— На кого он нас оставляет? — послышалось опять. — Без командира не будет города!

Эгамов резко остановился — за ним шли скучной толпой люди, самые храбрые впереди.

"Так, — решил Эгамов. — Надо, чтобы сейчас, сейчас же, хоть раз почувствовали, что Эгамов правая рука командира!.."

— Кто разрешил бросать работу? Это саботаж!

Люди попятились назад, тревожно поглядывая на него черными усталыми глазами, вернулись к тому месту, где лежали брошенные в беспорядке носилки и кетмени.

А Эгамов уже шел по степи к воротам завода.

Степь лежала вокруг него, лютая и голодная... Эгамов вздохнул. С юга все время ползли пески; река Гаждиван, что дала название местности, летом заметно мелела.

По приказу Бекова весь южный берег застелили саксаулом, но ветры часто разбрасывают настил, и песок опять, шурша, ползет и ползет к воде...

Только с запада вечерами веет прохладой. Дыханием клевера и тутовых рощ...

Эгамов остановился, прищурил глаза и разглядел

там, вдали, бурую линию горизонта. Там другая, твердая почва, и там оазис. Там кишлак. А старанием командира Бекова и председателя Нурова два года назад создан колхоз.

Эгамов пошел дальше, он думал теперь о том, когда же наконец и колхоз и Гаждиван объединятся в один оазис. Тем, кто придет после, этот большой оазис будет всегда напоминать о нас, о командире Бекове, о председателе Нурове!..

Эгамов догнал командира только возле самого завода. Они молча прошли мимо глиняного невысокого забора к воротам, где стоял охранник с винтовкой.

Увидев Бекова, охранник вытянулся по стойке "смирно" и совсем растерялся, когда Беков спросил

— Где Турсунов?

— В цехе, товарищ директор! Вызвать?

По-разному здесь называли Бекова. На заводе — директором, хотя работали здесь его же воины и руководил ими Турсунов, в колхозе — председателем, хотя настоящим председателем был Нуров, и только на стройке города воины называли его по-старому — командир. Старый титул был больше по душе Бекову, и Беков с трудом привыкал к тому, что называли его то директором, то председателем.

Беков зашел во двор завода и остановился.

Только два основных цеха были построены, но были они уже пущены и перерабатывали хлопок, отделяя волокно, пух и семена для масла.

Остальные же цехи и столовая только еще строились, не были готовы склады и навесы. Поэтому хлопок-сырец, который везли из колхоза Нурова, складывали под открытым небом и много его гнило. И еще хлопок, сильно перегревшись, воспламенялся, и тогда случались пожары.

Тихий, исполнительный Турсунов появился, как всегда, незаметно.

— Меня ищешь?.. — внимательно посмотрел он на Бекова, стараясь уловить все тонкости его настроения.

Беков молча кивнул.

"Уезжает", — вдруг понял Турсунов, радуясь и пугаясь.

— Инженер из Бухары здесь, — сообщил он быстро чтобы не выдать своего состояния.

— Куда поместили?

— В конторе, он ждет тебя.

— Приставь к нему охрану. В Кызыл-тепе одного из таких пристрелили кулаки.

Беков стоял неподвижно, и Турсунов украдкой, уже глазами хозяина посмотрел вокруг, зная, что после отъезда Бекова единственным начальником на заводе будет он... Но ничего привлекательного он не увидел, глядя на глиняные корпуса цехов, на всю эту стройку, на беготню во дворе. И страх овладел им. Ноги ослабли, и он стал думать, что надо бы повести Бекова в контору, присесть там в прохладе и всем вместе обмозговать...

Почва задрожала во дворе от усилий старого грузовика, который въехал в ворота, нагруженный хлопком.

Председатель Нуров выпрыгнул из кабины и крикнул шоферу:

— Проследи, чтобы эти мошенники разгружали быстрее! — указал он на грузчиков, которые, помахивая вилами, лениво подходили к грузовику.

Нуров снял военный китель, давно уже выцветший и потерявший вид, и вытер им потное лицо.

— Четвертая машина за день, и все сам езжу. Народ страшно обленился, — сказал он Бекову.

— А в чем дело?

— В колхозе узнали о твоем отъезде. Люди напуганы. В тебе ведь они видят своего защитника. Но и я, изверг и злодей, хочу им только добра!

— Ты груб с людьми, а они нуждаются в воспитании. Особенно крестьяне.

— Воспитание?! Я воспитывал одного, а он в меня выстрелил сейчас из-за реки. Смотри!

Нуров сбросил сапог и показал маленькую рану на правой ноге. Кровь на ней только начинала свертываться.

— Ты идеалист, Исхак. Во всем! — крикнул Нуров. — И мне уже надоело с тобой спорить.

— А ты не спорь, ты делай свое дело.

— Ты давно перестал быть крестьянином, Исхак. Земля тебя забыла. А я скажу вот что: земля, она отталкивает все, что противоестественно ее сути. Так же и человек.

— Пожалуйста, не учи меня! — прервал его Беков, зная, к чему Нуров клонит разговор, а клонил он к тому, что нельзя строить завод и город такими темпами и на одном лишь желании и энтузи-

азме — вот это противоестественно логике жизни.

Нет, сам Нуров не против того, чтобы строить завод и на его базе город. Нужны и заводы, и города, и без них колхозу никак не подняться, это он понимает, это и есть та самая смычка, о которой стало модно говорить со всех маленьких и больших трибун, но...

— Вот он, добренький, вот он, чистенький! — кричал Нуров, показывая на Турсунова. — Но учти, ты уедешь, а он завалит все.

— Тогда я потребую судить и тебя! — вконец рассердился Беков и направился в контору, где его ждал инженер.

Молодой инженер Салихов прикрепил к стене лист картона с надписью "Проект нового Гаждивана" и начал рассказывать.

Беков, Нуров, Турсунов и Эгамов сидели на той самой жесткой кровати, на которой днем пишет командир, а ночью спит.

Салихов недавно учился в Москве и стал среди узбеков одним из первых инженеров. И, принадлежа к малочисленной в то время группе людей, именуемых национальными кадрами, был окружен всяческой заботой.

Вначале в отряде Бекова все шло стихийно. Воины молодыми ушли воевать, воевали долго, с прекрасным рвением уничтожая старый образ жизни, но, когда пришел мир, воины вдруг поняли, что хаос и разруха долго продолжаться не могут и что им же самим нужно строить новую жизнь; поняли они это и растерялись, потому что строить их никто не учил.

И тогда командир сказал: давайте строить всем отрядом новый, доселе еще невиданный город. Перенесем в новый быт все наше военное хозяйство, все навыки наши и привычки, все, что появилось у нас за десять лет коллективной жизни. А главное, надо прийти в сегодняшний день с нашей верой, энтузиазмом и мужеством. А я, Беков, буду у вас инженером, но инженером не техническим, а идейным, то есть человеком, который будет учить вас духовному братству.

Но, стихийно начав, Беков понял вскоре, что без человека, который научно организовал бы труд, не обойтись. И тогда был приглашен инженер Салихов, который сразу загорелся идеей командира и с таким же рвением, как и Беков, взялся составлять проект нового Гаждивана.

Сейчас он заметно волновался, делал много лишних

движений, и движения эти выдавали в нем человека несмелого и доброго.

— Товарищ Беков, надеюсь, на этот раз не прогоните, — сказал, улыбаясь, Салихов.

— Ну, объясняйте, — нетерпеливо ответил Беков.

В линиях, по которым инженер водил карандашом, Беков ничего не смыслил. Сидящие с ним — тоже. Воспринимали они слова инженера скорее чувством, чем умом.

— Так вот, все ваши замечания учтены... Когда закончится постройка города, завод-комбинат окажется на его окраине. Через пять лет, в конце тридцать седьмого, мощность предприятия возрастет в три с половиной — четыре раза.

— Долгий срок — пять лет, очень долгий, — покачал головой Беков, нервно расхаживая по комнате и что-то прикидывая в уме.

"Долго" — это слово навязчиво преследовало всех, кто работал с Бековым. Командир порой становился подозрительным. Ему казалось, что окружающие не понимают всего значения этого завода, этого города.

— Продолжайте, инженер...

Нуров, как всегда при обсуждении, сидел хмурый, а Турсунова как будто и не было с ними. С этим флегматичным, тихим человеком Эгамов был из одной деревни, вместе рос, перегонял по пастбищам стада, и, зная его характер, адъютант мог смело предположить: думает сейчас Турсунов о покое, о том, чтобы уйти подальше ото всего, что требует усилий.

— Если сейчас на предприятии занято сорок человек, то через пять лет рабочих будет восемьсот — девятьсот. При комбинате намечается открыть училище...

— Дельно, — Беков больше обращался к ним, сидящим на кровати, чем к инженеру.

Эгамов готов был с удовольствием поддержать своего командира. Он знал: все, что делает Беков, — ради доброго на земле. Он бы встал и сказал: "Дельно, командир, правильно", — но сдержал свой порыв, зная, что командир не нуждается в его поддержке. Эгамов нужен был ему просто как нянька, как денщик.

— Училище — это ваша идея, товарищ Беков, — уточнил инженер, напуганный ранее Бековым, а теперь ищущий в свое оправдание различные доводы. — Кроме того, к городу, а от него к колхозу будет проведена железная дорога.

— Слышишь, Нуров, железная дорога! — удовлетворенный командир хлопнул председателя по плечу. —

По этой мертвой земле пойдут поезда! Цивилизация придет к нам, забитым и темным!

Нуров только улыбнулся уголками глаз, зато Турсунов решил хоть каким-то образом показать свое причастие к происходящему:

— Железная дорога — тоже твоя идея, командир. Я вижу, товарищ инженер скопировал твои мысли.

— Прекрасно! — воскликнул Беков, проникаясь симпатией к инженеру и видя, что тот почти не отошел в своем проекте от его, Бекова, основной идеи.

Долго тряс потом Беков руку инженеру:

— Спасибо. На сей раз, как видите, не прогнал. А за тот случай простите. Очень хочется, чтобы мы с вами не ошиблись в чем-то.

Счастливый оттого, что все так удачно кончилось и что теперь на пользу и на счастье пойдут его мысли и весь его труд, инженер решил еще раз напомнить:

— Все это ваши идеи, товарищ Беков. Я лишь спроектировал. И признаться, с точки зрения экономики идеи ваши умны. Вы первоклассный экономист.

— Ну, хватит, хватит, — Беков добродушно остановил инженера. — Зря вы так. Никакой я не экономист, вузов не кончал. Только медресе, а это по нынешним понятиям — семь классов... Энтузиазм, вера — вот что делает из человека и экономиста, и врача, и учителя, запомните это! Думаете, кто мы — грамотеи, книжники? Нет, воины! Вот он, Эгамов, он валялся в грязи, в тифе, когда отряд наш подобрал его. А теперь каков он?! Красивый, гордый, знающий свое место в жизни...

Убежденность делала его прекрасным оратором. Все, даже скептик Нуров, слушали Бекова затаив дыхание, веря каждому его слову.

Сколько раз бывало: перед каким-нибудь боем он, Беков, со страстной своей убежденностью доказывал, что победа близка, что стоит сделать только последнее усилие — и восторжествует мир, и воины его, забыв о боли, о смерти, об усталости, бесстрашно бросались на басмачей и побеждали.

Так было и сейчас. Но Нуров тряхнул головой, отодвигая от себя прекрасную картину, и вздохнул:

— А как река, товарищ инженер? Будут расти город и колхоз. А воды ведь не прибавится в реке...

Но Беков не дал ему закончить. Здесь он тоже был спокоен.

— Надеюсь, теперь ясны ваши старые заблуждения? — обратился Беков к инженеру.

— Да, да, возможно, я ошибался.

У инженера, как и у Нурова, было беспокойство по поводу реки, но командир всякий раз разубеждал его, потому что это было совсем не самое важное. И вот наконец инженер смог уговорить себя, что заблуждается. И не потому, что проверил что-то или подсчитал. Ему, как и Бекову, надоело думать, что есть и нечто такое, что может стать преградой великой идее. И он выбросил прочь все сомнения.

— Просто я высказывал свои опасения...

— Верю, верю. Вы честно заблуждались. Мы всё заставим работать на людей: и пустыню, и реку. Приезжайте лет через десять — убедитесь, что волновались напрасно.

— Спасибо, — инженер поклонился и вышел.

Снова они были вчетвером. Как много дней назад. Вот так собирались в походной юрте — командир Беков, два его заместителя и адъютант. Где-нибудь в пустыне, куда привела их война. Где-нибудь среди песков, где коршуны ждали их трупов и трупов их врагов. Коршунам все равно, они не разбирались в знаменах, которыми трупы были покрыты...

Помолчали.

"Все хорошо, — думал Беков, чувствуя усталость после встречи с инженером, — все чудесно кончилось... Нуров трудится, пожалуй, больше всех, как вол. И он поднимет колхоз. Правда, не хватает у него идей, работает он немного по старинке. И нечуток к людям. Но это пройдет... Турсунов, наоборот, верит во все, но он слаб волей. Надо будет помогать ему... Прекрасные воины у меня, предан Эгамов. Они потянут все..."

В комнату вошел охранник, неся глиняный кувшин со спиртом.

Беков вынул из тумбочки стаканы. Командир стал пить в последнее время, но пил всегда в одиночестве, закрывшись. Любил говорить сам с собой. Вспоминал мать и деревню, где родился. Очень хотелось ему, чтобы кто-нибудь из близких увидел, чего он достиг. Но у Бекова никого не осталось. Родителей его басмачи повесили, когда узнали, кто их сын.

Все, кроме Турсунова, выпили не без удовольствия, только он один страдал, когда пил. Натура его была слабой и требовала к себе бережного отношения, и, глядя на него, вдруг подумал Эгамов:

"Сможет ли этот человек заменить нам командира? Быть таким, как он, отцом воинов?"

Но тут же успокоился Эгамов, вспомнив, что Беков обещал забрать его, Эгамова, с собой в Бухару.

Турсунова самого мучили подобные мысли. Он не мог быть таким популярным, как Беков — трезво оценивал Турсунов свои способности.

"Успокойся и не думай сейчас об этом", — стал уговаривать себя Турсунов, страдая от жара в груди и тошноты. Ему хотелось, чтобы кто-то пожалел его, ради этого готов он был на четвереньках уползти под стол и уснуть у ног Бекова. И проснуться завтра другим человеком и вершить дела.

"Как уедет Беков, женюсь обязательно", — вдруг решил он, закрывая глаза.

Он вздрогнул от хохота Нурова.

— Беков лезет туда, наверх! — закричал Нуров, показывая на потолок.

— Не это важно, — сказал командир.

— А в нас с Турсуновым будут стрелять. Они постараются убить нас!

Впечатлительного Турсунова очень напугали эти слова. Он уселся поглубже на кровать и опустил голову.

"Проклятье, — подумал он. — Почему я в этом водовороте? Все эти сдвиги, стройки, выстрелы из-за угла... Откуда я взялся, чтобы жить этим?"

— Командиру тоже будет нелегко, — сказал наконец Турсунов совсем не то, что думал.

Но Беков сделал ему знак: не надо возражать Нурову в минуты его душевного беспокойства.

А Нуров возбуждался с каждым словом.

— Они притаились везде. На деревьях, в стогах сена. Я хорошо знаю их повадки. Вот! — Вынув наган, он стал бить им по столу, потому что в глубине души и ему, Нурову, вдруг стало страшно остаться без Бекова. Как ни независим был председатель, он знал, что есть командир, на которого можно положиться.

— Где бы я ни был, я буду помогать заводу, — повернувшись к Турсунову, пообещал командир.

— Да, прошу тебя. Я просто один не справлюсь.

Кашляя и задыхаясь, Нуров подбежал к двери и стал звать шофера:

— Заводи машину, едем!.. Ты не знаешь, вернулся ли хромой Сираж?

— Он расстрелян, товарищ председатель, — послышался со двора спокойный голос шофера.

— Нет, он вернулся. Он обещал! — Нуров верил в то, что говорил. Недавно один на коне пустился он по степи вдогонку за кулаком Сиражем, который поджег колхозный хлопок. В единоборстве получил Нуров удар ножом в голову, месяц пролежал в бухарской больнице в бреду.

Выздоровел, но не избавился от навязчивой идеи: Сираж должен вернуться.

— Вы же сами его расстреляли, — терпеливо разъяснял ему шофер.

— Едем немедленно, — не соглашался Нуров, которому спирт замутил голову. — Я не хочу больше крови!

Так и не попрощавшись с командиром, вконец измученный, Нуров выбежал во двор, к машине.

А через час устроили проводы командиру. Приехала из города машина, чтобы навсегда увезти его в другой мир.

Командир восходил к вершинам добра и славы, и воины это знали, и они желали ему великого успеха. Воинам будет очень трудно без него, и вряд ли теперь кто-нибудь сможет заменить им Бекова. Трудно будет, но они не падут духом и сделают все так, как приказал командир.

Эгамов построил воинов вдоль забора, которым был окружен завод.

Люди пришли, надев буденовки и шинели, достав их из сундуков, где долго пролежали они без применения.

Пришли жены и дети воинов и крестьяне из колхоза Нурова, чтобы попрощаться с любимым командиром.

Вскоре вышли из ворот завода сам Беков и с ним Турсунов с саквояжем командира. Все, что Беков увозил с собой, умещалось в этом саквояже — смена белья, бритвенный прибор и еще какая-то мелочь. Больше ничего. Беков не наживался, остался честен и бескорыстен в пример воинам.

Увидев людей в буденовках, Беков приятно поразился.

— Смирно! — скомандовал Эгамов.

Трубач заиграл торжественный марш отряда.

Четким шагом направился Эгамов к Бекову и взял под козырек.

— Товарищ командир! Первый отряд Бухар-

ского народного полка готов для ваших проводов!

— Вольно! — приказал Беков и стал прощаться.

Первый, с кем он попрощался, был конь, арабский скакун, который делил с Бековым годы боев и походов.

Тяжко было воинам, бывшим крестьянам, смотреть, как уходит хозяин от коня.

Беков подходил к каждому, строго, по-отцовски оглядывал, поправляя ослабевшие ремни.

— Спасибо! — крикнул он, закончив обход. — До свидания!

И ушел, сел в машину.

Десяток шагов люди шли за машиной строем. Но женщины первыми не выдержали напряжения и с криками бросились вперед, нарушив ряды. Воины тоже побежали, несомые тоской и горечью расставания.

И бежали до тех пор, пока машина не переехала мост и не увезла командира в степь.

1

Сидя на постаменте обелиска рано утром весной 1962 года, Эгамов вспоминал то великое время.

Многое память потеряла навсегда, хотя и не должна была терять свои лучшие воспоминания.

Но старость... В старой голове путаются сны и реальность, и уже трудно их различить.

"А может, все это прекрасное было во сне?" — часто, не веря, думает Эгамов.

Раньше обычного пришел он сегодня к обелиску.

Еще только пролетали над белым острием птицы, разбуженные рассветом. Но скоро выйдет солнце, и лучи его побегут сверху вниз по длинному столбу, и тогда обелиск, ослепительно белый, будет радовать глаз. Весь Гаждиван, темные, сырые переулки его посветлеют от обелиска...

Старухи, оказывается, уже сидят вокруг обелиска и с надеждой смотрят на дорогу. Ждут, что какой-нибудь шофер купит у них редиски на завтрак.

— Сегодня здесь нельзя сидеть. Уходите, — строго сказал им Эгамов.

Торговки испугались. Давно уже не прогоняли их с излюбленного места. Одно время гаждиванская милиция запрещала торговать на площади Обелиска, но и она махнула рукой, не в силах справиться со стихией.

— Отец наш, Кулихан, неужто не узнали? Мы ведь свои, гаждиванские...

— Знаю я вас, мелких торгашей-спекулянтов. Прочь с глаз! Что подумает командир Беков, увидев вас?

Старухи решили, что Эгамов просто выжил из ума и нет смысла спрашивать, кто такой этот командир Беков.

Эгамов прогнал их и пошел к газонам, где росли цветы.

От голодных птиц, что летают над Гаждиваном, спасения нет старику. Ночью они помяли много цветов, перерыли почву в поисках пищи, и Эгамову пришлось много повозиться, чтобы на газонах снова был порядок.

Потом взял он спрятанное в кустах терновника ведро с тряпкой и стал усердно натирать ступеньки. С четырех сторон поднимаются они к постаменту. За ночь ветер намел сюда много песка.

Вот уже много лет Эгамов протирает все те места обелиска, где накапливается песок. Моет, чистит. И каждую весну сажает цветы на площади, и все лето и осень подрезает гнилое и высохшее, чтобы вокруг обелиска сверкало и благоухало.

Кому же еще заниматься этим, как не Эгамову?

Остальные воины командира Бекова давно умерли. Многие покоятся здесь, на гаждиванском кладбище, а есть и такие, кто умер вдали от этой земли, куда привел их когда-то Беков. Войны и другие крупные события уводили их из Гаждивана, и те, кто ушел, так и не вернулись...

Зато возвращался сегодня их командир Беков.

Эгамов подметал ступеньки и думал: узнает ли меня командир?

И смотрел на свои руки, беспокоясь и думая, что осталось от того молодого, сильного Эгамова, каким его видел в последний раз Беков.

Голова бывшего адъютанта чисто выбрита, а шрам на щеке и возле губы почти не виден из-за седой бороды.

И китель у Эгамова не такой. Все долгие годы он носил его, и китель, сильно потертый, бесцветный, рвется теперь от неосторожного движения. И нет уже на нем места, где можно было бы поставить заплату. Вчера ночью, готовясь к встрече командира, он пришил последнюю заплату из мешковины.

Но каким бы он ни был дряхлым, этот китель, все

равно в кителе Эгамов чувствовал себя намного увереннее. Словно на нем молодая, еще не остывшая от боев и ран кожа.

"Интересно, носит ли командир китель, который я сшил ему?" Эгамов так увлекся своими мыслями, что забыл следить за дорогой.

Широкая, без ухабов, уходит она в обе стороны: одна в колхоз, другая к Бухаре, в ту сторону, откуда должен приехать Беков.

Дорога гудит. Мимо Гаждивана потоком идут машины, везут в Бухару хлопок из колхоза Нурова — ни одна из них не повернет в сторону Гаждивана.

Только дряхленький автобус приезжает раз в день из Бухары.

Медленно, словно боясь развалиться, подъезжает автобус к площади Обелиска. Шофер проходит мимо Эгамова, сидящего обычно в это время на постаменте, и молчит, не соизволив ответить на приветствие. Не поймет Эгамов, чем обижен он на гаждиванцев.

Угрюмо пьет шофер в чайхане, где к нему, как к жителю большого города, относятся с почтением, и снова уезжает в Бухару на пустом автобусе. Редко гаждиванцы едут в Бухару. Разве только в базарные дни или на ярмарку.

Отсюда, с площади Обелиска, и начинается Гаждиван — тянется одной широкой улицей к хлопковому полю, а от этого поля уже начинается колхоз Нурова.

Уверен Эгамов: с приездом командира все всколыхнется в Гаждиване, как от свежего ветра, жизнь перестанет топтаться на месте и, как белый скакун Бекова, помчится вдогонку за другими цветущими городами этой земли.

Ведь помнит же Эгамов: где бы ни был их отряд, командир всегда оставлял о себе добрую память...

К восьми часам утра за спиной Эгамова раздалось бренчание.

Это пришли к обелиску пионеры с музыкальными инструментами и с ними учитель в зеленой шляпе, бережно несущий дирижерскую палочку.

Поправляя китель и принимая внушительный вид, Эгамов спустился к ним. Жестом приказал пионерам остановиться возле газона.

Сегодня ребята были опрятно одеты, лица их сияли бодростью. Довольный Эгамов заметил, обращаясь к учителю:

— Хороших ребят подобрали, красавцы... Все знают, что играть?

— Не беспокойтесь, — заверил учитель.

— В таком случае постройте их слева от постамента.

Когда ребята выстроились, Эгамов заметил, что двое из них прячут за спиной букеты цветов, помятых, срезанных неделю назад.

Эгамов тут же отобрал у них цветы и выбросил.

— Что же вы, товарищ учитель? Как нехорошо. Командиру такие букеты...

— В школьном саду только такие, — стал оправдываться учитель.

— Вот, — говорит Эгамов, — вот какие цветы...

Вынув кривой бухарский нож из-за пояса, он стал срезать на газоне самые лучшие, самые большие гладиолусы для командира.

"Малейшая оплошность может все испортить, Кулихан, — внушал самому себе Эгамов. — Гляди в оба. Разве этим людям понять то, что происходит в душе твоей, этим мелким спекулянтам, гаждиванцам?"

Сколько пришлось бегать Эгамову, уговаривать, чтобы гаждиванцы устроили Бекову торжественную встречу, чтобы пришли к обелиску пионеры и исполнили марш и поклялись в своей верности командиру.

— Кому? Какому Бекову? — долго не понимали старика, смеялись и издевались над ним.

Сутки горевал Эгамов, задетый такой бессердечностью земляков, и уже хотел было обратиться к властям, чтобы милиция, не стесняясь, насильно пригнала к обелиску людей, но приехал из колхоза Нуров, и гаждиванцы повиновались ему.

Сейчас они вслед за детьми своими пришли к обелиску.

Собираясь вместе, старики эти всегда робели, не знали, как вести себя, да еще в такой торжественный день.

Эгамов остался недоволен их видом, будто пришли встречать не основателя Гаждивана, а своих родственников с базара после удачной торговли.

— Странный вы народ, — без обиняков сказал Эгамов. — В такой день и то опаздываете. Все ли пришли?

Но никто не ответил ему, стояли старики и жмурились от солнца.

Поднявшись на постамент, Эгамов стал считать:

— Раз... два... три... — Несколько раз от волнения

он сбивался со счета и кричал старикам: — Раз в тридцать лет бывает такой день!

И еще Эгамов крикнул толпе:

— Стройтесь за детьми своими. И спрячьте рваные халаты и галоши!

Старики послушались его, и Эгамов приказал учителю:

— Только после моего знака!.. Который час?

— Без пяти минут...

"Без пяти", — сжалось все внутри Эгамова от предчувствия скорой встречи.

Пока Эгамов строил всех, по мосту через высохшую речку с трудом проехала машина.

С тихой старческой радостью смотрел на Гаждиван Беков.

"Вот земля, где я могу наконец спокойно пожить", — думал он почти со слезами на глазах.

С трепетом смотрел Эгамов на машину, таинственную, с маленькими окнами.

Вот уже шофер подошел к левой дверце, открыл ее...

"Нет, — решил тут же Эгамов, — это не командир".

Слишком маленьким, немощным показался Эгамову человек, который, опираясь на трость, вышел из машины. Командира бы Эгамов сразу узнал, а у этого очки на носу какие-то уродливые. И белый гражданский китель глухо застегнут: боится, бедняга, простудиться, решил Эгамов. И сам он весь какой-то сутулый.

Беков тоже не узнал своего бывшего адъютанта. И не понял, ради чего собралась вся эта толпа. А главное, смутил его обелиск, гордо возвышающийся над всей этой суетой.

"Нет, — подумал Беков, — здесь какое-то недоразумение, не относящееся ко мне. Как бы незаметно пройти мимо этих людей? Но куда? К кому? К Эгамову", — первое пришло ему на ум.

"Инспектор, наверное, — решил Эгамов, продолжая с явным неудовольствием следить за Бековым. — Приехал собирать налог или страховать имущество. Ах, как неудачно!"

Шофер показал Бекову на толпу, которая равнодушно взирала на суету двух людей — Бекова и Эгамова.

— Это и есть гаждиванцы... Но для чего они собрались здесь — ума не приложу. Загадочное очень население здесь. Каждый раз новый спектакль.

— Так это и есть гаждиванцы? — переспросил Беков, продолжая в нерешительности стоять возле машины, все еще не зная, как ему быть в этой неловкой ситуации.

"Скорее бы они убрали машину, чтобы не мешать встрече командира, — с тоской думал Эгамов, стоя по-прежнему на постаменте. — Люди могут разойтись, испугавшись этого заносчивого инспектора".

Но в толпе не было никаких признаков оживления.

Беков, которого бросило в пот, снял шляпу, и тут Эгамов заметил, что рука его почти не гнется. А когда Беков, осмелев, спросил, обращаясь к толпе: "Товарищи, не может ли кто-нибудь показать дом Кулихана Эгамова?" — бывший адъютант ослабел и тихо застонал, услышав, что человек, которого он принял за инспектора, говорит голосом командира...

Закричал Эгамов:

— Товарищ... товарищ командир!

Засуетился, прыгнул вниз к машине.

"Да это он, родной командир! Как я, старый осел... Скандал!" — Эгамов готов был до конца жизни ненавидеть себя.

Беков вздрогнул от его крика.

Эгамов подбежал к нему и первым делом поднял бороду, чтобы командир заметил шрам и убедился, что это он, Эгамов, его адъютант.

Беков узнал его и пошатнулся, пораженный старостью адъютанта.

Эгамов поддержал его, взяв под руки, и отвернулся, чтобы командир не видел его слез.

Беков был ошеломлен видом адъютанта.

"Какой он нелепый", — мелькнуло в голове.

"Он такой же высокий и крепкий, наш командир, и только мне, слепому болвану, показался он таким немощным", — думал Эгамов, разглядывая Бекова восторженными влажными глазами.

— Ну вот, — Беков растерянно развел руками. — Вот и приехал.

— Спасибо, спасибо, — только и мог выговорить Эгамов.

Затем вспомнил, повернулся к учителю и замахал руками.

Пионеры, утомленные долгим ожиданием, лениво заиграли марш. Военный марш Первого Бухарского полка.

Беков все понял, грустно улыбнулся, словно журя Эгамова за его столь ненужное старание, и выпрямился,

чтобы принять на себя ту роль, которой требовала данная ситуация.

Толпа окружила командира, разглядывая его и улыбаясь.

Пионеры протянули ему цветы.

Беков еще больше втянулся в роль и даже принял суровый вид, как и подобает герою, хотя и был очень смешон в своих собственных глазах.

— Спасибо, — сказал он пионерам.

Затем Эгамов повел его мимо взрослых.

— Приветствуйте отца вашего, основателя Гаждивана! — кричал он.

Старики кланялись.

— Мир вам, — говорил им Беков.

— Добро пожаловать в Гаждиван, — отвечали они.

Пройдя мимо большой толпы встречающих, утомленный Беков решил, что теперь уже настал конец этому спектаклю, и хотел сказать Эгамову, чтобы тот скорее увел его.

— Вот, товарищ командир! — Эгамов замер и вытянулся, так торжествен был для него этот момент.

Беков не сразу понял, что показывает он на обелиск. Уже свыкся с ним, как с неразрешимой, по крайней мере на сегодня, загадкой.

Но Эгамов настаивал.

Беков поправил круглые, с тонкой оправой очки и поднял голову.

Сейчас обелиск был особенно великолепен в свете утреннего солнца.

Не дав командиру опомниться, Эгамов взял его под руку и повел на постамент.

— Вот! — нежно погладил Эгамов рукой небольшую мраморную доску. — Здесь все сказано.

"Здесь, — читал Беков, — в Гаждиване, отряд народных войск под командованием Исхака Бекова наголову разбил банду басмачей".

Прочел спокойно и равнодушно, будто речь шла о ком-то другом. В душе появилась с годами та самая преграда, которая не позволяла ему, старому человеку, черпать силу и вдохновение из опыта прекрасной молодости.

Но роль героя требовала от него успешного финала, и, повернувшись к людям, с благоговением наблюдавшим за ним, Беков сказал:

— Спасибо за гостеприимство. — Нагнулся, положил оба букета на постамент и добавил: — Вечная память погибшим...

Эгамов же своеобразно понял это смущение и нерадость командира.

"Скромный человек командир, он просто не ожидал такого приема и растерялся", — решил он.

Увидев, что Беков положил цветы у подножия обелиска, старики решили последовать его примеру.

Командир говорил каждому:

— Спасибо, вы бережно храните память о погибших...

А преображенный, помолодевший Эгамов стоял рядом с командиром и чувствовал себя на вершине славы.

"Наконец-то, — решил он, — гаждиванцы узнали, кто я". Отныне он не просто Эгамов, вечно недовольный, ворчливый старикашка, над которым посмеиваются они втихомолку.

Он снова воин Бекова. Это в честь его командира поставлен обелиск!

В Эгамове сейчас столько силы, что он готов снова по первому зову командира сесть на коня и драться! Готов! Пусть только командир прикажет...

Беков же, стремясь скорее закончить все это, наклонился к нему и шепнул:

— Довольно, Кулихан. Веди меня теперь на завод. Показывай.

Сказал просто так, ибо не очень-то хотел снова встречаться с людьми. Ведь кто знает, может, Эгамов устроил и на заводе не менее внушительную встречу. Сейчас Бекову больше всего нужен был покой, но он понимал, что в новой своей роли не быть ему в покое еще долго.

— Показывай, только не надо людей, — повторил Беков оторопевшему Эгамову.

Просьба Бекова развеяла радужные мысли бывшего адъютанта.

— Да, да, — закивал он, — на родной завод.

Но снова дал знак музыкантам, чтобы те играли.

Беков решительно спустился вниз, к газонам. Эгамов — за ним. Шофер, который все это время сидел в машине и ошалело смотрел на происходящее, подбежал к своему недавнему пассажиру, невзрачному старикашке, который на глазах его превратился в героя, и протянул саквояж.

Эгамов схватил его и стал разглядывать, сразу узнав потрепанный саквояж, в котором командир тридцать лет назад увозил свои вещи.

— На завод, — не допуская возражений, настаивал Беков, направляясь по главной улице Гаждивана.

Эгамов схватился за больное сердце. Оглянулся в надежде увидеть машину председателя Нурова, с которым они заранее договорились о встрече командира.

После встречи у обелиска должна была подъехать машина Нурова и, не давая Бекову возможности осмотреть Гаждиван и завод, увезти его в колхоз.

Друзья решили оберегать больного Бекова, постепенно подготовить его к неприятным неожиданностям, которые ждут в Гаждиване.

Резкий гудок машины заставил подпрыгнуть от радости бывшего адъютанта.

"Волга" Нурова, разгоняя людей, остановилась у обелиска, и послышался крик:

— Эй, кто тут Беков?

Хохочущее, дерзкое старое лицо высунулось из машины. Несколько секунд разглядывал командира, затем сделал ему жест рукой: подойди ко мне.

Нуров был так резок и безапелляционен лишь потому, что считал это самым удобным тоном, чтобы заставить Бекова следовать его воле.

На самом же деле ему не терпелось броситься к другу, обнять его и отвести от сердца ту грусть, с которой он ждал приезда командира.

— Это Нуров, товарищ командир, — шепнул Эгамов растерявшемуся Бекову.

— Да, да, он, — сказал Беков, сразу узнав председателя, будто чувствовал с самого начала, что именно таким, дерзким, насмешливым стариком, встретит он Нурова много лет спустя и тот будет кричать: "Эй, кто тут Беков?"

Беков заторопился, чтобы обнять Нурова, но тот не дал ему опомниться, потянул в кабину, навалился грузным телом на задыхающегося командира. Машина выехала на шоссе.

Эгамов сидел рядом с шофером, боясь за командира.

А Нуров продолжал толкать Бекова, все хохотал не натурально, все обнимал его. Беков же противился, слабым голосом возражая, но никак не мог высвободиться.

Очки его соскочили с носа и упали на колени Нурова. Эгамов повернулся, осторожно поднял их, протер рукавом стекла. Странно видеть очки командира. Никак не мог он привыкнуть к ним.

Наконец Нуров оттолкнул командира и надел ему очки на нос, дружески иронизируя.

— Ах, какой ты стал чистенький, интеллигентненький на старости лет, противно смотреть... — несколько переигрывал Нуров.

— И ты не тот уже, — с грустью сказал Беков, устало вздыхая.

— Как не тот?! Самый настоящий Кровожадный Цыпленок! — хлопнул себя по животу Нуров.

— Кровожадный Цыпленок, — улыбнулся Беков, вспомнив кличку молодого Нурова.

— А я, командир... Я — Ласковая Змея, — сказал Эгамов.

— Да, вспомнил, — сказал тихо Беков, но вдруг помрачнел, взглянув в окно и поняв, что его увозят. — Поворачивай, председатель. Сначала на завод.

Эгамов забеспокоился, но Нуров дал команду шоферу:

— Езжай дальше.

Беков съежился, внимательно посмотрев на обоих, хотел противиться, требовать, чтобы объяснили, но Нуров снова обнял его, снова стал толкать, чтобы отвлечь.

— А Турсунов, товарищ командир, Бесхвостый Барс.

— Турсунов?.. Жив ли он? — рассеянно проговорил Беков.

— Жив, жив, — поспешил успокоить его Эгамов. — Но очень занят. Вы уж простите его.

Подозрение Бекова уже окончательно оформилось.

Что-то произошло в Гаждиване, что друзья хотят скрыть. Что-то очень неприятное для него. Устав от неприятностей, которые преследовали его в жизни, боясь их, Беков загрустил.

— Смотри, командир! — Нуров показал в окно.

По обе стороны тянулись хлопковые поля.

Солнце и роса блестели в спелых гроздьях еще не убранных виноградников.

Потом увидел Беков большое поле клевера, на котором паслись жеребцы. Заметив машину, они пустились наперегонки, резвились, ржали, эти молодые, еще не объезженные кони, радуя старого кавалериста.

Совсем иначе смотрел на это бывший адъютант. Он рос в таком поле и хотел бы умереть в нем. Когда Эгамов почувствует смерть, он уйдет из душного Гаж-

дивана, чтобы растворить ся здесь, в зеленом безлюдном море.

— Шофер, останови, — приказал Нуров, открывая дверцу.

Вид поля взбодрил его, вспомнил он, как молодыми и отважными, кочуя по пустыне в жажде мести басмачам, мечтали они об оазисах. И когда находили, бросались на клевер, чтобы помериться друг с другом силой.

— Вылезай, Беков, поборемся!

Нуров вылез из машины и сбросил с себя шевиотовый китель с орденами, небрежно приколотыми и привинченными возле верхних карманов.

— Ты что? — растерялся Беков, поняв, что тот не шутит.

— Вылезай, говорю! — Нуров вытянул Бекова и, потирая руки, стал готовиться к поединку.

Но Беков был неспособен к сопротивлению, стоял пошатываясь.

— Ну! — крикнул Нуров, чтобы приободрить его. — Начали!

И, крепко сжав командира в объятиях, упал с ним на клевер.

Беков тихо вскрикнул.

Эгамов в смятении бросился было к нему на помощь, но понял, что ничего страшного не произошло.

Боевые друзья лежали рядом и молча смотрели в небо, предаваясь воспоминаниям.

Зеленый омут располагал к душевному спокойствию и тишине.

— Знаешь, где мы лежим?

— Знаю, — так же тихо и мирно ответил Беков. — Здесь были пески. И здесь мы воевали. И многие из нас положили здесь головы.

— Посмотри. — Нуров протянул ему стебелек клевера. — Стебелек этот был сосудом в чьем-то сердце. И сердце это трепетало, когда ты кричал, обнажив лезвие сабли: "Смерть врагам!" А теперь сердце превратилось в самый обыкновенный клевер.

Беков молчал, пугаясь таких слишком сложных ассоциаций.

Нуров понял это и, поднимая его и стряхивая с кителя Бекова клевер, проворчал:

— Черт побери, с тобой всегда тянет философствовать...

Крестьяне уже знали о приезде Бекова.

Услышав гудки, они выходили из домов, щурясь,

долго смотрели вслед машине, стараясь разглядеть командира.

Много людей собралось и возле красного, с колоннами дома — правления колхоза.

Молча смотрели, как Беков выходит из машины, теснились к свежевыкрашенным оградам, пропуская его вперед.

— Люди, — кричал Нуров. — Посмотрите, кто приехал!

Самые смелые подошли поближе и, сложив руки на груди, стали кланяться Бекову и своему председателю.

— Вы только посмотрите! — ликовал Нуров.

Командир мрачнел, чувствуя себя неловко от их взглядов. Он решил сделать вид, будто все это мало его касается. Стал разглядывать площадь перед домом правления, машины и повозки, осликов, которых пригнали сюда колхозники.

— Повернись же к людям. Они хотят приветствовать тебя. — Нуров потянул Бекова за руку.

— К чему все это? — пытался защититься Беков.

Нурову нравилось, что народ возбужден, что тихая сельская жизнь сегодня нарушена. Спрашивал он, обращаясь к крестьянам:

— Кто узнает этого человека?

Видя, что люди пассивны, Нуров бросился в толпу и, поймав какого-то старика за пояс халата, приказал:

— Смотри и вспоминай!

— Товарищ Беков! — вдруг воскликнул старик и, схватив командира за руку, наклонился, чтобы поцеловать ее.

— Здравствуйте, Бобо-Назар, — произнес Беков, делая усилие, чтобы освободить руку.

— Да, я. — Старик испуганно отпрянул назад, тяжело и мучительно закашлял, вытирая рукавом губы, боясь, что у него, больного туберкулезом, может пойти кровь из горла.

— Помнишь, Исхак, басмача, головореза? — спросил Нуров, ударяя старика по спине, чтобы у того прекратился приступ кашля. — Сейчас он мастер, поливальщик.

— Значит, вы помните меня, отец? — спросил Беков лишь для того, чтобы поддержать разговор.

— Да, да, и часто думал: где вы теперь... Вижу, вернулись.

— Вернулся, — сказал Беков.

Все трое помолчали.

— Жизнью я доволен, заключил Бобо-Назар.

— И все мы довольны, — сказали крестьяне, обращаясь к Бекову, нежно и смущенно.

Им очень хотелось чем-нибудь порадовать гостя, но гость был слишком утомлен, чтобы понять это. Он только кивал и ждал, когда наконец они с Нуровым уйдут ото всех.

Потом они долго бродили вдвоем по полям и виноградникам.

Нуров срывал ягоды и угощал командира.

Беков вполголоса рассказывал ему, где он был все эти годы и чем занимался.

— Был даже на Колыме, — вспомнил Беков.

— В ссылке?

— Нет. Парторгом рудника.

А Нуров все эти годы работал в колхозе, бессменным его председателем. Семья у него. Познакомил он Бекова с женой и сыновьями, работающими на сборе винограда.

Видя, каким стал маленький, бедный колхоз, как мудро и умело организовано здесь дело, Беков много раз выражал восторг и был рад за своего помощника.

— Как ты смог сделать все таким? — спросил Беков, в глубине души где-то завидуя Нурову.

И Нуров понял, что вопрос этот задан не из любопытства, и долго думал, бродя среди виноградников, как ответить. Но, жалея командира, решил отшутиться, замять разговор, оставляя его до более удобных времен, и пригласил Бекова на обед в комнату гостей.

— Вид у тебя такой, будто давно солнца не видел, — сказал Нуров, заметив, что щеки друга от хождения по полям и виноградникам покрылись легким румянцем.

— В больнице лежал долго. Потом врачи посоветовали выйти на пенсию.

— А где думаешь жить?

— В Гаждиване, наверное, — на всякий случай уклончиво ответил Беков.

— Зря. Оставайся у меня. Дом тебе выстроим. Заботиться о тебе будем.

— Я люблю Гаждиван. И все думал вернуться туда, — старался Беков вызвать председателя на откровенный разговор.

— Но ведь ты на пенсии...

— Так что же?! Неужели мне не найдется уголка в городе, который сам я закладывал?

— Ни веса у тебя теперь, ни положения, ни сил, — продолжал Нуров. — А в Гаждиване, скажу откровенно, перед тобой встанет масса проблем. И, зная твой характер, зная, что ты начнешь бегать по разным конторам, хлопотать, бить кулаками по закрытым бельм дверям... — увлекся Нуров и вдруг понял, что зря. — Душно! — Он снял китель и стал вытирать голое тело полотенцем.

Подошел к двери и крикнул:

— Бобо-Назара сюда!

Увидев полуголого Нурова, Бобо-Назар тоже снял халат, обнажив темное тело и подушечку-талисман на груди.

— Устраивайся, Беков, поудобнее. Сейчас Бобо расскажет историю минувших дней.

Назар сел напротив Бекова и долго не мог одолеть волнение.

Почти все, кто знал об отряде Бекова, давно уже умерли, и только бывший басмач Бобо-Назар помнил все. И Нуров часто приглашал его к себе, чтобы Назар тихо, вполголоса повествовал о том, как били их, басмачей, как гнали по пустыне мимо холмов, гнали до самой афганской границы, пока не уничтожили всех.

— Про то, что вчера? — спросил Бобо-Назар, собравшись с мыслями.

— Ты про гостя расскажи, — приказал Нуров. — Про командира.

Все происходящее было непонятно Бекову. Думал он сейчас о Гаждиване и ждал минуты, чтобы попрощаться с Нуровым.

— Хорошо, — начал Бобо-Назар. — Мы долго думали, где вы теперь, командир Беков. — Лицо Назара передергивалось от напряжения. — Здесь была чума, командир, и были басмачи, когда пришли Советы. Все мы ходили с опухшими от голода животами. И вот вы пришли в тот год вместе с председателем Нуровым, чтобы сделать все по-новому. — Становясь рассказчиком, Бобо-Назар чувствовал себя неизмеримо выше слушателей. Вот и сейчас, сделав паузу, он, к удивлению Бекова, тоном приказа сказал Нурову: — Налейте мне чаю, председатель. Волнуюсь я...

Отпив несколько глотков, он продолжал:

— И тогда я выстрелил в вас... Прямо в руку.

Командир побледнел, поспешно убрал руки со столика, боясь, что Бобо-Назар снова поцелует их.

— Но вы простили меня, — рассердившись на себя, сказал тихо Назар.

— Почему же ты простил его, почему? — заволновался Нуров.

— Не помню, — ответил Беков, стараясь быстрее закончить неприятный ему разговор.

Нуров помрачнел, потом успокоился, сел и сказал Назару:

— Что-то скучно рассказываешь сегодня. Или!

— Простите. — Назар медленно взял халат, поклонился и вышел.

2

Бывший адъютант все это время сидел в колхозном саду и был увлечен беседою с приятелем-садовником. Говорили они о разных мелочах садоводства, о дождевых червях, о прививках груши на яблоню, но в конце Эгамов не стерпел и поведал другу о своей радости. Он сказал:

— Смотри, как я помолодел. И все это оттого, что вернулся любимый мой командир!

Сказал, а у самого сердце заболело от тоски. Вспомнил он, что на закате дня командир должен вернуться в Гаждиван и тогда уже начнется самое неприятное.

Эгамов сорвал несколько яблок, сунул их за пазуху и, попрощавшись, уехал на попутной машине в Гаждиван.

На площади Обелиска снова сидели старухи, разложив на тряпках редиску и помидоры, но Эгамов был до того озабочен, что не стал бранить их.

"Гаждиванцам этим совсем безразлично, есть командир или нет его. Утром эти же самые старухи встречали командира у обелиска, клали цветы на постамент, а в полдень на том же самом месте занялись низменной торговлей. Нет для них ничего святого!" — так рассуждал Эгамов, стоя в нерешительности посреди улицы.

Думал он, что́ сделать в первую очередь: сходить к Турсунову на завод или же хорошенько отругать дворников за халатность.

И для них Гаждиван, его улицы и площади не святыня. И они забыли, что здесь на каждом шагу пролита кровь Эгамова и его друзей...

Поселок делится на Гаж и Диван одной широкой улицей. Стоит ступить два шага в сторону — начина-

ются темные переулки, в которых немудрено заблудиться и старожилу.

Низкие глиняные домики, сырые до самых крыш, сползают сверху вниз один на другой. Подземная вода, что просачивается вместе с солью, медленно разрушает Гаждиван.

А в огородах за высокими заборами оттого и не растет ничего путного, что везде соль.

В подавленном настроении шел Эгамов по улице.

Знал он, что командиру могут не понравиться заборы. Даже тогда, когда закладывали Гаждиван, в людях крепко сидела эта собственническая привычка — прятать дома за высокими заборами, прорубать окна не на улицу, а во двор.

Командир много боролся с этой дурной привычкой и, уезжая, завещал:

"Стройте дома так, чтобы они были одним большим домом, не отгораживайтесь, будьте братьями".

Но через год-два, когда в новый поселок понаехало из разных прочих мест несчетное количество "чужаков", всяких торгашей, спекулянтов и когда они начали теснить коренное население — воинов Бекова, все пошло по-старому.

И еще эти стекла на заборах — обратил на них особое внимание Эгамов. Кусочки битого стекла вмазаны так, чтобы человек, пробующий украсть (черт знает что — помидоры или редиску! А что у них еще есть, у гаждиванцев?), поранил себе руку.

Хитро придумано, ничего не скажешь!

Идет Эгамов, и шаги его слышны по всему Гаждивану. Земля в переулках от бесконечных хождений превратилась в камень.

Всем, кто выходил из домов, услышав шаги Эгамова, бывший адъютант приказывал:

— Уберите стекла с заборов! Что подумает о нас командир?

Но гаждиванцы только пожимали плечами, мол, ненормальный старик.

Эгамов в какие-то ворота постучал:

— Сейчас же подметите возле своего дома. Скоро будет проходить здесь командир!

Пригрозил двоим-троим:

— Если не уберете стекла, выселим из Гаждивана!

Затем подошел Эгамов к пекарне и стал наблюдать через окно, как работает сын Маруф.

Маруф заметил отражение отца в баке с водой и стал усердно месить деревянной лопатой тесто в котле.

"Плох отец, — мелькнуло в голове сына. — Боюсь, как бы старик не слег в постель от переживаний. Шутка сказать — командир вернулся..."

Видел Эгамов, что старик Нишан, главный пекарь, сидел в углу на овчине и, попивая чай, изредка давал указания Маруфу.

Второй его ученик, Адхам, просовывал голову в горячую печь и вытаскивал крючком лепешки.

Маруф четвертый год месит тесто, и одному богу известно, когда он уже станет мастером. Нишан и не думает уходить на отдых — дело прибыльное, хлеб едят все.

Зато когда он умрет, Эгамов сделает все, чтобы место главного пекаря занял не Адхам, а его сын Маруф. У Адхама отец чайханщик, семью содержит, а Маруф непременно сбежит в Бухару, если потеряет место в пекарне.

"Если уйдут сыновья наши, кто тогда после нас жизнь будет продолжать в Гаждиване?" — часто думает бывший адъютант.

— Маруф, — тихо позвал он сына.

Маруф вышел, вытирая руки халатом и нервно подергивая плечами в предчувствии дурного.

Интуиция его никогда не подводила — Эгамов размахнулся и ударил сына по щеке.

Маруф бросился на землю и лежал, спрятав голову под халат.

— Испугался, мерзавец!

Зная, что отец остыл, Маруф поднялся и посмотрел на отца безразличным взглядом, обезоруживая его этим.

— Отец, там лепешки могут сгореть...

— Нет, постой. Почему ты не пришел сегодня к обелиску?

Маруф молчал.

— Как посмотреть мне теперь в глаза командиру? Разве о таких сыновьях мечтали мы, умирая в пустыне?

— Прости, — сказал сын.

Маруф был доволен, что отделался так легко — лишь одной пощечиной. Зная любовь отца к командиру, о котором он вспоминал каждый день, бредил им, Маруф ждал истерики.

Ранним утром сын был разбужен и получил приказ идти к обелиску встречать командира.

Но Маруф слишком любил отца, чтобы равнодушно смотреть на то, что произойдет у обелиска. И сын сбежал и все утро бродил по глухим переулкам Гажди-

вана, жалея отца и думая обо всех последствиях, которые ожидаются с приездом Бекова.

Сын с высоты своего двадцатилетнего ума понимал все.

— Ладно, — сказал Эгамов сыну, — дома продолжим разговор. Иди. И не забудь к вечеру принести домой свежих лепешек для командира...

Эгамов подошел к заводу: отсюда начиналась история Гаждивана. Забор, возле которого выстраивался отряд, давно уже сгнил и рухнул. Но ворота странным образом держались на столбах, и над ними покачивалась вывеска тридцатилетней давности: "Гаждиванский хлопкоочистительный завод".

И хотя во двор можно было проникнуть откуда угодно, ворота эти продолжали служить. Утром, ровно в восемь, они открывались, а вечером, после смены, охранник закрывал их на засов и привязывал пса.

— Беков приехал, — сообщил Эгамов охраннику, но тот сделал вид, будто не слышит.

Бывший адъютант забежал во двор и стал смотреть по сторонам, в надежде поймать хоть один сочувствующий взгляд. Чтобы можно было сесть с этим человеком и вместе решить, как сделать так, чтобы крах завода не был для командира страшной неожиданностью.

Но громадный двор был безлюден. Тишина, не работают цехи. С тех пор как уехал командир, завод больше не строился, а сейчас он доживает последние дни. Станки покрылись ржавчиной, и скоро совсем перестанут вертеться колеса.

Стоял Эгамов во дворе возле свалки до тех пор, пока не вышли из цеха двое рабочих с носилками, полными разного железного хлама.

Видно, рассыпался еще один станок, и теперь несут его останки на кладбище машин здесь же, во дворе.

На этом кладбище лежит громадное колесо с тупыми зубьями, похожее на челюсть животного, — все, что осталось от иностранной машины, которую вез вместе с командиром Эгамов из Бухары.

И еще много разного хлама — все, что тридцать лет назад было машинами и станками, что так радовало Эгамова умным сочетанием деталей, созданным для того, чтобы помочь человеку в его труде.

Кто-то из рабочих сказал, напугав Эгамова:

— Говорят, Беков здесь...

— Вряд ли. Он носа теперь сюда не сунет, — сказал

второй, рассердив Эгамова. Эгамов хотел вступить с ним в спор, доказать, что не смеет он так пренебрежительно говорить о командире. Ведь командир вовсе не виноват во всем этом хаосе, он хотел только добра, и Эгамов этому свидетель.

Кто-то еще подошел с ведром мусора к свалке.

— Бекова не видел? — спросили рабочие у него.

— Нет, а кто этот Беков?

И снова хотел Эгамов воззвать к совести этих рассерженных на командира людей, потому что все они были сыновьями воинов Бекова.

Отцы их, те, кто строил этот завод тридцать лет назад, а затем стояли за станками и машинами, передали свою профессию детям, чтобы те помнили командира и преклонялись перед ним.

— Эй, Бекова не видели? — кричали люди в разных концах двора.

Не мог Эгамов понять, как он не лишился дара речи, когда вдруг увидел командира.

Открылась дверь конторы, и вышел на зов людей Беков.

— Я Беков, — сказал он тем, кто искал его.

Но, к удовольствию Эгамова, рабочие уже уходили с завода, потому никто не услышал командира.

Командир хотел было пойти за ними к воротам, но что-то остановило его.

Постояв немного возле свалки, Беков снова ушел в контору.

И еще Эгамов подумал, что должен был ослепнуть, увидев таким страдающим своего любимого командира. Бледное, странное лицо Бекова искажалось оттого, что он разбил свои очки, но Эгамов не знал об этом.

Бывший адъютант опустился на кусок рельса — так ослабел, что не мог встать, чтобы пойти утешить командира.

Ну как объяснить ему все это? А может, он давно знал сам, знал, что ровно через два года после его отъезда пришел из Бухары приказ о том, чтобы не строили далее завод в Гаждиване?

Было сказано в приказе, что допущена ошибка с рекой. Река слишком слабосильная, чтобы напоить одновременно и завод с городом, и колхоз Нурова.

Но так как колхоз уже оформился и земля рожала на полях своих хлопок, а завод и Гаждиван только

строились, решено было дать реку в пользование колхозу, чтобы колхоз мог всячески расширяться за счет пустынных земель.

Хлопок было приказано возить теперь не в Гаждиван, в его маленькие глиняные цехи, а в большой город Бухару, где работал комбинат, построенный еще давно учеными специалистами из Петербурга.

Все было сказано в этом приказе о промышленности, о реке и о колхозе, но ни слова о людях Гаждивана, которых к тому времени набралось уже более трехсот душ вместе с воинами Бекова.

Сорок из них было занято на неудавшемся заводике — его почему-то тоже сразу не закрыли, — а остальные, не получив никакого приказа, самовольно пустились во всякие промыслы, преимущественно частные, на ниве огородничества.

Эгамов буквально поседел за ночь, когда узнал о приказе. Он писал Бекову, чтобы тот приехал и скорее разрубил саблей эту ложь. Казалось ему, что командир не мог допустить ошибку, что все это козни предателей.

И даже пустился Эгамов в плавание на лодке по обмелевшей к тому времени реке, чтобы найти тех, кто в чужих землях загородил воду, чтобы отнять ее у строящегося Гаждивана.

И как он был поражен, когда нигде не обнаружил вражеских дамб и перегородок и не увидел подозреваемых людей — просто сама река от усиленной эксплуатации не могла более накапливать в себе воду, чтобы хватило ее и на Гаждиван и на колхоз.

"А сейчас, — думает Эгамов, — надо пойти к командиру и сказать: не надо грустить. Что бы там ни было, а прожили мы не зря. И я счастлив, что повстречался с вами, командир..."

Пугаясь собственных шагов, приблизился Эгамов к двери конторы и постучал.

Беков не ответил.

— Командир, — сказал Эгамов, не решаясь открыть дверь, — пора отправляться домой. Я заварю крепкий чай, и он снимет усталость. И сын Маруф, наверное, ждет нас с горячими лепешками.

Еще немного постоял он за дверью, как провинившийся, и тихо вышел с завода, чтобы позвать людей на помощь.

Убитый горем старый командир лежал теперь в конторе на кровати и тихо размышлял о прожитой

жизни. Наслышался он намеков Нурова о том, что ждет его в Гаждиване, и сомнения стали терзать его.

И чтобы избавиться от них, Беков отложил обед, устроенный в его честь Нуровым, и тайком приехал из колхоза поглядеть на город своей юности.

Все, что он увидел сегодня, не было для Бекова полнейшей неожиданностью. С годами, когда его стала посещать мудрость, Беков начал понимать, что строить новую жизнь, никакому народу доселе не известную, гораздо сложнее, чем разрушить старую. Не так-то легко, отложив саблю, одним взмахом которой можно было уничтожить врага, взять кирку и таким же взмахом построить город и переселить туда людей.

Он столько работал в разных углах страны и видел, что люди, подобные ему, потерпели крах и захирели их города и веси, а удача сопутствовала только тем начальникам, города и заводы которых были заложены с большим умом и вкусом, без особой спешки, с учетом природы и других неизвестных тогда Бекову обстоятельств.

Сидя в конторе умирающего завода один на один со своим горем, Беков вдруг вспомнил о своем давнем приятеле, бывшем и нынешнем секретаре обкома Мавлянове, который лучше других знал о Гаждиване.

И Беков решил немедленно поехать к нему в Бухару, ибо люди, которым он обещал здесь жить, ждали.

Гаждиван пустеет, как только заходит солнце. Закрываются парикмахерские и пекарни. Жизнь переходит с улиц во дворы, где валит дым от очагов — гаждиванцы готовят свой бесхитростный ужин и, поев, сразу ложатся в постель, чтобы за ночь остыть немного от жары.

День прошел, и слава богу. Больше нечего ждать: ни чуда, ни наводнения.

И только те, кого мучает бессонница, допоздна в чайхане рассказывают небылицы и дразнят перепелок при свете факелов.

И еще молодые люди, которые в силу своей лености не хотят уходить в Бухару на заработки, собираются в этот час возле обелиска и, посвистывая, смотрят в темноту главной улицы.

Потом, одурев от безделья, начинают драться. Дерутся, разделившись на улицы, и к утру весь

Гаждиван покрывается камнями и палками

И от этого Эгамову работы прибавляется. Ходит он и убирает в ведро камни с обелиска.

Не пойму я нынешнюю молодежь, — часто жалуется бывший адъютант, сидя в чайхане. — Если уж очень руки чешутся, то пусть дерутся так, как дрались мы, отцы их, не по пустякам и личным обидам, а за великое дело...

Сейчас и пришел в эту чайхану Эгамов. Здесь, видно, только чай заварили — старики, держа в руках пустые пиалы, расселись на кроватях.

— Гаждиванцы! — начал Эгамов без всяких предисловий, ибо время не терпело. — Сегодня вы все так тепло встречали командира Бекова. Но закон гостеприимства не позволяет оставлять гостя одного.

Впервые Эгамов говорил с ними так мягко, прося об одолжении. Это были люди из другого мира, пришельцы, не такие честные и бескорыстные, как исчезнувшие коренные жители, воины Бекова. И поэтому Эгамов сторонился их.

— Но ведь он ваш гость, — возразили ему. — Вы ведь сами просили не появляться перед глазами Бекова.

— Я просил не приставать к нему по мелочам. Зато, командир, он сделает так, чтобы Гаждивану завидовала сама Бухара. Вы ведь хотите этого?

— Да, отец Кулихан, мы хотим иметь свой город, нечего нам ездить на базар в Бухару. Пусть маленький, но свой город.

Знал Эгамов, для чего им нужен свой город — для мелкой спекуляции, вовсе не такой город, о котором они мечтали с командиром...

И один из стариков даже расстроился, услышав про город.

— Я приехал сюда в тридцать четвертом, когда узнал, что строится город. И не для того, чтобы торговать редиской в Бухаре. Я хотел открыть здесь свое сапожное дело, но все полетело к чертям из-за этой проклятой реки.

— Ладно, — успокоил его Эгамов, — теперь будет дело. Командир для того и приехал, чтобы навести порядок.

Поверив Эгамову, старики вышли из чайханы, и он повел их на завод, где, как ему казалось, сидел Беков.

Эгамов шел по цеху, включая лампочки, старики за его спиной ощупывали станки, дергали ленты,

удивлялись технике, чмокали языками, смотрели на желтые, давно не беленные стены, прыгали через кучи мусора, попадая галошами в пятна машинного масла, ругались, но не отставали.

Осмотрели первый, потом второй цех, и Эгамов заметил мимоходом, как постарели с тех пор, как он вышел на пенсию, машины, как сильно износились они, как обвалилась штукатурка на стенах и на потолке. Все умирало здесь, но умирало с капризом, доставляя лишние хлопоты.

Потом все выбежали во двор. Появился охранник с собакой, стал грозить им, но толпа навалилась на него и чуть не помяла.

А когда вышли с завода, стали говорить:

— Уехал! Видно, не понравилось у нас Бекову.

— Конечно, таким людям легче жить в Бухаре.

— А Кулихан, — сказали люди из толпы, — обманул нас.

Пугаясь этих людей, ожидая расправы, Эгамов вприпрыжку бежал впереди них к дому.

Маруф стоял возле дома с лампой.

Эгамов приободрился, а страсти людей несколько улеглись.

— Принимай гостей, — сказал Эгамов сыну. — Прошу в дом, дорогие земляки.

Маруф вынес несколько циновок, и старики расселись во дворе.

Эгамов повесил лампу на шелковицу, и стало светло.

Неутомимый Маруф уже спускал с крыши мешки с дынями.

Старики торопливо развязывали мешки и, разбивая дыни об ствол шелковицы, ели.

Эгамовы пошли в дом и сели у окна.

— Что-нибудь случилось, отец? — осторожно поинтересовался Маруф.

— Командир ушел.

— Куда?

— Не знаю. Не мог же он уйти насовсем. Или мог?

Маруф пожал плечами.

— Проклятая жизнь, — прошептал бывший адъютант.

Маруф терялся в такие минуты, не знал, как утешить отца. Он понимал: все связанное с командиром и с прошлым отца слишком сложно, чтобы мог он, двадцатилетний парень, вынести свое суждение.

Образ отца всегда в его сознании был связан с бес-

численным количеством разных бумаг и справок, которые были спрятаны на чердаке в деревянном чемодане.

Вечерами, когда лил дождь во дворе или ложился снег на голые деревья и надо было сидеть в четырех стенах, Эгамов просил сына принести ему чемодан.

Отец долгим грустным взглядом изучал справки, в которых арабским, латинским и русским шрифтами были записаны все его заслуги в борьбе с басмачами.

Изучая, он качал головой, чмокал языком. Затем приказывал сыну сесть за стол, достать чистый лист бумаги и написать все подробности министру для получения персональной пенсии.

Сын исписывал страницы очень наивным текстом, который диктовал ему бывший адъютант, ревниво следящий за тем, чтобы все было изложено так, как он говорил, и чтобы не было там отсебятины не смыслящего ничего в жизни сына.

Сын мучился и изнывал от этой умственной работы, ибо многое из того, что творилось в душе отца, было непонятно ему.

В конце отец просил написать министру: "Все изложенное может подтвердить сам товарищ Беков, которого вам, министру, обнаружить гораздо легче. Ибо, как и вы, товарищ Беков вращается теперь в высоких сферах государственности, а государственным людям легче найти друг друга, потому что они все на виду".

Проверив на слух написанное, Эгамов собственноручно передавал письмо начальнику гаждиванской почты и брал заверения, что тот никому не скажет о его переписке с министром.

Министр всякий раз терпеливо разъяснял Эгамову, что заслуги его велики, но не настолько, чтобы выписать ему персональную пенсию, и ничего не сообщал о товарище Бекове.

— Министр, конечно, из молодых, потому не понял он ничего, — ворчал Эгамов и ровно через четыре месяца писал очередное письмо в надежде, что того министра уже сняли.

Вот и недавно, перед самым приездом Бекова, Эгамов заставлял сына писать очередное письмо в столичный город, и, как всегда, отношения отца и сына испортились.

— Может, поискать командира возле реки? — сказал Эгамов.

— Если хочешь, отец...

— Иди. Возьми лампу. Скажи: все вас ждут. И как только командир вернется, я их прогоню, этих спекулянтов.

Съев дыни, старики разбросали кожуру по двору, и в темноте можно было поскользнуться. Все они говорили хрипловатыми, простуженными голосами — дыни попались очень сладкие.

Точно так же сидели у Эгамова во дворе старики, когда умерла жена и старухи долго возились с ее омовением.

Некоторые из гостей улеглись на циновках, а самые беспокойные стали расхаживать по двору и впотьмах топтать огород.

Зачастили в туалет — стук двери отдавался у Эгамова в голове.

Все полностью вышло из-под его контроля. Старики делали что хотели. Хихикали, как совы, толкали друг друга, срывали в огороде недозрелые помидоры, чтобы выбросить ради забавы за ограду.

А полчаса спустя кто-то пригласил Эгамова на беседу.

— Надо, чтобы командир поговорил с Нуровым насчет огородов.

— Ясно, — кивнул Эгамов.

— Пусть Нуров даст в нашу реку немного воды. — Старик поднял край циновки, на которой лежал. — Вот столько примерно.

— Нет, не это сейчас главное, — возразили ему. — Пусть он переселит в Гаждиван молодых мужчин.

Несколько стариков хихикнули, подергиваясь от удовольствия.

— Нет, чужих мужчин нам не нужно. Дураки вы! Пусть он сыновей наших образумит, чтобы те не уходили в город.

— У всех ли сыновья? Поднимите руки.

Поднялись три руки. Эгамов помедлил и тоже поднял руку.

— А дочерей?

— Ты нас не стыди. Дочь моя пусть в старых девах ходит. Но за твоего сына — ни-ни!

— Нет, постойте, пусть они тоже руки поднимут. Мы ведь поднимали.

— У кого дочери?

— Ладно, нечего скрывать. Это ведь не глухота,

слава богу, и не слепота. Подымем. А ты, отец Кулихан, запоминай для сведения своему начальнику.

Теперь больше десятка поднялось рук.

— А вы сами ударили палец о палец, чтобы дела поправить? — закричал Эгамов.

И пожалел. Старики загудели, как шмели.

— Бороду ему надо рвать по волоску. И накормить его надо колючками.

Эгамов пошел в дом и оттуда стал наблюдать за стариками. Они продолжали горячо спорить, показывая на его забор, на огород, на крышу, пожимали плечами — поджечь, что ли, хотели...

Поздно вечером приехал на машине Нуров.

Свои странности были у этого человека: в такую духоту он вошел в дом Эгамова, набросив на плечи пальто.

Между ним и бывшим адъютантом была некая отчужденность. Появилась она еще в молодости, и, хотя оба старались сблизиться, ничего из этого не выходило.

— Эгамов? — спросил Нуров, подавая ему пальто.

— Да, председатель.

— Беков вернулся?

— Нет. И не знаю, где он. Сын ищет с лампой.

— Наверное, в Бухаре. Я предупреждал его, что хождения теперь бессмысленны... Что у тебя за люди?

— Здешний народ, председатель.

— Бездельники. — Председатель был зол на гаждиванцев. Он, как и Эгамов, остро переживал исчезновение коренного населения, честных и преданных людей, воинов отряда, где Нуров был в числе командующих.

— Мир вам, отцы Гаждивана! — приветствовал он стариков, проходя во двор. — Не вставайте. Я ведь моложе вас...

Старики уважали его и побаивались. Уважали за то, что он старался помочь им, разрешал собирать виноград, когда в удачные годы лозы ломились от ягод, или раздавал дрова на топку зимой.

Вместе с тем Нуров хотел нарушить их мещанский образ жизни, приучить гаждиванцев к труду и сейчас подумывал о том, чтобы соединить Гаждиван с колхозом, ибо в Гаждиване зря пропадала рабочая сила, в то время как в колхозе ее не хватало.

Он и Эгамову предлагал переехать жить в колхоз,

где будет чем заняться и ему и сыну, но Эгамову не нравилось это. Он ждал командира и надеялся, что, когда тот вернется, все переменится в Гаждиване, а переезд из Гаждивана означал бы предательство по отношению к командиру. Вот если командир прикажет, Эгамов поедет куда угодно, а пока в силе приказ быть здесь, в Гаждиване.

— Кулмурад! — позвал Нуров шофера. — Неси-ка лепешки. Здесь как раз ужинают.

Шофер принес большую стопку лепешек.

— По случаю Дня поминовения, — стал раздавать Нуров старикам лепешки.

Но старики гаждиванцы, люди без рода и племени, оказывается, и не помнят такого дня.

— Э, не годится отцам Гаждивана забывать хорошие обычаи!

— Это в деревне народ отсталый, помнит праздники,—возразили Нурову, чтобы не ударить лицом в грязь перед деревенщиной.

— В деревне истинный народ, — удержался от обиды Нуров. — Ладно, ладно, берите лепешки в честь Дня поминовения.

Довольные старики прятали лепешки за поясами халатов и благодарно кивали председателю.

Один из них сказал:

— Мы только что ужинали, председатель. Лепешки поэтому забираем домой.

Раздав лепешки, Нуров опустился на колени. Лицо его одухотворилось.

— О, ушедшие к черным звездам... Мы поминаем вас добрым хлебом своим, — стал читать он нараспев.

Успокаивающие нотки его голоса повлияли на стариков, и они, давно забывшие добрые слова, стали повторять за председателем:

— О, ушедшие к черным звездам... Мы поминаем вас добрым хлебом своим...

— Вот и хорошо, — сказал Нуров, вставая. — На том свете могут спросить, все ли ты сделал, человек, чтобы очистить душу от мерзостей?

— Это верно, — согласились старики.

Воспользовавшись хорошим настроением Нурова, старики стали просить, чтобы он помог им.

Начался разговор с цены на редиску на бухарских базарах.

Кто-то сказал:

— Мы все терпим убытки, председатель. Пучок редиски нынче пять копеек на самом бойком базаре.

— Да, это верно, — поддержали его. — Не могли бы вы пустить в нашу реку немного воды, председатель, чтобы мы с будущего года сажали дыни в своих огородах?

— Нет, с водой туго в колхозе.

— Но ведь у вас тысячи людей, — стали льстить Нурову. — И вы Герой, у вас ордена. И мы как-то голосовали за вас на выборах. А вы взяли и загородили реку и оставили нас без воды...

— Мы загородили реку, потому что вода нужна колхозу. А вы все частники. Давайте поговорим серьезно. В колхозе нужны рабочие руки. Много рук. Те, кто переедет ко мне, получат дом, деньги на корову. От вас требуется только одно — работа. В Гаждиване ее нет. Подумайте о своих детях. Зачем им искать работу в Бухаре, когда работы очень много под боком?

Старики сразу приуныли, перестали даже смотреть на Нурова — не по душе им были такие разговоры, давние разговоры.

Эгамов встал и ушел в дом. Все, что говорил сейчас Нуров, касалось и его. А бывшему адъютанту неловко, когда ставят его в один ряд с этими спекулянтами.

— Эгамов, — позвал его председатель.

Эгамов вышел, виновато опустив голову.

— Поехали в Бухару за Бековым... Этот народ ничего не хочет. Ни добра, ни зла.

Ночной город открылся им во всем своем великолепии. Таинственные от матового света луны минареты, улицы. Стук ворот, запираемых на ночь горожанами, и одинокие фигуры, наклонившиеся над арыками, чтобы испробовать воду, которая, прежде чем влиться в городские водоемы, петляла между корнями тутовой рощи, знаменитой на всю Туранскую низменность.

Во втором часу ночи машина остановилась возле здания обкома.

Постовой сообщил, что действительно товарищ, назвавший себя Бековым, заходил сюда вечером и вскоре вышел, очень подавленный.

— Видимо, решил переночевать на вокзале.

Нуров приказал ехать на вокзал.

"Командир ушел насовсем, — затосковал Эгамов, по-прежнему чувствовавший себя неловко в присутствии председателя. — Что ж, значит, у него были на это свои высшие соображения".

По пути на вокзал Нуров остановился возле лесо-

склада. Ругаясь, он перешел рельсы, где стоял состав с лесом, только что прибывший из дальних мест; рабочие при свете фар разгружали его.

Сейчас ему предстояло унижаться перед маленьким человечком — завскладом, который, сидя в конторе, следил из окна за разгрузкой.

Нуров долго стоял у порога и разглядывал с неприязнью маленький сморщенный его затылок.

Человечек давно увидел отражение председателя в мутном стекле, но продолжал делать вид занятого начальника.

Здесь, в конторе, распространялась его власть, и ему доставляло особое удовольствие всякий раз подчеркивать это перед такими сильными личностями, как Нуров.

— Теперь вы и по ночам меня беспокоите, товарищ Нуров, — наконец обернулся и отметил полушутя человечек, явно рассчитывая на то, чтобы хоть как-то унизить Нурова.

— Да, я ехал мимо и увидел, что привезли лес, — сказал Нуров, по-прежнему стоя у двери.

Где-то в глубине души человечек все же побаивался Нурова и заговорил осторожно:

— Такой человек — и не может достать лес. Ай-яй-яй! Значит, власть и ордена не все решают, верно ведь? Нужны и другие рычаги. Но я вас знаю, вы не такой, чтобы унижаться в обкоме и требовать лес в первую очередь. Но и я, поймите меня, не могу нарушать очередность...

— Овощи у меня гниют без склада, — сказал Нуров, еле сдерживая себя.

— Вся наша беда в том, что мы не в России, где такого добра, как лес...

— Мне обязательно нужен лес из этой партии. Иначе колхоз потеряет сто тысяч рублей

— Ладно, ладно, — сказал человечек, вставая. — Мы люди маленькие, с нами легче договориться. Пригоните завтра машины. У нас нет ни орденов, ни званий и мы легко понимаем, что нужно народу...

"Да, ты-то хорошо понимаешь!" — хотел было сказать ему Нуров, оскорбить его, выругать этого человечка, но он молча пошел к машине.

"Эх, Ахмед Нуров, — думал председатель, покачиваясь в машине, — тебе бы сейчас бегать по траве с ягнятами, находить гнезда птиц и поправлять их, оберегая от лис... И раненых лис лечить, чтобы не истребили их охотники, нарушители равновесия природы...

А ты как полуголый клоун, и смотрят на тебя тысячи хохочущих... Но почему для того, чтобы делать добро, надо ползать на коленях перед такими "облеченными властью" или же лезть на гору, чтобы кричать оттуда на слабых духом... А Беков спрашивает, как я сумел поднять колхоз... Бросить все. И там, далеко, в родной деревне, сесть, чтобы отдохнуть под шелковицей... Есть такая притча о святом и шелковице", — вспомнил Нуров, усмехнувшись про себя.

Был святой, и он шел по пустыне, думая о добре. Шел семьдесят дней из Мекки, где его, крестьянина, возле могилы пророка произвели в святого. И все за то, что он отважился идти в Мекку через пустыню пешком!

Так вот, он был до того святым, этот святой, что, если капли пота с его лба падали на землю, мертвая земля сразу расцветала.

Ну, сел святой посреди пустыни на бархан. И, отдыхая, все думал о добре. О том, что есть у людей три добра: маленькое добро, большое добро и добро во имя самого добра.

Раз уж люди вышли из песка и уйдут обратно в песок, думал святой, и эта земля для людей, и люди для земли... Долго думал святой и запутался: то ли земля для людей, то ли люди для земли.

Будучи еще вчера крестьянином, святой, понятно, имел много дурных крестьянских привычек. То есть, думая, например, он любил чесать пятку ноги. И пока думал он о добре, начесал целую горсть глины, той самой святой глины из могилы пророка, которая имела свойство приставать к ногам правоверных.

Думал бы он еще бог знает сколько, если бы вдруг прямо на его ладони из этой глины не выросло дерево.

"Значит, дерево... Но самое интересное то, что святой этот, будучи так долго в пустыне, заболел от одиночества — врачи бы сейчас назвали это каким-нибудь комплексом", — засмеялся вдруг Нуров, но притча так увлекла его, что он не замечал даже присутствия шофера и Эгамова.

Итак, дерево на ладони... Недалеко от этого места пахал землю человек. Весь век трудился он на маленьком клочке, но никакого результата. Бессмысленно пахать сухой песок пустыни. Борона по земле идет, а никаких следов. Песок обратно ползет.

Видит святой усилия человека втуне и приглашает его: "Иди, говорит, посиди под сенью шелковицы, отдохни. А потом с новыми силами и моими молитва-

ми — за работу. А вдруг что-нибудь да и получится".

Это, значит, второе добро сделал святой, то есть большое добро, успокоив человека и вселив в него веру. А первое, маленькое добро случилось тогда, когда выросло на его ладони дерево.

А человек, как известно, отдохнуть не дурак.

Пришел он, бросив свое поле, и сел под сенью дерева.

Пригляделся: хорошо здесь, прохладно. И младшие братья рядом — всякие обезьяны на ветвях, жуки-короеды, и вороны в дупле гнезда свили, и змеи между корнями ползают.

Повоевал, значит, с ними человек, очистил себе жизненное пространство и ноги вытянул. Лежит, наслаждается. Хорошо!

Человек такой размашистый попался. Видит святой, через некоторое время все свое хозяйство перевез под дерево. И базары свои, и бани, и мусорные корзины, и кладбище свое. Устроился на вечное поселение.

Святой говорит: "Хватит, человек, иди теперь обратно к своему полю, ты ведь рожден быть работником на этой неблагодарной земле". А человек ему отвечает: "Нет, отец, создан я, чтобы повиноваться тебе и быть рядом с тобой". — "Каким образом повиноваться?" — "Вечно слушать твои рассказы". — "Тогда слушай".

И сделал святой третье добро, то есть добро во имя самого добра.

Но пока рассказывал, дерево это сгнило и упало.

А святой сидит до сих пор под раскаленным небом, и человек слушает его рассказы...

На привокзальной площади в лучах машины вдруг мелькнул силуэт сына Эгамова.

— Маруф, — крикнул Эгамов, испугавшись.

Маруф стоял с чайником, не желая приблизиться.

— Направьте-ка на него свет, — попросил Эгамов шофера.

Мелькнула страшная мысль в голове бывшего адъютанта: Маруф, бросив его, ушел к старшему брату в Бухару на заработки.

— Я пою командира чаем, — сказал Маруф и убежал в чайхану, жалея, что так напугал отца.

Председатель и Эгамов вышли из машины и в зале ожидания увидели лежащего на скамейке командира.

Молча сели на край скамейки у его ног. Догадались по отекшему лицу его, что Беков перенес сердечный приступ.

— Ноги, наверное, распухли в сапогах, — сказал Нуров Бекову, — снять надо.

— Хорошо, — слабым голосом проговорил Беков.

Эгамов бросился помогать командиру, но Нуров сам стянул с Бекова сапоги.

Решил Нуров не говорить с ним пока о гаждиванских делах. Только понял, что ездил Беков в обком в надежде как-то поправить дела умирающего заводика.

"Теперь Беков будет против меня", — подумал с грустью Нуров.

Знал он, что ничего не сможет теперь сделать больной командир, просто, по старой, привычной для него логике вещей, не захочет увидеть Гаждиван в ином качестве, будет писать, созывать комиссии, и это окончательно подорвет его здоровье.

Вернулся Маруф с чайником, поздоровался с Нуровым. Подражая председателю и подчеркивая свое ироническое отношение к Бекову, он строго сказал, ставя чайник на скамейку:

— Это последний. Чайханщик больше не даст бесплатно. Я говорил ему, что вы командир, но он ни в какую.

Беков, слегка растерявшись, привстал.

— Ведь я много лет пил в этой чайхане. Помнишь Клыча, Кулихан?

— Как же не помнить, командир?

— Так получилось, что все деньги вышли у меня. Скажи чайханщику, Маруф, пусть подождет до пенсии.

— О чем вы говорите, командир?! — поразился Эгамов его униженному состоянию. — Вы наш гость!

Он вынул мешочек с монетами и бросил сыну:

— Беги и отдай. И скажи Клычу, что ему не поздоровится!

Маруф, довольный тем, что сможет теперь ответить обидчику Клычу, снова побежал в чайхану, думая о том, какие же все-таки они странные, командир и его бывший адъютант, какие трогательные.

Вспыльчивый Эгамов долго не мог успокоиться, стоял, прислонившись к стене, и ворчал, называя чайханщика бесстыжим ослом.

— Выпей. — Беков протянул ему пиалу чая.

С благодарностью взял Эгамов пиалу и сел на край скамейки.

Нуров все это время молчал и смотрел на сидящих в зале крестьян в надежде увидеть кого-нибудь из сво-

их, чтобы увезти вместе с Бековым в машине — автобуса уже не будет до утра.

Вернулся Маруф с довольной улыбкой — нагрубил, видно, чайханщику, злейшему врагу отца.

Сел возле Нурова и, пока Беков и Эгамов пили чай, обменялся с председателем несколькими словами.

— С будущего года пойдешь учиться на тракториста, — тихо сказал ему Нуров, чтобы не услышал Эгамов и не возразил.

Маруфу всегда льстило, что взрослые говорят с ним серьезно.

Он избегал своих сверстников, считая их неинтересными.

Маруф пристроился возле отца и прошептал:

— Отец, я был в обкоме. Знаешь, там столько часов на стенах...

— После, — отмахнулся от него Эгамов.

— Знаешь, отец, — не унимался сын, — командир, конечно, заслуженный человек, но страшно занудливый. Не знаю, как мы с ним будет жить.

И это решил Эгамов пропустить мимо ушей, зная, что еще будет время наказать сына за непочитание командира.

Когда вышли все на улицу, чтобы уехать обратно в колхоз, Эгамов с Маруфом направились в чайхану отнести посуду.

А когда вернулись к вокзалу, грузовик уже отъезжал без них.

— Командир, — закричал Эгамов, боясь остаться среди ночи далеко от дома, — возьмите, пожалуйста, и нас!

Машина остановилась, и Беков из кабины спросил виноватым голосом:

— Где ты пропадал так долго, мой добрый Кулихан?

Сел Эгамов в кузов и сразу успокоился. Прижался к сыну и обнял его, сонного, за плечи.

— Видишь, к тому же он еще и невнимательный, — прошептал Маруф.

— Если ты еще раз скажешь плохое о командире, я тебе больше не отец! — снова разнервничался Эгамов.

Всю дорогу сидящие в машине молчали. Теплая ночь навевала грусть и склоняла к размышлениям.

...Жалел Беков о том, что не застал в обкоме старого приятеля своего — Мавлянова. Никого не было из прежних в обкоме, один Мавлянов... А тот, началь-

ник рангом пониже, с которым утомленный командир поделился своим горем, решил успокоить его и сказал, что уже несколько лет обдумывает Нуров план перестройки жизни в Гаждиване и что план этот почти готов...

Несколько часов назад, несомый поисками справедливости, ехал командир в Бухару. Теперь тоска снова охватила его, и почувствовал Беков вину. Но вина эта была смутная, не принимаемая до конца.

"Хорошо, — подумал Беков, — что я не сбежал, а нашел в себе мужество вернуться... А ведь ты, Исхак, хотел сбежать, увидев, что сталось с заводом и Гаждиваном, хотел уйти подальше от сложности жизни, так?.. Нет, быть теперь до конца с гаждиванцами, с Маруфом, который еще о многом спросит меня, с Эгамовым, слепо любящим меня и все мне давно простившим... И с Нуровым, с его новым проектом... Но как мне быть сейчас: помочь ему или же воспротивиться, потому что он делает все наоборот...".

...Старики все еще дремали во дворе, возле огорода, пахнущего в предутренние часы сыростью. Сказал им Нуров со злости: "Ждите!" — и они ждут, бросив семьи, дела... Вся жизнь их в ожидании...

Беков ничего не замечал. Хотелось ему скорее в постель, чтобы дать отдых слабому телу.

Маруф тоже, как только зашли во двор, бросился поскорей в дом. "Слабый сын, немощный, быстро устает, как старик, — думал Эгамов. — Была бы жизнь устроенная, кормил бы сына лучше... А такой он никуда не годится, ни в работники, ни в женихи. Может, от худобы он такой злой, циничный, мрачно мыслит?.."

Бывший адъютант снял с дерева лампу и стал освещать дорогу командиру. Видел, что Бекову стоит больших трудов не наступить кому-нибудь из спящих на руку.

Когда благополучно прошли половину двора, кто-то поднялся у самых ног командира.

— Товарищ Беков, — прошептал он голосом, которого Эгамов не узнал.

Эгамов поднял лампу: человек растерялся от света и зажмурился.

— Спокойствие, — неуверенно сказал он.

— Кто вы? — спросил Беков.

— Бесхвостый Барс...

Услышав кличку Турсунова, Беков вздрогнул. Нервно задрожали его руки, когда он протянул их, чтобы обнять Турсунова.

Но Турсунов отпрянул.

— Я уже третий час жду вас. — Обида была в голосе Турсунова.

— Так и сидели здесь? И ждали? Но к чему? Могли ведь пригласить к себе домой...

— Вначале сидел, потом не мог, лег. Но не спал. И сразу узнал вас, — говорил Турсунов. — А вы так неожиданно изменились... Неожиданно... — Взял он лампу и осветил лицо командира. — И вас, оказывается, время не щадит. А я-то думал... Приехали посмотреть, как мы живем? Добро пожаловать! Живем как полагается. Мирно и добропорядочно.

— Да вы, я вижу, пьяны, — удивился Беков.

— Пьян, извините, — угрюмо согласился Турсунов и пригласил: — Давайте-ка посидим здесь, во дворе. Утро скоро. Выйдет солнце, заводец наш осветит. Крысы убегут...

Турсунов обнял командира и стал медленно валиться на землю, ослабевая.

— И вас, оказывается, время не щадит. А я-то думал, — все удивлялся он. — Видели заводец?..

— Видел... А где те доски, которые я присылал тебе в тридцать пятом, весной?

— В тридцать пятом, весной?

— А железо? А цемент? — спрашивал Беков.

Турсунов молчал. Беков нагнулся над ним и пояснил Эгамову:

— Уснул...

— Сейчас я постелю вам, командир, — сказал Эгамов, направляясь в дом, но Беков возразил ему:

— Нет, я останусь здесь. С ним.

Сидя на корточках, он продолжал разглядывать Турсунова: к старости тот стал еще меньше ростом, а большая забота о делах гибнущего заводика придала его лицу черты интеллигентности.

— Но почему не в доме? — удивился Эгамов.

— Оставь нас, — рассердился командир и поставил в изголовье Турсунова саквояж, устраиваясь на ночлег.

Когда прилетела роса в огород, Беков проснулся и, поеживаясь, стал ощупывать свое одеяло. В полусне толкал стариков, нечаянно наступал им на руки, те ругались, а командир извинялся и продолжал искать Турсунова.

Но Турсунова уже не было. Видел из окна дома Эгамов, как час назад, протрезвев, очнулся он, разгля-

дел спящего рядом командира и испугался. Будто не было между ними с Бековым ночного разговора о досках и цементе тридцать пятого года и будто Турсунов видел командира впервые...

Но подумал Эгамов, что от встречи с Бековым Турсунов получил удовлетворение сполна. Казалось бывшему адъютанту, что Турсунов вовсе не спал, а просто притворялся и слышал, как командир жалеет его, всячески обхаживая пьяного.

Больше Турсунову ничего и не нужно. Все эти утомительно долгие годы он ждал приезда хозяина и боялся, а хозяин приехал и все простил Турсунову, да еще в знак дружбы лег спать рядом...

И уверен Эгамов, теперь он спрячется и, освобожденный от вины, будет до конца своих дней избегать командира, ибо командир ему больше не нужен и не интересен.

Так думал Эгамов, наблюдая через окно за всем, что происходило во дворе.

Когда много лет назад обмелела река, Турсунов согласился: видно, так суждено — и, избавившись вскоре от паники, стал управлять заводом дальше. Но не тем большим, вокруг которого намечалось построить Гаждиван, а двумя маленькими цехами, которые были пущены в дело еще при Бекове...

И вот теперь Беков, пожалев Турсунова, будет добиваться его расположения, ибо командир добр и душа его чиста. Нужно ему, думал Эгамов, чтобы кто-то из двух сподвижников делил с ним остаток дней в Гаждиване... А так как у Нурова свой план переделки здешней жизни и человек он отличной от Бекова хватки, то сподвижником Бекова должен стать этот побитый, такой неактивный Турсунов.

— Командир, — тихо позвал Эгамов, — заходите в дом, я занесу одеяла...

Все еще не пришедший в себя, шатаясь, Беков побрел в дом. Но невозможно было обрести ему покой.

Старики... Они следили за каждым его шагом, и, как только Беков подошел к порогу, кто-то воскликнул:

— Командир убегает!

Эгамов вышел Бекову навстречу, чтобы помочь ему войти в дом. Но старики уже проснулись и зашумели у окна, требуя командира.

— Что ж, — сказал Эгамов, — поговорите с ними через окно. Но прошу вас, ничего не обещайте.

— Кто эти люди?

— Они встречали вас у обелиска. Они любят вас, командир. Но любовь их хуже яда змеи.

Старики шумели, протягивали к окну руки, трясли подолами рваных халатов.

— Командир, сделайте для нас что-нибудь... Сделайте.

— Вот так они всегда требуют, — пояснил Эгамов.

Беков ничего не понимал и тихо спрашивал:

— А что им сделать?

— Не обращайте внимания. Они притворяются. На самом деле люди счастливы, командир. Одно ваше присутствие делает их счастливыми.

— Командир, — кричали со двора, — прогоните человека, который стоит рядом с вами. Он изверг, мучил нас много лет, презирал. Прогоните, и у вас будет удача. Он дьявол, а вы отец наш...

— Хорошо, — ответил Беков, — Кулихан, иди в другую комнату.

— Я уйду, только не обещайте им ничего.

Сидя у постели спящего Маруфа, Эгамов слышал, как Беков говорил старикам:

— В Бухаре обещали разобраться. Не оставят нас в беде.

Дальше Эгамов уже не слышал — проснулся Маруф, зашептал:

— Вижу, отец, командир прогнал тебя...

И Эгамов промолчал.

3

Когда наступило утро, вышел Беков, чтобы разглядеть хорошенько Гаждиван.

На постаменте он увидел угрюмого от волнений ночи Эгамова. Ходил по граниту бывший адъютант, мыл тряпкой ступеньки, отгонял птиц, чтобы те не клевали бутоны.

Заметив командира, Эгамов засмущался, спрятал тряпку за спину.

— Ты что тут делаешь? — не понял Беков.

— Чищу кое-что, командир, вытираю, — ответил в приливе добрых чувств к командиру его бывший адъютант.

— Что ж, — согласился Беков, — доброе дело делаешь...

И пошел дальше.

Куда вы, командир? — заволновался Эгамов, боясь отпускать его одного.

— Прогуляться

— Не завтракали ведь вы...

Ушел Беков, и возле магазина увидел он Нурова, раздающего гаждиванцам виноград с колхозного поля.

Стоял он на машине и взвешивал каждой семье по два килограмма.

Те радовались удаче и превозносили Нурова до небес.

И Нуров радовался, что делает добро людям, но, взяв из ящика гроздь винограда, грустил, что не может гнать для колхоза хорошее вино, ибо негде было ему хранить плоды, а доски, которые он вымаливал той ночью у маленького человечка, еще не прибыли.

Беков постоял невдалеке, отмечая с огорчением, что авторитет Нурова столь высок в Гаждиване, и повернул к дому в испорченном настроении.

Эгамов стыдился комнаты, куда поселил своего командира. Здесь только голый стол и кровать да проволочная вешалка, и еще по углам висят дыни в плетеных корзинах.

Лучшей комнаты у Эгамова нет. В этой жил некогда сын Анвар.

Думал старый адъютант, что привезет сюда Анвар жену, и, когда родятся внуки, придется разобрать правую стену и пристроить к этой комнате спальню.

Но сын ушел от него в чужой город, к чужим людям, чужой жене, и родители жены стали теперь ему отцом и матерью, и все это ему нравится, потому что стал зажиточным. Ладно, нечего столько горевать, Кулихан...

Теперь в этой пустой комнате Эгамов устраивал командира. Беков нисколько не обиделся, сел и стал молча раскладывать на столе все, что было у него в саквояже.

Достал старый будильник без стрелок, отвинтил крышку и вынул красный сверкающий орден.

— Орден Трудового Красного Знамени. Получил в сорок третьем. В Алма-Ате.

Эгамов торжественно положил орден себе на ладонь.

— Большой орден, командир. Но дела ваши стоят сотни таких орденов, поверьте мне.

Эгамов вздрогнул, когда вынул Беков свою одежду. От запаха тех далеких лет закружилась голова. Эгамов заплакал, увидев китель командира.

— Словно опять мы скачем с вами в то великое время! — прошептал он, поглаживая китель, чувствуя, как ноют пальцы от прикосновения к священной материи. — Совсем новый, совсем такой, как я сшил его вам.

— В городе мне не пришлось носить его.

Беков снял белый гражданский китель, и Эгамов помог ему надеть военный.

— Видишь, как он велик. Не тот я уже Беков, явно не тот.

— Разрешите, я сужу вам китель, и вы опять сможете носить.

— Здесь могут неправильно истолковать.

— Клянусь, людям нужно, чтобы вы во всем были похожи на прежнего командира!

Он взял мундир и ушел в другую комнату. Достал ножницы, нитки и стал суживать рукава.

С тех пор как командир поселился в Гаждиване, люди говорят шепотом, благоговейно и только о нем. Все ждут перемен.

Странно ведет себя и Маруф. Все дни он в возбуждении, не отходит от командира ни на шаг, расспрашивает о том великом времени, когда Беков был, как и он, молод.

Вот и сейчас, вернувшись с работы, Маруф сразу пошел к Бекову. Эгамов краешком уха слышал весь их разговор.

Первые дни он очень боялся, как бы Маруф грубостью, бестактностью не обидел командира. Тогда бы Эгамов сгорел от стыда за такого сына. Ведь командир мечтал не только о Гаждиване, но и о людях...

— Там уже народ собрался, — волнуясь, рассказывал Маруф. — Ни проехать ни пройти. И комиссия всех расспрашивает. Боюсь, дядя Исхак, как бы они там без вас что-то не решили...

— Это хорошо, что народ собрался. Комиссия всех выслушает, все осмотрит.

— Но вы торопитесь, скоро они пойдут на завод. Уже и Нуров приехал.

— Маруф! — крикнул Эгамов.

Маруф с виноватым видом просунул голову в дверь. Был он весь испачкан мукой — лень ему после работы помыться.

— Ты зачем надоедаешь командиру?

Маруф погрустнел, с сожалением посмотрел на отца и на то, что тот делал.

— Отец, почему ты вечно опекаешь меня? Ведь мне уже двадцать...

— Да, тебе двадцать. Но ты недоразвит. И не воображай, что знаешь больше своего отца... Нет, вы только полюбуйтесь этим гением, командир, — сказал Эгамов, увидев Бекова за спиной Маруфа. — Вы только послушайте!

Маруф опустил голову и ушел.

— Ты слишком строг к нему, Кулихан, — сказал Беков.

— Нет, я люблю его. Но держу в ежовых рукавицах, чтобы и он, как брат, не сбежал в город.

— Сын у тебя смышленый.

— Вы так думаете? Да, да, я вырастил хорошего сына, командир. Спасибо за добрые слова.

Но, снова заметив Маруфа, на этот раз в огороде, где он срывал помидоры, Эгамов не удержался:

— Но в его годы я уже срубал вражьи головы! Вы ведь свидетель, командир! А он совсем не гордится своим отцом...

Маруф сделал вид, что не слышит. Сидя между грядками, он все поглядывал на забор, словно находился под арестом.

— Я что-то нервничаю, командир. Видите, у меня руки вспотели. Но вы спокойны, и это хорошо! Наденьте, пожалуйста, китель.

Эгамов невольно вытянулся перед командиром, когда увидел его в кителе. Командир был великолепен, строг и мог бы внушать трепет врагам.

— Я приветствую вас, товарищ командир!

Эгамов видел, что командир тоже очень растроган.

— Мечтой моей было прожить старость там, где меня помнит хоть один человек...

— Спасибо, командир! Мы сделаем все, чтобы вам было хорошо здесь... А потом, когда вы перевезете в Гаждиван все вещи, я разломаю стену и сделаю пристройку. Комната ваша будет просторнее.

— Какие вещи? — не сразу понял Беков. Затем показал на саквояж, будильник с орденом, китель и узелок со сменой белья: — Вот все мои вещи. Больше ничего не нажил.

— Конечно, на что человеку вещи?! Вы великий человек, командир. Я это знал всегда... Я тоже, как видите, живу скромно. Кое-какое старье от приданого.

— Главное, Кулихан, честность, доброта, порядочность. Мы боролись не за вещи, не за уют, помни.

— Да, святая правда. Теперь я совсем спокоен. Такой человек, как вы, не может быть неправильно понят комиссией... Идемте, командир, народ ждет вас...

В переулке тихо, только листья шелковицы шелестят под ногами.

— Уже осень, — сказал Эгамов.

Беков промолчал.

И тут навстречу им попался милиционер. Увидев Бекова, он поспешно перешел на противоположную сторону и взял под козырек.

Командир, не сразу разобравшись, что приветствуют его, замешкался, затем резко поднял руку к виску, Эгамов проделал то же самое с удовольствием. И готов был броситься к милиционеру со словами благодарности. Так почтительно встретив командира, этот страж закона вселял уверенность, что гаждиванцы почитают командира, как отца.

Но у площади Обелиска командир снова помрачнел. И непонятно почему. Бегло осмотрев газоны, Эгамов не увидел ничего, что было бы в укор ему, человеку, следящему за чистотой обелиска.

Беков шел медленно, жался к домам, где было особенно тенисто. Но на улице было пустынно.

Только у самого завода почувствовалось какое-то движение. Откуда-то вышел Маруф, молча и многозначительно зашагал рядом с Бековым.

Потом еще несколько человек пошли за ними, не мог понять Эгамов, друзья или враги.

Словно шел Эгамов воевать.

А люди кругом — их становилось все больше — вели себя как-то странно. Прямо на улице брили головы парикмахеры. Торговцы жарили кукурузу. Какие-то незнакомцы ездили взад-вперед на осликах. А двое мужчин держали факелы, крича что-то нечленораздельное.

Возле распахнутых ворот стояли, скрестив руки на груди, крестьяне из колхоза. Наблюдали за происходящим, прижав коленями огромных псов с обрубленными ушами.

Еще больше людей оказалось на заводе. Молча и мрачно ходили по двору, и никто ни разу не посмотрел на Бекова, пока он пробирался к трем фигурам в белом — комиссии.

Только Турсунов, свежевыбритый, странно праздничный, взял его под руку и пошел вместе.

Люди в белом пугали Эгамова, он почувствовал облегчение, когда в пяти метрах от них эти люди убавили шаг.

Вместе с комиссией ходил, объяснял все Нуров. Казалось, только он один причастен ко всему происходящему.

Были здесь и рабочие. Все сорок человек, дерзкие, вызывающие, шли они справа от комиссии и много шутили.

Турсунов показал на них Бекову.

— Это сыновья тех, сорока наших? — спросил Беков.

— Да, есть и сыновья...

"Здесь все четко продумано, — мелькнуло у Эгамова. — Комиссия и Нуров — впереди, мы с командиром на пять шагов сзади, справа — рабочие, а старики и прочие в хвосте".

— Давай остановимся. — Командир сел на ящик. — Я что-то не поспеваю.

Турсунов опустился рядом с ним, а Эгамов и Маруф остались стоять.

— Что это с командиром? — шепнул в беспокойстве Маруф.

— Командир спокоен, зная, что прав.

Затем вся эта толпа вместе с комиссией зашла в цех, и во дворе стало тихо.

— Я как-то всерьез не думаю об этом, — признался Турсунов, спокойный, не терзаемый муками совести. — Не могу больше ни с чем справиться, Исхак.

— Давай помолчим, — сказал Беков, устало закрывая глаза; думал он о том, какая суета пришла к нему под старость. Хотел бы он действовать, но не мог, все утомляло его.

— Душа твоя чиста, Исхак, — тоном проповедника сказал Турсунов. — Поэтому в ней тишина.

Маруф стоял и внимательно слушал взрослых.

— Иди, — прогнал его Эгамов, — посмотри, что делается в цехе.

"Не надо, чтобы сыновья слушали, когда говорят двое усталых. Они могут неправильно истолковать. Ведь все, что делается в душах взрослых, вся их жизнь так сложна, что сыновьям нужно прожить столько же, сколько отцам, чтобы понять", — решил Эгамов.

В цехе Маруф подошел к Нурову и сказал, что командир сидит во дворе. Оставив комиссию, Нуров вышел во двор. Весь он, вся его одежда была испачкана ржавчиной.

Нуров поздоровался с Бековым, и ему стало жаль приятеля, жаль, что тот выглядит так плохо. Не знал Нуров, о чем говорить с ним сейчас, перевел взгляд на Турсунова.

— Персики те, что я прислал твоей семье, не червивые?

— Нет, жена сварила отличное варенье. Приходи попробовать.

— Надо ужин устроить комиссии. Пусть жена твоя съездит в колхоз за мясом. Машину дам.

— Пиши записку.

Турсунов нагнулся. Нуров положил на его спину блокнот и написал.

Турсунов с благодарностью взял записку и спрятал.

— Слышал, Исхак, насчет ужина? В семь часов в доме Турсунова, — сказал Нуров.

— Хорошо, — рассеянно согласился Беков.

Был командир в растерянности. Сейчас комиссия должна обнародовать решение об участи заводика. Но Беков был в неведенье о теперешней жизни Гаждивана и не знал, что предложить взамен плана Нурова о слиянии Гаждивана с колхозом.

— Что ты думаешь обо всем этом? — осторожно поинтересовался Нуров, садясь рядом с Бековым на ящик.

Оба они смотрели на унылый двор.

— Сейчас мы должны решить все, — сказал Нуров. — Люди ждут... Есть у тебя, Исхак, какие-нибудь соображения?

Стоявший сбоку Эгамов весь напрягся. Он больше всех ждал и переживал. Он не хотел, чтобы так изменился облик Гаждивана, место молодости, отваги, любви и преданности командиру.

Бывшему адъютанту не терпелось услышать из уст командира более человечный, чем у Нурова, план. Ведь сколько было разных идей у командира, сколько раз он менял проект Гаждивана, находя более верное, с точки зрения Эгамова, решение. А ведь тогда, в тридцать втором, было гораздо труднее. Голая пустыня, и все надо было начинать. Тогда было в тысячу раз труднее, но командир Эгамова с честью выходил из положения.

Но почему сейчас молчит командир? Почему он растерян?

— Командир! — закричал Эгамов, чтобы вселить в него уверенность. — Никто, кроме вас, не имеет права решать судьбу Гаждивана. Никто!

Он хотел высказать все, что накипело в его смятенной душе, но вышла комиссия из цеха, за ней вся эта любопытствующая толпа, и они направились для окончательного решения в контору.

— Представляю вам Бекова, — сказал, подводя командира, Нуров.

— Чем занимается товарищ Беков? — спросил главный комиссии.

Вопрос этот, как острый нож, кольнул сердце бывшего адъютанта.

— Товарищ Беков — основатель Гаждивана.

— Да, да, нам говорили. — Комиссия разочарованно оглядела Бекова.

Эти молодые люди из комиссии, видимо, заранее создали в своем воображении облик основателя Гаждивана как человека героического и романтического и теперь вместо того, воображаемого Бекова увидели человека очень старого и немощного.

Комиссия и четыре гаждиванца зашли в контору еле уместившись в сырой желтой комнате.

Комиссия села за стол и начала рассматривать документы, четыре-пять томов разной переписки, справок, отчетов, приказов, заявлений, переворачивала страницу за страницей полуистлевшую бумагу, где все написанное давно уже потеряло смысл.

А все, кто ходил за комиссией, остались во дворе Окружили со всех сторон контору и стали ждать своей участи, время от времени заглядывая в окна.

Маруф тоже был с ними. Думал он, напрягая свой юношеский ум, и очень боялся, что отец его от всех сложных переживаний может слечь в постель.

Так как заводик давно сгнил и развалился, решено было официально закрыть его. Полчаса комиссия подсчитывала убытки. У гаждиванцев, никогда не слышавших, что на свете могут быть такие большие деньги, печально засверкали глаза.

Нуров изложил свой план переустройства Гаждивана. Он просил, чтобы рабочую силу передали ему для колхоза. Гаждиван должен стать поселком, и когда Нуров купит буровые машины и просверлит землю, где таится пригодная для жизни вода, то пустит он эту воду по высохшей реке Гаждиванке, и оттуда она побежит по трубам для нужд консервного и винодельческого цехов.

Эгамов не мог трезво воспринимать все то, о чем говорилось в этой комнате. Утомленный, подавленный

непонятным поведением командира, он почувствовал, что теряет самообладание.

Но он словно заново родился, услышав фамилию командира "Товарищ Беков!" Все в нем сжалось от боли и мук, когда ясно и четко спросили.

— Когда у вас впервые родилась идея о Гаждиване?

— Я здесь воевал, — начал вспоминать Беков — Когда мы победили басмачей, то оказалось, что выиграли лишь пустыню. Страшную, безжизненную пустыню. Я сказал воинам: "Только тот воин настоящий, кто способен не толь-

ко хорошо убивать, но и посадить здесь деревья..."

Гаждиванцы, утомленные долгим ожиданием, вдруг начали стучать по гнилым стенам, били кулаками, словно звали, кричали и умоляли, забыв о том, что комната эта еле держится и что с потолка на стол падает штукатурка.

Эгамов выбежал к ним. Гаждиванцы перестали стучать, спросили:

— Отец Кулихан, а о нас будут говорить?

Эгамов замахал руками, чтобы они молчали и не делали больше глупостей, чтобы просто распахнули окно и смотрели и слушали бы командира и, если нужно, поддержали бы его.

Когда он вернулся в комнату, старики уже стояли возле окна и тихо и свято глядели на все происходящее.

— Товарищ Беков, для чего вы вернулись в Гаждиван после стольких лет странствий?

Беков весь сник от этого вопроса, опустил голову, думая, что не стоило ему действительно возвращаться сюда. Нуров достаточно силен и умен, чтобы сделать все лучше. Он, Беков, только обуза для него.

А у Эгамова опять заныло сердце. Он растерялся и не мог понять, отчего это его храбрый и доблестный командир ведет себя так странно и нерешительно, тем более что вся эта комиссия, молодая, ничего не смыслящая в жизни, не имеет права осуждать его.

Он ждал ровно столько, сколько позволяла выдержка, но командир — проклятье на твою седую голову, Кулихан! — молчал. И тогда Эгамов встал, он больше не мог, он сказал, обращаясь к уважаемой комиссии:

— В злой пустыне змеи, скорпионы, разная тварь жалила нас с командиром! Но мы не страшились, ибо видели в своей жизни тварей похлеще — басмачей! Разве не так, товарищ Нуров и товарищ Турсунов? И вы, товарищи комиссия, и вы еще спрашиваете, зачем вернулся командир к теплым очагам нашим и святым могилам своих воинов? Мне стыдно и больно! — голос его сорвался. Секунду он молчал и видел, как шепчется комиссия, глядя на него не то с укором, не то с сожалением. Видел и лица земляков, гаждиванцев, в окне, и сына Маруфа, который делал ему подбадривающие знаки.

Он продолжил:

— Помню, когда уезжал от нас командир, он сказал: "Добрый Кулихан, я оставляю тебе и другим воинам

этот город, и вы должны строить его, чтобы люди жили счастливо..." И вы посмотрите, какой теперь этот город! Командир сказал: "Я доволен городом!" Гаждиванцы! — обратился он к своим землякам, подбегая к окну. Стал трясти их за руки, хлопать по плечам... — Разве вы не любите свой город?

Ленивые гаждиванцы секунду молчали, собираясь с мыслями, и тоже заговорили, но больше между собой, чем с комиссией:

— Да, большой город у нас... Зять мой работает в гостинице.

— У нас три гостиницы.

— И есть нам где бриться и детей своих брить. Одиннадцать парикмахерских у нас...

— А сапожные мастерские? Сапоги продырявятся — мигом новую заплату поставят...

— Есть у нас где и керогазы чинить. И насосик для примуса вставить. И веник купить не проблема.

— Четыре слесарные мастерские у нас. В одной сын мой работает.

— Бани, бани не забудьте...

— Но вот что-то с рекой у нас...

— Словом, — сказал Эгамов, делая знак гаждиванцам, чтобы замолчали, — всего у нас вдоволь...

Но Беков перебил его. Собравшись с силами, он сказал:

— Я хотел бы, чтобы ты замолчал, Кулихан.

Усталые глаза его то и дело закрывались.

— Да, да, командир, — Эгамов поспешно сел. — Говорите, командир.

— Почему я вернулся сюда? — начал говорить Беков, но очень медленно, нехотя. — Не знаю, поймете ли вы меня, молодые люди... Мне хотелось бы остаток жизни побыть с теми, кто помнит меня. И мне казалось, что Гаждиван именно такое место. Здесь я оставил своих воинов — одного из них вы только что слушали... Нигде я не был столько, сколько в Гаждиване. Каждые семь-восемь месяцев меня перебрасывали на новое место, и нигде я не успевал завершить начатое дело. Я тот, кто всю жизнь нужен был для ликвидации прорыва. Прорыва на шахте, на заводе, на канале... И так продолжалось до тех пор, пока взамен не пришли более молодые, более энергичные, более грамотные люди. И я отошел в сторону...

Беков кончил, а все сидели, понурив головы в тишине, будто давно ожидали ее, чтобы в молчании лучше разобраться в том, что сейчас говорилось.

Молчали и за окном. Маруф кусал губы.

Только Турсунов встал и, не проронив ни слова, вышел. Люди во дворе расступились, и он сел на кусок рельса, обхватив голову.

— Исхак, — сказал тихо Нуров, — ты приехал не только к Кулихану. Все мы, и я, и Турсунов, весь колхоз, помним тебя и любим.

Беков ему не ответил.

Маруф просунул руку в окно и с трудом коснулся плеча Бекова:

— Дядя Исхак, идемте домой. Не надо больше объяснять ничего.

Беков встал и, поддерживаемый Эгамовым, вышел из конторы.

Когда проходили мимо Турсунова, Турсунов поднялся и долго смотрел на своего бывшего командира влажными от слез глазами.

Но тут все услышали Нурова:

— Эй, гаждиванцы, все на ужин к Турсунову! Еды всем хватит!

— На ужин, на ужин! — закричали в ответ, залиховали все, кто был во дворе, побежали, обгоняя Бекова На ходу подвязывали халаты, подбегали к крану на улице и, подставляя головы под струю желтоватой гаждиванской воды, хохотали...

А Беков и Эгамов с Маруфом шли домой по темным переулкам. И как бывший адъютант ни старался идти тише, сапоги его предательски скрипели, словно был кто-то с ними четвертый, ненужный

Вскоре за воротами дома стали звать командира гаждиванцы:

— Товарищ Беков, просим вас на ужин

Звали долго, очень нежно, жалеючи:

— Без вас нам будет плохо...

— Хотите, и мы не пойдем, только скажите

— Вы чем-то недовольны, товарищ Беков Но мы ведь искренне были за вас...

Но Беков не слышал гаждиванцев Он лежал один в своей комнате, с мокрым полотенцем на голове и думал о друге своем, Нурове, человеке, который оказался намного мудрее его Вспомнил Беков и о тех далеких годах, когда председатель, боясь скорых решений, просил хорошенько подумать о реке прежде чем строить Гаждиван. Вспомнил Беков и о крупной ссоре из-за реки, когда он на время отстранил Нурова от дел Но разве можно было знать тогда молодому Бекову, что и большое добро может прийтись не к месту

и обернуться злом? Разве не об этом та притча, которую любил рассказывать ему Нуров?

Но что теперь затевает Нуров?

"Не надо противиться ему, — думал Беков, — иначе снова буду чувствовать себя плохо..."

4

Командир полюбил одиночество. Рано утром уходил он из дома, а Эгамов с Маруфом в тревоге искали его в переулках Гаждивана.

Сейчас, обнаружив Бекова, Эгамов идет за ним робко, боясь ему помешать. Видит Эгамов, командир заблудился. В полдень никого нет возле домов, белых от соли. Гаждиванцы прячутся под навесами и бредят прохладной родниковой водой.

Возле одного из домов Бекова заинтересовал высокий, до крыши, шест с черепом верблюда — так суеверные гаждиванцы отгоняют духов несчастья.

Долго смотрел Беков на череп, пытаясь постичь эту премудрость, затем пошел туда, где повалился забор, обошел дома и снова очутился возле шеста с черепом.

Почувствовал Эгамов, что сейчас на глаза Бекову попадется Маруф, который начал поиски с другого конца Гаждивана.

Увидев Бекова, Маруф хотел было бежать, но понял, что это глупо, и остановился возле стены напротив.

— Я вот заблудился, — сказал Беков.

— Не мудрено. Сейчас я вас выведу отсюда.

— А ты чем тут занимаешься?

— Решил проветриться. У печи жарко. А Гаждиван пахнет сыростью.

— Откуда она взялась, сырость эта? — спросил Беков, нервно ударяя тростью и злясь на гаждиванскую землю, которая оказалась такой неуютной.

— Отец объяснял, что сырость от пота босоногих людей... Правда, хорошо сказал? Мудрец он у меня...

— Да, народный человек, — согласился Беков, делая тем самым приятное идущему за ними, как тень, Эгамову.

Прошли они немного, и Маруф показал на дом справа:

— Смотрите, дядя Исхак, сова...

Беков остановился и долго, моргая за стеклами

очков близорукими глазами, смотрел на дом, над воротами которого были вмазаны в стену два мраморных шара для украшения. Вспомнил командир, что такими шарами отстреливалась эмирская артиллерия, когда Фрунзе штурмовал дворец в Бухаре.

— А вот пасть тигра, — показал Маруф на ворота соседнего дома.

— Похоже, — согласился Беков.

— Здесь как в зверинце, — продолжал рассказывать Маруф с увлечением. — Триста пятьдесят семь домов, и каждый построен с выдумкой. Наверно, нигде в мире нет другого такого поселения.

Шагая за ними в десяти шагах, Эгамов слышал весь их разговор и удивлялся, думая, как это сын замечает все такое необычное. Вот этих тигров и сов. Эгамову они ни разу не попадались на глаза.

Затем Маруф сказал нечто такое, что еще больше порадовало отца. Он сказал:

— Мудрец мой боится, что я, как и брат, сбегу в Бухару, на заработки. А мне здесь нравится, дядя Исхак. У брата там в городе холодильник, телевизор, приходит с работы, сидит — смотрит. Жена рядом. Ребенок на коленях. Он ест четыре раза в день и много мяса. Потолстел страшно, а месяц назад я заметил у него одышку... Ведь счастье не в благополучии, верно ведь?

Беков кивнул и пошел, удрученный видом Гаждивана. Теперь потянулись дома пониже, совсем маленькие, и Маруфу не доставляло особого труда, встав на цыпочки, видеть все, что лежит на крышах.

— Дыни сушатся, — объяснял он. — Абрикосы...

А Эгамов, который все еще крался за ними, сомневался: может, Маруф просто успокаивает командира? Хитрое дитя Гаждивана — возьмет потом и сбежит в Бухару, забыв о том, что счастье человека не в благополучии.

Сокрушался бывший адъютант и по поводу того, что трудно ему воспитывать сына.

Думая об этом, Эгамов не заметил, как кончился переулок и Беков с Маруфом зашагали по пустырю.

Эгамов остановился — командир может обернуться и увидеть его.

Решил Эгамов выйти к пустырю со стороны высохшей реки Гаждиванки.

Шел он к реке и все думал, искренне сказал это Маруф или нет.

Недавно они поспорили насчет старшего сына Анвара.

— Все это твое воспитание, отец, — сказал Маруф. — Ты был очень груб с Анваром, вот он и сбежал в Бухару.

— Ах, воспитание! — Эгамов схватил сына за руку и потащил в комнату командира, уверенный, что Бекова там нет.

В страшном гневе кричал он:

— Видишь, как живет наш командир!

Бил кулаком по столу:

— Вот его стол!

Тряс саквояжем перед носом Маруфа:

— А вот его вещи!

И толкал сына к стене, чувствуя, что тот пытается увильнуть:

— А вот стены нашего командира, вот его свет!

Включив свет, Эгамов растерялся, увидев лежащего без движения Бекова.

— А вот и командир сам, — проговорил бывший адъютант, извиняясь. — Простите, командир, ради бога. Но мне нужно кое-что объяснить этому остолопу Позвольте, пожалуйста.

Беков хотел было встать и запротестовать, возмущенный тем, что Эгамов все время ставит его в пример сыну. Но вместо этого покорно отвернулся к стене и укрылся с головой простыней.

Маруф, понимая состояние Бекова и сочувствуя ему, сидел, положив руки на стол.

А отец, еле сдерживая себя, чтобы не закричать, продолжал объяснение:

— Слышишь, бездельник, самый лучший дворец эмира бухарского недостоин, чтобы в нем жил такой человек, как наш командир. Но командир в отличие от тебя и твоего брата не тщеславен. Неужели вы думаете, что командир наш не смог бы заработать на машины, на телевизоры, — смешно говорить!

— Мы мешаем дяде Исхаку спать, — сказал тихо Маруф.

Эгамов поднялся, чтобы уйти, но решил, что в отсутствие командира, о котором идет речь, слова его потеряют воспитательное значение.

— Но командир, как все воины отряда, не думал о богатстве и благополучии, он думал о счастье для других.

— Да, я все это знаю, отец. — Когда Маруф выходил из себя, он всегда начинал цинично улыбаться.

Говоря все это, Эгамов не сводил глаз с командира, боясь, что командир может каждую минуту встать

и запротестовать. Командир скромен, и похвала и почести неприятны ему.

Но все, о чем говорит бывший адъютант, это правда, и правда эта очищает душу. Ведь сколько накипи появилось на душе Эгамова в этом Гаждиване, среди обмана, хитростей и спекуляции. И как он ждал возвращения командира, чтобы, думая о нем, говоря о нем, очиститься, окунувшись в родник, где столько чест ности, столько добра и мужества...

Эгамов был возбужден до предела и кричал.

— А вы что сделали для людей? Где ваша совесть?

Эгамов вытолкнул сына за дверь. Постоял в растерянности у кровати командира.

Беков лежал в той же позе, не двигаясь. Маленького роста, помещающийся только на половине кровати, жесткой и заржавевшей, которая неприятно заскрипела, как только Эгамов опустился на нее.

— Простите, командир, — сказал он жалобным тоном. — Я совсем схожу с ума от этих моих детей Я плачу, видя, как они попали под влияние Гаждивана. Такие же серые и неумные, мои дети...

Видя, что командир не желает говорить с ним, Эгамов извинился и в расстройстве вышел из комнаты с намерением посидеть в огороде и успокоиться.

Сейчас, пробираясь окольными путями к пустырю, где бродили Беков и Маруф, Эгамов вышел к заводу

Неделя, как заводик был закрыт решением комиссии. Окна и двери обоих цехов заколочены, все ценное, что было во дворе, вывезено, а провода, питающие током корпуса, отрезаны.

Думали: здесь больше нечего брать. Но гаждиванцы эти, оказывается, обнаружили маленький склад, который в спешке был забыт и не описан комиссией, взломали дверь и стали уносить ящики.

Радуясь, тащили они их по домам, накрыв полами халатов. Бегали, суетились, толкали друг друга, роняли ящики под ноги, наступали на них. От негодования потерял Эгамов дар речи, когда увидел все это Словно бегали по его телу И по святому телу его командира.

— Стой! — побежал Эгамов за человеком, который ближе остальных находился к двери склада. — Командир еще не умер!

Гаждиванец от неожиданности уронил ящик и присел. Эгамов дернул его за бороду, разорвал на его

груди халат — вот таким он был разъяренным.

— Мы кровь проливали, строили, а вам воровать и грабить!

Гаждиванцы стали молча возвращаться на склад, чтобы оставить ящики, а Эгамов продолжал негодовать:

— Ястребы и стервятники! Вам бы только клевать наши груди, рвать с нас медали и ордена!

Кто-то робко попросил:

— Пожалейте нас, отец Кулихан...

И стали говорить между собой, удаляясь толпой:

— Мы думали, приедет командир Беков... А он приехал, и, наоборот, стали закрывать все.

— Он какой-то усталый, равнодушный. Такой человек не может быть нашим отцом.

— К тому же он, оказывается, и без семьи. А мужчина, не наплодивший детей, все равно что карагач с гнилыми ветвями.

— И еще он без веры. Говорят, что он в молодости бога ругал.

— И имя у него странное. Очень редкое имя среди людей...

— Ладно, будем надеяться теперь на председателя Нурова. Он, говорят, хочет помочь нам...

— Да, надейтесь теперь на него! — побежал было за ними Эгамов, но махнул рукой, вспомнив о Бекове и Маруфе на пустыре.

Увидел Эгамов, что Беков с Маруфом уже идут обратно к дому.

Посмотрев на командира, вспомнил Эгамов слова, сказанные стариками полчаса назад. Да, Беков выглядит очень плохо. Стал он больше кашлять за последнее время, и кашель с кровью отбирает силу его тела.

Вчера Эгамов поразился, увидев на столе руки командира.

"Руки покойника", — мелькнула страшная мысль, и с этой мыслью потом всю ночь боролся бывший адъютант.

— Знаете, — продолжал Маруф начатый разговор, — вначале я настороженно отнесся к вам. Мне не нравилось, что отец делает из вас бога... Вы такой же, как все. И можете страдать. И никакой вы не бог И я завидую вам.

— Завидуешь? — насторожился Беков.

— Я не знаю, что у меня впереди А вы, дядя Исхак уже прошли, и прошли хорошо. Вы врагов уничто жали. И такой колхоз организовали вместе с Нуро вым — не шутка!.. Я много думал о вас, дядя Исхак, о вашей жизни. Многое мне непонятно Но одно я по нял: что все очень сложно на свете...

— Верно, — согласился Беков Его подкупала искренность молодого человека. — Чем больше я жил тем больше убеждался в этом.

— Я вам говорил насчет брата. Я считаю, что он струсил, убежав отсюда. А я, я хочу остаться и помочь Гаждивану. Ведь здесь все изменится, я уверен Я верю председателю Нурову... И еще, — продолжал Маруф, — я уважаю вас за то, что вы не боитесь говорить прямо Очень нужно, чтобы такие люди, как вы, дядя Исхак, говорили с нами прямо. Ведь мы ваши дети, нам жить в Гаждиване. Отец этого, к сожалению, не понимает

С волнением слушал Эгамов их разговор. Многого не понял. Но то, что сказал Маруф о боге, обозлило бывшего адъютанта.

"Может, мальчишка, которому я дал жизнь, знает больше меня о боге, — рассуждал Эгамов, — но я, отец его, думаю иначе. Человеку очень нужен бог, добрый, мужественный бог, бог — командир и отец Если его нет, человек остается один в растерянности"

Давно, когда Эгамов пришел в отряд, он прогнал из души ложь того бога, о котором говорила ему религия. И принял любовь к командиру, считая, что только будучи таким, можно сотворить добро

Разговаривая, Маруф с Бековым шли по улице

Стемнело. И чтобы разглядеть их, Нурову и Турсунову, сидящим возле эгамовских ворот пришлось зажечь фары машины.

— Исхак, — тихо позвал Бекова Турсунов

Нуров остался сидеть в машине, не желая мешать их разговору

Беков смотрел на Турсунова, в первые секунды не узнавая, кто перед ним.

— Пришел попрощаться, — сказал Турсунов

— Уезжаешь? — дрогнул голос Бекова.

— Да. Счетоводом к Нурову, — Турсунов заговорил торопливо, злясь. — Нужно же мне где-то отработать год до пенсии У меня сын растет

Турсунов наклонился к Бекову и доверительно словно ища у него поддержки, объяснил

— Когда Гаждиван соединят с колхозом, хочет Нуров здесь консервы производить. Я просил, умолял,

чтобы он оставил меня директором, но разве этот изверг поймет душу товарища? Нуров сказал: мне нужен деловой человек, и плевал я на твои былые заслуги! Так и сказал! Выходит, мы уже ни на что не способны... — И уже другим тоном, громко, чтобы слышал Нуров: — А что, если и ты, Исхак, переедешь к Нурову? Нам будет спокойнее у него.

— Прощай! — Беков поспешно протянул руку.

Турсунов двумя руками сжал ее и хотел было еще обнять друга, но Беков открыл ворота и ушел, оставив его растерянным...

5

Долго он лежал на кровати, пока не услышал гул толпы. Беков приподнялся: где-то рядом шумели и кричали люди. Гул сразу прекратился, когда Беков вышел на улицу.

Первую минуту он ничего не понимал, остановился и смотрел на огромного размера буквы вдоль длинной стены. Под стеной сидели люди.

С большим трудом удалось разобрать, что буквы эти написаны на жестяных и картонных вывесках: "Парикмахерская", "Ремонт керогазов", "Цех вулканизации", "Чайхана"...

Люди молча держали перед собой эти вывески, и, как только командир перешел дорогу и приблизился к ним, появился человек с лошадью. Повернул лошадь так, чтобы Бекову было удобно сесть, а поводья передал Эгамову.

Беков стал взбираться на лошадь, оттолкнул Эгамова, поспешившего на помощь.

Эгамов сразу подумал, что здесь что-то подстроено. Старики были злы на Бекова и теперь хотели посмеяться над ним.

Беков наконец очутился в седле, но лошадь опустила морду, не желая двигаться.

Эгамов побежал вперед, дернув за поводья, и в отчаянии замахал руками, торопя лошадь за собой, ибо ему было неловко перед стариками за своего командира.

Люди встали и, держа перед собой вывески, как щиты, пошли за Бековым.

То, что предстало его взору, было до того непонятным..

На главной улице, там, где еще вчера люди были

заняты делом: кузнецы надували мехи, парикмахеры стригли головы, в пекарнях готовили хлеб, в слесарных клепали примусы, — было тихо и мертвенно

Двери и окна мастерских по обе стороны глухо и навсегда заколочены, а на стенах написано зловещее объяснение всему: "Ликвидация".

Старики забегали, засуетились, толпами наваливаясь на всадника, словно всадник этот был посланником высших сил, только что спустившимся с небес, чтобы помочь обиженным.

За эти дни произошло столько всякого...

— Командир, я ничего не понимаю. Объясните, ради бога!

Возле дверей дома, где случайно сохранилась вывеска "Моментальное фото", Беков остановил лошадь. Старики, обогнав его, стали толкать дверь, прыгать на подоконник. Несколько человек влезли внутрь через окно

Вытащили кусок фанеры с фотографиями, бросили к ногам остальных, тех, кто был снаружи, они начали срывать эти фотографии и, довольные, прятать за пояса халатов.

Возле дерева, недалеко, были сложены вывески, их не успели унести хозяева мастерских.

Человек официального вида с блокнотом и карандашом в руках считал их под фонарем.

Беков подъехал к нему, чуть приподнялся в седле, требуя разъяснений.

— Странные эти гаждиванцы, — стал говорить человек, не поднимая головы, а только глядя на тень лошади. — Носятся с вывесками в надежде, что кто-то отменит ликвидацию.

— А что происходит? — обозлился Эгамов оттого, что человек этот не обращает на Бекова должного внимания.

— Теперь уже никто не отменит нового решения комиссии. Гаждиван окончательно передан во власть Нурову... И знаете, мне уже новую должность подыскали в колхозе. Счетовода... А какой из меня счетовод, сами понимаете... Был и инспектором, и уполномоченным, и завутильбазой. Теперь, говорят, счетоводческое дело надо развивать...

Он нес какой-то бред, этот человек из поселкового Совета, и Эгамов сказал:

— Не обращайте на него внимания, командир Это мелкая сошка...

Лошадь Бекова заржала, поднялась на задние ноги и бросилась в переулок.

Эгамов бежал за Бековым, и это была такая радость — вновь видеть командира на лошади.

— Командир, — шептал Эгамов, — я хочу умереть с вами. Не оставляйте меня в одиночестве в Гаждиване, умоляю вас...

Рано утром командир направился к площади Обелиска, чтобы автобусом уехать в город. Не желая оставлять его одного, Эгамов украдкой пошел за Бековым и видел, как тот садится в автобус. Эгамов догнал автобус на попутной машине. Было такое ощущение, что автобус этот не доберется до Бухары, — он весь скрипел и дребезжал. Беков сидел впереди, опустив голову, не замечал своего адъютанта.

Весь путь к городу был знаком Эгамову, каждый холм. Басмачи карабкались по голым холмам, а воины Бекова стреляли им в спину, и они бездыханными трупами катились вниз.

Уверен Эгамов, покопай сейчас поглубже, глубже корней клевера, можно найти немало останков.

Всегда он спокойно относился к убитым, это были враги. Но сейчас сердце отчего-то заныло. Нет, не от жалости и сожаленья. От другого. Подумал, что он сам или кто-то из его близких у порога смерти, вот поэтому он так остро ощущает смерть других, убитых им...

Хватит!.. Сколько раз Эгамов повторял про себя это слово. Надо беречь командира, успокаивать, охранять его сон, кутать ноги, чтобы не простудился. Хочет Эгамов этого, хотя каждый раз восторгается, когда видит командира активным. Не может представить его дряхлым, брюзжащим стариком, сидящим целый день на скамейке, в сквере или в чайхане. Живущим только сегодняшним днем, равнодушным к жизни и смерти.

Нет, командир его не такой, и поэтому он достоин поклонения.

Было душно, и площадь и само здание вокзала так накалились, что в глазах у Эгамова рябило. Ноги почти не подчинялись ему, когда он вылез из машины и сел под навесом с намерением встретить здесь Бекова.

Кто-то из знакомых, не то гаждиванских, не то колхозных, долго удивлялся, увидев его. "Да ведь ты ужасно выглядишь, отец Кулихан, — говорил он, — худой, бледный, и спина согнулась, и щеки, а глаза какие-то блеклые, неживые, никогда я таким тебя не видел!"

Эгамов прогнал его, но потом повстречался еще кто-то и тоже выражал сочувствие. И еще сказал:

— Теперь будет хорошо нам с Нуровым.

— Постой, ты откуда? — спросил Эгамов.

Оказалось, что гаждиванец.

— Да, — сказал Эгамов, — вам действительно все равно.

Сказал спокойно, не ругаясь, вдруг почувствовал, понял, что и он устал, что надоело все это, главное — был бы жив командир, уйти бы с ним подальше от дележа, от комиссий, от колхоза и Гаждивана, от всех этих проблем, которым конца не видно, уйти в поле, к деревьям, к тишине и жить, просто дышать. И пусть теперь другие думают, другие строят, другие воюют, а они будут жить воспоминаниями, чистыми, прекрасными, романтическими. Ведь командир и он имеют на это право, ведь они столько сделали, и даже сделали больше, чем отпущено на одну человеческую жизнь. Больше, чем на одну человеческую жизнь, голодали и мерзли, были на войне, их расстреливали, убивали, покрыли их тела язвами и ранами, изрубили лица и руки...

— Ты что тут делаешь? — услышал он голос Бекова за спиной.

— Командир! — закричал Эгамов, делая удивленное лицо. — И вы приехали?.. А меня тоже что-то потянуло в город...

— Знаешь что?! — вдруг рассердился Беков. — Хватит! Надоела твоя опека!

— Но ведь вам нездоровится, командир. Вам нельзя одному. И я умру, если вы будете ругать меня. Я и так голову потерял из-за того, что вы не едите и у вас бессонница. Проклятый завод! Все было так хорошо, когда вы приехали, я так был счастлив! Словно змея сглазила мое счастье. И вы что-то обижены, все реже и реже разговариваете со мной. И мне больно... Столько лет ждал я вас, все мечтал — вот вернетесь вы, и я помолодею. Меня же столько обижали, командир, если бы вы знали, сколько издевались надо мной, душу мою исцарапали... — Эгамов говорил, не обращая внимания на незнакомых людей вокруг, которые слушали. Кровью обливалось его сердце. От боли, обиды, сострадания и любви.

— Хорошо, хорошо, — говорил Беков, обнимая его и успокаивая.

А Эгамов уткнулся в его грудь, хотел спрятаться, уйти от всего и чтобы командир был всегда рядом.

Протянули стакан ледяной воды, а он долго не мог выпить — дрожали губы.

А когда выпил и успокоился, медленно они пошли с командиром.

— Не нравятся мне здешние люди, — сказал Эгамов. — Все чужие. Никто не поздоровается.

А когда вышли на проспект, вдруг вспомнил он о сыне Анваре и опять расстроился.

— Нет, не пойду я к нему. Кто из нас старше, я или он?

Беков остановился.

— О ком ты?

— Если я пойду к Анвару, он подумает: отец простил меня. А я до конца дней своих не прощу ему измену Гаждивану.

— А вот я пошел бы... К самому плохому сыну пошел бы.

— Конечно, командир, ваш сын не был бы таким лоботрясом! Он был бы достойным вас!

Беков не ответил. Шел, очень сильно сутулясь.

И тут Эгамов увидел то знакомое здание. Здание обкома... Эти машины, эти двери, эти флаги и герб над главным входом — все заставило его подтянуться.

— Здесь я держал коней в ту ночь, командир. А здесь стоял милиционер, — начал было вспоминать он, но тут же умолк, увидев, как им навстречу выходит постовой...

Милиционер сообщил, что у секретаря Мавлянова совещание, и они стали ждать. Вначале расхаживали возле гранитных ступенек, но вскоре оказалось, что это неудобно: их толкали люди, спешившие с деловым видом.

Милиционер сделал замечание:

— Лучше будет, если вы придете в приемный день.

Тогда они пошли, сели в сквере. И молчали. Сейчас все было здесь совсем не так, как много лет назад.

Вспомнилось Эгамову, что тогда каждый в обкоме с улыбкой встречал Бекова. Даже если было совещание, молодой Мавлянов выходил встречать командира, усаживал в кабинете, поил чаем, а если Беков соглашался, брал и его на совещание. И хотя обсуждался вопрос очень далекий от их гаждиванских проблем, Мавлянов предоставлял ему слово и просил сидящих в зале внимательно прислушиваться к советам командира, ибо очень ценил его ум, его знание жизни и ораторские способности.

Одним словом, двери обкома были всегда распахнуты перед Бековым, и он, пользуясь этим, приезжал к секретарю в любой час дня без предупреждения.

Пока ждали, Эгамов несколько раз бегал за чаем и поил командира. Потом Бекову захотелось холодной воды. Эгамов долго уговаривал его, боясь, что тот простудится, но все горело внутри Бекова.

...Беков побледнел и растерялся, когда вышел Мавлянов. Одернув китель, он пошел к его машине и наклонился к секретарю, уже сидевшему рядом с шофером:

— Добрый вечер, товарищ Мавлянов... Я Беков.

Несколько мгновений секретарь смотрел на Бекова красными от переутомления глазами. Спросил:

— Вы ко мне?

От этих слов Беков сильно изменился в лице, закашлялся и схватился за дверцу машины.

— Не узнали?..

Мавлянов еще раз внимательно посмотрел. Покачал головой, чувствуя себя немного неловко.

Шофер нетерпеливо нажал сирену.

— Я Беков... Из Гаждивана.

— А, из Гаждивана! От Нурова? — с облегчением проговорил Мавлянов и с укором: мол, так бы и сказали сразу, к чему такое длинное объяснение? — Передайте, что вопрос о Гаждиване обсуждался в финансовых органах, но пока еще кое-какие детали...

Мавлянов остановился, заметив странное выражение лица Бекова.

— Простите, или вы по другому вопросу?

— По этому же. По Гаждивану, — еле слышно сказал Беков, потеряв вдруг интерес ко всему.

— Значит, отдельно от Нурова, так я понимаю?.. Тогда давайте решим так: вы приходите ко мне завтра в девять утра. Сегодня я очень устал после совещания.

Слушая секретаря, Эгамов приблизился к машине, и тут Мавлянов заметил его.

— Вас двое? — спросил.

— Да, товарищ... — испугался Эгамов.

— В таком случае идемте. — Он вышел из машины. — Двое одного не ждут...

Направляясь к зданию, Мавлянов продолжал:

— Хорошо, что вы приехали. Нуров рассказывал, что среди гаждиванцев есть и такие, кто возражает против присоединения к колхозу. Может быть, соображения таких людей резонны. Вот и выложите их.

Растерявшись, Эгамов сразу и не заметил, как от-

стал от них командир. Потерялся в толпе, которая хлынула из обкома после совещания, среди людей с портфелями.

— Уважаемый товарищ. — жалобно проговорил он, показывая на Бекова.

Мавлянов поднялся на самую верхнюю ступеньку и обратился к людям с портфелями:

— Товарищ! Пропустите гаждиванца... Да, да, этого, в кителе.

Приказ был понят, люди расступились, и Беков долго и мрачно шел мимо молчаливых рядов.

Мавлянов нажал кнопку на стене, отодвинулись шторы, и они увидели большую квадратную доску с контурами рек, дорог и полей.

Красивая была доска, разноцветная. Эгамов, осмелев, потрогал ее — не то гранит, не то подделка под гранит.

Сначала загорелась крупная надпись: "Карта-макет области" А потом помельче: "Подарок членов кружка "Умелые руки" Дворца пионеров областной партийной конференции"

Еще больше поразился Эгамов, когда Мавлянов нажал вторую кнопку и на макете замигало, заиграло множество лампочек разного калибра: от крошечной, для карманного фонаря, до крупной, шестидесятисвечовой.

Самая крупная, где-то посредине, била в глаза ярким светом, и Эгамов понял, что это главный город. А все, что разбросано вокруг в беспорядке, — просто города, городишки, районные центры и рабочие поселки.

"Как красиво представили пионеры землю нашу, как хорошо и чисто! Какая прелесть смотреть на мир их детскими глазами! Но пусть, пусть видят так дети наши. Пусть ничто не омрачает их, наших маленьких граждан", — думал Эгамов.

Беков, наоборот, сидел равнодушный, подавленный. Глаза его слезились от усталости.

— Вот, посмотрите, — начал Мавлянов. Он взял линейку и показал на крошечную, еле горевшую лампочку Это и есть место, где вы живете. Гаждиван.

Он долго искал ее, прежде чем показать.

Он торопился, был очень занят. Много раз звонили телефоны. Мавлянов смотрел на часы и говорил, называл много учреждений много имен и названий

Голова Эгамова шла кругом. Как может один, да еще немолодой человек, даже такой большой, как Мавлянов, заниматься сразу столькими делами...

— Так вот, уважаемые отцы Гаждивана. Место, где вы живете, — не город, не село, не рабочий поселок.

Заметив, что Эгамов более активный из двоих, Мавлянов подозвал его к карте:

— Прочтите-ка, что за административное деление...

Внизу, под лампочкой, Эгамов прочел:

— "Про-чи-е на-се-лен-ны-е пун-кты..."

Мавлянов подождал, видимо, давая возможность понять смысл прочитанного.

— Теперь понятно? Гаждиван — прочий населенный пункт... А на языке экономистов это значит, что у вас нет ни промышленности, ни сельского хозяйства, ни промыслов... А люди живут. Ничем не занятые люди. Многие годы Гаждиван потребляет то, что создают другие города... Кроме того, есть масса иных проблем, о которых вы знаете лучше меня... И я хочу вас послушать. Все ваши мысли и предложения.

Мавлянов обратился к Эгамову. А тот растерялся и сел рядом с Бековым.

— Вы люди мудрые. Слушаю вас...

— Наш командир знает, — сказал Эгамов, думая, что Мавлянов наконец обратит внимание на Бекова и поймет, с кем имеет дело.

— Командир? — удивился Мавлянов, глядя на Бекова. — Почему вас так называют?

Эгамов ждал, что командир сейчас все напомнит, но — горе! — тот молча опустил голову.

— Ладно, — снова заторопился Мавлянов, — я думаю, что не стоит сейчас выяснять, кого как в шутку называют земляки. Я хочу послушать ваши предложения.

Но Эгамов с командиром молчали. Чувствовали они себя скованно. Эгамов тоже вдруг потерял интерес ко всему. И то, что говорил потом Мавлянов, слышалось как далекое, не относящееся к ним:

— В таком случае прошу выслушать меня внимательно. И рассказать потом о нашем разговоре тем гаждиванцам, которые сомневаются... Какой же есть выход? Может, завод построить новый? — в форме вопроса говорил Мавлянов, приглашая тем самым отвечать или возражать. — Но какой? Нет сырья поблизости, понимаете? Ни руды, ни лишнего хлопка. Весь хлопок, который выращивается в колхозе Нурова

идет сюда, в Бухарский комбинат, весь до единого грамма. Промысловые артели? Но Гаждивану нет и сорока лет. Народ там собрался разный, народ без традиций, без корней. Ни ковроделов среди вас нет, ни золотошвей, ни гончаров. Значит, и это отпадает...

То, что предлагает Нуров, сейчас, пожалуй, самое разумное. Колхоз у него богатый, и Гаждиван, став поселком колхоза, быстро расцветет за счет виноделия, консервного производства. Будет прекрасно, если его идея осуществится. Сейчас она еще до конца не оформлена, есть в этой идее много слабых мест. Надо подумать еще и еще, посоветоваться со специалистами, учеными. Чтобы опять не произошла горькая ошибка...

Я прошу вас, с доверием отнеситесь к Нурову. Он взялся за неимоверно трудное дело. И без вашей помощи ему не обойтись... Проявите мудрость, отцы Гаждивана... Прошу вас...

Мавлянов проводил их до дверей и долго смотрел вслед Бекову, мучительно вспоминая, где же раньше он видел этого старика. В какое-то мгновение он даже хотел махнуть рукой на усталость и занятость и остановить Бекова, чтобы подробно расспросить его о том, была ли в их долгой жизни дорога, где они встречались.

Но Мавлянов не сделал этого. Он утешал себя тем, что скоро, месяца через два, он приедет в Гаждиван, чтобы познакомиться с тамошними делами, и вот тогда-то у него будет возможность поговорить со стариком в военном кителе.

А Беков и Эгамов, выйдя из обкома, пошли снова в сквер, чтобы успокоиться там в прохладе.

Старики некоторое время молчали, подавленные случившимся.

И Эгамов, чтобы утешить командира, произнес:

— Прошу вас, командир, не расстраивайтесь. Во всем виновата усталость Мавлянова. Вот если бы мы пришли утром, он бы обязательно узнал вас...

— Да ведь простительно, столько лет прошло... А напоминать не хотел. Зачем?

Беков поднялся, и они молча побрели на вокзал

— Остановите, пожалуйста, — попросил Беков шофера.

Поле, возле которого вышли они из машины, шло далеко вниз, к белым домикам и фисташковым рощам.

Тишина и покой так подействовали на Бекова, что он долго не мог прийти в себя, стоял на обочине дороги и смотрел на зеленый, кажущийся ему нереальным мир, от которого он почти отвык в переулках Гаждивана.

Там, в глубине поля, куда убегали кусты, трудились крестьяне: собирали хлопок. Согнувшись, шли они цепочкой навстречу Бекову, и никто ни разу не посмотрел на него — так были все увлечены работой.

Беков долго не решался сойти с обочины в поле, опасаясь, что все, что он видит, может исчезнуть, если сделать лишнее движение.

— Рафика в прошлом году родила в этом поле, — пришел откуда-то сверху искаженный эхом голос.

— Счастливый сын, что родится в поле, — ответили ей.

Это были совсем простые разговоры людей но, пришедшие с этого поля, из этой первозданной тишины, они казались сладостными.

Наконец Беков решился и стал спускаться с косогора в поле. Осторожно раздвигая кусты, он пошел навстречу крестьянам.

Заметив его, крестьяне прервали работу и, не сразу распознав, кто он, начали совещаться.

— Бог в помощь, — сказал Беков издали.

— Пусть и вам он поможет, добрый человек, — ответили ему

И тут один из сборщиков вдруг бросился к нему и остановился неподалеку, радостно воскликнув

— Да это же товарищ Беков! Добро пожаловать!

— Бобо-Назар...

— Да, да. Мы каждый день ждали вас, вся моя семья, и сыновья спрашивали, когда же придет товарищ Беков, — торопливо заговорил старик.

Те, кто был с ним, уже высыпали хлопок и, став полукругом за его спиной, слушали, одобрительно кивая.

Беков обернулся к ним, поздоровался, и Бобо-Назар пригласил его присесть на кучу хлопка.

Беков сел, крестьяне расположились вокруг возбужденные не меньше Бобо-Назара.

А он крикнул в поле:

— Э-э! Махсум!

— Э-э! — пришло с поля. — Слышу тебя, отец.

Помолчали. От чистого, первозданного воздуха у Бекова приятно кружилась голова.

— Вот вы и пришли посмотреть на свое поле, —

сказал Бекову Бобо-Назар. — Добрый нынче урожай Дома наши будут полны хлеба и достатка.

— Да, — согласились старики, — будет много свадеб этой осенью...

Откуда-то принесли чайник и пиалы. Бобо-Назар налил Бекову чай.

— Весной было много дождей, ведь так? — Все еще смущаясь, Бобо-Назар обращался к сборщикам, чтобы те поддержали разговор.

— У нас крышу смыло, — сказала женщина.

— Да хватит тебе об этом вспоминать! — рядом сидевший мужчина крепко обнял ее, весело засмеялся.

Женщина смутилась; оттолкнув его от себя, она объяснила Бекову:

— Это муж мой, отец Исхак...

Подошел парень с мотыгой, поклонился Бекову, почти до земли.

— Это сын мой, Махсум, — стал знакомить Бобо-Назар. — Это я ему кричал. Он хлопок поливает.

Беков протянул парню руку:

— Рад познакомиться.

— Я обучил сына своему ремеслу, а сам теперь собираю хлопок. А вот его невеста, — Бобо-Назар показал на девушку, сидевшую позади всех.

К Бекову пододвинулся старик с белой накидкой на голове и доверительно сообщил:

— Махсум мой зять.

— Я вижу, вы одна семья, — повеселел Беков.

— Все люди одна семья, — сказал старик с накидкой. — Разные есть в этой семье, но мы знаем, что вы самый добрый...

Подбодренный словами старика, Бобо-Назар вскочил и, показывая рукой далеко в поле, стал вспоминать:

— Вон там, где четыре тополя, там отдыхал отряд товарища Бекова...

— Помню... — кивнул Беков.

— Кроме змей, здесь ничего не могло выжить. А теперь земля эта нас кормит!.. И впервые там, возле четырех тополей, я увидел товарища Бекова... Вы вышли, кто-то подал вам лошадь, вы вскочили, и тогда я...

— Не надо, — прервал его Беков, сразу почувствовав усталость.

— Я до сих пор мучаюсь по ночам. Как я посмел?! Вы пришли с добром, а я, безмозглый осел...

Сборщики сидели, опустив головы, подавленные происходящим.

Махсум обнял отца, отвел его в сторону и вполголоса стал что-то объяснять.

— Да, он всегда мучается, — подтвердил старик с накидкой. — Говорит: стрелять в вас — все равно что стрелять в пророка.

— Я давно простил ему. И давно забыл это, — сказал Беков, но почувствовал, как вдруг разболелась левая рука его, простреленная Бобо-Назаром. Он потер ее выше локтя, но украдкой, чтобы сборщики не заметили.

Бобо-Назар с сыном вернулись и сели недалеко от Бекова.

— Здесь так тихо, — прошептал Беков...

Он прилег, Бобо-Назар подложил ему под голову хлопок.

— Здесь так тихо и хорошо, — повторил Беков и под добрыми взглядами сборщиков стал засыпать...

Когда он проснулся, солнце уже спустилось к белому поселку вдали. Весь хлопок на том клочке, где лежал Беков, был убран, и силуэты сборщиков мелькали где-то далеко.

Только Эгамов один сидел возле командира, охраняя его покой. В руке у него был ком влажной живой земли, и, увидев, что Беков проснулся, он показал ему эту землю, чтобы и Беков порадовался:

— Какая земля, командир! Словно сильная, здоровая женщина, что рожает сразу четырех близнецов!.. Идемте туда, дальше, по вашим полям.

Он поманил его к белым домикам, к фисташковой роще, где можно было побродить среди зелени. Сырой, весь пропахший бедностью Гаждиван сейчас пугал Эгамова.

— Там у меня есть знакомая семья, командир. Мы переночуем у них...

— Нет, нет, — запротестовал Беков. — Там Нуров. Я не хочу к нему. Он это знает. Знает, что не нравился мне тогда, в молодости. Но все же только он один в те годы мог поднять колхоз, только он один из нас троих. И я поступил правильно, назначив его председателем...

Как только они вошли в переулок Гаждивана, Бекову стало плохо. От душного воздуха, от испарений и соленых сквозняков его начало тошнить.

Возле самого обелиска он мучительно закашлялся и сел на постамент

— Командир! — закричал Эгамов, видя, что он падает навзничь.

Обелиск, ярко освещенный, резал глаза и был белый, чисто белый, странно белый.

Беков вскрикнул. Но голоса не было. Что-то оборвалось внутри. И он упал, накрытый белым.

Всю ночь он лежал без памяти, спокойный и белый. И когда пришел в себя, увидел Эгамова и Маруфа, сидящих у его изголовья. Эгамов тут же вскочил, скинул с себя халат и, скомкав, бросил под ноги. Он не знал, что говорить. Чувствовал себя виноватым.

Маруф же продолжал сидеть, с грустью глядя на Бекова, словно стараясь навсегда запомнить его облик.

Лицо Бекова было спокойным и красивым. Дряблое, старческое исчезло, и пришло новое, словно он постиг некий смысл, отчего душа его и тело стали прекрасными...

За стеной послышались какие-то голоса.

— Слышите... Народ благодарен вам, командир.

Затем Эгамов снова сел на табуретку рядом с сыном.

Беков продолжал смотреть на него спокойным, ровным взглядом, и он терялся от этого

— Люди ждут вашего выздоровления командир. Вы слышите их голоса?

Какая-то последняя мысль мелькнула в глазах командира, но тут же исчезла, и взгляд его снова ничего не выражал, кроме тишины.

— Я боюсь, мне страшно оттого, что вы молчите, командир. Что передать людям от вас?

Теперь уже судорога свела лицо Бекова. Но он все же смог собрать силы, чтобы произнести:

— Я хотел добра... Всем... И тебе..

Эгамов бросился на колени, пытаясь взять его руку

— Вы столько добра сделали! Клянусь вам! И теперь... Вот увидите, все изменится...

Но Беков уже не слышал.

— Не оставляйте нас одних, командир

В дверях появился доктор

Эгамов поднялся и стал пятиться к выходу

Маруф наклонился и поцеловал Бекову руку

Дверь закрылась за ними. Кто-то крикнул с улицы:

— Да здравствует товарищ Беков!..

..Бекову привиделась белая дверь, будто он встал, подошел к ней и стал толкать, пытаясь отворить. Но дверь, тяжелая, гранитная, не поддавалась.

Он бил кулаками, но и звуков не было, все так глухо..

И тогда он напряг все силы, все, что еще теплилось и жило в нем, и навалился на эту дверь с распростертыми руками. Дверь беззвучно открылась, и Беков упал в нечто белое, чтобы навсегда растворить-ся в нем...

6

Много работы теперь в Гаждиване. Что-то сносится, что-то строится заново.

Везут из Бухары кирпичи, доски. Гаждиванцы делают из этих досок окна и двери для консервного цеха, копают траншеи и месят желтоватую глину.

И еще было у гаждиванцев соревнование, кто быстрее снимет с заборов своих стекла, насыпанные для того, чтобы сосед поранил руку.

Эгамов тоже работает.

Сделал он себе кетмень и теперь долбит ту землю, где была пролита его горячая молодая кровь. И хорошо знает старик, что недаром пролилась его кровь.

Бывшему адъютанту помогает сын его, Маруф. Он никуда не уехал, он остался с отцом. Он тоже знает, каким неимоверным трудом дается счастье. И пусть трудное оно, это счастье, но верное.

...К вечеру в Гаждиван пришла вода. Вначале был слышен только гул — открыли шлюзы, и вода, которую пробурили машины, вдруг хлынула, перекатывая камни, заливая все, что годами лежало на дне мертвой реки.

А потом гаждиванцы увидели и самую воду. Желтую-желтую от солнца.

Вода ползла, словно насторожившись, ощупывая незнакомые места и боясь сразу довериться людям, которые когда-то столь неразумно израсходовали ее.

Все, кто работал в Гаждиване, бросились в реку Смеялись, радовались, обливали друг друга и пили, пили...

— Вода, Вода! Как долго ты шла к нам, — шептали старики. — Поцарапала лицо о камни и стекла, что лежат на дне. Бедная вода...

Незадолго до захода солнца Эгамов сидел на корточках и бросал на холмик могилы командира куски хлеба.

Птицы уже ждали его. Они налетели на хлеб, хлопая крыльями и воркуя. Так каждый день поют они возле могилы командира, и от голосов их командир в своем вечном покое не видит неприятных сновидений, беспокоивших его душу...

Птицы усыпляют страдания.

Холмик командира прост, как и все холмики его воинов на этом кладбище, и уже покрылся солью, что просачивается вместе с водой из земли, на которой стоит Гаждиван.

— Вот и река возвратилась, — шепнул бывший адъютант своему командиру.

Медленно брел он затем через весь Гаждиван. Подойдя к обелиску, остановился.

— Ну, иди, — сказал он Маруфу.

— Я помогу тебе, отец.

— Нет, я люблю один...

Эгамов следил, пока Маруф не вошел в дом, затем шагнул к газонам.

Здесь был обычный порядок — цветы подрезаны и почва полита.

Эгамов взял ведро, спрятанное в кустах и поднявшись на постамент, начал мыть мраморную доску...

1966–1967

ВТОРОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ КАИПА

Эвелине Шевяковой

1

Каип давно пережил тот возраст, когда умирают от чего-то постороннего — скоротечной болезни, солнечного удара, от укуса змеи или яда рыбы, от слепоты или глухоты, кашля или дурного глаза: старика должны были просто побеспокоить и позвать к себе предки.

По утрам старик выходил во двор, вешал на кол постель из верблюжьей шкуры и, разглядывая вдали холм, все думал...

Думал Каип, откуда появился тот первый человек, от которого и пошла потом жизнь на острове. Из чего сотворила его природа?

Вначале казалось Каипу, что сделался первый человек из смерча. На холме пещера, и, выпрыгнув оттуда, смерч с песком понесся к морю, радуясь обновлению. И несся он, ударяясь о валуны и пугая коршунов, и так до тех пор, пока, утомившись, не остановился у самой воды.

И вот тут-то от старания воды, ветра и солнца превратился смерч в глиняный столб, а столб этот, на удивление коршунам, вышел из моря человеком.

Сидели они как-то с Ермолаем на поляне, и Каип поведал другу о своем прозрении, показывая на холм, откуда шел к ним смерч.

— Смотри, человек, — сказал Каип в тихом старческом волнении, наблюдая за столбом пыли

Ждал, что смерч приблизится и Ермолай сможет увидеть причудливо нарисованный песком грустный лик человека.

Смотрел Ермолай, но так и не увидел — убежал, ибо смерч летел к его дому, чтобы сорвать крышу и двери.

А Каипа смерч повалил с ног и засыпал наполовину. И старик уже наполовину умер — хорошо, откопали его вовремя земляки, люди, которые стали ему давно неинтересны.

В другой раз пришло Каипу прозрение от змеи. Старик обнаружил ее под шкурой и выбросил на солнце. А к вечеру нашел змею, высохшую всю, кроме глаз.

Взглянув в глаза змеи, удивился Каип: тело твари распрощалось под солнцем со всеми соками, и только глаза были по-прежнему живые.

— Смотри, — принес Каип змею к Ермолаю. — Видишь, глаза змеи никогда не умирают, потому что не грустят и ничему не удивляются, — и показывал Ермолаю свои глаза, чтобы друг сравнил со змеиными.

Знал Каип, что змеи были корнями деревьев. Сползли они в землю и зарылись в песок, где больше жизни, чем на воздухе. А из этого песка и появился первый на острове человек.

Ермолай слушал Каипа и делал вид, что соглашается, хотя на самом деле опыт другого был ему неинтересен: жил он, как и все, только своим опытом...

А море все дальше и дальше уходило от их острова. И люди сказали: от нас уходит рыба. Подобно тому как предки их говорили: от нас ушел лес, а еще раньше: от нас ушла река, ибо знали, что все слабое в природе уходит, чтобы дать место пустыне...

2

Ночью, когда на острове ждали путину, старику вдруг приснился коршун. Застонав, Каип проснулся и долго просидел в постели, зная, что теперь умрет коршун такая примета.

Старик уже был готов к отплытию. Кажется, он успел сделать все: наловил водорослей и перекрыл заново крышу — в доме теперь будет жить сын с женой; со всеми, кого хоть чем-то обидел, помирился·

всем, у кого что-то брал, вернул; ел и пил умеренно, чтобы тело не тратило свои соки на мелочи. И смог наконец уговорить сына, чтобы тот вернулся с Акчи, с завода, на остров к жене и был бы вместо старика работником дома и в море.

Пугала Каипа смертная суета. Знал он, что просто уходит в другой, долгий и утомительный мир. Знал, что туда уходят и добрые и злые и что новый мир этот совсем близко, в тех песках, что вокруг.

Боялся он того, что, превратившись в песок, будет долго блуждать в новой своей жизни, доставляя хлопоты живущим.

Станет ветер трепать его и разбрасывать по острову, сползет он в море, и рыбы проглотят его и будут носить песок в утробе и между плавниками. А оттуда попадет он в чужие города и оазисы и будет кружиться в вечном стремлении обрести покой, но так и не найдет его до конца мира.

Каип знал, что немного времени отпущено ему на приготовления. Значит, без промедления, сегодня же, надо отплывать на Зеленый остров — там Каип родился, оттуда бежал когда-то, чтобы наказать Айшу... Когда же все это случилось? Старик облизал высохшие губы... Всякий раз, когда Каип думает об Айше, его преследует запах абрикосов. Откуда это? Тогда ведь была жара и в зарослях вокруг Каипа прыгали лягушки.

Недавно он встретил в море рыбака с Зеленого, и тот сказал, что Айша жива, одинока. По-прежнему ловит водоросли, закапывает рыбу в раскаленный песок и продает ее гостям острова.

Там, откуда Каип сбежал, похоронены отец и весь остальной род.

И вот сегодня они позвали его. Надо успеть. И хотя Зеленый виднеется отсюда в тумане — он близок, добраться будет нелегко.

Нужна лодка. А своей у Каипа нет. Нет ее и у Ермолая и у остальных — все лодки собраны бригадой: ждут с часу на час путину. Председатель Аралов отменил все поездки и одиночные выходы в море до особого распоряжения.

В поселке пусто. Вторую ночь уже все на карауле у моря. Только бродят овцы, заглядывая в дома и обнюхивая пороги.

Спят прямо на песке бухарцы — заезжие сапожники. Набросали вокруг себя веревок, чтобы скорпионы не могли подползти к ним и ужалить.

Добравшись неделю назад на остров, сапожники застряли здесь из-за путины. И, чтобы не тратить времени даром, практичные бухарцы весь день вчера стригли островитянам головы, подправляли усы и бороды.

Мимо спящих тихо прошел с кувшином вина осетин Владимир. Сапожники вечером пили у него в погребке, вот и думал Владимир, что, может, кто-нибудь захочет вина и ночью.

Поздоровавшись с Каипом, Владимир, грустный, поплелся к маяку распивать кувшин с приятелем своим, сторожем.

Каип стал раздеваться возле чистого, только что наметенного бархана.

Раздевшись догола, сел, зарыл ноги в песок и принялся натирать тело, чтобы заиграла кровь перед дорогой.

Затем он добрых полчаса шлепал по мелкой воде, но, так и не найдя глубокого места, лег недалеко от берега.

Узелок с чистыми штанами и рубашкой, давно приготовленными на этот случай, старик оставил на берегу. Возле узелка сидел и смотрел на Каипа сын Ермолая Прошка, юноша лет четырнадцати с усталым взрослым лицом.

Отец послал его проведать Каипа и отнести ему рыбий жир, если старик болен.

Но старик не был болен. Прошка посидел один, поскучал и бросился в море к Каипу.

На сей раз Каип встретил его недовольным ворчаньем — старику хотелось быть одному.

— Ты что, следишь за мной? — спросил Каип, поднимаясь из воды.

— Отец велел напоить вас рыбьим жиром.

— На что мне жир? Бери обратно... Нет, постой, ты с причала?

— Да. Приезжал бригадир. Поругал всех и ушел.

— А лодки все на привязи?

— Все. Отец на карауле... Хотите половить рыбку? — лукаво заулыбался Прошка.

— А что? Ведь ловят же другие...

Прошка удивленно вскрикнул, все еще не зная, шутит Каип или же вправду решил воровать — за ним ведь никогда не замечали такого греха, даже в самые трудные дни.

— Ну беги, — таинственно проговорил Каип, и по тону его Прошка решил, что старик действительно собрался на ночной лов и просит хранить это в тайне.

Отправив Прошку, Каип оделся и пошел к причалу, надеясь, что никто больше ни о чем не спросит, не потревожит.

Все двадцать семей, живущих на острове, были в этот поздний час на молу. Семьи казахов и родственных им каракалпаков, таджиков, узбеков и уральских казаков, переселенных сюда сто лет назад.

Был часовым приказ: заметят в море катер или увидят, как хлопнула и загорелась в небе ракета, разбудить всех и выступать.

Рыбаки должны направить свои лодки к дельте реки, к Северному островку, где дежурит председатель Аралов, и соединиться там с рыбаками соседних островов.

Никто не имел права действовать самовольно или же отлучаться в эти дни с острова ни под каким предлогом — за это было обещано строгое наказание.

Ждали, что огромный косяк рыбы пойдет мимо острова к дельте реки в нерестилища. Вот тут-то его и должны были подстеречь, окружить и выловить.

Недавно уже поднимали рыбаков по тревоге. Но, когда добрались к дельте реки, выяснилось, что надо возвращаться обратно по домам — то ли косяк ушел туда, где его меньше всего ждали, то ли летчикам от усталости просто что-то померещилось.

На узкой полосе мола теперь и варили, и ели, и спали, и любили.

Калихан умер здесь вчера от старости.

Спрятавшись в камышах, Каип наблюдал за спящими, видел, как дремлет, держа перед собой тлеющий факел, часовой Мосулманбек — злой натуры старик.

Все же остальные не были видны в полумраке. И только по тому, кто в какой позе сидит, Каип узнавал их и вспоминал имена и клички — Кашча, Палван, Безбородый Ванька...

Почему-то вспомнил Каип, как приехал однажды бригадир на проверку и вот так же, спрятавшись в камышах, закричал во всю глотку, чтобы подшутить над спящими: "Эй, Кашча!" — и выпала у старика из руки кость, которую он грыз и уснул с ней. И все проснулись, и захохотали, и кричали: "Кашча, Кашча!" — и толкали старика в песок, и тот, стыдясь, уполз куда-то в темноту.

Слышно было, как трутся друг о друга боками лодки, как скрипят они, ударяясь носами от ветра. Самих лодок не было видно: спрятаны за камышами в бухточке, где сторожем Ермолай. Каип вышел из

воды и неслышно подкрался к Ермолаю, сел. Чуткий Ермолай тут же очнулся и уставился на Каипа, заметив в нем многие перемены.

Глубокие, пораненные солью морщины чуть сгладились, на мертвых пятнах щеки, где ранее не росла борода, пробились черные волосы, а в глазах, с мольбой смотрящих на друга-часового, исчез желтый, болезненный цвет, и перестали они слезоточить.

— Что случилось? — заволновался Ермолай.

Каип не знал, с чего начать.

— Ты ведь, кажется, болен? — продолжал недоумевать Ермолай.

— Мне нужна лодка. Вернусь к утру, — сказал Каип.

Сказал и сам удивился, но не тому, что легко солгал, хотя уже не имел на это права, а тому, что Ермолай, не спросив ни о чем, согласно кивнул. Не знал старик, что Прошка после их разговора прибежал к отцу: "Вот видишь, отец, и дядя Каип теперь воровать собрался, а ты говорил — святой он..." — "Молчи, не понимаешь ты многого", — прогнал Прошку отец и, пока Каип пробирался к причалу, о многом передумал и, ничуть не осудив друга, задремал в тоске.

Ну что же, Каипу, верно, захотелось половить рыбу. С такими просьбами почти каждую ночь обращаются к часовым, и те, уверенные, что и сегодня лодки не пригодятся для путины, соглашаются помочь на свой страх и риск. И в виде мзды берут потом у ночных воров часть рыбы.

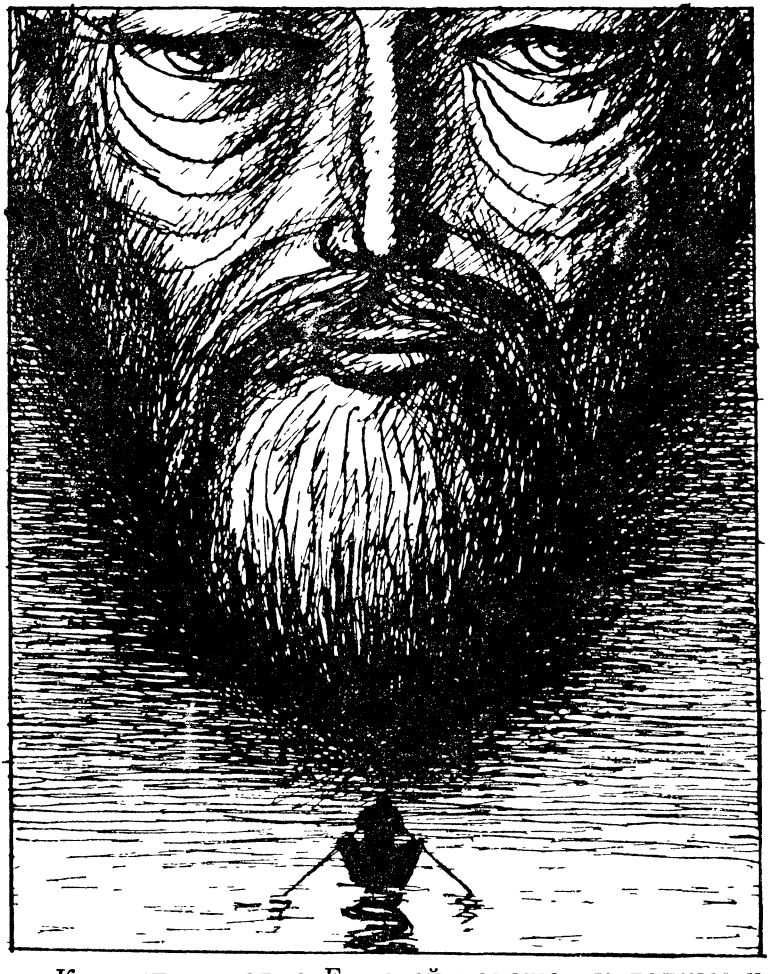
— Не успеешь ты до рассвета, — трезво рассудил Ермолай.

— Успею, успею, — заверил часового Каип. — Не беспокойся.

— Смотри! — для пущей убедительности сказал Ермолай, обиженный тем, что Каип не делился с ним подробностями своей ночной вылазки.

С трудом пробирались они к бухточке, путаясь в болотных растениях, которыми покрылась вся прибрежная полоса моря. Трудно было также и из-за паров, осевших в камышах, задыхались. Как только сгибали камыши, пар окутывал их с ног до головы, покрывая тела липкой желтой водой.

Раз на их пути повстречались люди. Отчаянно гребли они, пытаясь выбраться из камышей на берег, кричали и ругались и, чем больше нервничали, тем глубже запутывались в зарослях, теряя дорогу



Каип спрятался, а Ермолай подошел к лодкам и начал переговоры.

Люди эти оказались рыбаками с соседнего острова, поднятыми ложной тревогой. Как и люди Песчаного, они ждали путину — и вот в полночь пришел приказ идти курсом к Песчаному, откуда якобы и должен пойти косяк.

Ермолай все толково объяснил соседям, и те, успокоившись, повеселели и повернули лодки обратно.

Еще долго были слышны их голоса в море, затем

в тишине только плеск весел, а когда соседи уплыли далеко, кто-то из них запел.

Голос его, приглушенный и искаженный морем, был похож на крик заблудившейся птицы, потом все утихло.

Когда пришли в бухточку к лодкам, Ермолаю захотелось посидеть немного с другом, покурить, но Каип очень торопился. И показывал на небо, откуда подкрадывалось утро нового, тревожного для него дня.

Они выбрали большую крепкую лодку, освободили ее от цепи. Каип упал, поскользнувшись об ил, рассек подбородок, но боли не почувствовал.

Далеко в море Каип наконец взобрался в лодку

Ермолай не уходил назад. Он плыл за лодкой Каипа и подталкивал ее.

На острове, откуда Каип уплывал навсегда, последним приветом мерцал огонек факела.

Потом зажегся второй факел, третий, и вскоре на всем берегу замигали огни, споря о чем-то с высоким маяком на холме.

Когда Каип опомнился, Ермолая уже не было возле лодки. И только по тому, как вдалеке плескалась вода, старик догадался, что друг благополучно добрался назад, на остров.

3

Нет у Каипа времени ни сожалеть, ни предаваться воспоминаниям. Ни тем более думать о будущем — впереди все неизвестно.

Он плыл. Он знает в море каждый риф, каждую скалу и каждое течение.

Скоро лодка одолеет полосу, где остров омывается морем, обогнет треснувшую пополам скалу, на которой стоит слепой маяк, и дальше надо плыть по течению реки.

Всегда ленивая, эта река, впадая в море, образует быстрое течение, перекатываясь через пороги; поймав лодку, стремительно несет ее и кружится вместе с судном. Если хоть раз дрогнет рука или зазевается рыбак, на третьем или на пятом круге можно оказаться выброшенным в море. Лодку опрокидывает вверх дном, а на рыбака наваливаются бревна и гнилые ящики. Нужно достаточно мужества и сноровки, чтобы спасти лодку.

Зато потом уже до самого Зеленого лодку саму несет другое, мирное течение — тишь и благодать!

Но и здесь отдых длится недолго. Впереди, в прибрежных водах Зеленого, лодку подстерегает более тяжкое испытание.

Рассказывали Каипу, что в иные дни во время приливов никак не удается пристать к берегу. Идя ровно и быстро, лодка в какое-то мгновение срывается и бежит, бежит безостановочно, несет ее вокруг острова, не приближая и не удаляя ни на дюйм, словно что-то притягивает судно к себе и не отпускает, ждет, пока прилив не сменится отливом.

С берега, конечно, могут заметить лодку и выловить ее канатами. Но чаще всего на берегу возле лечебницы сидят больные. И единственно, что они могут сделать, — это звать других, здоровых, на помощь, если таковые бродят поблизости.

Никто не может объяснить, что происходит с течением в такие дни, но таких дней, к счастью, не очень много. Чаще всего вода вокруг Зеленого спокойна, даже мертва, и лодкам, пристающим к берегу, не грозит опасность.

Сделав два резких круга, лодка Каипа выбралась в безопасную зону, старик вынул весла из воды и, тяжело дыша, лег на дно — лихорадило. Он даже подумал, что, истратив последние силы на борьбу с течением, теперь не встанет — умрет раньше времени. А ведь старику хотелось о многом важном переговорить с самим собой, с этим морем, где прошла его жизнь, с рыбами, чайками.

"Он породил меня, пустил повидать свет и вот теперь сказал: ну довольно, возвращайся. Вот так и я позову сына. Видно, все мы в роду не можем друг без друга: будем плавать рыбами, собравшись в косяк", — подумал Каип об отце Исхаке.

И сразу же из глубины сознания всплыло детство, то, что Каип лучше всего помнил, сохранил в себе, сберегая чистым и ясным.

"В тот год мы сидели без рыбы — в море был шторм... — вспоминал старик. — Сейчас, видно, море устало: когда сердится, поползет на берег, потом, одумавшись, возвращается, забрав с собой самую малость — камни и ракушки... Подобрело море. А в тот год ему нужны были людские тела...

Отец лепил и обжигал кувшины. Потом топил в море — никто их не покупал. "Будет пророк наш,

господин Сулейман, запечатывать в моих кувшинах джиннов", — мрачно шутил он...

Отец построил себе новый дом, а нас с матерью оставил в старом. Мать с ума сходила, хотелось ей ласки, но отец гнал ее. Странно, но у старух желания живут дольше, чем у стариков, к семидесяти годам к ним возвращается девичье сумасшествие.

В то утро, когда отцу вдруг приснился коршун, мы с матерью работали во дворе. Мать подумала, что уходит отец за хворостом, и приказала мне вынести ему веревку. Старухи никогда не знают, когда уходят их мужья. Впрочем, старики тоже. Я вот тоже не знал о моей старухе. Она умерла просто, так же просто, как и жила. Уснула — и умерла не простившись. Старух, видно, никто не зовет. Мужчины хотят жить сами в своей второй жизни, бестелые и бесплодные...

Река была высохшая. Хрустела соль под ногами. Странно — отец шел, поглядывая на дно реки, боясь раздавить всяких жучков. А твари эти, жучки, осмелев, цеплялись за штанины отца и царапали ему ноги...

Вскоре отец пришел к тому месту, где обычно прятал силок. Он опустился на колени и освободил еле живого зайца. Казалось, что отец, как всегда, свернув шею зайцу, спрячет зверька за пазуху, радуясь удаче. Но он разорвал на себе рубашку, старательно перевязал зайцу пораненные лапы, положил на живое мясо корни саксаула для лечения. Затем просунул язык в горло зверька и напоил зайца влагой из своего тела... Заяц встал на лапы и, оглядываясь, ушел в пустыню...

За свою долгую жизнь отец истребил много всякого беззащитного зверья, вырвал и сжег траву и кустарники, перерыл пустыню и выловил живое в море — жил, как и все пастухи, охотники и рыбаки, чтобы прокормить семью. И вот теперь, когда природа позвала его к себе, пришло к отцу желание хоть как-то искупить вину, хоть что-то восстановить в природе, сделать так, как было до него, будто он, отец, никогда и не был среди нас, людей...

Было страшно, — вспоминал Каип. — Я побежал к отцу, но он продолжал смотреть, как уходит заяц. Отец был уже наполовину мертв. То, что еще жило в нем, помогло отцу встать. Словно он еще надеялся. Словно не знал, что сильно только добро живого, а мертвый все напутает и усугубит.

Так шел отец, поправляя кусты и освобождая

разных тварей из плена, ветер же тем временем выдул из него все тепло и унес в пустыню, усиливая зной

Я заплакал и бросился в поселок звать людей. И когда мы вернулись, отец уже лежал на песке и над ним кружились коршуны. Он даже не успел порадоваться. Ведь прилетели коршуны, чтобы съесть его труп и восстановить в природе разумное...''

Каип, забеспокоившись, с трудом приподнялся, сел и ухватился за борт лодки.

Прищурил глаза и вдруг отчетливо увидел Зеленый остров — огромную черную скалу в тумане.

Родина! Родина!

Среди камней и зеленых холмов здесь бьет родник, окруженный деревьями. И тем, кто привык уже к унылому однообразию моря, зеленый мир острова видится как чудо, как плата за долгий путь и усталость. Ведь не зря здесь, на Зеленом, собраны со всего моря больные и немощные в одной большой лечебнице.

И еще слышны голоса людей, идущие не то с берега, не то из глубины острова, и как что-то большое, металлическое работает зубчатыми колесами, как бьется жернов о камень. Одни только звуки...

А как там, у берега? Примет ли Каипа родина или же лодку его бросит в стремительный бег вокруг острова? Умереть у врат родины — можно ли придумать человеку более постыдный конец?

Каип опустил весла и стал помогать лодке Но от его движений лодка ушла в сторону — ей надо самой плыть навстречу неизвестному. И человек тут не помощник.

Каип лег, вновь почувствовал усталость. Все, что должно быть, будет, решил старик, на большее рассчитывать не приходится.

Так лежал он с закрытыми глазами, и по тому, как брызги запрыгали ему на лицо, Каип понял, что течение начало меняться...

''Только бы успеть ее повидать, — подумал Каип. — Выйду на берег... Она должна быть уже очень старой. Тот рыбак говорил, что она бродит возле больницы, предлагая копченую рыбу. Там я и найду ее... Хорошо, что я успел позвать сына обратно на остров, к жене К старости я, кажется, подобрел. Но добреем мы уже тогда, когда устаем от суеты. Поздно добреем.. Интересно: все ли, кто совершил когда-то подлость и предательство, все ли терзаются? Или есть и такие, в ком совесть давно умерла? А сами они уходят в

могилу пустыми и бездушными. Как будто с них уже никто ничего не спросит..."

Неожиданно старик услышал странный гул — лодку сильно качнуло, понесло в сторону. Раздался отчетливо чей-то голос: "Стой, стрелять буду!" — и за бортом затрясся высокий, как скала, черный предмет.

Каип хотел подняться, но не смог. Лодку снова тряхнуло — и старик упал, ударившись головой о днище. В лодку полетел канат и последовал приказ:

— Завязывай!

Каип, повинуясь, взял канат, но от неожиданности, потеряв всякую сообразительность, не знал, что и куда завязывать. Лучше бы ему приказывали и направляли.

За бортом, видно, это поняли, стали ругаться:

— Ты что медлишь? Быстрее! Да так... ползи. Не выпускай канат, слышишь? К носу, куда пополз?! Теперь завязывай! Не так! Узел делай, узел...

Канат, привязанный к носу лодки, натянулся. За бортом снова загудело, и лодку Каипа понесло куда-то.

Спасение, обрадовался старик, спасение! И подумал, что его, должно быть, заметили с Зеленого и пришли на помощь. Видно, такова у них профессия, переправлять лодки через опасности — лоцманы.

Каипу стало стыдно — он лежит, а они работают на него. Решил подняться и хоть чем-то помочь. Но сколько старик ни пытался встать, волны били его в лицо и снова валили на спину.

Каип успел только заметить, что везет лодку катер.

Когда с катера шли приказания, казалось, что дают их десятки людей. Сейчас же катер почему-то был пуст.

Куда же подевались люди? Возможно, исполнив свое дело — взяв лодку Каипа на буксир, — все они спрыгнули в воду и решили следовать за лодкой вплавь. На всякий случай. Ведь может же быть такое — от большой скорости Каип вывалится из лодки, а люди эти тут как тут, не дадут ему утонуть.

Только плывут они что-то долго. Каип много раз ударялся головой о борт и чуть не терял сознание. И лишь надежда спасала старика от отчаяния.

За это время можно было бы уже добраться к Зеленому.

Что же тогда произошло? Может, и большие катера в прилив не могут пристать к берегу? Может, не

случайно люди покинули катер, чтобы капитан сам выпутывался из сложного положения?

Каип хотел что-то сделать, хоть как-то помочь капитану, сделать все, чтобы не сдаться, и умереть лишь в том случае, если борьба станет бессмысленной...

4

А катер тем временем благополучно приплыл к одному безымянному островку, отмеченному в донесениях номером К-34. Остановился, войдя в бухточку. Покачнувшись, остановилась следом и лодка Каипа.

— Вылезай! — было приказано.

Каип повиновался. Все еще кружилась голова.

Человек, давший приказание, ростом почти в два раза выше Каипа, стоял уже в воде с ружьем. В случае, если Каип вздумает бежать, он сделает предупредительный выстрел.

— Выходи на берег. И не вздумай шутки шутить. Не поможет.

Окончательно рассвело.

Каип разглядывал островок, пытаясь понять, куда его привезли. Голый маленький островок, шагов пятьдесят в длину, с маяком и единственным белым домиком возле холма сразу вспомнился старику.

Человек — Каип его никогда ранее не встречал — прыгнул в лодку. Стал в ней шарить, бросив весла с носа к корме.

— Все-таки успел выбросить в море, — сказал он, продолжая что-то искать.

Старик даже и не пытался понять, чего он хочет. Был равнодушен ко всему.

— Ага! — обрадовался Али-баба (так звали незнакомца). — Единственная, но очень важная улика. Вот она! — Нашел маленькую, с мизинец, дохлую рыбешку, видимо прибитую волной, и показал Каипу, чтобы и старик убедился. Затем аккуратно, словно это была поднятая со дна моря золотая царская монета, завернул находку в носовой платок и спрятал.

— Видел, какая она маленькая? — продолжал Али-баба. — Зато ее вполне достаточно, чтобы посадить тебя на целых два года!

Каип, выслушав странного незнакомца, первым пошел к берегу — надоело стоять в воде.

— Ты куда это? — бросился за ним Али-баба. —

Самовольничаешь? Стой! Пойдешь, когда я тебе прикажу!

Пока он возмущался, Каип уже ступил на берег И Али-баба подумал, что теперь нет смысла возвращать его обратно в воду.

На острове Али-баба снова побежал вперед, приказывая Каипу:

— Ступай за мной! Отсюда ты уже никуда не убежишь. А если и сбежишь, утонешь в море. Тебе что выгоднее — смерть или два года тюрьмы?

Каип решил не утруждать себя ответами, поняв, наконец, что перед ним сам рыбнадзор — страж моря.

— Молчишь? — возмутился Али-баба. — Ничего, заговоришь там, где нужно.

Только раз появился у Каипа интерес к этому человеку, но потом старик снова заскучал, найдя незнакомца глупым и заносчивым.

У входа в белый домик было прибито на шесте чучело беркута. И как только хозяин открыл дверь, чтобы войти, беркут покачнулся и потерял перо.

Внутри домика в единственной его комнате стоял стол, а на столе рация. В каждое из четырех окон были вставлены приборы, чтобы обозревать море в шторм или в случае, если рыбнадзору лень выходить наружу

— Вот здесь моя крепость, — сказал Али-баба, садясь за стол. Сказал он это с теплой, человеческой интонацией, радуясь тому, что старик делит с ним одиночество.

Каип в ответ кивнул, как бы одобряя его житье-бытье.

— Так вот, — сказал Али-баба, вынимая и раскладывая на столе платок с рыбешкой-уликой. — Ты кто и откуда? — Он внимательно разглядывал старика, стараясь припомнить, задерживал ли он еще когда-нибудь этого рыбака. — Молчишь? — Он действительно никогда раньше не встречал этого рыбака и посему еще больше нахмурился, думая, что, если он никогда раньше не ловил этого рыбака, значит, тот воровал до сего времени безнаказанно. Вот почему старик ведет себя независимо — чувствует превосходство.

Ладно. Али-баба решил мстить ему и за прошлые нераскрытые преступления, которых, он уверен, много на совести Каипа.

— Вот такие, как ты, разбазарили все море! — сказал Али-баба. — Где наши знаменитые лещи? Где сазаны? Усачи? Отвечай!

Каип стоял и смотрел в окно, и до него доносились только обрывки фраз. Он никак не мог сосредоточиться. Только раз подумал о чем-то связно, подумал, что ему безразлично, за кого его принимает незнакомец. Совесть Каипа чиста, и, следовательно, все, что говорит здесь Али-баба, не относится к нему.

— С какого ты острова? — спросил Али-баба.

И когда Каип назвал, Али-баба тут же связался с Песчаным по радио.

— Послушай, — сказал он бригадиру, — тут твой один сидит. Сейчас составлю протокол и отвезу в Акчи. А ты там проведи с остальными воспитательную работу, понял?

Выслушав Али-бабу, бригадир Непес в сердцах выругался, и Каип так и не понял, к кому относится его ругань, хотя и очень напрягал слух, потому что голос по радио был голосом, пришедшим с Песчаного.

Конечно, каждый такой пойманный на руку ему, Али-бабе. Если к концу сезона остров не выполнит плана, Али-баба встанет и скажет на совещании: вся рыба ушла в руки воров, и виноваты в этом прежде всего бригадиры и председатель: плохо ведут воспитательную работу.

— Хорошо, — ответил Непес. — Сейчас же соберу своих для беседы... Но послушай, Али-баба, ты ведь знаешь, что путина...

— И не проси, — прервал его Али-баба. — Все равно не отпущу! Хватит! Не могу же я каждый раз нарушать закон...

— Обещаю, — пришел ответ по радио. — Как только проведем путину, сразу же начнем против него расследование. Прошу тебя, отпусти под расписку. Каждый рыбак и каждая лодка на учете — с меня три шкуры сдерут.

— Нет, на этот раз все будет по закону! Распустили, понимаешь, людей... — То ли от искреннего возмущения, то ли от желания подчеркнуть свою власть Али-баба резким движением выключил рацию, прервал разговор.

И сказал, повернувшись к Каипу:

— Слышал, судить тебя будем. Сейчас составлю протокол и отвезу тебя в Акчи, — последнюю половину фразы он произнес медленно, обдумывая что-то.

А обдумывал Али-баба — стоит ли на самом деле везти старика в Акчи. Надо составлять протокол, вытягивая из этого неразговорчивого старика слово за словом. Затем посадить его на катер... На дорогу

уйдет два с лишним часа, и только к полудню он сможет сдать Каипа милиции. По правилам, рыбнадзор может сам вызвать на остров береговую милицию, но обычно по таким пустяковым делам она приезжает раз в три-четыре дня. Ведь браконьер не убийца, можно не спешить.

Предположим, Али-баба все же повезет старика в Акчи, но где гарантия, что милиция слово в слово не повторит сказанное бригадиром Песчаного — следствие начнем после путины, а сейчас, взяв у старика расписку, отпустим, пусть поработает еще.

Все в эти дни подчинено одному — путине, и посему в законы и правила можно внести поправки. Лишь бы ничто не мешало удачному лову. Заводы Акчи ждут рыбу...

Подумав обо всем этом, Али-баба снова вызвал по радио Песчаный.

— Слушай, ну что там слышно о косяке? Когда он уже, окаянный, двинется в наши края?

— Пилоты обещают, скоро, — был ответ Непеса, — с часу на час...

— А что там в косяке — лещ?

— Кто знает? Если бы только лещ, брат, мы бы все планы покрыли по ценной породе.

— Должен быть лещ, должен, — убежденно проговорил Али-баба.

— Дай бог. С первого же улова пришлю тебе попробовать, — обещал Непес и спросил: — А как зовут его, задержанного?

Каип назвал себя.

— Каип, говорит. Есть у тебя такой?

Бригадир снова выругался в сердцах. И обратился к старику:

— Что с вами, отец? Никогда ведь вы... — спрашивал Непес растерянно. — Мы вас в пример ставили, честность вашу и святость... Судить вас теперь будут...

— Ты брось с ним таким тоном! — прервал душеизлияния Непеса Али-баба. — С лучшего рыбака и спрос должен быть строгим. Что его толкнуло на преступление?

Каип хотел ответить Непесу, но потом передумал, считая, что ему, невиновному, унизительно оправдываться.

— Прав ты, Али-баба, — судить его надо, — согласился Непес, чтобы не осложнять дело. — Только почему он молчит? Заставь его сказать что-нибудь. Жив-здоров ли он там? — заволновался Непес.

Зная, что Непес вполне искренен, Каип тихо сказал из своего угла:

— Жив я, Непес...

— Слышал? — передал в эфир Али-баба.

— Пусть он только вернется на остров, — пригрозил Непес. И хотел выключить рацию, ибо все это осточертело ему.

— Постой, постой! А как он будет добираться обратно, об этом ты подумал?

— Пусть на своей лодке и возвращается, — был ответ с Песчаного.

— Сбежит, ответишь сам.

— Возвратится. Он человек совестливый! Ругать себя будет за этот случай.

— Пусть ругает. И мы, со своей стороны, добавим, — сказал Али-баба.

— Это само собой. Прощай!

Время уже близилось к полудню, а Каип все еще был гостем Али-бабы, вернее его пленником Всякий раз перед тем, как увезти браконьера в Акчи, Али-баба знакомил его с островом, месторасположение и очертания которого составляли особую гордость хозяина.

— Если бы ты вздумал бежать, старик, утонул бы в море, — сказал Али-баба, приведя Каипа на южный берег острова, который неожиданно обрывался с возвышенности. — Видишь, как здесь высоко. Если бы ты, допустим, прыгнул — покалечил бы себе ноги. Смотри, там, внизу, торчат из воды острые камни, — рассказывал Али-баба. — Значит, этот берег не годится тебе. Пошли дальше.

На другом берегу, куда они пришли, Али-баба показал на песчаный холм. Холм, ослепительно белый, резал до боли глаза.

— Это окаменевшая соль на вершине, — объяснил Али-баба. — Допустим, ты все же убежал от меня и стал карабкаться наверх. И вот тут-то эта соль и порезала бы твои руки. Видишь пятно на склоне? Это кровь. Того самого беркута, которого ты видел возле моего домика. Одурманенный парами моря, беркут этот упал с вершины мертвый...

Каип от усталости сел на песок, обо всем этом он знал давно. Али-баба же продолжал с удовольствием знакомить его с островом-ловушкой, так удачно сотворенным морем.

— Единственное место, откуда ты смог бы убежать, — сказал Али-баба, садясь рядом с Каипом, — это пристань, где стоит мой катер. Там нет никаких преград, море близко и глубоко. Заманчиво, правда?.. Но это всего лишь видимость. Метрах в пятидесяти от берега крадется незаметно течение. Вначале тебе покажется все приятным, течение само несет твою лодку, не надо напрягаться, работать веслами — благодать! Так продолжается долго, очень долго. И вот когда твоя бдительность окончательно усыплена и ты, может быть, даже сладко задремал, течение неожиданно подхватывает лодку, переворачивает ее раза два и — о ужас! — делает твоим гробом...

5

Каип продолжал плыть к Зеленому острову

Казалось старику, что теперь никакие случайности и нелепости не отклонят его лодку от курса. Был уверен, что, пойманный раз Али-бабой, не встретит его вторично.

Могут быть другие, естественные преграды, например течение, подводные камни или мели, но людей опасаться теперь нечего. Разве что Непеса: обеспокоенный долгим отсутствием старика, он может послать на поиски баржу. Но может и не послать. В суете, готовясь к путине, забудет.

Каип покинул островок Али-бабы в полдень, когда море было грязно-матовое, с черными от волн пятнами. Временами, когда ветер утихал, море устало замирало и напоминало студень, разрезанный на куски, — это шевелились мелкие течения. И по мере того как море мелело, таких течений становилось все больше

Каип не отдыхал теперь. Только иногда наклонялся, чтобы черпнуть за бортом воду и протереть лицо, кружилась голова. Очень хотелось есть.

Но кто мог знать, что путешествие продлится так долго? Каип взял бы с собой еды и питья.

Долго море было пустынно — даже чайки не летали. Оно навевало грусть и воспоминания — от них Каип, как и от самого себя, не мог никуда убежать.

"Случилось это году в четырнадцатом, во времена баев и хозяев. Тогда многие русские уплыли в Россию воевать. Увозили с собой и наших. Меня же оставили кормить мать. Сколько же мне было? Двадцать, а

Айше, значит, восемнадцать... Каримбаю сейчас было бы столько же, сколько и мне...

Когда сын господина заводчика приезжал из Акчи к нам на остров, я всегда боялся чего-то и от волнения становился дерзким и говорил глупости Айше. А однажды даже приказал матери спрятать ее в хижине Имел право убить ее, мою невесту. И за ее будущие страдания отдавал отцу Айши пол-лодки рыбы в месяц...

Каримбай приезжал к нам поохотиться и половить рыбу. И видно, не столько он сам, сколько двое дружков его, огромных и молчаливых юношей в дорогих одеждах, с кривыми бухарскими ножами за поясами, наводили на меня страх...

Каримбай, сын господина заводчика, был юношей добрым, с хорошими манерами. Он всегда привозил с собой полную лодку подарков, разных разностей, которых никто у нас на острове никогда не видел: водку — старикам, фрукты и конфеты — детям, бусы и мануфактуру — женщинам, все, что продавали тогда в лавке его отца в Акчи. Каримбай собирал народ на поляне и раздавал всем подарки.

И люди, удивляясь его доброте и щедрости, брали каждый свое и расходились...

Мне он однажды подарил часы и объяснил, как ими пользоваться. Часы эти сейчас покоятся на дне моря где-то между Зеленым и Песчаным...

Судя по всему, Каримбай не любил своего отца. И однажды сказал людям, что, когда отец умрет и он станет заводчиком, купит у русских крепкие быстроходные суда для нас и будет платить за рыбу в два раза больше — тогда все на Зеленом разбогатеют, не будет голодных и больных...

В тот свой последний приезд он подарил Айше длинные бухарские серьги. И мне показалось, что он как-то по-особому был внимателен к ней. И еще эти его дружки стали шептаться между собой, хихикать, потеряли спокойствие, засуетились...

Когда они ушли в глубь острова поохотиться, я позвал Айшу в заросли саксаула за родником. Не помню уже, что я тогда говорил ей и чего требовал. Может быть, чтобы она выбросила его серьги, не помню. Главное, мне надо было отругать ее, неважно за что. Как всегда, я очень нервничал...

Ссорились мы с ней часто, особенно с тех пор, как на остров стал приезжать сын заводчика, виной всему был мой беспокойный, вспыльчивый характер.

Айша всегда безропотно слушала мои жестокие, несправедливые упреки. Тихо плакала, уйдя куда-нибудь в заросли, подальше от людей...

В тот роковой день она с тоской и мольбой смотрела на меня, прося быть справедливым. Видно, душа ее была полна дурных предчувствий...

Натура ее была более тонкой, чем моя. Она предугадывала многое из того, к чему я был глух. Чувствовала приближение лунного затмения, несчастья, вся жила в природе, близко к богу...

Я наговорил Айше много обидного. И, оставив ее в густых зарослях, ушел на поляну и лег там на песок, ожидая, что Айша, как всегда, придет ко мне просить прощения...

День был душным. С моря выползали пары и стелились низко над песком. Вокруг меня прыгали лягушки, выгнанные парами из воды. Услышав их жалобные голоса, вылетел из зарослей и закружился надо мной коршун...

Солнце и пары расслабили меня, а лягушки усыпили, я задремал. Я не спал, но и не бодрствовал, и, как обычно в таком состоянии, меня стали посещать разные видения — чьи-то искаженные лица, хромающая лошадь вошла в воду и поплыла, тревожно подняв морду. Я вздрагивал, просыпался и снова погружался в дрему...

Пролежал я в таком состоянии не более часа. Забеспокоившись, поднялся и посмотрел вокруг — стояла та особая тишина, когда даже собственный страх становится звучащим...

Я попытался позвать Айшу, но губы и горло высохли во время сна, голос пропал, и вместо крика вышло бормотание...

Я пошел в заросли, к тому месту, где оставил Айшу. Мучила жажда. От легкого движения кружилась голова, одурманенная парами. Я ругал себя, что, поддавшись слабости, задремал на песке...

Меня окружали голые серые кусты саксаула. Кусты давно высохли и, окаменев, стали еще более крепкими, и ветер облетал их стороной. Я понял, что заблудился: шел уже долго, но никак не мог найти той маленькой поляны, где мы сидели с Айшой...

В том месте, где я оказался, кусты стояли так густо, что закрывали все в двух шагах. Сделал два шага, но дальше все опять закрыто наглухо. И тут я оказался лицом к лицу с Каримбаем и его дружками, вышедшими ко мне из зарослей...

Мы с Каримбаем растерялись. Зато у дружков его при виде меня лица замкнулись, ничего не выражая, и только в уголках глаз я прочел... Кажется, усмешку и презрение...

Я кивнул им и решил броситься в сторону. Но не успел сделать и движения, как Каримбай стал убегать, ломая кусты, словно был перед ним сам дьявол...

Я стоял пораженный. Дружки вместо того, чтобы пуститься за сыном хозяина, так же молча, усмехаясь, смотрели на меня... И я понял, что они задумывают что-то зловещее... Я бросился перед ними на колени, умолял и просил пощадить...

И тогда они пощадили меня. Оттащили в сторону, подняли на ноги и толкнули далеко в заросли. Я упал лицом в песок и тут же вскочил, чтобы бежать. Вокруг защитной стеной стоял саксаул — не было слышно ни криков, ни голосов. Я счастливо избежал побоев..."

...Каип, встревоженный, вынул весла из воды. Радуясь тому, что так удачно ушел от Али-бабы, он даже и не подумал, в ту ли сторону ведет свою лодку.

Казалось, можно плыть по течению и оно приведет лодку к Зеленому. Лодку чуть клонит в сторону, значит, плывет верно...

Теперь же, когда прошло много времени и Каип увидел на горизонте очертания незнакомого острова, понял, что заблудился.

Каип стал думать, как быть дальше: плыть ли к незнакомому острову или же поворачивать обратно. Вернувшись к Али-бабе, он попросит связать его с Песчаным. И пусть Ермолай приедет за ним. Сам Каип может окончательно выбиться из сил без еды и питья. Оттуда они вместе поплывут к Песчаному, а ночью Каип снова отправится в путь к родным берегам.

Нет, все это неразумно. Рыбнадзор Али-баба опять в чем-то его заподозрит. И неизвестно, сколько времени продержит у себя.

Будь что будет — Каип поплыл к острову. Чужим рыбакам нет до него дела. Чужие ни о чем не расспрашивают, ни в чем не подозревают. Каип узнает, куда ему плыть, чтобы попасть к Зеленому. И попросит поесть.

Не желая приставать к берегу, Каип остановил лодку в прибрежной воде, лег и стал наблюдать за островом и за людьми в лодках и на баржах.

Остров был белый и ровный, как кусок льдины. В отличие от Песчаного, тихого и малолюдного, здесь

была заметна жизнь — работали две-три машины, разгребая соль, а лодки и баржи отвозили ее куда-то.

Когда одна из лодок приблизилась, Каип спросил, не знает ли кто, в какой стороне Зеленый.

Люди в лодке заспорили: один показывал направо, другой налево, вспоминали, как везли туда соль и еще что-то, спорили долго и чуть не передрались между собой — так хотели помочь Каипу.

Слушая их, Каип понял, что никто из них никогда и не слышал о таком острове. Тогда, может быть, уважаемые покажут ему путь к Песчаному?

К Песчаному? Конечно же! И опять заспорили, показывая в разные стороны: один — в сторону Акчи, другой на север, в сторону казахских степей.

Спор кончился лишь после того, как каждый угостил Каипа куском хлеба и жареной рыбы, дали ему и кувшин воды. И еще предлагали старику остаться на острове переночевать. А завтра с новыми силами он сможет продолжить поиски.

Каип поблагодарил их и поплыл дальше.

Он впервые поел за это время — руки дрожали, когда отламывал хлеб, не жевал, а глотал пищу.

Только счастливый случай мог привести теперь его лодку к Зеленому или Песчаному.

Отплыв далеко, Каип оглянулся и вдруг вспомнил, что уже раз проезжал он мимо Соленого острова.

Было это очень давно, в детстве, когда отец незадолго до смерти решил объездить с сыном все острова, чтобы поглядеть на родину и проститься с ней.

Тогда в первое свое путешествие Каип не встречал на Соленом людей — теперь человек поселился и на Соленом, занявшись новым промыслом.

Море здесь жило полной жизнью — над лодкой Каипа молча кружились чайки. Видно, проследили путь рыбы и, чтобы скрыть свою тайну от человека, старались не тревожить его криками.

Вскоре Каип увидел еще один обжитой остров. На берегу, опустив ноги в воду, сидели два старика, судя по всему, странники. Они дремали после длинной дороги. Потом появился третий и стал вытаскивать из лодки на берег мешок. Он долго развязывал его, развязав, вынул сухую лепешку. Разделил ее на равные три куска и стал будить товарищей.

Проснувшись, те стали ворчать на третьего, махали руками, но потом успокоились и принялись есть лепешку.

Потом и эти трое скрылись из виду.

До вечера Каип успел проплыть мимо десятков островов, больших и малых. Многие из них были знакомы старику еще по первому путешествию, но попадались и голые, безлюдные, появившиеся на свет недавно

Это были крохотные островки, бывшие рифы и подводные скалы, поднятые на поверхность вместе с водорослями и рыбами; ветер не успел еще сдуть все это в море, и старику казалось, что, услышав шум весел, водоросли поднимаются, чтобы поглядеть на того, кто их потревожил.

Каип, как правило, объезжал эти острова, рассматривая берега со всех сторон, ему было интересно поглядеть на места, бывшие еще недавно морским дном· ведь дно — это кладбище лодок и людей.

На больших островах, заметил Каип, жизнь за полвека рыбацкой власти во многом изменилась. Там, где некогда ползли пески, появились новые поселки и заводы. У причалов стояли баржи и суда покрупнее, груженные солью, оловом, гранитом. И там, где больше не ждали чуда от моря, а занялись новыми промыслами, было видно оживление и чувствовался достаток.

Уже исчезли на островах у дельты реки те страшные болота, пары которых разносили в старину из селения в селение чуму. Болота были осушены и засеяны рисом.

Так плыл Каип от острова к острову, замечая всюду перемены.

А те, кто с берега наблюдал за одинокой лодкой и видел в ней худощавого старика с длинной бородой, в белой одежде, спорили и гадали. Одни утверждали, что это обыкновенный браконьер, и удивлялись его храбрости — ведь воровать рыбу днем так же рискованно, как, скажем, плыть в бушующем море.

Другие считали, что это один из тех, кто решил на свой страх и риск искать трех пропавших без вести рыбаков, ушедших на лов неделю назад.

Многие просто терялись в догадках, не зная, что и думать. И кричали вслед лодке Каипа.

Каип не слышал их. Он снова ушел в себя — искать не утешений, а истины.

"Я бежал, пробивая себе дорогу сквозь заросли. И только добравшись до дома, заметил, как опухли лицо и руки — мать вынула из моего тела множество колючек и шипов саксаула, когда клала на раны примочки...

Бежал я долго. Обессиленный, остановился на поляне и упал. Страх прошел. Теперь мог спокойно

подумать над тем, что увидел в зарослях. Я никак не понимал, что же случилось с Каримбаем и почему он вдруг испугался. И почему дружки его, верные телохранители, вели себя так странно. Может, хотели избить меня за то, что стал я невольным свидетелем слабости хозяина? Чтобы никому не проболтался...

Волнение мое было столь сильно, что я не подумал об Айше, которую оставил здесь, в зарослях. Я был занят собственными горестями...

Сидел я так до тех пор, пока не услышал рядом чей-то слабый стон. Да, кто-то стонал. Это был стон человека... Я не мог подняться на ноги, стал ползти то в одну, то в другую сторону. Просовывал голову в заросли, смотрел, потом отползал назад. Там, где в зарослях было темно, щупал кусты руками, схватил нечаянно черепаху, закричал и с омерзением отшвырнул ее, хотя никогда раньше не боялся черепах..

Недалеко что-то треснуло. Я пополз туда и в ужасе отпрянул — в кустах лежала и стонала женщина в разорванной одежде...

Я не сразу узнал Айшу. Уговаривал себя, что это не она. Нет нет, это дурной сон. Я звал ее, другую, мою Айшу. Кричал, но в ответ слышал лишь стон той, которая лежала в кустах...

Вдруг все кончилось. Все звуки, утих ветер. Кругом была какая-то душная пустота. Все стало мне безразличным. Что-то отпустило меня, ушло, и я безропотно прощался с тем, что держало мою душу полной и горячей. Почувствовал себя страшно опустошенным...

Айша смотрела на меня, но во взгляде ее не было ни страха, ни мольбы, ни прежней преданности. Была одна лишь усталость...

Я просидел возле нее до утра...''

Ночью на горизонте вспыхнуло множество огней, и Каип понял, что лодку его принесло к городу. Судя по рисунку огней, была это столица рыбаков — Акчи.

6

Издали поглядев на порт, Каип решил поворачивать обратно. Находиться здесь было небезопасно — могли заметить. Но и уйти теперь отсюда трудно. Мимо лодки то и дело проносились сейнеры и баржи, гудели, предостерегая старика, звонили, направляя ему в глаза фонари.

А один раз на лодку Каипа чуть не наскочил

небольшой пассажирский пароход. Потом появился и сторожевой катер. И оттуда кричали что-то в рупор Каипу.

Старик греб то в одну, то в другую сторону, но отовсюду его гнали, — всем он мешал.

Каип уже совсем отчаялся, проклиная себя за неповоротливость. Но, благо, его заметили с баржи из Песчаного, узнали.

— Дядя Каип! — прозвучало как спасение.

Каип оглянулся и среди множества судов нашел баржу, с которой махал ему Прошка.

Каип подогнал лодку к его барже. Прошка спустился к старику, чтобы помочь привязать на буксир лодку. Всегда спокойный и уравновешенный, как отец, Прошка сейчас безмерно суетился, не сводя со старика преданных глаз.

— Обычно ведь отец приезжает сюда за солью, — заговорил он тоном совсем взрослого человека. — Но вчера его отстранили, когда узнали, что в ту ночь он дежурил возле лодок. Послали отца искать вас. Был большой скандал из-за лодки. — Прошка деловито осмотрел лодку со всех сторон и, убедившись, что осталась она в целости-сохранности, стал рассказывать дальше: — Сегодня вечером я должен был плыть назад. Но потом вдруг подумал, что, если вы потерялись в море, вас обязательно прибьет к порту. Вот и остался. Здесь столько лодок возле порта, голова кругом идет. Днем ждут путину, а ночью спят в море. Вы не знаете, дядя Каип, началось или нет? Боюсь, как бы мы с отцом не прозевали...

Прошка помог старику взобраться на баржу...

И сказал тоном, каким говорил обычно Ермолай:

— Ну с богом! Хорошо, что лодка осталась целой. Все, что ни делается, к лучшему!

Старая баржа загудела из последних сил и отплыла, ведя за собой лодку Каипа.

Прошка то и дело высовывался за борт и кричал, стараясь развеселить Каипа:

— Ты что, рыбий глаз проглотил, как пьяный? Да, да, это я тебе говорю, приятель! Не лезь, самоубийца, под баржу! Побойся бога!

Каип блаженно сидел в углу, слушал Прошку.

Потом старик погрустнел, вспомнив о том, что солгал Ермолаю. Плывет сейчас друг где-то в море, освещая фонарем все, что чудится ему пропавшей лодкой, бревна, гнилые ящики, переговаривается со всеми, кто попадается на пути, спрашивая, не встречали ли

они ошалелого, дурного, глупого старика, не умеющего ни лгать, ни воровать по-человечески, страдающего самого и заставляющего страдать других: сказал, к утру вернусь, и вот уже вторые сутки носит его где-то дьявол.

На Песчаном сыр-бор. Все только и говорят о случившемся. Те, кто сам воровал рыбу, удивляются теперь и осуждают Каипа: как это он посмел? Выбрал время — всех лихорадит из-за путины, каждая лодка на учете и каждый человек на виду.

Эх-хе-хе, благородный, мудрый Каип, муху никогда не обидевший, лучший рыбак Песчаного, — вот он, полюбуйтесь, ворованной рыбки захотелось. Значит, святые и благородные — они всегда внутри гнилые...

Да, непременно скажут так на Песчаном. Лгал он, конечно, по мелочам, как солгал вчера Ермолаю, без этого не обойтись, живя среди людей. Но мелочей не замечали, прощали, а тут крупное вылезло наружу, скандальное....

Прошка давно умолк — значит, баржа вышла из залива в море, в безлюдные воды.

Каип решил поспать. И перед тем как лечь, спросил Прошку: долго ли им плыть до Песчаного?

— К утру как раз и будем, — ответил Прошка. — Вы спите, а я буду смотреть в оба. Может, отца тоже подберем. Он, верно, уже из сил выбивается.

— Он уже на острове, — сказал Каип, чтобы успокоить Прошку.

— Нет, — возразил Прошка. — Сказал — не вернусь, пока не найду Каипа. Вы же знаете, отец страшно упрямый... Но только я оказался упрямее — первым нашел вас...

— Хорошо... — похвалил его Каип и, постелив мешковину, лег.

И как только закрыл глаза, зазвенело и загудело в ушах, запрыгали волны перед глазами, зарябила вода и поплыли белые острова... острова... Чьи-то лица смотрели на него, улыбались, корчили рожи, подмигивали многозначительно, будто собирались сообщить важное для Каипа, — словом, пришло все то, что видел старик вчера и сегодня в море.

Такого с ним никогда не случалось раньше — глаза были привычны к морю, оно уже давно не снилось.

Картина исчезла, когда Каип открыл глаза, хотя звон, намного ослабленный, еще продолжался в ушах.

Это была не просто бессонница, это было беспокой-

ство, кошмар, навеянный воспоминаниями об Айше. И Каип подумал, что уже сегодня ночью умрет

Старик встал и, покачиваясь, взобрался к Прошке в будку — нужно сейчас чтобы какое-то живое существо было рядом.

Каип увидел, как лучи прожектора с трудом пробивались сквозь туман — море и ночью не переставало испаряться.

Но баржа шла легко, и Прошка не боялся на что-либо наскочить. Поэтому не звонил он в колокол и никого не тревожил...

Зато другие, невидимые суда звонили вовсю, сигналя, и звуки эти казались Каипу звоном привратников у порога ада.

Но сейчас старику, как никогда, хотелось жить. Ему нужны еще, по крайней мере, одни сутки. Всего одни сутки, вот эта ночь и завтрашний день.

— Долго ли человек может продержаться в море без воды? — спросил Прошка, тревожась об отце.

— Можно выпить рыбий сок, — ответил Каип.

— А от усталости?

— Каким бы человек ни был усталым, течение прибьет его лодку к берегу.

— А рифы? А подводные скалы? — не унимался Прошка.

— Рифы страшны только большим судам. Не лодкам.

— Выходит, человек не может умереть в море... Тогда как же?

— Человек умрет, если он сам себе враг, — уклончиво ответил Каип.

— Отец никогда не был себе врагом, — заключил Прошка. И, подумав, спросил: — Неужто вы не устали, дядя Каип? Спите. Завтра может начаться путина — будет всем не до сна. А если и не начнется, все равно найдется работа. Соль заставят крошить. Сядем на берегу и будем крутить маленькие жернова. Ну те, что для рыбьей муки... Подойдут, дядя Каип?

Каип кивнул — мол, подойдут и те, что для рыбьей муки.

— Отцу бы, конечно, дали в Акчи размельченную соль. Его там знают на складе. А меня вот провели за нос. Ну ничего...

— Послушай, Прошка, — перебил его Каип. — Ты должен хорошо знать остров Зеленый...

— Конечно, знаю! — удивился Прошка. — И не раз подплывал к нему. Знаете, там лодки гибнут...

— Есть туда прямая дорога?

— Нет, только через Песчаный. Другого пути не знаю.

— Подумай хорошенько, Прошка.

Прошка помолчал и сказал:

— Подумал, дядя Каип... Можно было бы попробовать отсюда к Зеленому, а потом домой. Но, боюсь, к утру не успеем. Скажут, отец скрылся, а теперь и сын — вся семья ненадежная.

А что, если действительно попытаться? Каип сам поведет баржу, обойдет рифы и скалы. Правда, все в море будто сговорились. Никто толком не объяснит, не покажет дорогу на Зеленый, словно догадываются, зачем добирается туда старик — не хотят из добрых чувств, чтобы Каип покидал мир рыбаков и охотников, простых людей. Простые люди не в тягость друг другу...

Знал Каип: если вернется сейчас на Песчаный, навряд ли сможет потом уехать до самой путины. Непес прикажет сторожам под страхом смерти не давать старику лодку. Посадят Каипа толочь соль, заставят таскать мешки и вязать сети — и будет он все это добросовестно выполнять, пока однажды не упадет, поскользнувшись...

Скорее на Зеленый, любыми путями, не боясь ничего и не останавливаясь ни перед чем!

Как быть с Прошкой? Если он к утру не приведет баржу с солью в Песчаный, Ермолаю будет худо. В обычные дни можно еще как-то выкрутиться, сказать, что заблудился. Но сейчас, когда такая везде горячка, когда нужна соль для сушки рыбы, — никаких оправданий! Скажут, как правильно заметил Прошка, вся семья ненадежная.

Нет, старик не имеет права доставлять хлопоты живущим. Ермолаю уже и так досталось из-за него.

Прошка чуть не валится с ног от усталости. Надо заменить мальчишку.

Каип стал за руль, а Прошка лег на мешковину, попросив старика глядеть в оба, может, вдруг появится лодка отца.

Каип слышал, как Прошка долго ворочался, вздыхал и не мог уснуть, все беспокоясь об отце.

Он уснул, но поспал немного и проснулся, застонав от дурного сна. Поглядел с тревогой на море и опять пошел и лег. Каипа же все будоражили воспоминания, все не давали ему покоя. Старик устал и теперь боялся вспоминать. Пытался отвлечься, думать о чем-то

другом, ну, скажем, об острове рыбнадзора, где когда-то баи-перекупщики издевались над ним, требуя, чтобы уважаемый Каип уговорил рыбаков Песчаного топить лодки и рвать сети, не отдавая их в артель. О чем бы старик ни вспоминал из своей долгой жизни: об этих баях-перекупщиках, о раненном ли на войне сыне, которого вез на лодке из Акчи и тоже заблудился, о грустном ли времени, когда его, бригадира, таскали в суд — разворовали на Песчаном рыбу, а кто, так и не выяснили, вот и вызывали Каипа, чтобы привлечь к ответу, — как бы ни задумывался над прожитым, везде он был прав перед самим собой, сколько бы ни пытались доказать его неправоту другие. Кроме истории с Айшой, тогда, в юности, во всем остальном старик был честен и справедлив и никому не причинял страданий...

Наоборот, всегда получалось так, что он страдал за справедливость, и только мудрость помешала ему стать злым и наделать новых ошибок, за которые пришлось бы потом держать перед собой ответ.

"Я тогда не мог больше жить на острове, решил уехать. И не потому, что начались разговоры, осуждения или насмешки — тогда еще никто не знал о случившемся... Стали узнавать позже, через много дней... — вспоминал старик.

Решил, что все мы — и Каримбай, и Айша, и я — виноваты в том, что произошло в зарослях... Разве не был прав я в своих опасениях? Ведь предупреждал Айшу, даже запирал ее дома. Но, видно, она дала Каримбаю какой-то повод — и вот случилось это несчастье...

Вечером я пришел на поляну, где сидели люди, и сказал, что уезжаю на заработки. Айша должна будет ждать моего возвращения и выйти замуж лишь в том случае, если выловят в море мой труп. И когда все убедятся, что я мертв, Айша могла быть свободной...

Утром, когда я еще спал, набираясь сил для дальней дороги, Айша побежала по острову, крича старухам, сидящим молча на валунах: "Уходит моя отрада, мой жених..." Так было принято у нас провожать женихов: я и Айша должны исполнить прощальный обряд...

Старуха поймала Айшу за руку и угрожающе шепнула ей: "Говори — изверг! Теперь он изверг!"

Не могла Айша вынести такого, вскрикнула, закрыла лицо длинным рукавом. А старухи внушали ей,

толкая ко мне в дом: "Не с тобой одной так, не с тобой одной..."

Айше было страшно — холодные глаза старух горели отчаянным блеском мести. Несколько старух вбежали в дом и стали будить меня, бить по спине Я стонал. Били по лицу черными сухими руками. Потом били ногами, такими же черными и высохшими, отчаянные старухи, возраст которых трудно определить. Казалось, родились они такими и вовсе не изменились с тех пор, оставаясь уродливыми и старыми..

Мстили они мне за юность, ибо только мужчины на острове имели возраст. А когда устали бить, повели во двор. Я не имел права сопротивляться. Я уходил с острова, а по обычаю мужчина, который уходил, бросив невесту и дом, должен быть избит чужими женщинами и своей невестой...

Я лег на песок, чтобы передохнуть. Одни лишь овцы были участливы — подходили и обнюхивали меня со всех сторон. Вышла Айша, посмотрела на меня. "Пора поднимать его", — сказала старухам. И в тоне ее уже не слышалось сострадания. Лицо искривилось, в ней самой пробудилась месть, стоило Айше посмотреть, как старухи бьют меня...

Пока женщины снимали шестами сухие туши баранов, висящие на стене дома, Айша быстро приготовила мне оживляющий напиток из бараньего жира, смешанного с корой саксаула и приправленного солончаковой травой. И вдруг опять закричала, когда я внимательно посмотрел на нее: страх и сострадание вновь вернулись к Айше. Но как только старухи осуждающе взглянули на нее, она тут же бросилась на меня, села мне на грудь и выкрикнула проклятие..

Недалеко на поляне сидели старики. Песок был мягкий, первородный, принесенный сюда за ночь из дальних мест острова. Песок этот нагонял лень, приятное искушение и тоску. "Тепло и хорошо здесь", — услышал я чей-то голос. "Да ведь это чьи-то тела. То тепло, которое было в людях, оно не уходит даром", — согласились с ним. "Смерть очищает все, — слышал я голос. — Каким бы человек ни был грязным при жизни, песок его всегда чистый. Странно..."

Кто-то показал в мою сторону: "Вот и отец его гнусный был. А прошлой зимой в пустыне я нашел его останки. Решил перенести в пещеру, чтобы похоронить, поднял, но останки рассыпались. И удивился я тому, что и его песок белый..."

Черные были старики, морщинистые и угрюмые.

Смотрели друг на друга исподлобья узкими, скрытыми глазами. Они пропустили меня на середину круга. И я стоял, опустив голову...

Старухи принесли в глиняных подносах мясо. Сели со стариками, а Айша пошла с подносом по кругу. Ели молча и жадно. И бросали кости к моим ногам...

Когда поедят и скажут заповедь "Мир страннику", я соберу кости в мешок, погружу в лодку и повезу с собой. И должен буду возить их до тех пор, пока не вернусь обратно домой, — это чтобы не забывал свой род, а забуду, съедят мой труп рыбы в море...

Поели все и стали поглядывать на меня. Я же ходил полусогнутый и собирал кости в мешок. Только изредка смотрел на Айшу, довольный своим возмездием. Стояла она еле живая, как будто догадывалась о злом моем умысле...

Айша помогла мне взвалить мешок на спину — мешок тяжелый, съедены четыре овцы, — и старухи погнали меня из поселка. С трудом взобрался на бархан, много раз падал и, выбиваясь из сил, пришел к кладбищу. Смерть — случайность, вот и выбрали люди самое заброшенное место для кладбища, не заботясь ни о красоте, ни о вечности останков...

Я с мешком за плечами, Айша и старухи следом ходили и искали могилу праотца-родоначальника. Все холмики одинаковые, и, хотя никто не был уверен, что холмик этот действительно принадлежит праотцу, старуха сказала: "Вот здесь!" И все мы опустились на колени...

Старуха плеснула на холмик кувшин воды, и все стали перебирать песок, размешивая с водой. "Повторяй! — приказала мне старуха. — Я оставляю очаг, где родился..." Я закрыл глаза и как можно жалобнее стал повторять. Старушечьи руки потянулись к моему лицу, мазали мне лоб, щеки и губы глиной. "...Если забуду родину, то умру, съеденный рыбами..."

Айша, делавшая все, как полагается по ритуалу, вдруг застонала, услышав эти слова...

"Если убью я человека, пусть выколет мне глаза слепой буран", — повторял я за старухой. Айша зарыдала и принялась бить меня по спине. "Прости!" — кричала она. Старухи бросились оттаскивать ее от меня, но Айша цеплялась за мои ноги, все прося прощения. Я поднялся и быстро побежал прочь с кладбища. И бежал так до самого берега, где стояла моя

лодка. Греб потом и греб без передышки, уплывая все дальше и дальше от острова, где навсегда оставлял Айшу искупать свой грех страданиями и одиночеством...”

7

Прошка спал очень беспокойно. Он часто стонал, переворачивался то на живот, то на спину, сжимался в комок, потом, видно, у него затекали руки, и он разбрасывал их, устраиваясь поудобнее. Прошка всегда плохо спал в море, лунный свет будоражил его, навевая тревожные сны.

Снился Прошке Зеленый. Как лодки в прилив не могут никак пристать к берегу. И как поднимаются они потом к луне по белой лунной дороге, плывут, плывут наверх и растворяются в тумане...

Каип по-прежнему бодрствовал у штурвала. К старику вернулось душевное равновесие.

Долго баржа плыла в полумраке, а теперь вышла на лунную дорогу.

Дорога эта, местами белая, местами матовая, местами серая с зелеными пятнами, начиналась у далеких берегов, шла через все море к Песчаному, освещала лица спящих возле лодок у причала, затем снова сползала в море и белым мостом перебрасывалась на остров Зеленый, уходя потом и оттуда через тысячи островов на другой берег, в степь и в города, связывая всех живущих на земле вечным братством...

Теперь и Каип плыл по этой дороге.

Вначале неуверенные, руки его вскоре привыкли к штурвалу. Старик был спокоен, зная, что к утру придет баржа к Песчаному и Прошка сможет встретиться с родными.

А как он сам, Каип? Что он будет делать потом, вернувшись на Песчаный? Где возьмет лодку, чтобы снова плыть к Зеленому?

А может, предки слишком рано позвали его? Может, он еще не прожил сполна дни, которые отпущены ему?

Да, похоже на то, что чем больше на пути Каипа препятствий, тем больше он мужает и крепнет, чтобы преодолеть их.

Прошка уже выбился из сил, а он, старик, может работать без устали до самого утра — борясь с жизнью, смерть пока что отступает... Желание стоять на ногах и не падать еще сильно в старике, но ведь все это не вечно.

Значит, надо продолжать. Пока есть воля, не растрачивая ее, плыть к берегам Зеленого. Завтра же. Если не удастся достать лодку, попытаться самому, вплавь.

Ладно, сейчас надо меньше думать об этом. Сейчас Каип должен привести баржу на Песчаный. Путина может начаться в любой час. И если не успеют перемолоть соль, неприятности ждут всех. Не станут разбирать, кто прав, кто виноват, позеленевшую, вздутую от жары рыбу закопают в песок, и только голодные собаки будут бродить по поселку, волоча за собой рыбьи кишки.

Каип вздохнул и вновь предался воспоминаниям невеселым и неторопливым.

"Я поселился совсем рядом, на Песчаном. И чтобы не быть здесь чужаком, пришлось жениться на девушке, которую привели мне старики. Для всех я был веселым, беспечным парнем. Много и беспричинно смеялся, распевая песни в море, боролся на песке со своими сверстниками, частенько дрался в кулачном бою.

В Акчи на ярмарке купил себе большую лисью шапку и желтые сапоги и прогуливался в них по берегу, обмениваясь шутками с нашими островными красавицами. Люди не зло смеялись над моими выходками: повзрослеет — образумится, станет, как и все, умножать свой род, будет хорошим рыбаком и работником...

С тех пор ни разу не пришлось мне съездить на Зеленый. Семья, заботы, сын родился... И время началось очень сложное, бурное, надо было разбираться не только в себе, но и в окружающих...

Исчезали с острова всякие ростовщики-благодетели, перекупщики, а с ними и обман, бедность — острова побратались, труд сблизил людей, и те, кто раньше чуждался друг друга, объединились в одну большую рыбацкую артель...

Ермолай уговорил меня переплыть с ним море, чтобы отомстить насильникам — Каримбаю и его дружкам. Сам бы я никогда не решился на такой шаг, ибо знал по горькому опыту, что месть — это не самое лучшее, чем можно ответить на зло. Знал я теперь и другое: каждый человек сам рано или поздно, размышляя, приходит к очищению. А если не успеет в этом мире, очистит его другой, новый мир, к которому он уйдет...

Когда мы приплыли в Акчи, оказалось, что отец Каримбая, заводчик, убит теми, кого он притеснял,

а сам Каримбай сослан на безлюдный остров. Пришло и для него время поразмышлять!..”

Лунная дорога постепенно растворилась, опускаясь на дно моря, рассветало.

Теперь оставалось миновать еще один островок, а оттуда до Песчаного рукой подать.

Островок этот, сонный и прохладный, неожиданно появился слева. И Каип вдруг подумал, что нужно сойти здесь, чтобы раздобыть лодку у родственника.

— Прошка, — позвал он.

Прошка, уже одолевший крепкий сон и теперь лишь дремавший, быстро поднялся.

— О, уже Серный, — сказал он с некоторым смущением, ругая себя за то, что проспал весь путь и не сменил старика, И, видя, что баржа чуть отклонилась от курса и плывет к Серному, спросил с недоумением

— Вы решили набрать воды, дядя Каип?

— Нет, я останусь здесь... Вот уже и Песчаный виден.

Остров на горизонте был действительно Песчаный.

— Лодку сдай отцу. Скажи, что я... — Каип хотел добавить, что сожалеет о случившемся, но решил, что Ермолай так и поймет.

— Значит, уходите? — переспросил Прошка, огорчившись.

А зачем Каип уходит, так и не решился спросить — посчитал неприличным.

8

Родственник, о котором вспомнил Каип, был председатель артели Аралов.

Домик председателя ничем не выделялся среди рыбацких построек — наполовину осел и ушел в песок, худые стены выветрились, а крыша из водорослей давно сгнила и торчала комьями, будто ворошили ее вилами.

В свободные дни хотели рыбаки починить председателю дом, перестелить крышу и уже выловили в море водоросли, но Аралов все отмахивался: как-нибудь потом, после путины...

В Серном знали, что Аралов давно уже помышляет бросить все и уйти на покой, знали и боялись этого. Посоветовать ему что-либо стеснялись, но тихо и негласно делали так, чтобы не давать ему повода для ухода.

Родом же Аралов был с Песчаного, но редко бывал

там, посылал заместителя. Там, на Песчаном, было к нему другое, недоброе отношение.

Обычно, когда Аралов появлялся на островах, рыбаки — впереди начальники пониже Аралова рангом, бригадиры, рыбнадзоры, передовики, а сзади все остальные — сопровождали председателя, показывая ему поселок и свои достижения, лодки и сети. На Песчаном же все до единого продолжали сидеть на берегу, разговаривая на отвлеченные темы, и Аралов в одиночестве бродил по острову, осматривая хозяйство, прыгал через саксауловые ограды, отбивался от голодных псов и, все осмотрев, подсчитав, молча садился на катер и отплывал.

Землякам на Песчаном было как-то неловко от мысли, что Аралов — сам рыбак, отец и дед его рыбаки, Аралов, которого они женили, научили плавать в море и отличать леща от осетрины, этот самый Аралов — не рогатый, не семи пядей во лбу — поставлен над ними начальствовать.

И вообще, рассуждали на Песчаном, нужен ли им Аралов? Рыбаки сами когда надо натягивают сети, гонятся за косяком и ловят рыбы столько, сколько дает им море, ни на рыбешку больше или меньше, ведь как же иначе, это их дело, а кто увильнет от дела, тому самому худо будет, не Аралову. Голодать председатель не станет.

Конечно же, будь председателем другой, не Аралов, и на Песчаном ходили бы за ним по пятам, заглядывая в лицо, не улыбнется ли начальство, чтобы и им улыбнуться, и не захохочет ли оно над собственной шуткой, чтобы и они тут же захохотали.

Ведь помнят же все Сапарова, бывшего председателя. Тот не терпел ни на чьем лице ухмылочки, топал ногой, гордец, и тут же уползал к себе в хижину.

...Аралов был председателем множества островов, крупных и мелких, безымянных. И чтобы даже бегло осмотреть все хозяйство, требовалась целая неделя.

И месяца не проходило, а летчики уже снова сообщали ему — на территории артели вылез из воды новый островок, бывший риф или подводная скала.

Надо было отправиться туда, объездить островок, измерить его, проследить, куда ушло теперь течение и какова глубина моря возле берегов, подумать о будущем устройстве суши.

Соответственно менялись теперь и рыбьи маршруты, направление косяков — надо было сидеть и все это подсчитывать, меняя планы годовых уловов.

...Каип, так и не уснувший в доме председателя, сидел на крыльце и смотрел, как шел в темноте, спотыкаясь, усталый Аралов.

— Ты кто, старик? — спросил Аралов у незнакомца, сидевшего мирно у его дома.

— Каип я. Двоюродный брат твоей матери.

— Заходи в дом!

Боясь, как бы Аралов не завалился спать на все утро и весь день, Каип заволновался.

— Мне нужна лодка, аксакал, — сказал он просто, чтобы не вызвать подозрений.

— Что? — помрачнел Аралов. И захохотал, крича в дом: — Слышала, жена, нашему родственнику понадобилась лодка!

— А ты дай ему, — сказала жена, выйдя из дома, полусонная, ворчливая.

— Сговорились! Родственнику не дам ни лодки, ни рыбы! — Аралов ввалился в дом и, бросившись на кровать, посопел, поворочался с боку на бок и уснул.

— Отоспится — подобреет, — сказала жена и, оставив Каипа у крыльца, ушла досыпать.

Каип зашагал вдоль берега, осматривая остров и поселок. Уже рассветало. Зашевелился пар, спрятавшийся ночью на крышах, зашевелился, поднялся густым туманом и пополз обратно в море. Облизал все дома, весь остров, унося запахи гнилой рыбы, словно был это теплый дождь.

Каип весь дрожал с ног до головы, борода растрепалась.

Слышал он, как море, приняв пары, устало вздохнуло, зарябило волнами и снова притаилось, готовясь к работе нового дня, день же ожидался на редкость трудный и напряженный.

Все вокруг на мгновение затихло, потом застучали двери и окна, зажурчала вода в котлах и повалил дым из печей — проснулись и рыбаки. Принялись латать сети, смазывать лодки и толкать их в воду. Лодки запрыгали, заволновались, все: и люди, и лодки — соскучились по путине.

Чуть позже проснулись и птицы — зашуршали в песке, забегали в кустах коршуны, серые фазаны и песчаные чайки...

С тех пор как рыба ушла с поверхности моря в глубины, птицам стало трудно прокормить себя, вот они и поселились на островах, сделавшись прихлебателями рыбаков. И просыпались они теперь позже лю-

дей, чтобы подобрать после утреннего лова все мелкое и несъедобное.

Когда птицы поугомонились, послышался над островом рокот самолета, выслеживающего косяк.

Рыбаки, прикрыв глаза от солнца, искали в небе разведчика: чувствовали они безошибочной рыбацкой интуицией, что нынче обязательно должен начаться большой лов.

Сделав два круга над головами людей, самолет приветливо помахал крыльями и полетел низко, словно пил воду из моря.

Вот вышел к рыбакам и бригадир. Собрав людей, он стал что-то объяснять, хмуро поглядывая на каждого, чтобы слова его принимались всерьез, как приказ.

Рыбаки закивали в ответ, затем разошлись — побежали мимо Каипа, неся весла, кувшины с водой, торопились к лодкам, снимая с подвесок сети.

А бригадир пошел по поселку, стуча в двери и окна, прося о чем-то, объясняя и угрожая.

Кажется, начинается, подумал Каип, заторопился к дому Аралова и застал председателя за рацией.

— Не пугайте меня, ради бога! — кричал высшему начальству Аралов. — Конечно, самое трудное достается нам! Нет, я не говорю, что вы бездельничаете, боже упаси... Проверьте лично, пожалуйста! Море? Как будто спокойно. Приезжайте!

Аралов минуту сидел спиной к Каипу, обдумывая, видимо, план действия, затем встал и сказал старику:

— Кажется, сегодня выступаем...

— А как же я, аксакал? — засуетился Каип. — Заклинаю тебя перед прахом двоюродной сестры твоей матери...

— А куда тебе?

— На Зеленый. За полдня управлюсь. Давай самую захудалую, не обижусь.

— На Зеленый? Постой, зачем тебе лодка? Через час пойдет туда баржа из Акчи, она и заберет тебя. Договорились? Ступай на причал и жди.

— С баржой это ты умно придумал, — удивился Каип тому, как скоро решилось его дело, и поплелся к причалу.

И действительно, вскоре в прибрежных водах появилась баржа с санитарным крестом, закричали в рупор:

— Эй, кому в больницу?

Каип, задремавший было, несмотря на шум и суету,

быстро очнулся и побежал через камыши к барже, боясь, как бы матрос, не дай бог, не передумал и не уплыл без него. Матрос же, наоборот, оказался парнем учтивым. Он помог Каипу взобраться на баржу и даже постелил на отсыревшие ящики мешок, чтобы старик не простудился.

И баржа отчалила, взяв курс на Зеленый.

Каип поудобнее устроился на ящиках, сказав самому себе: "Ну, с богом, старик", — и решил ни о чем не думать, постараться задремать, а там видно будет.

Хотя и не спал Каип две ночи, но чувствовал себя сносно.

Вдруг он поежился: кто-то смотрел на него пристально, значит, был он не один здесь, на барже.

Смутное беспокойство охватило Каипа, когда увидел он, что в самом конце баржи сидит и не сводит с него глаз молодая женщина.

Каип, уставший за эти дни от множества людей, хотел сейчас в одиночестве опять приблизиться к своему внутреннему богу, с которым не успел еще обо всем договориться.

И еще этот молодой матрос все время выглядывает из своей будки, делает какие-то непонятные знаки, неизвестно, ему ли, Каипу, или женщине, чмокая при этом. И, видимо, задумав что-то важное, оставляет штурвал и баржу на произвол судьбы, выбегает, пробирается мимо ящиков, беспокоит Каипа и стоит, и смотрит на море, не зная, как заговорить со столь необычной для здешних мест женщиной — высокой блондинкой с холодным нерусским лицом.

Суету развел матрос, опечалился Каип.

А тут еще и сама женщина — была она литовкой, практиканткой — начала о чем-то спрашивать Каипа на непонятном языке из ломаных русских и литовских слов.

Не может ли папаша рассказать ей кое о чем, ведь она впервые в этом море, очень непохожем на море ее родины, она не успела ни о чем узнать в Акчи, все там торопились, говоря о путине, посадили ее на баржу, сказав, что на месте, в больнице, познакомится с местным бытом и здешними людьми; и как она рада, что оказалась попутчицей папаши, который внушает ей уважение своим мудрым видом и спокойствием; сколько папаше лет, и чем он болен, и какие рыбы водятся в здешнем море; слышала она, что водятся и ядовитые, правда ли это; и как сейчас в

смысле многоженства, искоренен ли полностью этот порок; и какой здесь процент русских; и давно ли они поселились в этих краях; и вообще, как она, литовка, должна вести себя, чтобы не оскорбить национального чувства островитян; может быть, папаша слышал о некоем Балдонисе, геологе, который уже много лет работает на островах? Она умоляет папашу помочь ей, ибо она растерянна от незнания многих вещей.

Женщина говорила и говорила, смотря прямо в глаза Каипу. Речь ее, непонятная, была, однако, приятна для слуха — говорила она вежливо, учтиво, словно пела песню своего далекого моря.

Каип смотрел на нее, смущаясь, — из всего сказанного литовкой понял, что она просит о чем-то, находясь в трудном положении.

Матрос тоже слушал литовку, сильно озадаченный И метался взад-вперед, готовый помочь ей.

— Бедная, ее мучает жажда, — сказал матрос так, будто речь шла о птице. И принес литовке воду в кувшине.

Она выпила только глоток, поблагодарила. И, догадавшись, что на барже никто ее не понимает, погрустнела.

Матрос взял кувшин и пошел к себе; женщина эта стала для него еще более загадочной.

Все молчали. Только гудела баржа и плескалась вода за бортом. У Каипа было тяжело на душе. Впервые он не смог помочь человеку, который просил его о чем-то, видимо, важном.

Литовка снова замкнулась, занятая собственными мыслями.

Матрос больше не оборачивался. Море в этом месте закапризничало, и баржу стало относить в сторону Понял матрос, что в море шла большая внутренняя работа, такая, как бывает нередко перед затмением солнца.

Потом матрос услышал гул. Далеко кричали и волновались люди.

Так могли кричать только собранные вместе тысячи людей.

— Не путина ли началась? — заволновался матрос обозревая горизонт в бинокль.

И там, впереди, куда шла его баржа, увидел множество лодок, катеров, траулеров и всяких других морских судов.

Вся эта плавучая сила пыталась выстроиться в один длинный ряд, чтобы запрудить море, но, собираясь

вместе, лодки тут же разбегались, словно их что-то пугало.

— Путина! — закричал матрос своим пассажирам.— Рыба пошла! Улю-лю-лю! О-ле-ле! — и пожалел. Словно криком навлек беду.

Откуда-то сбоку появился весь в пене загнанный катер, и матрос получил приказ замедлить ход.

Баржа покачнулась вправо-влево и остановилась.

— Куда плывешь? — спросили с катера.

Матрос побледнел, узнав рыбнадзора Али-бабу, и, хоть по роду службы не подчинялся ему, испугался.

— В больницу, товарищ инспектор. Везу лекарства, женщину-доктора и старика.

Каип весь сжался от тоски, умоляя бога избавить его от придирок Али-бабы.

Катер, ударив боком баржу, прижался к своему тихому собрату. Али-баба поднялся во весь рост, желая как следует отругать нарушителя, но, увидев молодую литовку, чуть смягчился.

— Ты что, приказа не слышал? — пожурил он матроса, виновато стоящего у борта.

— Мы вышли рано, товарищ Али-баба... И доктор торопилась. — Матрос с мольбой посмотрел на литовку, прося ее заступиться.

Но, увы, она ничего не понимала. Наоборот, ей казалось, что встретились в море два приятеля и, как принято между матросами, остановились, чтобы обменяться приветствиями.

— Что это за женщина? — спросил Али-баба.

— Везу на работу. Приезжая. Ни слова не знает по-нашему. И мы ее не смогли понять со стариком, — охотно объяснил матрос.

— Виноват, — обратился к литовке на плохом русском языке Али-баба. Был он приветлив и показался женщине симпатичным. Он, Али-баба, который находится на службе, охраняя закон и порядок, просит прощения у гостьи и надеется через несколько дней, когда закончится путина, лично доставить ее на своем катере в больницу. Сейчас же он вынужден отправить баржу обратно в Акчи, ибо море на их пути закрыто сетями и лодками — всякое постороннее судно обязано не мешать путине.

Литовка многое поняла, растерялась. И когда стала торопливо отвечать Али-бабе, тот только удивленно смотрел на нее. Она была бы не против, если бы инспектор отвез ее на катере в больницу... Возможно, он ей

многое объяснит... Кстати, не знает ли инспектор, где сейчас находится ее земляк Балдонис?

Али-баба помрачнел — надо было отплывать дальше, помахал литовке, мол, все будет в порядке, не волнуйтесь, и приказал матросу:

— Отчаливай!

— Есть! — обрадовался матрос, все для него относительно мирно окончилось.

— А старика оставишь со мной, — как бы между прочим сказал Али-баба. — Надеюсь, он не болен?

— Нет, нет, я его не знаю. Пристал — отвези, мол, и все...

— Прекрасно! Он сейчас как раз нужен для дела.

Али-баба ни о чем не расспросил старика, когда тот перебрался к нему на катер, сделал вид, что не узнал Торопился, было не до расследования.

Каип оказался не единственным, кого он сегодня задержал.

Четыре других незнакомых ему старика дремали в углу судна, прижавшись друг к другу, словно были братья. И никто из них даже не взглянул на только что пойманного.

Катер сделал прощальный круг — литовка, недоумевая, смотрела на Каипа, — и Али-баба повез старика туда, где шла в море большая долгожданная работа.

...Вот уже отчетливо видны лодки и люди с сетями. И где-то среди сотен людей братья Каипа, рыбаки Песчаного.

Море вдруг сжалось, потом отпустило свои воды, и вода там, за сетями, забегала, засуетилась после стольких дней спячки, сети тяжело надулись парусами, и Каип чутким ухом услышал, как заметалась, заговорила бесхитростным языком попавшая в ловушку рыба.

И по тому, как надулись и стали уходить под воду сети, Каип понял, что улов на редкость удачный, принесет он в дома рыбаков достаток и веселье.

Теперь надо работать и работать, чтобы окружить и поднять из глубин моря весь этот огромный косяк, потащить сети к Песчаному, а оттуда отвезти рыбу в столицу рыбаков Акчи, на заводы...

9

Старик все же добрался наконец к себе на родину, остров Зеленый.

Сошел благополучно на берег, поцеловал землю, посылая ей привет и прося благословения, и тихо пошел затем в глубь острова к роднику...

Каипа долго искали. Не было на Песчаном человека, который бы не выходил в море и не кричал, увидя лодку в тумане: "Отец Каип! Отец!" Воистину, имя его как судьба[1].

Затем мало-помалу стали вспоминать разные истории, связанные со стариком. Больше других знал о Каипе Ермолай.

Вот, к примеру, этот холм, рассказывал Ермолай землякам. Часто в бураны холм сбрасывал с себя корку соли, раздевался. А откуда берется соль — была загадка для Каипа.

Думал старик, что соль, возможно, лежит внутри холма пластами, пробовал копать, но ничего не обнаружил, кроме нескольких кусков обожженной глины: видимо, холм был некогда замком, а может, целым городом.

Понял Каип: вот отчего овцы не лезут на холм, сколько ни гони их туда, — соль умерших городов горькая и ядовитая.

Не так давно на холме этом копался приезжий человек.

Платил пришелец деньги, и островитяне дружно помогали ему искать, как им казалось, клад. Вместо клада раскопали они стены и каменного человека с гнусным лицом — идола. Сидел он под песком, сложив руки на груди, и думал. Вытащили гнуснолицего на солнце, а он все продолжал думать. Стали смеяться над ним островитяне, но пришелец толково объяснил всем, что был здесь некогда монастырь и что этот гнуснолицый — бог. Тут все еще больше стали смеяться, зная, что бог, которого видели люди, уже перестает быть богом.

...Вспоминал, вспоминал о друге Ермолай... Но вот вернулся с Зеленого рыбак, который лежал там в больнице, божился он и клялся, что видел Каипа живого-невредимого — мол, сидел старик на поляне и играл на свирели, а змея, прирученная им, поднимала голову и, разглядывая зевак вокруг, танцевала. И еще рыбак божился, что был старик не один, сидела с ним и держала корзину для змеи его старуха.

"Какая старуха? Что за чепуха?" — заволно-

---

[1] Каип, Гаиб, Гариб — в восточной транскрипции — пропавший без вести, странник *(прим. автора)*.

вались островитяне. И чтобы проверить все, решили послать на Зеленый баржу.

Сегодня на рассвете Ермолай и сын Каипа Аллаберген отчалили к Зеленому.

Прошка долго плыл за баржей, но отец все прогонял его.

Потосковав, Прошка вернулся на остров и сел на берегу, дожидаясь их благополучного возвращения ..

1969

СТОРОЖЕВЫЕ БАШНИ

1

Вот замок на холме. Внизу река и село. У самого села река сворачивает и берет замок в плен, так что ни пеший, ни конный к замку не проберутся. Есть только одна к нему дорога — по воде...

Каждое утро десять лодок плывут к замку, и ведут их грузчики Вали-бабы.

А на берегу, у села, толпятся женщины, завязывают мешки и ждут молча, пока лодки вернутся обратно.

Грузчики выходят на противоположный берег, неся мешки, поднимаются по гранитным дорожкам к воротам замка.

Долго гремя ключами, открывают их, зажигают фонари и идут по коридорам мимо холодных железных дверей.

Утомившись, бросят мешки на полпути, сядут на них, пожуют лепешки, покурят.

— Не могу привыкнуть, — тихо скажет Вали-баба, смотря туда, где в конце коридора дрожит полоска света.

Грузчики только вздохнут, не решаясь ничего отвечать, ибо кажется, что услышат в тишине коридора, за дверьми, чужие голоса...

— Ну, пошли, — скажет Вали-баба.

И снова, не дойдя до полоски света, отдохнут, и Вали-баба скажет:

— Я все думаю: в чьи руки они попали? Надежна ли охрана? Ведь у нас никто не пытался бежать. Правда, мужики?

И увидят грузчики, как он улыбнулся в полумраке довольный.

Полоска света уже изменила направление и падает теперь не слева, а откуда-то сверху.

Грузчики все еще боятся разговаривать, им все еще что-то мерещится. И только один Вали-баба меньше всех суеверен, привык к темноте, к этим коридорам.

Он и раньше, когда была здесь колония, работал старшим. Товарищи стояли сутками на вышках, днем под палящим солнцем, а ночью возле прожекторов и, только закончив смену, уходили по коридорам замка домой.

Вали-баба не каждый час спускался вниз на доклад, шел как ни в чем не бывало, никого и ничего не замечая, курил и что-то насвистывал. И вмиг возвращался обратно, доложив кому следует общую обстановку.

Взвалив на себя мешки, грузчики идут к свету И возле самого люка, как всегда, начинают кружить над головами летучие мыши — единственные теперь здесь сторожа. Грузчики чувствуют их по движению воздуха, словно к потным лицам приставили маленькие вентиляторы.

Над люком и начинаются основные постройки замка, но никто наверх не поднимается, кроме Вали-бабы. Несмотря на свои шестьдесят лет, старший грузчик легко просовывает в люк голову, а потом и ноги, и кричит, торопит, а товарищи один за другим подают ему мешки.

Нет у них теперь времени любоваться красотами замка, нужно поскорее сесть в лодки и плыть за вторым десятком мешков. Плыть по реке с каждым днем становится все труднее — мешают пятна нефти на воде.

Полгода как нашли эту нефть возле села, и за это время уже успели измерить все вокруг, привезти вертолетами цемент и другие материалы для большого моста, а главное — убрать всех уголовников-колонистов куда-то за сотню километров в пустыню.

В замке теперь сделали временный склад, и бывшие караульные, Вали-баба и его товарищи, стали грузчиками.

В новую колонию их не взяли. Здесь, под боком, родное село Гузар, пусть поработают пока грузчиками, а со временем, когда начнут выкачивать нефть на про-

мысле, подберут бывшие караульные какую-нибудь другую профессию по душе.

И остальным пятидесяти с лишним гузарцам, учителям вечерней школы колонистов, всяким прачкам и медикам, тем, кто был раньше на штатной работе в колонии и кто зарабатывал себе на жизнь, продавая лепешки, айран, шашлыки уголовникам и родственникам, приезжавшим издалека повидать их, тоже обещана хорошая работа на промысле, вокруг которого должен вырасти новый город.

В старые времена, когда не было здесь замка, предки нынешних гузарцев — крестьяне жили в богатом селе возле реки. Жили и не ведали, что в далекой Бухаре сестра эмира, принцесса, готовит против брата заговор, желая посадить на трон дядю. И вот однажды появились в Гузаре всадники, привезя с собой эмирский приказ о том, чтобы строился на холме замок для принцессы, ибо заговор ее раскрыт и сама она будет жить в изгнании. Крестьянам пришлось забросить свои поля и виноградники и заняться постройкой замка. А так как для крепости нужна была хорошая глина, то заставили крестьян перевезти с полей всю землю, да и сады вырубить — и вот с тех пор все вокруг, до самой реки, покрылось ядовитой солью и заросло бурьяном.

Принцессе тогда пришлось забрать всех гузарцев к себе в замок. Женщин — служанками, прачками, поварихами, а мужчин — конюхами и сторожами-солдатами.

После принцессы жили здесь в изгнании четыре везира, один хан и два графа, и гузарцы всем им прислуживали...

Когда же, в наши уже дни, лет тридцать назад, в замке организовали колонию для уголовников, Вали-баба и девять других молодых людей обучились стрельбе, погоне, обращению со служебными собаками. Надели на них мундиры и поставили на дозоре.

И уже привыкли они ко всему, службу несли аккуратно, дисциплинированно, в колонии им нравилось, и думали они проработать так до самой смерти.

Каждому из караульных оставалось прослужить всего год или два до пенсии, но Вали-баба, например, заранее решил, что не уйдет добровольно из колонии, даже если наступит старость. Был он на хорошей примете у начальства, служила его команда без оплошностей и ЧП — уголовники попадались какие-то мирные, ни у кого и на уме не было рыть подкоп или убегать в открытую из замка.

Смена проходила поэтому безо всякого напряже-

ния. Днем сидели на вышках и смотрели, как ползут зеленые ящерицы по крепостной стене, спорили: догонит ящерица паука или паук шмыгнет в расщелину, а ночью гадали по звездам, какая будет завтра погода, и всякое такое...

Прекрасные были времена! Домой возвращались совсем не усталые, были еще силы лодку починить, порыбачить.

Кто мог знать, что прямо здесь, под замком, ползет нефть! Узнали о ней совершенно случайно какие-то проезжие геологи, и вот с тех пор все в жизни товарищей Вали-бабы круто изменилось. Конечно же, бывшие караульные понимают, что гораздо выгоднее держать здесь промыслы, а не колонию, понимают, но привыкнуть к мысли, что замок пуст и что не стоят они на вышках, — не могут. И как-то обидно им и за такой крепкий, надежный замок, с его вышками и бойницами, с длинными коридорами, созданными для того, чтобы в них толпились преступники.

Вот почему грузчики молчат, боясь сказать хоть слово, когда идут с мешками в полумраке, и не лезут дальше люка, к основным зданиям замка, где они отдыхали в перерывах, где обедали в столовой, где принимали их с рапортами начальники, и куда они сдавали после дежурства карабины, и откуда железные лестницы поднимали их к сторожевым башням, — странно все и непривычно, нет никого, тишина...

Быстро подают мешки наверх, а обратно уже бегут по коридорам, торопятся.

Делают за смену все десять положенных по договору рейсов, а если не жарко, то и пятнадцать.

Так они поработают еще месяц. А потом приедут строители с техникой и начнут собирать мост.

Через месяц грузчики Вали-бабы должны будут тоже заняться мостом...

2

Когда до приезда строителей оставалось десять дней, начали перебрасывать по воздуху на вертолетах железную основу моста и огромные булыжники в металлических сетках, — видимо, на фундамент.

Грузчики не плыли больше к замку. Собирали в одно место булыжники, тащили на арбах-двуколках ближе к берегу саму основу моста — делали все добросовестно, служба в колонии приучила их к этому.

— Да ведь что ни делай, везде работа, — сказал грузчикам Вали-баба. — Надо честно служить.

— Верно, — согласились с ним.

Ночью пошел дождь, и грузчики услышали вначале тихий шепот — капли перебирали мелкие камни на стенах замка. А потом настоящий гул начался, когда камни покатились вниз, в реку, вместе с потоками воды. Камни не сразу шли ко дну. Внутри полые, легкие, они доплывали почти до середины реки, оставляя за собой, как рыбы, белый пенистый след.

Утром замок снова стоял невозмутимый, чистый, словно ждал гостей. И грузчики видели, как облако пара и тумана, капля за каплей, собирается опять над замком, дрожит, плывет то влево, то вправо, занимая свое всегдашнее место над сторожевыми башнями, как большой нимб.

В полдень грузчики бросили булыжники и арматуру, успевшую уже порядком заржаветь от близости реки, и сели в лодки. Вспомнили они, что давно не убирали замок, стены его снаружи вымыты дождем, а внутри, на площадках, переходах и лестницах, должно быть, уже много нанесено песка.

Знали товарищи Вали-бабы, что со временем, когда вырастет на месте Гузара город, станет замок его главной исторической достопримечательностью.

Пришли грузчики в замок с метлами и ведрами и уборку решили начать сверху, со сторожевых башен. Все открытые места замка — три его двора, мощенные гранитом, крыши внутренних построек, дорожки — были и вправду покрыты слоем красного песка. Песок, видимо, через люк и ворота залетел в длинные коридоры, засыпав все, что напоминало о колонистах, следы их рук и босых ног.

Зато увидели теперь грузчики в коридорах свои собственные следы, идущие цепочкой, а дальше, куда они давно не поднимались, во дворе, — следы лисиц, черепах и маленькие, еле заметные следы ежей.

Чуть выше, уже на лестницах, оставили свои следы вороны и коршуны, а возле самых сторожевых башен — и орлы.

Так шли бывшие караульные, беря на заметку всех, кто побывал в замке, ибо служба в колонии научила их большой наблюдательности и смекалке. Могли они по следам различать не только животных и птиц, но и людей, определять их возраст, рост и пол, а это впоследствии еще не раз пригодится им.

Каждый решил убрать свою башню; Вали-баба

остался возле первой, а его товарищи побежали с метлами по узкой дорожке стены, каждый к своей.

Вторая сторожевая башня находилась в пятидесяти метрах от той первой, которую занял Вали-баба. А дальше — остальные точно на таком же расстоянии друг от друга, и всего башен ровно десять.

Первоначально были сложены башни из красного кирпича, и только самый верх крыши — из листового железа. Но когда поселилась здесь колония, пришлось кое-что изменить. Были убраны круглые кирпичные стены с бойницами, а также внутренние лестницы, ве-

дущие на крышу башни. Не тронули лишь основания башен, на которые и поставили железные прутья и перегородки, чтобы держалась крыша над головой.

Теперь стало удобнее круглосуточно обозревать окрестности замка, отмечать любого пешего и конного.

Как-то сиротливо сейчас здесь!

А в свое время Вали-баба принес сюда наверх немного земли и посадил в горшках всякую зелень. Вьюны ползли по железным прутьям на крышу и давали немного прохлады.

Снизу начальнику службы не было видно, что там у них растет, у караульных, ведь по уставу все, что отвлекало их от дозора, должно было быть снято с башен. Снизу не видно, а наверх начальник не поднимался — слишком уж доверял команде Вали-бабы. Зато зелень украшала караульным их одинокую жизнь на башнях — ведь все они из бывших крестьян.

И еще нет сейчас возле башен прожекторов, неусыпно освещавших двор замка, всю местность вокруг и ночное небо, — пусто кругом, и все разорено.

— Вали-баба, вы видите? — крикнули из ближайшей башни.

Из всех башен смотрели сейчас на село и на реку.

— Кажется, строители пожаловали, — сказал Вали-баба, видя, как из трех только что прилетевших вертолетов вышли на сельскую поляну незнакомые люди

— Спустимся к ним?

— Не сейчас. Мы ведь не приставлены обслуживать их, — сказал, желая не терять достоинства, Вали-баба. — Пусть женщины встречают гостей.

Женщины и вправду вышли встречать строителей, поили их водой и айраном.

Вспомнив о мешках в замке, Вали-баба забеспокоился и крикнул товарищу из ближайшей башни:

— Калихан, сбегай и посмотри: не отсырели ли там мешки? Мы за них головой отвечаем. Если заметишь какую-нибудь кражу, бей тревогу!

Калихан кивнул и вышел из башни и, проходя мимо Вали-бабы, высказал сомнение:

— Да какая же может быть кража?! Кроме лисиц и ворон да нас самих с ключами, разве в замок кто-нибудь проберется?

— А как же лисицы? — спросил Вали-баба о том, что его давно мучило.

— Видно, подкоп сделали в стене.

— Вот стервы! — покачал головой Вали-баба. — Ну

иди проверь. И запомни: там, где проходят лисицы, пройдет и вор, он в хитрости не отстает.

— Что-то они в нашу службу не проходили, — снова засомневался Калихан.

— Верно, не проходили. Да и не могли. Была у нас отличная команда!

— Была... — как-то сразу погрустнел Калихан и пошел вниз.

А женщины Гузара, напоив строителей водой, уже показывали на замок, объясняя что-то.

— Видно, нас ищут! — крикнули Вали-бабе.

— А что нас искать? От работы мы не увиливаем... Можно подумать, что они сами тут же бросятся строить мост. Отдохнут с дороги, покупаются — вот мы и познакомимся с ними.

— Сюда бегут! — закричали сразу из нескольких башен.

— Стойте на местах! — приказал Вали-баба. — Калихан внизу, встретит их.

Строители добежали до реки, разделись и поплыли к замку. Пока плыли, утомились, и теперь не бежали к воротам замка, а шли строем.

Поднявшись, стали стучать и кричать, — грузчики всегда запирали за собой ворота.

Калихан долго не решался открыть, делал со двора знаки Вали-бабе, спрашивая, как быть.

— Впускай! — махнул рукой Вали-баба.

Калихан снял изнутри засовы, крикнул тем, кто стоял за воротами, чтобы толкали, ибо один человек был не в силах сдвинуть железные ворота с места, а сам отбежал в сторону.

Строители навалились на ворота, и они наконец распахнулись, выпустив наружу несколько летучих мышей.

Один из строителей бросился ловить их, но безуспешно, другие кричали и подбадривали его.

Калихан угрюмо смотрел на посетителей замка, моргая от яркого света за воротами. А те приняли его за обыкновенного сторожа пустого замка, к тому же еще и сонного и пропахшего сыростью коридоров.

— Как тут у вас, по билетам пускают, папаша? — вполне искренне спросил один из строителей, зная, что в других местах за осмотр исторических памятников такого масштаба надо платить.

Калихан промолчал, сделав вид, что ничуть не обиделся, и строители пошли мимо него в темный коридор.

Здесь они остановились, ничего почти не видя и наступая друг другу на ноги.

— Где вы там, папаша? — стали искать Калихана. — Куда нам идти?

— За мной, — приказал Калихан, пошел и стал впереди строя. — Идите по одному и возьмитесь за руки.

— А нельзя ли было освещение сделать? — спросил кто-то. — Чтобы людям приятно было.

Голоса эти, не находя себе выхода, ударялись о сырые камни коридора и, замурованные в четырех его стенах, теряли человеческий смысл, становясь похожими на бормотание и стон.

Калихан долго морщился, вздыхал и, наконец, сказал идущим сзади:

— Прошу, граждане, не разговаривать!

Строители умолкли, и теперь до самого люка был слышен лишь топот ног, неуверенных и неторопливых.

Когда все поднялись через люк во двор замка, Калихан заметил, что лица строителей, пока шли они по коридору, посерели от паров, а глаза потеряли живой блеск.

— Было освещение. Еще недавно горели лампочки, — решил признаться Калихан.

Но строители, пораженные великолепным видом двора, к которому так долго пробирались, молчали и не слушали Калихана.

— Все закрыто, — сказал Калихан, показывая на постройки во дворе. — Можно лишь побродить здесь.

Строителей нисколько не огорчил этот запрет, и только один из них сказал Калихану:

— Ну, отец, рассказывай, сколько веков тому...

— Ничего я не знаю, ничего, — прервал его Калихан, рассердившись на гостей и видя, что кое-кто из них безо всякого разрешения идет по дорожке к соседнему двору, где была раньше душевая. — Идемте все наверх, к башням.

Калихан решил не связываться с этими людьми, пусть Вали-баба сам командует.

— Наверх так наверх, — сказали строители, и по тону их Калихан понял, что нет у них особого интереса к замку, просто думали поразвлечься после дороги.

Зная правило, что никогда не следует первому подниматься по лестнице, когда сзади тебя идут чужие люди, Калихан по одному пропускал строителей наверх.

"Двадцать восемь", — машинально пересчитал посетителей Калихан. И последним поднялся к сторожевым башням, где встретил их всех хмурый Вали-баба.

Был он, попросту говоря, немного растерян,

потому и хмурился, напуская на себя важный вид. Ведь впервые за много лет поднялись к ним вольные люди, не уголовники, не преступники, а как они поведут себя, о чем спросят и как им отвечать — вот это и смущало Вали-бабу, отвыкшего от общения со всем остальным миром.

Строители нисколько не удивились, обнаружив на башнях людей, подумали, что это такие же посетители замка. Поэтому, ни слова не говоря и даже особенно не рассматривая Вали-бабу и его товарищей, шли они от башни к башне, любуясь прекрасным видом села и реки внизу.

Некоторые из них, быстро утомившись от палящего солнца, сели прямо здесь, на стене, и снова напомнили Калихану:

— Все-таки интересно узнать историю замка...

— Кто тут у вас старший? — спросил Вали-баба, привыкший к тому, что каждая группа людей имеет своего старшего, ответственного.

— А зачем он вам? — удивились строители.

— Видите ли, граждане, мы работаем здесь грузчиками. Завезли мешки, сложили булыжники и арматуру моста...

— Так вот вы кто! — К Вали-бабе подошел бригадир, человек еще молодой, в белой каске, какие носят обычно на опасных работах. — Вы славно потрудились. Поздравляю. — И пожал Вали-бабе руку. — А мы вот решили осмотреть замок, — как бы извиняясь, добавил бригадир, снимая с головы каску.

— Пожалуйста, смотрите, — пригласил Вали-баба и взял у него каску, чтобы определить вес.

Только теперь, внимательно разглядев всех грузчиков, бригадир увидел, что все они чем-то очень похожи друг на друга — все крепкие, коренастые, у всех военная выправка и пронзительные взгляды... Все молчаливые и настороженные.

"Как братья", — отметил про себя бригадир.

3

Вначале решили строить временный мост, чтобы перевезти к замку технику.

Люди Вали-бабы сидели в лодках и держали сигнальные канаты, водолазы изучали, измеряли дно, и гузарцы потом вытягивали их на поверхность.

Передохнув, водолазы снова опускались на дно,

и лодки весь день тихо плыли туда, куда тянули их канаты.

Работа эта требовала большого терпения и дисциплины, но команда Вали-бабы ни разу не роптала.

Видя, как трудятся гузарцы, бригадир нередко ставил их в пример другим строителям и распорядился выдать им белые каски. И хоть не годились они для местного жаркого климата, грузчики не снимали касок с головы, и со стороны трудно было их теперь отличить от остальных.

Так проработали они около трех недель, но однажды утром не вышли на берег.

Бригадир подождал немного, не решаясь опускать без Вали-бабы водолазов, затем послал в село своих людей.

В поселке из глины и соломы показали строителям деревянные домики барачного типа, где жила команда Вали-бабы. Возле этих домиков все выглядело так, словно хозяева вышли на минуту, — стояли табуретки и столы, на которых было рассыпано домино, разложена посуда с чаем и коробки с табаком.

Строители подождали, покурили брошенный табак, прошел час, второй, и время приблизилось к полудню.

На всякий случай еще раз постучали, хотя понимали, что это бесполезно — двери в бараках не были заперты, а в некоторых — и окна не закрыты в спешке. Никто в селе не знал, куда делась команда Вали-бабы, никто даже не удивился их исчезновению, решили — раз ушли десять мужчин, значит, так надо.

Вспомнили только, что ночью сильно лаяли где-то чужие собаки, но строители решили, что это к делу не относится. Озадаченные, вернулись они к бригадиру на доклад.

Тот приказал хорошенько осмотреть лодки пропавших, думая, не случилось ли несчастье.

Лодки оказались целыми, без пробоин и даже без царапин — аккуратно смазанные и вымытые изнутри, и бригадир еще раз отметил про себя, сколь дисциплинированны были гузарцы.

Весь день, до сумерек, водолазы ныряли в реку, а вниз по течению был послан катер. Но ни живых, ни мертвых гузарцев не обнаружили — исчезли, испарились!

Утром следующего дня бригадир связался по радио с милицией, но дал им очень скудные и противоречивые сведения, ибо сам толком не успел ничего узнать о пропавших...

4

А те, кого разыскивали сейчас в Гузаре, были уже километрах в двадцати от него и приближались к первому колодцу.

Шли они по следам людей и собак, пробежавших с криками и лаем, шли, держа охотничьи ружья и готовые в любую минуту дать залп.

Больше у гузарцев ничего не было: ни рюкзаков, ни котелков с пресной водой, ни еды, а ведь там, куда они держали путь, простирались на сотни километров одни пески.

Но это, кажется, меньше всего их беспокоило. Увлеченные погоней, они не думали, что может стать им дурно от солнечного удара или жажды.

Так шли они, осматривая каждую яму и каждый бархан и почти не останавливаясь, ибо здесь, до самого колодца, все было уже проверено идущими впереди.

Возле колодца стояла глиняная кибитка, где обычно летом дежурит кто-нибудь из пастухов.

На всякий случай, из предосторожности, Вали-баба приказал шестерым залечь на бархане, направив ружья в сторону кибитки, а сам с тремя гузарцами стал подкрадываться к колодцу. Впрочем, хитрость эта была излишней — ведь люди с собаками задолго до их прихода уже обшарили все темные углы кибитки и все вокруг нее на расстоянии версты и даже опустили одного из своих в колодец.

Но кто знает, сколь добросовестны эти люди? Ведь не зря же беспокоился Вали-баба о том, надежна ли будет новая охрана колонии, не зря думал и переживал. И вот результат — прозевали трех уголовников, прошляпили, а те, сделав подкоп в тюремной стене, бежали в полночь на волю.

Нет, не было и не будет уже после команды Вали-бабы более надежных караульных в колонии — в этом гузарцы убеждены. А с ними вот обошлись не совсем благородно, оставили в Гузаре мешки таскать и водолазов обслуживать.

Но что бы там ни было, бывшие караульные готовы сейчас выполнить свой долг до конца, схватить беглецов и доставить их обратно в колонию.

В пустой кибитке все было разбросано, перевернуто — обыск провели на совесть. Но куда же исчез пастух?

"Может, он сговорился с беглецами?" — первое, что пришло на ум Вали-бабе.

— Нет смысла нам дальше идти по следам караульных, — сказал он, позвав товарищей на совет. — Будем искать самостоятельно.

— Верно, — обрадовались товарищи, — сами, нашей старой командой.

— Тогда давайте думать, какой верный маршрут нам выбрать.

Конечно, было бы более разумным догнать караульных с собаками, думал Вали-баба. Можно узнать у них точные приметы беглецов. Но так они могут забрести за ними бог знает куда, и еще неизвестно, как встретят их штатные караульные.

Лучше самим вести поиски. Ведь сумели же они, изучая следы, расспрашивая встречных людей, точно определить количество беглецов.

И есть еще у них в руках, правда, пока разрозненные, противоречивые сведения о том, какого роста беглецы и во что обуты. Надо собрать еще кое-какие данные, сесть, обдумать, отбросить ложное, всякие слухи и видения, — и тогда можно вполне отчетливо составить зримые портреты преследуемых... Но это по ходу дела.

— Все идет правильно, — сказал Вали-баба.

Действительно, ведь еще вчера они бежали почти вслепую, словно гнались за призраками.

А все началось с дикого лая овчарок.

Почти до полуночи, как обычно, играли гузарцы в домино и уже собрались было расходиться по домам, как вдруг застыли, услышав за дорогой лай овчарок.

— Слышите, это наши овчарки? — узнали голоса тюремных собак, заволновались — так было все неожиданно, и так они соскучились по этим голосам....

Закричали:

— Погоня!

И не сговариваясь, будто давно ждали этой минуты, бросились гузарцы за ружьями.

И, как по боевой тревоге, бежали туда, где мерцали десятка два фонарей, бежали, не вспомнив даже о своей завтрашней работе на реке, потому что знали — то, что будут делать теперь, важнее всего. Овчарки звали с собой в долгий путь их, настоящих караульных, а те, кто ведет сейчас собак на поводке, эти не справятся, только зря помучают животных, сами собьются с дороги от жары и жажды и вернутся в колонию с пустыми руками.

— Так вот, — продолжал Вали-баба совет в кибитке, — в жару они долго не протянут в пустыне...

И рассказал товарищам, что днем беглецы будут сворачивать к селам и искать прохладу, а ночью опять уйдут в пески. Но не в крупные села, где есть милиция, туда не рискнут... Самые удобные для них маршруты — это овечьи тропы, где можно одурачивать пастухов, поесть у них и попить, а потом уйти в саксауловые заросли.

— Не мешает нам посетить кладбища и мазары, — говорил Вали-баба, — они отличные места для укрытия.

Да, так должно быть, но вместе с тем понимал Вали-баба, что все может оказаться наоборот. Не маленькие села, скажем, посетят беглые уголовники, а большие, где попытаются достать одежду, загримироваться и сесть на какой-нибудь станции в поезд, ловко запутав следы.

Все зависит от ума и смекалки преследуемых и от того, хорошо ли продумали будущий маршрут, когда длинными ночами рыли подкоп.

Но в одном Вали-баба абсолютно уверен: беглецы не знают местности, расположения колодцев и сел в пустыне, где даже пастухи нередко блуждают с отарами. Уголовники, сидящие в колонии, все из дальних мест, из северных и западных краев. Но ведь и они, гузарцы, тоже впервые участвуют в погоне.

Все долгие годы простояли они в своих башнях, ни разу не выезжали за пределы села, позабыли все тропы и дороги, по которым в молодости гнали овец на пастбища.

И сейчас в общем-то выходит, что положение и преследователей и преследуемых равное: те отчаянно убегают, а эти отчаянно пытаются догнать их в незнакомой, вернее забытой пустыне. Единственная карта в руках Вали-бабы — это сама пустыня, и тут надо брать себе в союзники все: и следы на песке, и направление ветра, и очертание барханов, запахи, и даже полет птиц, ибо кружатся они обычно там, где чувствуют живое.

Точно такая же карта находится у беглецов, и все теперь зависит от того, кто больше прочитает в ней зашифрованных обозначений.

— Но тут, — сказал в заключение Вали-баба, — преимущество на нашей стороне. Ведь нас учили читать следы в пустыне. Учили ли этому беглецов — неизвестно...

Впрочем, тут же поймал он себя на мысли: ведь неизвестно, какой это на их счету побег. Если второй или третий из разных колоний, то шансы команды поймать их и шансы беглецов уйти безнаказанными снова оказываются равными...

Итак, команда Вали-бабы решила идти теперь собственным путем.

5

Однако все оказалось значительно проще, чем думали. Встречая на своем пути пастухов и допрашивая их, Вали-баба в тот же день получил много важных сведений.

Узнала команда, что, кроме штатных караульных с овчарками, бросились искать беглецов и милиционеры из ближних сел. На всех дорогах и перекрестках установили они посты и никого не пропускают без тщательной проверки.

А главное, с севера и с юга милиционеры пошли навстречу друг другу, прочесывая каждый метр пустыни. И теперь, если беглецы не успеют достигнуть восточных гор — все, быть им в ловушке. Назад, на запад, нет им возврата, там колония.

Таким образом, смекнул Вали-баба, остается еще свободной узкая полоса между идущими навстречу друг другу милиционерами, но и она с каждым часом сокращается.

Вот по этой полосе, должно быть, и бегут сейчас мошенники, и надобно круто изменить маршрут, чтобы не дать им возможности скрыться в горах.

Только бы не прозевать момент, успеть взять их своими руками! Иначе, если схватят их первыми штатные караульные, останется в душе горечь — значит, зря все это затеяли, зря волновались. Нет, все уже решено, беглецы должны быть в руках у Вали-бабы и его товарищей!

Итак, вперед!

Если днем вдруг веяло прохладой, значит, впереди, за горячими барханами, встречали маленький оазис, пастушье село. Ночью же все наоборот. Жар уходил в землю, и становилось холодно.

Караульные, ушедшие из домов без кителей и шинелей, укрывались сухой травой и саксаулом, а под головы стелили шкуры варанов.

Одни только села по ночам не успевали остыть и дышали резким теплым ветром.

Всякий раз, когда встречали на пути село, Вали-баба, прежде чем идти, советовался с товарищами:

— Пройдем село стороной или остановимся, чтобы набрать воды?

— Лучше остановимся, — говорили уставшие товарищи.

— А если натолкнемся там на милиционеров?

— Тогда решай сам.

Если дело было ночью, команда, держа ружья наперевес, входила в село с безлюдной его стороны, по полям, скрываясь в зарослях джугары.

Те, кто шел сзади Вали-бабы, ломали стебли и высасывали из них терпкий желтый сок, как делали это в детстве, когда пасли на полях соседнего села коров.

Раз Вали-баба не выдержал и тоже попробовал сок, но выплюнул и выбросил стебель — затошнило с непривычки.

А вся команда продолжала хрустеть, жевать стебли, соскучившись по джугаре.

Так шли они, минуя села и колодцы, торопились за беглецами по узкой свободной полосе к горам...

6

Пока увидели наконец горы вдали, дважды попадали в неприятное положение. И оба раза из-за штатных караульных.

Первый раз повстречались они метрах в пятистах справа; в полном облачении, с овчарками на привязи и вскинутыми карабинами, в жарких суконных мундирах и сапогах. От неожиданности команда бросилась на песок и поползла к бархану, чтобы спрятаться. И долго не мог определить Вали-баба, откуда дует ветер, нервничал.

Благо, ветер дул со стороны караульных, поэтому овчарки не заметили, ушли.

— Еще немного, и кончилась бы наша операция позорно, — сказал Вали-баба и впервые за все это время поругал команду: — Я вижу, вы все расслабились, тянет вас в села. Жуете всякую гадость в зарослях...

Товарищи приуныли, и каждый был готов взять вину на себя — лишь бы между ними царил всегдашний мир и покой.

— Верно, — поддержал старшего команды Калихан,— дисциплина хромает...

Но чтобы не осложнять далее отношения, Вали-баба сказал примирительно:

— Прошу, мужики, подтянитесь, чтобы не жалко было на нас смотреть со стороны.

Решили после его слов сделать короткий привал,

чтобы почистить ружья и привести себя в порядок.

Вторая встреча со штатными караульными была более драматичной. На сей раз появились они слева и на очень близком расстоянии. Чутким ухом услышал вначале Вали-баба хрип овчарок. Показалось, что вот уже сейчас, через минуту, увидят они морды собак и раздастся крик "стой!", топот ног, шуршание песка, и караульные поймают их. Станут допрашивать: кто, откуда? Пропала вся операция!

Но так показалось от замешательства. Прошла тревожная минута, овчарки все хрипели, не лаяли — значит, мелькнуло у Вали-бабы, пока не учуяли.

Овчарки и вправду были еще на расстоянии пятидесяти метров. И Вали-баба полз к бархану, увлекая за собой товарищей. Ветер, как назло, дул теперь прямо в морды овчарок, но если успеет команда взобраться на бархан и если постовые окажутся уставшими, не полезут за ними проверять, и еще: если у овчарок от однообразных запахов пустыни притупилось обоняние — значит, опасность миновала и теперь беглецы окажутся в руках Вали-бабы и его товарищей.

Закопали себя в песок удивительно быстро, легли, закрыв лицо пахучей травой, чтобы сбить с толку овчарок, пролежали долго, около часа, наверное.

Собаки ни разу не залаяли, постовые не закричали, значит, ничего подозрительного не обнаружили, ушли.

Да, ушли. Вали-баба вылез наполовину из песка и увидел сверху спины постовых в мокрых, покрытых солью гимнастерках. Пошли дальше, прочесывая узкую полосу и желая поскорее встретиться со своими товарищами.

И северные и южные постовые уже достигли этой единственной свободной полосы, по которой бегут уголовники. Команде надо торопиться; еще каких-нибудь полдня, и беглецы будут окружены со всех сторон, если не успеют достигнуть гор...

7

А вон, кажется, и сами беглецы!

Три маленькие фигурки изо всех сил бежали к спасительной горе, падали от изнеможения на камни, упавшему помогали встать, раненого несли на руках.

Увидев их, закричал Вали-баба:

— Дружны, стервецы, как братья!

Двое высоких и один маленький, очень маленький,

ростом чуть ли не в полтора раза ниже своих товарищей — значит, это они, беглецы, приметы сходятся.

— Дружны! — кричал Вали-баба. — А ну, гузарцы, догоним!

Вот беглецы уже достигли горы, стали карабкаться наверх, но все трое упали — круто очень.

Тогда спустились обратно и побежали мимо скалы в поисках тропинки.

И вот тут-то, помедлив, допустили первую оплошность — команда приблизилась к ним на расстояние ружейного выстрела.

Отсюда Вали-баба раньше беглецов увидел тропинку в скале. Ровной лентой поднималась она наверх, никуда не сворачивая, значит, смекнул Вали-баба, беглецов можно будет не выпускать из поля зрения.

А вон и вторая, еле заметная, видимо, заброшенная тропинка тоже идет к вершине скалы.

Вершина не острая, и, чтобы подтвердить свою догадку, Вали-баба поднялся на бархан. Да, на скале ровная, широкая площадка, даже две площадки, вроде ступенек, а оттуда идет узкий каменный мост к самой горе.

Прекрасно, поднявшись на скалу, беглецы попадут в ловушку. Навряд ли смогут потом пробежать по мосту к горе, испугаются. Но если они пройдут, беглецы, пройдет за ними и команда.

— Братцы, пустим их на скалу? — спросил Вали-баба.

Товарищи поняли его хитроумный ход, заулыбались: мол, пустим.

Беглецы были теперь на тропинке. Особенно трудно приходилось маленькому, и его все время поддерживали высокие.

Делали они это не злясь, хотя каждое его падение задерживало их на опасной тропинке; видно, высокие беглецы были чем-то обязаны маленькому.

Теперь уже можно было заметить, что все они успели переодеться — в куртки и штаны, какие носят геологи.

Рассмотрев беглецов хорошенько, Вали-баба повел команду к заброшенной тропинке, думая одновременно с уголовниками подняться на площадку скалы.

Расчет его оказался верным. Незаметно поднявшись на верхнюю площадку, команда затаилась там.

И тут же следом за гузарцами достигли нижней площадки измученные, но неимоверно счастливые беглецы.

Оглянувшись на путь, который они проделали, на тропинку и на камни у подножия и не увидев погони, беглецы бросились обнимать друг друга. Стонали, будто захлебывались от слез, и кричали, словно давились от смеха.

— Свобода, — шептал маленький, — свобода... — Да так нежно и с таким благоговением, будто находился не на скале среди раскаленных камней и орлиных перьев, а у себя дома, в кругу семьи.

Глядя на этих людей, на минуту забыл Вали-баба про свои обязанности и про то, где находится, подумал, что сам он, наверное, никогда так не был счастлив, так по-настоящему доволен, ни в детстве, ни потом, на службе в сторожевых башнях, был только горд, что имеет власть, пусть даже маленькую, над своими товарищами-сослуживцами и над уголовниками-колонистами. Но ведь власть не делает человека счастливым.

Беглецы теперь упали на колени, обессиленные, растянулись на камнях, их мучил сон, но от сильного возбуждения не могли сразу уснуть, стонали в полузабытьи.

Команда, сидя наверху, не сводила с них глаз.

А беглецы еще долго мучились от усталости и кошмара. Ползали с закрытыми глазами, словно искали удобного места.

Потом каждый из них лег, прижавшись к жарким камням, стон прекратился, и беглецы стали забываться.

Чтобы не дать им набраться сил, Вали-баба взял камень и бросил его вниз, на площадку. Камень упал возле ноги маленького и покатился дальше по тропинке вниз.

Маленький поднял голову и посмотрел вокруг, ничего не понимая. Видя, что единомышленники его спят мирно, он снова лег, думая, что померещилось.

Второй камень был беспощаднее и попал ему прямо в руку.

8

Беглец вскрикнул, но не от боли, от ужаса. И ужаснул его вовсе не брошенный камень, а тени, падавшие с верхней площадки. Тени людей и ружей в тишине, в предательском, беспощадном молчании гор.

"Бесполезно", — подумал беглец и поднял руки, отдаваясь на милость победителей.

И еще он подумал с грустью: "Как глупо..."

— Разбуди этих, — приказал ему сверху Вали-баба.

Беглец упал и пополз сначала к одному товарищу, затем ко второму. И, боясь прикоснуться к ним, а может быть, понимая, что будить их бесполезно, возвратился на свое прежнее место и снова застыл с поднятыми руками.

— Спящих как-то неудобно связывать, — сказал Вали-баба, спускаясь на площадку беглецов. И снова приказал маленькому: — Кричи, скажи, чтобы мошенники твои просыпались.

За эти минуты лицо маленького настолько изменилось, что перед Вали-бабой неожиданно предстал уже совершенно другой человек, как будто четвертый беглец.

"Правильно говорят в таких случаях: на человеке лица нет", — отметил про себя Вали-баба.

— Тогда свяжи их сам, — приказал беглецу Калихан и посмотрел на солнце — оно уже опускалось за гору, предвещая быстрые сумерки.

К ногам маленького бросили веревку. Но и со вторым приказом он не в силах был справиться, стоял не шелохнувшись, по-прежнему подняв руки.

Пришлось Калихану и еще двум из команды самим связывать спящих.

Те только простонали во сне, наверное, от дурных видений. Но когда погнали маленького вниз, а этих двоих спящих стали тянуть волоком, беглецы проснулись наконец, но уже внизу, на тропинке.

Вали-баба смотрел на них, ожидая истерики или чего-нибудь в этом роде. Но беглецы, которым все это давно осточертело: вся эта погоня, бессонные ночи, усталость и голод, — довольно спокойно встретили свое новое пленение, будто бежали лишь затем, чтобы поспать часок-другой на свободе, в горах, а потом снова возвратиться в колонию отбывать оставшийся срок.

Единственное, что удивило их, — это сама команда. Не охранники, не милиционеры, а просто десять мужчин с ружьями вели их по тропе.

Кто же они? Добровольцы? Любители острых ощущений? Или похуже их самих — бандиты, которые хотят взять с них выкуп и отпустить?

Вали-баба шел и напрягал память, думая о том, видел ли он беглецов в колонии. Может, мелькнули когда-то их лица среди тысяч колонистов?

Нет, никого он не вспомнил, воспринимал всегда колонистов как огромную серую массу, всех на одно лицо. Беглецы тоже никогда не поднимали вверх

головы, чтобы посмотреть на караульных. Словом, те и другие считали, что встретились впервые.

Ладно, пусть будет так, главное теперь — незаметно провести пленников через пустыню, чтобы, не дай бог, не повстречались штатные караульные.

Команда из сил выбилась, пока поймала беглецов, а эти появятся, можно сказать, на готовое, поблагодарят и увезут мошенников к себе в колонию. И лавры и почет, все им достанется.

Вали-баба передаст уголовников караульным в другом месте и при других обстоятельствах, а сейчас надо проделать весь долгий путь обратно домой.

— Развязать им руки! — приказал Вали-баба.

Беглецов освободили, и те, усмиренные, тихо поплелись впереди строя.

Прошли у подножия горы, покрытого камнями, затем по узкой полосе солончака, и впереди людей ждали три долгих утомительных дня пути по горячим пескам.

А из расщелин горы выполз пар, закружился над скалой, словно посылая беглецам прощальный привет...

9

Железные ворота замка снова распахнулись.

Внутри темного коридора зажглись фонари, но люди почти не видели друг друга. Сырые теплые стены поглощали весь свет, и даже тогда, когда горели здесь лампы в сетках, в коридоре стоял полумрак.

Где-то в середине коридора пленных остановили. Вали-баба вынул связку ключей, долго перебирал их, затем приказал посветить ему. Там, куда направили свет, была потайная дверь, но пользовались ею редко, лишь когда привозили новых колонистов и вели их в канцелярию оформлять документы. Для нужд каждого дня пользовались люком с лестницей. Засохшая дверь поддавалась туго. Ее долго толкали. Беглецы же, воспользовавшись задержкой, смотрели на железные двери бараков. Искали свой с номером четыре.

Потайную дверь наконец взломали. Дохнуло плесенью и порохом. Отсюда, как и из всех дыр и щелей замка, вылетели крылатые мыши — эти слепые сторожа всех покинутых тюрем.

Переступив порог, очутились в том помещении, где отдыхали между дежурствами караульные. Здесь были три смежные комнаты, одна для игр в домино, другая — читальня и последняя, где сдавали карабины.

Беглецы молчали. Вялость и сонливость исчезли, как только пришли в замок. Было любопытно следить, куда их ведут, и зачем, и что же будет дальше.

Никто, естественно, не предполагал, что увидит вновь замок, свою бывшую колонию. Разве лишь когда окажутся на свободе и будут проезжать мимо. Да и то навряд ли.

— Будете жить по-царски, — сказал Вали-баба, переходя из одной пустой комнаты в другую и осматривая их, проверяя надежность стен и пола. Но, сказав так, он тут же вспомнил всю строгость обстановки, и голос его сделался суровым: — Поспите пока на полу. Матрацы получите завтра.

— А почему нас не поместили в четвертом бараке? — спросил беглец маленького роста.

— Разговоры! — строго прервал его Калихан.

В первой комнате заперли его, маленького, в других — остальных, высоких.

Решили не расходиться, а дежурить всем вместе, ибо соскучились по службе.

В узких коридорах между комнатами толпились по три человека, дыша друг на друга потом и запахом саксаула.

Запревшие от жарких сапог ноги подкашивались, хотелось сесть на пол, перемотать портянки, но нет, не садились, делали по очереди два шага вперед — два назад, по привычке прижав ружья к плечу. И каждые пять минут смотрели в глазок на двери, смотрели напряженно и подолгу.

Двое беглецов сразу же растянулись на холодном полу, прижав щеки к плитам — уснули. И только маленький сидел спиной, и нельзя было понять, что он намерен теперь делать.

Вали-баба поднялся наверх, во двор замка, долго бродил в одиночестве с сознанием исполненного долга.

Он решал, как построить завтрашний день и все последующие дни, пока беглецы будут находиться в замке.

И подумал о начальнике колонии, о том, что тот скажет, когда узнает про все это. Объявит, конечно, благодарность и все такое.

Чепуха, не это главное. Никому они не мстят, ни с кем не соревнуются, просто исполняют не служебный, так гражданский свой долг.

"В своей работе мы должны опираться на помощь гражданского населения", — вспомнил Вали-баба наставление начальника колонии.

Хотя тогда это относилось к другим, к людям за пределами замка, но теперь по иронии судьбы или по чистой случайности Вали-баба и его товарищи и есть это гражданское население.

Вернувшись со двора, Вали-баба обошел все караулы, расспрашивая о новостях. Затем сам посмотрел в глазок. Выбившись из сил, маленький спал, как и двое его товарищей...

10

День решили начать с допросов.

В главную комнату замка, где находился ранее кабинет начальника колонии, привели к Вали-бабе одного из высоких.

Откуда-то достали стол для Вали-бабы и табурет, на котором он теперь восседал, олицетворяя закон.

— Фамилия?

— Нуров, — поспешно отозвался высокий, все еще, видимо, не сознавая серьезности положения.

— За что осуждены?

— За угон автомобиля. На пять лет лагерей... Два из них уже просидел.

— Теперь еще добавят, — вставил Калихан.

— Это само собой, — с грустью признался беглец. И тут же начал говорить быстро, словно боясь, что его прервут, говорил, проглатывая слова и даже целые фразы. — Это все маленький. Он подкопом ведал. А мы только исполняли...

— Все вы только исполняете, — с отвращением сказал Вали-баба. — А зло за вас замышляют другие... Что это был за автомобиль?

— Думал, частника. А оказался конторский.

— Первая судимость?

— Вторая...

— А тот срок полностью отсидели, не бежали?

— Нет, не бежал. Маленького не было рядом. — Беглец впервые стал внимательно приглядываться к ведущему допрос. Сама форма допросов, не профессиональная и даже наивная, любительская, строго-напускной вид сидящего напротив, все это несколько удивляло Нурова и нравилось ему.

До этого ему задавали, как правило, односложные, часто повторяющиеся вопросы, внешне не требующие почти никакой информации, но на самом деле построенные так умело, что отвечающий, если он лгал, непременно запутывался и начинал помимо своей воли

говорить правду и одну лишь правду, невыгодную для себя. Проникнувшись к Вали-бабе какой-то симпатией, Нуров приготовился отвечать дальше, но ведущий допрос неожиданно отпустил его, сказал:

— Ответы ваши мы проверим. Идите.

— Когда вы вернете нас в колонию? — спросил беглец, желая получить для себя хоть какую-нибудь выгодную новость, но Калихан толкнул его к выходу.

Привели второго высокого.

— Фамилия?

Этот беглец был крайне подавлен, все время хмурился и отводил глаза в сторону, недовольный тем, что его разбудили.

— Парпиев... Что вам нужно? Кто вы такие?

— За что осуждены?

— Я уже отвечал. Надоело!

— Кому отвечали?

— Вам отвечал, им отвечал. Кто вы такие? Не имеете права!

— За что осуждены? — хладнокровно повторил Вали-баба.

— Деньги печатал. Фальшивые монеты. Три просидел, осталось двенадцать.

— Кто рыл подкоп?

— Так бы, дядя, и спросил с самого начала! Мы рыли, я и Нуров, а маленький, стервец, нами верховодил. Как я жалею, что не бросил его в песках, когда он подвернул ногу! Сожрали бы его коршуны!

— Уберите его! — сразу же утомился Вали-баба.

Казалось ему, что вся эта шайка будет держаться стойко, как и подобает единомышленникам и товарищам, и Вали-баба уже готовился к трудному поединку с каждым из них, казалось, будут лгать, изворачиваться, не выдавая своих тайн и секретов и того, кто день за днем готовил им путь на свободу.

"Мелкие, сварливые мошенники", — отметил про себя с неприязнью Вали-баба, когда прогонял Парпиева.

— Ублюдки! — продолжал ругаться он, пока вели к нему третьего беглеца.

Вот таким злым, нервным встретил он маленького, и едва тот переступил порог, не выдержал, закричал:

— Это вы главный среди них?

Беглец зажмурился, словно получил удар в лицо, и сказал тихо, желая усмирить Вали-бабу:

— Нет, я не главный. Я рядовой.

— Вы учили их, как надо рыть подкоп? Признавайтесь, мы все знаем.

Беглец уже много раз слышал эту дежурную фразу следователей: "Признавайтесь, мы все знаем", — боялся ее, потому что ничего не собирался скрывать.

— Да, это по моей специальности. На гражданке я был инженером по туннелям. А фамилия моя Мусаев, возраст сорок лет, уроженец Бухары, — отвечал охотно беглец, зная заранее, какие вопросы будут следовать и в какой очередности.

— Значит, признаете себя виновным? — устало проговорил Вали-баба.

— В чем? — не понял Мусаев.

— В том, что руководили подкопом, черт побери!

— Признаю, — мягко сказал Мусаев.

— А ранее? На сколько были ранее осуждены?

— На год.

— Всего на год? — вырвалось у Вали-бабы.

— Да, всего, — удивленно посмотрел Мусаев на собеседника. Такие вопросы, да еще с таким участием задают либо совершенно неопытные следователи, либо на гражданке друзья или знакомые.

Удивившись, Мусаев стал думать: кто же перед ним, этот ведущий так неопытно допрос?

— Какая глупость! — возмутился Вали-баба. — Человек осужден всего на год, чего еще надо — сиди спокойно, жди, нет, бросился рыть подкоп. И теперь вместо года получит, наверное, еще три добавочных. Глупость, гражданин Мусаев! Никто вам не простит ее!

— Возможно, возможно, — почувствовал себя свободнее беглец. К нему снова вернулась его всегдашняя вежливость и склонность к иронии. — И что самое интересное, гражданин следователь, ведь просидел-то я уже шесть месяцев и осталось ровно столько же, чепуха... Нет, видно, до самой смерти не избавлюсь от дурной привычки рыть в земле всякие ходы и выходы, подкопы и всякие иные сооружения, как крот. Лапы чешутся.

Вали-баба молчал, внимательно слушая беглеца. Впервые за все годы работы в колонии сидел вот так, свободно, лицом к лицу с уголовником.

"Должно быть, очень занятно работать следователем, — подумал он. — Куда занятнее, чем делать все остальное в колонии..."

Глядя на Мусаева, Вали-бабе даже захотелось решить какой-нибудь из следовательских ребусов. Ну, например, этот, самый легкий для начала. За что человеку могли дать такой маленький срок, всего один год?

За хулиганство и дебош? Маловероятно Сидящий перед ним человек — кроткий, ученый. По этой статье обычно привозят в колонию пьяниц, людей без определенного места жительства, тунеядцев и им подобных.

Значит, что-то по службе. Скажем, обвал в туннеле, но без жертв. Нет, даже для обвала без жертв срок один год — маленький. За это дают, кажется, по крайней мере года три.

Вали-баба решил степень вины Мусаева определить, так сказать, психологически и поэтому внимательно посмотрел на беглеца. Взгляды их встретились. Вали-баба поежился, беглец, видно, тоже изучал его. Кто кого?

Да, люди с такими нервными лицами, щупленькие, с неразвитой мускулатурой и грудной клеткой бывают, как правило, ревнивцами. Ревнуют жен, любовниц, часто безо всякого на то основания и в конце концов доводят себя до такого состояния, что бросаются на них с кулаками.

"Черт побери, любовная история", — выругался про себя Вали-баба, потеряв интерес к своему следовательскому занятию.

— Так, а посажены вы за ревность! — сказал он, решив поскорее избавиться от беглеца.

— Ревность? — Мусаев сконфуженно улыбнулся. — Нет, боже сохрани, я человек рациональный. Ревность для меня слишком хлопотное занятие. Увы!

— Я не настаиваю, — смягчился Вали-баба. — Это мое личное предположение.

— Удивительный вы человек! — воскликнул беглец. — Вот все изучаю вас и не могу понять: с кем имею дело и где я? Вы слишком не подходите для вашей роли.

— Тут не вы должны меня изучать, а я вас. Вы беглец и уголовник. Идите! — рассердился Вали-баба, поняв, что имеет дело с умным собеседником, а разговаривать с ним и вести допрос неподготовленным — все равно что самому оказаться на месте допрашиваемого...

11

Никто в Гузаре, да и во всей округе, не знал, что творилось в замке.

Вали-баба тщательно скрывал все, приняв меры предосторожности. Уверен он, что гузарцы, бывшие работ

ники колонии, ее повара и прачки, непременно прибежали бы в замок поглядеть на уголовников, вмешивались бы во все, давая ненужные советы.

Ничье постороннее мнение, здраво решил Вали-баба, никакое давление извне, ни слухи, ни домыслы — ничто не должно влиять на ход дела, бывшие караульные сами во всем разберутся. Продукты брали поэтому в соседнем селе, куда с наступлением сумерек отправлялся Калихан, а утром он уже готовил беглецам бесхитростный обед, соблюдая все установленные в колонии нормы и граммы.

Строго в положенные часы выводили потом их на прогулку по двору замка; утром ровно в шесть будили, а в полночь разрешали им уснуть.

Единственное, что беглецам не приходилось теперь делать, так это выходить за пределы замка на каждодневную работу — были они на это время освобождены от рытья каналов и строительства в пустыне.

Но один раз пришлось все-таки команде пережить несколько неприятных минут. Дозорный, который стоял на башне, сбежал вниз и доложил Вали-бабе, что строители в перерыв переплыли реку и направились к воротам замка, видимо желая еще раз осмотреть его.

Команда, собравшись во дворе, слушала, как толкали строители ворота, как стучали и звали Калихана, спорили, чем лучше открыть засов, но, так ничего и не решив, пошли обратно к лодкам.

Беглецы, сидя в своих камерах, тоже услышали стук в ворота и принялись бить кулаками по дверям, словно звали этих посторонних на помощь.

Калихан бросился утихомиривать их, толкнул высоких, и те упали, ослабевшие, на пол, а маленький, самый благоразумный из них, сам успокоился.

Вали-баба решил наказать беглецов, лишив их всех на сутки обеда.

Самый сварливый беглец, Парпиев, вновь сваливал все на Мусаева, будто он, когда еще сидели в колонии, научил их на всякий посторонний стук отвечать из камер, как бы заявляя о себе внешнему миру.

— Знаю, — сказал Парпиев, — Мусаев вам голову заморочил, заявляя о своей невиновности. Вот вы и слушаете часами его рассказы.

— Ничего он такого не заявлял, — поморщился Вали-баба.

— Странно, — недоверчиво усмехнулся Парпиев. — А вы спросите у него. И узнаете, как это можно быть и виновным и невиновным одновременно.

— Уведите! — приказал Калихану Вали-баба.

— Что это был за дурацкий стук? — грубо спросил он у Мусаева.

— Вы имеете в виду тот, который доносился к нам снаружи?

— Не стройте из себя идиота, Мусаев! Я говорю о вашем стуке.

— Понял, простите, — стал извиняться беглец, — профессиональная привычка. Никак от нее не избавлюсь Видите ли, когда строители прокладывают туннель, они всегда перестукиваются, чтобы узнать, далеко ли их товарищи. Ведь могут быть обвалы и всякое непредвиденное...

— Вы признаете себя виновным? — от рессеянности повторил свой прежний вопрос Вали-баба.

— Да, я рыл подкоп и не отказываюсь от прежних показаний.

— На сколько вас ранее осудили?

— Я уже говорил: на год.

— Сколько дней вы рыли подкоп?

— Дней? — горько, как бы жалея Вали-бабу, улыбнулся беглец. — Если бы дней... Подкоп в тюрьме мы рыли столько же, сколько туннель средней длины. Три месяца. Но учтите, что подкоп был раз в двадцать короче.

— Понимаю, — съязвил Вали-баба, — не было техники

— Вы удивительно догадливы! — отпарировал беглец.

Вали-баба минуту молчал, сдерживая себя, чтобы не наговорить допрашиваемому грубостей за его столь независимое поведение. И продолжал·

— В первый день вы сказали, что сидите уже шесть месяцев, то есть половину срока. Три из них вы истратили на рытье бесполезного подкопа. А чем занимались остальное время, обдумывали? — спросил Вали-баба, сам того не замечая, что вопросы его вновь приняли любительский характер.

Зато от внимания Мусаева ничто не ускользало, потому он с такой готовностью ответил.

— Никак нет! На обдумывание ушло ровно две ночи. Днем, когда нас выводили на работу, я осмотрел местность, прикинул на глаз толщину стен После двух ночей обдумывания дружно взялись за дело

— Таким образом...

— Таким образом, за шесть месяцев мы вырыли не один, а целых два подкопа.

— Как это два?! Значит, вы еще раньше помогли бежать другой группе? Рассказывайте!

— Смею вас разочаровать. Никому я больше не помогал бежать. Тот первый подкоп остался, к сожалению, незаконченным. Нас ведь, как вы знаете, перевели из этого замка, — сказав так, беглец ожидал реакции собеседника, желая понять, знал ли Вали-баба о существовании на месте замка колонии, а если знал, имел ли к ней какое-нибудь отношение.

Вали-баба слегка побледнел, выдавая себя, а стоящий рядом Калихан даже закричал:

— Врешь! Нет здесь никакого подкопа. Замок охранялся надежно!

— Тогда, позвольте, я покажу вам незаконченный подкоп, — улыбнулся Мусаев, поняв наконец, в чьи руки попал. О том, что эти люди работали раньше в охране, говорили и их грубые, обветренные руки, и походка, неторопливая и четкая, и знание тюремного распорядка. А главное то, что они правильно сориентировались в пустыне и поймали их, беглецов.

— Прекрасно! — Вали-баба и его товарищи встали. — Показывайте!

12

Услышав за дверьми шаги и видя, что Мусаева ведут куда-то, соучастники его снова застучали тревожно по стенам, да так сильно, что Калихану опять пришлось призвать их к порядку.

Но беглецы умолкли не сразу, видимо, были сильно обеспокоены судьбой Мусаева. "Странные эти мошенники, — подумал Вали-баба, шагая за Мусаевым по коридору замка, — на допросах всячески чернят его, а в камерах стучат, протестуют..."

Мусаев почти наугад остановился возле дверей одного барака, а когда посветили, то оказалось, что это как раз тот самый, четвертый.

— Открывайте.

Калихан выбрал из связки ключ с биркой "4" и отворил дверь. Дохнуло на всех застоявшимся барачным запахом, и Мусаев, кажется, даже испугался, сказал:

— Странно, наши запахи... И, наверное, никогда не выветрятся из-за плохой вентиляции замка.

Барак осветили множеством фонарей, но свет здесь, как и в длинном коридоре, бледнел и исчезал куда-то без пользы.

Беглец отсчитал от двери какое-то количество плит, остановился и показал одну, в правом углу.

— Это здесь...

Четыре человека из команды принялись поднимать тщательно замаскированную, ничем не подозрительную плиту, подняли ее наконец и обнаружили дыру.

— Вот! — показал на свою работу Мусаев. — Кто желает спуститься?

Но ответа не услышал: Вали-баба и товарищи стояли растерянные, чувствуя свое поражение.

Один за другим подходили к яме, наклонялись и освещали ее фонарями, как будто исполняли полный таинства ритуал.

— Тогда разрешите? — Мусаев просунул в дыру ноги, и не успел Калихан остановить его, как беглец прыгнул и скрылся с головой в полумраке.

Сверху направили на него ружье, но беглеца это не смутило, он принялся объяснять, что к чему:

— Как видите, здесь подкоп идет вниз метра на два. Затем сворачивает направо, вроде буквы Г и идет под стеной... Подкоп рассчитан на человека средней упитанности, примерно такого, как вы, гражданин следователь. Кроме того, у беглеца должны быть крепкие легкие, иначе на десятом метре можно задохнуться от паров и потерять сознание...

— Ну, вылезайте! — приказал Вали-баба, чувствуя, что беглец овладел обстановкой, а они слушают растерянные, разинув рты и как бы признаваясь в своем полном бессилии.

Когда Мусаев вылез из ямы, Калихан все же проворчал:

— Не думайте, мы вас и тогда поймали бы.

— Возможно, — ответил беглец, — не спорю. Операцию вы провели отлично.

Вали-баба молчал, обдумывая сказанное беглецом. Да, операцию провели отлично, это даже Мусаев признал. Но и он сам, беглец этот, не лыком шит, достоин восхищения, два подкопа — это же надо уметь!

Вали-баба сильно вырос в собственных глазах, оказавшись более хитрым и настойчивым, чем Мусаев Ведь за такого человека повышают в чине и дают медаль.

— Назовите ваших сообщников, — потребовал он у беглеца.

— Они сидят сейчас в замке.

— Но ведь в бараке были и другие?

— Те, кто видел наше занятие, давно на свободе. Срок их благополучно кончился!

— Но ведь они помогали вам?

— Нет, я не хотел, чтобы они рисковали.

— Молчаливые соучастники?

— Нет, почему же?! Многие даже уговаривали нас не делать подкоп, считая это бесполезным.

— Мудрые люди! Как они оказались правы!

— О, да!

— А вы до сих пор убеждены, что надо было копать?

— Убежден, разумеется...

— Почему?

— Знаете, давайте выйдем из барака. Ведь я могу шмыгнуть в дыру, и вам надо будет много потрудиться, чтобы вытащить меня обратно...

— Уведите! — раздраженно проговорил Вали-баба.

13

Только первые два дня беглецы были возбуждены и проявляли какой-то интерес к жизни. Приглядывались, изучая личности этих странных людей, поймавших их, думали о своих промахах и ошибках во время бегства по пустыне. И о разных разностях.

Но, узнав, кто есть Вали-баба и его товарищи, сразу же потеряли к ним интерес, захандрили от безделья и обыденщины.

После коротких допросов и прогулок все остальное время они лежали, растянувшись на каменном полу, и было им тяжело даже рукой шевельнуть. Лица их, чуть загоревшие во время побега, снова стали серыми, а равнодушные глаза потускнели и ничего уже не выражали.

Здесь, в замке, при относительной свободе и при лучших условиях вдруг почувствовали они себя гораздо хуже, чем при строгом режиме в бараках. И все потому, что лишились главного — работы. Того, что отвлекало их, внося в существование хоть какое-то разнообразие.

Знали они по своему горькому опыту, что даже подневольный труд под палящим солнцем пустыни, сколь тяжким и изнуряющим он бы ни был, все же лучше, чем пустое времяпрепровождение в стенах замка.

А неважный тюремный психолог Вали-баба просто не догадывался обо всем этом, наоборот: полагал, что сделал беглецам добро, освободив их от каждодневной работы.

И был крайне удивлен, когда беглецы, все в один голос, потребовали, чтобы была им предоставлена возможность работать. Иначе, угрожали мошенники, они прибегнут к голодовке.

Вали-баба стал советоваться с Калиханом, не зная, какое дело им, уголовникам, предложить.

Конечно же, самым идеальным было бы послать беглецов на то время, пока они в замке, в бригаду строить мост.

Там, возле села на берегу, вырос уже целый палаточный городок. За то время, пока Вали-баба ловил беглецов, строителей понаехало около сотни, и все приступили к основному — строительству самого моста.

День и ночь шумела и плескалась вода, когда самосвалы сбрасывали на дно реки тяжелые камни, свистел молот, когда забивали сваи... Нет, это очень рискованно посылать туда беглецов — вольные люди сразу обратят на них внимание. А преступников для того и изолируют, чтобы не действовали они разлагающе на тружеников.

— Принести им ведра, пусть замок убирают, — распорядился Вали-баба.

И видел потом, с какой жадностью и как добросовестно подметали и чистили они дворы и коридоры — так же истосковались по работе, как истосковалась команда по службе в сторожевых башнях, хотя была между беглецами и товарищами Вали-бабы большая разница — вольные и подневольные.

Замок убрали быстро, всего за сутки — теперь он опять блестел, словно готовили для приезда комиссии.

Вали-баба же тем временем мучительно думал, что бы им еще предложить сделать полезное.

Его давно тревожил подкоп в бараке, показанный Мусаевым. Кроме того, что незаконченный подкоп в стене делал замок уязвимым, он еще и действовал на Вали-бабу, так сказать, морально. Как напоминание о силе и уме беглецов и о слабости тюремной охраны, допустившей такое безобразие.

Есть, правда, еще одно дело, но, прежде чем начать его, требуется проверить, насколько оно стоящее.

Слышал Вали-баба, что давно, когда основали в замке колонию, приказали строителям покрыть стены трех главных его помещений слоем цемента, замуровать бывшие на них великолепные орнаменты и пейзажи старых мастеров, чтобы придать стенам надлежащий суровый вид.

А что, если сейчас, не дожидаясь приказа, самим снять этот мрачный слой? К старому теперь возврата нет, колония ушла навсегда, значит, ждать больше нечего.

Но задуманное дело очень тонкое, рассудил Вали-баба. Нельзя вот так сразу ломать стены. А вдруг окажется, что разговоры о замурованных пейзажах пустые? Что никаких пейзажей никогда в замке не было? А если были, то их осторожно сняли и увезли куда-нибудь в музей?

Надо посоветоваться с Мусаевым, ведь работа со стенами, глиной и цементом — это по его гражданской специальности. Правда, каждое такое обращение к нему лишь поднимает беглеца в собственных глазах и работает, следовательно, против самого Вали-бабы, но выбора нет. Те двое беглецов просто бестолочь, годятся только на подсобные работы, а к Мусаеву придется идти на поклон.

Вали-баба понимал, сколь всесильными ни были бы они сейчас и как бы ни заставляли беглеца подчиняться законам и правилам, есть, к сожалению, вещи, в которых он чувствует свое превосходство, — значит, никогда нельзя забрать у него полностью свободу.

— Вот вам работа, — сказал Вали-баба, вызвав Мусаева. — Определите, есть ли в трех залах под слоем цемента какие-нибудь рисунки. Но сами стены пока не трогайте. Определите, так сказать... В общем, не мне вас учить, инженера...

— Скажите, сколько мы еще пробудем в замке? — спросил беглец.

— А на что вам знать?

— Нет-нет, боже упаси, речь идет не о том, рыть ли еще один подкоп и бежать. Просто гнетет неопределенность положения...

— Не беспокойтесь, за вами приедут из колонии, — строго прервал его Вали-баба.

Мусаева после разговора повели в первое помещение, где находился служебный кабинет. Было оно овальным, просторным, с двумя нишами, которые служили вешалками для мундиров.

Мусаев постучал по стене в нескольких местах, прислушался, попросил разрешения снять со стены кусочек цемента.

Вали-баба вынул нож и демонстративно подал его беглецу. Тот лишь усмехнулся понимающе и принялся за работу.

— Какой-то дьявольский состав! — сказал он,

снимая со стены крупицы покрытия. — Нужно же было догадаться ухлопать столько цемента! — говорил и тут же прислушивался к эху, какому-то странному, звенящему.

— Теперь вы скажите что-нибудь быстро! — приказал он Вали-бабе.

— Что все это значит? — не понял Вали-баба.

— Спасибо. Достаточно... Вы, наверное, ничего не услышали, ни как исказилось эхо, ни как оно зазвенело, и не поняли потому, как прочно сидит цемент... Ваши догадки о существовании старых орнаментов подтверждаются... Что еще?

— Значит, рисунки есть?

— Кажется, я выразился ясно... Но потребуется умственный, ювелирный труд, чтобы очистить их. Поистине ювелирный труд!

— Вы бы взялись за него? — не приказал, а спросил от растерянности Вали-баба.

— Что за вопрос?! У меня ведь нет права говорить "не буду", хотя, сами понимаете, умственный труд требует соответствующего питания. А вы ведь бедны и можете раскошелиться только на похлебку...

— Прекратите говорить глупости! — махнул рукой Вали-баба, которому уже давно надоела вся эта напряженная обстановка. — Нечего хныкать и жаловаться на судьбу. Сами виноваты.

Покричал на Мусаева, пожурил и ушел.

А тот, глядя ему вслед, подумал:

"Добрый мужик и сердится по-доброму, как отец. Смешной и жуткий..."

14

Работа по расчистке стенных пейзажей действительно оказалась ювелирной.

Кроме того, что верхний слой был очень твердым и его приходилось соскабливать, а не ломать кусками, угнетало еще и полное незнание расположения и размеров самих орнаментов, то есть в руках беглецов не было ни фотографий, ни копий того, что спрятано, а поиски вслепую требовали большого художественного чутья.

Вали-баба удивился тому, как быстро нашел Мусаев способ распознания рисунков под глухим слоем. Распорядился он на каждой стене просверлить по десять — пятнадцать пометок, что-то вроде луночек, чтобы обнажить края росписей.

И когда помощники его коснулись остриями ножей орнамента, Мусаев походил, посмотрел на разноцветные кирпичики, из которых рисунки были сложены, поразмыслил, затем сел, чтобы начертить на бумаге расположение, форму и размеры открытых пейзажей.

— Можете подойти поближе, — пригласил он Вали-бабу. — Вам, жителю села, где стоит замок, хочется, конечно, все знать. Ведь вы удостоились чести жить рядом с национальной гордостью. Так знайте же, росписи, так старательно замазанные цементом, созданы не позднее шестнадцатого века, когда в орнаменте преобладали геометрические фигуры. И следовательно, человеку, изучавшему историю и из простого любопытства посещавшему всякие замки и мечети, не трудно воссоздать благодаря вот этим пометкам на стене точную форму невидимых росписей... А с этими чертежами, — продолжал он объяснять Вали-бабе, — совсем не опасно будет снимать потом верхний слой и показать вам работу старых мастеров неповрежденной, без единой царапины... Прошу прощения, повреждения могли появиться, когда замуровывали росписи, но это, как говорится, не наша с вами вина... Впрочем, зачем гадать. Начнем?

У Вали-бабы было теперь двоякое чувство к этому беглецу. С одной стороны, он восхищался им, хотя и понимал, что восхищаться уголовником непростительно. С другой — он старался одернуть Мусаева, а то и унизить его, ибо видел, что час за часом подавляется его внутренней свободой, а отсюда шаг до малодушия, ротозейства и потери бдительности.

Когда были составлены чертежи, а по ним с большой точностью расчищена часть стены, Вали-баба не выдержал и уединился с Мусаевым, чтобы вести разговор без свидетелей.

— Так за что вы все-таки сидите? — спросил он о том, о чем как-то забывал до сих пор узнать.

— Из любопытства спрашиваете, или..? — язвительно усмехнулся беглец.

Вали-баба взбесился, не выдержал, ударил кулаком по столу:

— По праву! Прошу не рассуждать!

И видел, что Мусаев нисколько не смутился, сказал голосом человека, который сожалеет об этом их разговоре:

— Оставьте свой начальственный тон. Я прекрасно знаю, кто вы и для чего нас держите уже пятые сутки

в замке. Чувствуете вы себя отлично в вашей роли — чего еще надо? А я принес бы вам больше пользы, если бы не отвлекался от работы...

Вали-баба молчал, потеряв разом все аргументы и всю свою прежнюю над ним власть. Кричать и бить кулаками по столу и в самом деле бесполезно.

— Вся ваша слабость в том, — торопился высказаться Мусаев, — что вы и неважный следователь и никудышный судья, а то, чему вы обучены, не годится для общения с людьми.

Вали-бабе ничего больше не оставалось делать. Он встал, чтобы отпустить беглеца, но при этом еще раз подчеркнул:

— Не забывайте, вы уголовник и не вам рассуждать!

Оставшись один, Вали-баба вызвал Калихана и распорядился урезать Мусаеву паек наполовину, чтобы не мнил себя слишком умным...

15

Вали-бабу теперь редко можно было видеть среди товарищей. Он сидел в своем кабинете и ждал. Ждал, что от большой умственной нагрузки и от малого пайка не выдержит Мусаев, надломится его гордыня и явится он к Вали-бабе с опущенной головой. И тогда можно будет простить его и вновь им командовать.

А в большом зале тем временем трое беглецов продолжали свою работу, добросовестно снимая с великолепных росписей старых мастеров чуждый верхний слой.

Мусаев ни с кем не делился тем, как несправедливо поступил Вали-баба, был по-прежнему предельно собран и внимателен.

Он все прекрасно понял, и мелкая месть человека, о котором он еще вчера думал, как о добром и смешном отце, тешила Мусаева и ничуть не злила.

Правда, половинный паек давал о себе знать, и после десятичасовой работы кружилась голова, но ничего не поделаешь, если хочется оставаться самим собой и быть хоть чуточку независимым в этих условиях.

Почти каждый час Вали-баба вызывал Калихана и спрашивал, чем заняты беглецы и в особенности этот щупленький.

— Работают, — докладывал Калихан.

— А ты их подгоняй, чтобы быстрее кончали. Не давай ни минуты отдыха. И следи особенно за этим...

умником. Заметишь малейшее нарушение — наказывай, лишай пайка полностью.

Калихан мрачный возвращался в зал и, сидя на табуретке у входа, не сводил глаз с Мусаева. Следил за каждым его движением, что откуда взял и куда положил и что как сказал. Следил он не скрывая, в упор, но Мусаева это нисколько не смущало, каждый шаг свой он делал обдуманно, а говорил теперь изредка, по крайней необходимости, да и то короткими фразами, ни слова лишнего. Только раз, когда был снят цемент с красивого пейзажа, он забылся и тихо запел.

— Петь нельзя! — тут же прервал его Калихан.

— Это почему же? Петь лирические песни всегда разрешалось в колонии, — возразил Мусаев.

— Запрещено! — повторил Калихан без долгих объяснений.

Мусаев сразу умолк, поняв, что пререкаться бессмысленно, зато двое других беглецов зашумели недовольно.

— Ты тут, дядя, свои законы не устраивай. Везде одни единые законы, — набросились они на Калихана.

Тот встал и молча вышел, чтобы узнать все у Вали-бабы.

— Ну что там? Наказал? — встретил его Вали-баба.

— Пел он. А эти говорят, что петь можно.

— А о чем песня?

— О деревне, родной матери. Говорит, лирическая.

— Ладно, петь можно, — разрешил Вали-баба. — Песня на пользу идет работающему. А что-нибудь другое ты заметил? Из ряда вон выходящее?

— Нет, все дисциплинированно, тихо.

— Ты сделай так, как я скажу. Ты его, Калихан, на какой-нибудь разговор вызови... Ну, к примеру, сядь там и тихо скажи, что я, Вали-баба, деспот, несправедливый человек, и отругай меня хорошенько. А ты, Калихан, не хотел ему паек срезать, сочувствуешь ему. И запоминай, что он в ответ будет говорить. В общем, ты должен сделать так, чтобы наказать его как следует...

— А зачем вся эта хитрость? — засомневался Калихан. — Мы ведь можем просто взять и наказать беглеца любым наказанием. И никто потом в колонии, если они пожалуются, не осудит нас, скажут, действовали мы законно.

— Все верно, Калихан, — терпеливо втолковывал товарищу Вали-баба. — Не осудят... Но одно ты забываешь, мы ведь уже не на штатной службе. Мы просто рядовые граждане, строители моста. А рядовые люди

должны между собой приличия соблюдать. Иначе не жизнь будет, а мука.

— Какие же это люди — уголовники?

— Пусть они не люди, хотя сам видишь, не каждый человек на свободе так мозгами работает, как этот Мусаев. Пусть так. Но зато мы люди, и это грешно забывать.

Услышав все это и удивившись — ведь никогда Вали-баба не говорил с ним на такие темы, когда речь шла об уголовниках, — Калихан ушел в зал продолжать слежку.

— Петь можно, — хмуро сообщил он, садясь на прежнее место.

Но у беглеца уже пропала охота петь, а эти двое, его помощники, поостыли и работали, как и прежде, с большой добросовестностью.

Вали-баба же, вновь оставшись один, думал, правильно ли он сказал все Калихану, что должны они приличие соблюдать в обращении с беглецами-уголовниками.

Здесь опять — с какой стороны подойти к вопросу. Те, кого они поймали и которые ждут сейчас приезда охраны из колонии, действительно обязаны соблюдать все строгие законы, а они, Вали-баба и его товарищи, должны все строить так, чтобы не чувствовали они свободы сверх того, что положено.

Правда, Вали-баба не судья и не имеет права определять меру нового для них наказания за побег, но подчиняться беспрекословно своим охранникам беглецы обязаны.

Но раз Вали-баба не судья и не следователь, значит, не имеет он права превышать свои полномочия и требовать, чтобы беглецы отвечали на его вопросы. И урезать незаконно паек безо всякой веской причины он тоже не имеет права.

Одно дело, когда копается в душе преступника следователь, а совсем другое, когда интересуется им рядовой человек, тут всякие нажимы и строгости исключаются. Все должно быть добровольно, на основе взаимопонимания... И если ты, пользуясь силой, а не правом, урезал паек и без того малый, то покривил душой, поступил против совести. И не думай, что скроешься с грязной совестью, всему свое время, и на все есть свой суд.

Размышления Вали-бабы снова прервал Калихан. Он зашел, чтобы доложить:

— Не поддается, мошенник. Слушает, как я ругаю

вас, молчит. И улыбается, продолжая работу Так мы его не возьмем, хитер больно...

— Отменить слежку И выдавать ему снова полный паек. Но поступать строго, по закону Никаких поблажек! — распорядился теперь Вали-баба

16

К полудню через двое суток все три зала были расчищены, а Вали-баба приглашен на осмотр настенных пейзажей

Войдя в красочный зал, старший караульный был ошеломлен резким контрастом между общим унынием остального замка и яркостью этих трех его главных помещений.

Такое ощущение, что после долгого хождения по пустыне неожиданно попал в тихий, прохладный сад. Вали-баба даже чуть поежился, как бы от резкой перемены климата.

Объяснения давал Мусаев, и говорил он скупо и сдержанно, затаив всегдашнее красноречие.

Впрочем, объяснения его были излишни. И первый и следующие за ним два зала были расписаны небольшими по размерам, несколько однообразными пейзажами, и единственное, что в них подкупало, — это сочетание красок, самых фантастических, например, ярко-красные деревья на фоне зеленой воды, хотя для привычного глаза все должно быть как раз наоборот

Вали-баба из приличия молчал, смутно понимая, что, видимо, все должно быть так, как решили старые мастера. Зато Калихан не выдержал и засомневался насчет цвета деревьев.

— Видите ли, друг мой, — объяснил ему Мусаев, — мастера тем были и велики, что не торопились передать свое первое впечатление от окружающего.. Действительно, все должно быть наоборот, красной — река пустыни, а зелеными деревья. Но если поломать обыденное и не бояться показаться странным, то все выйдет гораздо сложнее, как у этих мастеров.

"Все это прекрасно, — думал Вали-баба, не слушая Мусаева, — справились. Молодцы. Но чем же теперь их занять? Вот горе.. завтра же устроят голодовку. И будут правы"

Единственное, что теперь остается Вали-бабе, — это по-человечески поговорить с Мусаевым, объяснить ему обстановку

Вечером беглец был приведен к Вали-бабе в кабинет.

Он лишь делал удивленные глаза, когда слушал старшего караульного, в душе же давно подозревал, что такой разговор состоится, ибо знал, что, кроме многих других, есть в системе Вали-бабы одна главная брешь, которую необходимо тут же использовать против него самого, а именно — неспособность караульных обеспечить беглецов работой в пределах замка.

Об этом он знал еще в самый первый день, когда их сюда доставили, думал, что все ограничится уборкой замка или еще какими-нибудь мелкими работами на полдня.

О росписях, конечно, не подозревал, потому и растерялся, но ребята справились за два с лишним дня.

— В замке работы больше нет, — сказал Вали-баба. — Я рассчитывал, что человек, посланный в колонию, сегодня к утру вернется, и мы сможем распрощаться. Но, видимо, у него захворала лошадь...

— Да, это не шутка отмахать сто двадцать километров на лошади по пескам, — согласился беглец. — Надо было вашему гонцу проплыть сначала километров двадцать по реке, а там шоссе, можно сесть на автобус до станции. А оттуда уже пять часов езды верхом до колонии.

— Вам легко говорить, — вздохнул Вали-баба, — вы все это знаете. А мы тут живем, отгороженные от мира вот этим замком и рекой. И не знаем, где станция, а где колония... Одним словом, работы больше нет. Прошу объяснить это вашим друзьям...

— Нет, нет, не принуждайте меня! — взмолился беглец. — Я не в силах прийти и сказать им: вас лишили главного в вашей барачной жизни — возможности забыться в работе.

— Тогда как же? Посоветуйте, как найти выход... Поймите, я никогда не думал, что мне придется быть для вас временно всем: и начальником колонии, и следователем. Я всего лишь скромный караульный, — растерянно говорил Вали-баба. — Я не могу полностью заменить вам вашу прежнюю жизнь.

Мусаев призадумался, потом развел руками, как бы сожалея, что Вали-баба действительно не может устроить им прежнюю жизнь в колонии со всеми ее правилами, и тихо, как бы все еще сомневаясь, сказал:

— Тогда, может быть, дать им взамен утраченного нечто другое? Ну, скажем, реже запирать в комнатах, пусть побольше гуляют в замке.

— Что ж, разумно, — быстро согласился Вали-баба, — при условии, конечно, что никто не станет злоупотреблять свободой.

17

Теперь им предоставили возможность почти целыми днями прогуливаться в замке.

Беглецам разрешалось появляться во дворе, на гранитных дорожках между тремя главными помещениями и даже подниматься по железным лестницам на крепостную стену, к сторожевым башням, разумеется, под неусыпным наблюдением караульных.

Снизу, из села, их трудно было разглядеть, и строители до сих пор считали Вали-бабу и его товарищей пропавшими без вести.

Беглецы, а с ними и бдительные дозорные, свободно прогуливались по дорожке крепостной стены, заходили в сторожевые башни, смотрели оттуда во двор замка, на село за рекой, разговаривали подолгу, спорили, обсуждая сказанное как-то Мусаевым.

Беглый инженер, поднявшись впервые наверх, высказал мнение, что замок постепенно, миллиметр за миллиметром, уходит под землю, расшатанный близостью речных вод, и что в будущем, может лет через сто, земля полностью покроет его вместе со сторожевыми башнями.

— Чепуха какая-то! — засомневался Вали-баба, но Мусаев стоял на своем, утверждая, что интуиция инженера, имевшего дело с подпочвенными водами, подсказывает ему гибель этого мрачного сооружения.

— Смещение фундамента я заметил, еще когда копал здесь подкоп, поверьте мне! — спорил Мусаев.

— Но можно ли как-то спасти замок? — спросил озабоченный Вали-баба.

— Можно, конечно, если перенести его далеко в пустыню.

— А как же наше село? Ведь еще отцы наши и деды жили рядом с этим замком...

— Да, обидно, конечно, — согласился Мусаев. — Есть, правда, еще один способ, но он очень трудный и требует миллионных затрат, — это прорыть глубже подпочвенных вод тоннели и залить их железобетоном. Но это, повторяю, слишком расточительно и вряд ли селу вашему разрешат этим заняться.

После этого разговора Вали-баба погрустнел, почувствовав усталость и равнодушие ко всему.

"Да... Вот и замок наш, оказывается, уходит. Теряем мы его", — думал он, понимая, что вместе с замком уходит многое из его жизни, привязанности и привычки, и не только его, но и товарищей, всех жителей Гузара.

Уловив его настроение, Мусаев решил утешить Вали-бабу, сказал, что судя по всему, что делается сейчас вокруг, — тысячу раз справедлив закон обновления: вот замок уходит, а вместо него поставят здесь нефтяные вышки, соорудят мост и целый город, и будут стальные вышки стоять до тех пор, пока не истощится земля, ну, а там взамен родится еще что-то для будущих поколений.

— Верно, большое дело затевается, — согласился Вали-баба, — повезло нашему захолустью.

Так говорили они, не замечая, что лед отчуждения постепенно тает и что проникаются они друг к другу большим доверием.

Видя, что беглецы прогуливаются по крепости и сидят, скрывшись от солнца в сторожевых башнях, забывал порой Вали-баба, что люди эти — подневольные, уголовники, да и думать об этом уже устал, мечтая, чтобы скорее приехали за ними из колонии.

Двое высоких беглецов продолжали злиться и ненавидеть людей Вали-бабы за то, что лишили они их вновь свободы, Мусаев же давно простил их, полагая, что, видно, так суждено, не они, так поймали бы их другие, свои караульные из колонии.

В сущности, думал он, эти люди лишь исполнители, плохо ли это, хорошо ли, но это их жизнь и психология, так их воспитали и обучили, среда влияла, близость колонии-замка.

Вали-бабе по-прежнему не терпелось узнать вину Мусаева, но теперь спросить об этом прямо, приказать, он не решался. Ждал и надеялся, что, может быть, беглец сам разоткровенничается, а если нет, то, что поделаешь, пусть уносит с собой свою тайну в колонию.

Мало ли у людей тайн, и все их невозможно узнать. Разные встречались Вали-бабе люди: одни сами лезут, раскрывая душу, чтобы полегчало, а других надо заставлять говорить, но эти будут рассказывать только то, что им выгодно — не поймешь их...

Так смирился уже почти Вали-баба, и любопытство его притупилось, но надо же было случиться такому: Мусаев неожиданно согласился рассказать ему то, что утаивал и чего нельзя было вытянуть ни наказанием, ни строгостью.

Вначале они посмеялись, когда Мусаев вдруг вспомнил об урезанном пайке.

— Согласитесь, что это была не лучшая мера принуждения, — сказал он Вали-бабе. — Впрочем, откуда вам было знать, что я, подобно верблюду, могу приказать себе питаться самой малостью? И ничего, почти не страдаю.

— Я же, наоборот, люблю поесть, — признался от смущения Вали-баба. — Много мясного и мучного. С перцем и разными приправами.

— Говорят, много — вредно, но я не поэтому ем мало. Умеренная еда обостряет чувства и делает человека жизнеспособным.

— Я как-то не задумывался над этим, — сказал Вали-баба, довольный тем, что неприятный их разговор об урезанном пайке принял столь невинный оборот.

Но Мусаев не думал успокаиваться и тут же напомнил Вали-бабе о другом случае:

— А ваш угрюмый стражник со своей слежкой и наивно проведенной провокацией — это уж совсем смешно и неожиданно!

Вали-баба помрачнел и махнул рукой.

— Ладно, не вспоминайте. Все действительно глупо. Превысил я свои полномочия, совесть запятнал...

— А все из-за желания власть показать.

— Да не столько уж власть, честно говоря. Хотелось мне узнать, что мог натворить такой человек, как вы, — тихо, с какой-то надеждой произнес Вали-баба.

— Ах, любопытство! Никакого злого умысла?

— Никакого, клянусь.

— Тогда слушайте, — просто согласился беглец...

18

— Дело мое выеденного яйца не стоит, — стал рассказывать Мусаев. — Более банального и скучного дела судам никогда прежде не приходилось разбирать, да и вам вся история покажется, наверное, маловероятной.

Был у меня товарищ по институту, тоже инженер, будем условно называть его Васлиев. Инженер он, прямо скажем, никудышный, а больше известен в городе как спортсмен — бегун на дальние дистанции.

Было у меня в тот день неважное настроение. Я отправился в маленький винный погребок, чтобы посидеть там в прохладе возле бочек и пропустить парочку кружек сухого вина.

Сухое вино, как вы знаете, пустяк, если сидеть в прохладном помещении. Но стоит выйти на улицу, на жару, вас может с ума свести...

Так сидел я, боясь выйти на жару Ждал вечера. И надо же было случиться такому: встретил я тут, в погребке, Васлиева, с которым последние пять или шесть лет ни разу не виделся и только следил за его спортивными успехами по газетам.

Зашел он с чемоданчиком, какие носят обычно спортсмены, сел и попросил сухого вина. Был он мрачный, подавленный, как и я, и, встретившись, мы большую часть времени молчали.

— Не можешь ли ты проводить меня? — вдруг спрашивает Васлиев. — Мне что-то не по себе.

— Как видишь, я тоже не очень весел, — говорю я ему полушутя.

— Вот и прекрасно, мы не будем друг другу докучать.

Сказано — сделано. Мы покинули прохладный погребок и вышли на улицу.

Было пять часов вечера — время, когда жара дает себя знать особенно сильно.

Предвечерняя жара, она ведь еще и подавляюще действует на психику. И вот через каких-нибудь десять минут мы настолько потеряли над собой контроль, что стали смеяться громко над всякими пустяками, становясь немного агрессивными.

Так мы оказались на белом пустом стадионе.

Васлиев сел на траву, открыл чемоданчик, и я увидел там несколько серебряных и позолоченных кубков, какие обычно присуждают победителю на крупных соревнованиях.

— Сейчас я покажу тебе, как я бегаю, — сказал Васлиев нервно, поглядывая на эти кубки — Признайся, ты ведь ни разу не видел этого зрелища?

— Ни разу, — признался я. — Я как-то далек от спорта.

Тут он почему-то слишком засуетился, беря из чемоданчика то один, то другой кубок и не зная, на каком остановиться.

Наконец он протянул мне один из кубков и сказал:

— Иди и стой у финиша и держи на вытянутой руке кубок. И жди меня.

Меня все это как-то очень занимало: действительно, почему бы не посмотреть, как он бегает, и не постоять, как судья, на финише с кубком? И секундомер у него был.

Я пошел и стал возле финишной черты с кубком в руке, а Васлиев побежал с другого конца стадиона, решив преодолеть, невзирая на жару, пятьсот метров. Впрочем, интерес мой сразу пропал, стоило мне постоять под солнцем считанные секунды. И то время, пока Васлиев бежал по дорожке стадиона, казалось целой вечностью.

Только потом, на суде, я узнал, что пробежал он свои пятьсот метров за какие-то там секунды и впервые в жизни побил рекорд своего всегдашнего соперника — чемпиона республики Саакова, но, естественно, теперь ему победу никто не засчитал.

Добежав до финиша, он с какой-то злостью выхватил из моих рук кубок и тут же упал на траву, тяжело дыша — выдохся от перенапряжения.

— Черт возьми, — прошептал он, лежа, весь бледный, — всем движет случайность... Чистая случайность.

Назойливое повторение одного и того же слова и вообще все его поведение относил я за счет жары и выпитого сухого вина, а также общей подавленности его настроения.

Сам я тоже чувствовал себя прескверно и предложил Васлиеву пойти в парк искупаться.

— Я, видно, неважно бегал, — сказал он. — Впрочем, не один ты так считаешь...

В парке я купался в озере, а он сидел на берегу на чемоданчике, ни на секунду не расставаясь со своими кубками.

А когда я, немного придя в себя, вышел из воды, то обнаружил Васлиева спящим мирно под грибком.

Я хотел было разбудить его, но вид спящего человека расслабил меня, и я тоже задремал, сидя рядом с приятелем.

Проснулись мы оба одновременно и были уже совсем не пьяны, да и жара спала.

— Мне не хочется возвращаться домой, — грустно сказал приятель.

Я видел, что ему все так же тяжко, и мне ничего не оставалось делать, как пригласить его к себе.

Так совпало, что жена моя с дочерью уехали за город к родственникам и мы были одни в квартире.

И тут же, к своему ужасу, обнаружили, что чемоданчик с кубками потерян, и от волнения и досады мы не можем вспомнить, где его оставили.

Позже, на суде, один из свидетелей утверждал, что, пока я купался, Васлиев выбросил все кубки в воду,

но версия эта не подтвердилась — водолазы, обшарив дно озера, кубков не нашли.

Одним словом, кубков не оказалось, и я бы легко перенес эту потерю, если бы Васлиев вдруг не признался, что кубки были им украдены сегодня утром у знаменитого бегуна, когда тот пришел к ним на какой-то прием.

— Бог праведный! — вырвалось у меня от растерянности. — Да как это ты додумался?!

— Если судить здраво, то кубки эти должны принадлежать мне, — хладнокровно заявил Васлиев.

Мы провели с ним какую-то кошмарную ночь.

По рассказам Васлиева я понял, что он давно уже ненавидит этого спортсмена, следит за каждым его шагом и изучает его со всех сторон.

На последних пяти крупных соревнованиях спортсмен, будем называть его Сааков, всегда оказывался впереди Васлиева, завоевывая первые места и кубки.

В чем же дело?

Изучая физические данные Саакова, методы его тренировки, характер соперника, его выносливость, волю, колебания веса, условия его жизни, быт, его наклонности и даже вникая в такие тонкости его натуры, как наследственность, количество и виды перенесенных им и его родителями болезней и многое другое, Васлиев пришел к выводу, что он, в сущности, почти ничем не уступает Саакову и даже превосходит его по структуре организма, перенесшего на две болезни меньше, чем организм соперника.

Сааков, как говорится, был у него под микроскопом, разложенный полностью, и все же, как правило, он всегда выходил победителем. Везение? Скопление случайностей?

Как быть? Что же такое поломать, чтобы не быть всегда вторым спортсменом?

За день до этого Сааков, прилетевший из столицы, вновь выиграл кубок, а так как он имел странность носить с собой везде свои награды, то оказался с чемоданчиком на дружеском вечере по случаю победы.

Васлиев сидел недалеко от соперника, не сводя глаз с этого злополучного чемоданчика. И когда Сааков на минуту отлучился, приятель мой вышел с чемоданчиком и скрылся, решив таким образом отомстить первому спортсмену республики.

История эта показалась мне в высшей степени неприглядной; хотя я понимал душевные переживания приятеля, он все же упал в моих глазах.

В отличие от судьи я, конечно, не считал его вором.

Мне важно было сейчас понять до конца Васлиева, как понял он когда-то Саакова, отделить в нем доброе от дурного. И убедить его кое в чем, ибо до сих пор считаю, что словом можно делать истинные чудеса, если, конечно, его произносят в добрых целях. Вспомните народную мудрость: "Сначала было слово..."

Я сказал Васлиеву, что всякий человек, желающий достигнуть высот, должен прежде всего избавиться от дурного в себе.

А в приятеле своем я обнаружил много дурного. Во-первых, то, что он называл стремлением честно побить противника, — обыкновенная мелкая зависть и честолюбие — пороки недалеких людей.

И я рассказал Васлиеву все, что думал о его теории случайности. В случайности проявляется закономерность, и исключения для одного человека, тем более спортсмена, побеждавшего его неоднократно, быть не может — это выдумки и самоутешение.

— Тогда почему он впереди? — кричал Васлиев. — Суди и его, если ты честен. Или победителей не судят?!

— Судят, да еще как! Построже, чем вас, побежденных. Только я ведь о нем не знаю.

Так сидел я, говоря ему жестокую правду и желая, чтобы он задумался.

Тем временем рассвело. В дверь постучали — это пришла за нами милиция.

На суде потом выяснилось, что в тот день, когда мы летали с кубками по стадиону, а потом купались мирно в парке, в городе начался ажиотаж. Шутка ли, у знаменитости, у гостя украли средь бела дня победные кубки.

Почти у каждой знаменитости, как вы знаете, особенно у артистов и спортсменов, есть масса поклонников и поклонниц. И слухи, которые они распускали, их негодование — все это сильно повлияло на судью.

Возможно, Васлиев отделался бы годом тюрьмы, а меня и вовсе не посадили бы.

Но со всех сторон раздавались требования судить вора и того, кто его укрывал, со всей строгостью закона. А наша местная газета не удержалась и еще задолго до судебного разбирательства поместила статью, где строчка за строчкой доказывала нашу виновность и тоже требовала от имени спортивной общественности и многочисленных любителей легкой атлетики наказать пьяных хулиганов.

Честно признаться, мне тогда и в голову не прихо-

дило, что я укрываю вора. Передо мной сидел человек, которому, как я, может быть, наивно полагал, надо объяснить многое, что творится в его душе.

Я не знал, что обычно в таких случаях без долгих разглагольствований (это слова судьи) преступника сдают в ближайшее отделение милиции, и делу конец. И что перевоспитанием его займутся потом в исправительно-трудовой колонии люди, которым это поручено по долгу службы.

Каюсь, над всем этим я как-то не думал в ту ночь!

Не знаю, что бы я делал утром, если бы за нами не пришли: может, продолжил бы свои беседы, а может, простился бы с ним, убедившись, что это ему не помогло... Впрочем, помогло бы, я уверен! Не сразу, так через какое-то время. Ведь помогли же вам моя выдержка, мое упрямство, Вали-баба, признать, что и вы были не правы, когда незаконно лишили меня пайка и установили за мной слежку, дабы спровоцировать еще большие осложнения. Помогло же, верно?..

Мне кажется, что мы, люди, очень скоро растеряем все ценное, если будем друг к другу равнодушны. Вы согласны со мной, Вали-баба?..

19

Вали-баба молча встал и долго потом прохаживался по крепостной стене, поглядывая на унылый двор замка.

Да, отношение его к беглецу было теперь новым, более драматическим. Можно ли все рассказанное Мусаевым принять на веру, думал Вали-баба. И можно ли забыть о побеге? Если Мусаев не скрыл чего-нибудь такого, что представило бы его в невыгодном свете, можно прийти к печальному выводу, что с ним поступили сурово.

Тогда как же быть ему, Вали-бабе, если судья все же признал того виновным? Если он не учел истинных, благих намерений Мусаева, когда тот продержал у себя всю ночь спортсмена, укравшего кубки?

Суд велик, и авторитет его работников для Вали-бабы всегда был неоспорим. А как же иначе? Ведь с судом и законом была связана вся его служба в колонии, все долгие тридцать лет жизни.

Он просто не допускал мысли, что судья может принять ошибочное решение и что закон, на который тот опирается, не всегда может учесть всю сложность

человеческой натуры, все понятные и скрытые движения души того, кто сел на скамью подсудимых.

И вдруг Вали-баба сталкивается с человеком, деяние которого, если отнестись формально, можно признать уголовным преступлением, а если же в нем разобраться, заглянув глубоко в душу, можно признать моральным и человечным. Вот какое противоречие! И оно угнетало Вали-бабу.

Но, может, все-таки есть нечто, что скрыл от него Мусаев? — искал утешения Вали-баба. Но тут же думал: а какой ему в этом смысл, беглецу?

Ведь Вали-баба не судья и не начальник колонии, от которого зависит восстановление доброго имени Мусаева; он рядовой человек, просто строитель моста, волей обстоятельств стерегущий Мусаева в замке.

Нет, конечно, он не может рассчитывать ни на снисхождение, ни на помилование, ни на какую другую выгоду — Вали-баба человек неофициальный. И Мусаев это прекрасно знает. "Ведь он долго не делился со мной, — вспоминал Вали-баба. — И рассказал лишь тогда, когда понял, кто я есть. Я простой человек, — внушал самому себе Вали-баба, — я ничего не могу решать. У меня нет ни власти, ни силы отменить приговор... Теперь понятно, почему он с таким упорством рыл эти свои подкопы, зная, что имеет право на свободу... Одержимый, фанатик..."

Но что же ему ответить? Вали-баба знал, что он ждет какого-нибудь ответа, ведь не зря же рассказывал.

"Проклятый день!" — впервые затосковал Вали-баба, вспомнив, как настигли они беглецов на горе.

Казалось, все так просто и не надо ломать голову. Все было просто до этого дня: служба, караулы, ночные игры в домино. И даже мост, даже уход колонии не переживался так остро.

Вали-баба молча подошел к сторожевой башне, где сидел и смотрел на реку Мусаев... Постоял, потоптался на месте.

— Я все думал... Получается, если так подумать, можно сказать, что вы в той истории не виновны, — был ответ Вали-бабы.

Сразу бросилось в глаза, как он побледнел и как испугался собственных слов. И как не в силах был больше выдержать взгляда Мусаева! Повернулся и быстро сошел вниз по лестнице.

С той минуты он заперся в своем кабинете и не выходил больше ни к своим товарищам, ни к беглецам.

Молчаливый по натуре, он еще больше ушел в себя, занятый невеселыми размышлениями.

И Калихан, только Калихан, которого Вали-баба пускал к себе, заметил, как буквально за день старший караульный осунулся и похудел, и лицо его стало серым, как у сидящих в колонии.

— Что случилось? — пытался узнать верный Калихан.

Но Вали-баба всякий раз прогонял его без ответа.

Было похоже на то, что старший из караульных добровольно заточил себя в одиночной камере, в то время как уголовники-беглецы прогуливались на свободе в стенах замка.

Вали-баба теперь просто боялся показываться на глаза Мусаеву. Ведь признав его невиновным, он должен освободить его из-под стражи и отпустить на все четыре стороны. Да, все верно, так надо.

Надо?

А побег, а освобождение уголовников — это как? И даже если освободить — сделать это должен тот, кто признал его виновным, судья — человек официальный, а не Вали-баба.

"Я человек рядовой, — все говорил себе Вали-баба, — у меня нет прав ни осуждать, ни снимать с людей вину. Я строитель моста..." Говоря так, он боялся, однако, поймет ли это Мусаев, — поэтому прятался.

Но Мусаев все понимал. Он слишком хорошо успел узнать, кто есть Вали-баба, на что он может решиться и чего никогда не допустит. Понимал все и ничего не ждал, да и тогда, когда рассказывал, рассказывал просто, чтобы утолить любопытство старшего караульного. И даже не думал, что Вали-баба вдруг поймет его невиновность.

Услышав признание Вали-бабы, он лишь благодарно посмотрел на него, и все. И теперь, даже если Вали-бабе пришло бы в голову из чувства справедливости освободить его, не передавая караульным из колонии, людям официальным, Мусаев все равно не согласился бы принять свободу из рук Вали-бабы. Этим бы он поставил старика в очень трудное положение, но делу не помог бы...

20

В то последнее утро неожиданно налетел ветер. Ясный белый день стал желтым, и солнце как бы растворилось в песчаной туче.

Пустыня, видно, долго терпела, накапливая в себе энергию, но теперь не выдержала, закружилась в вихре, пугая зверье и людей.

У строителей сорвало много палаток, унесло вниз по течению их лодки, а сама река, не успевая поглощать нефтяные пятна с песком, задыхалась и вышла из берегов — только сваи будущего моста остались нетронутыми, видно забитые на совесть.

Разорив многое на берегу, вихрь понесся к замку и первым делом сорвал с крепостной стены мягкий, набухший от весенних дождей слой, оголив камни и норы ящериц.

Залетел в пустые сторожевые башни, поиграл на славу железными прутьями, как играют на органе, а потом засыпал все желтым песком.

Оттуда песок посыпался вниз, во дворы замка, на лестницы и переходы, захлопали и застучали двери и окна, и горячая струя воздуха, залетев через люк и через щели в воротах, подула сквозняком по темным коридорам, выветривая барачный запах.

Вся эта игра природы длилась не более минуты, затем ветер вздохнул где-то в стороне и ушел высоко в небо, забирая у земли самую малость — листья, пух одуванчиков и верблюжью колючку.

И караульные и беглецы пережили все это, спрятавшись в главном помещении замка.

А когда вышли наружу, то не узнали замка. Был он весь какой-то угловатый, оголенный, без четких переходов и линий, засыпанный песком и камнями. Как исчезнувший средневековый город, который успели расчистить только в общих чертах, а детали еще лежали скрытыми от глаз.

— Заставим их убрать замок? — пришел к Вали-бабе с вопросом Калихан.

— Не сейчас, — махнул рукой старший караульный. И, взглянув на серое, пыльное лицо Калихана, дал указание: — Приведи-ка себя в порядок. Сегодня должны прибыть из колонии.

Интуиция не подвела Вали-бабу и на этот раз. Не успели караульные и беглецы почистить одежду, вымыть лицо и руки, как послышался над рекой шум вертолета.

Строители, занятые починкой палаток и рабочего снаряжения, подумали, что это летят к ним из города, чтобы узнать о последствиях сильного вихря. И стали махать касками и кричать, показывая, где удобнее всего приземлиться пилоту.

Но вертолет, пойдя на снижение, полетел дальше к загадочному замку, сделал круг над сторожевыми башнями и опустился во дворе на мягкий песок.

Вали-баба видел из окна, как открылась потом дверца машины и как вышли сначала двое караульных с карабинами, а за ними и сам начальник караульной службы тоже при оружии, с пистолетом.

Удивляясь, начальник поглядывал на пустой двор, на молчаливый замок, не понимая, почему их не встречает Вали-баба. Караульные ходили вокруг него, крадучись и держа карабины наготове.

Начальник, нахмурившись, подозвал одного из них и что-то приказал, видимо, искать Вали-бабу.

Больше всего Вали-бабу сейчас заботило другое: куда делся один из его товарищей, Нури, посланный неделю назад в колонию. Но вот и Нури вылез из вертолета, бледный и шатающийся. Он плохо перенес полет, а теперь сел на песок, чтобы прийти в себя.

Начальник наклонился к нему, видимо приказывая присоединиться к караульному, чтобы начать поиски Вали-бабы, но Нури махнул рукой, не в силах стоять на ногах.

Чтобы не слишком затягивать церемонию передачи беглецов, Вали-баба вышел со своими товарищами во двор.

— Куда же вы пропали, Вали-баба? — Начальник бросился пожимать ему руку. И, всматриваясь в каждого, кто подходил к нему, спрашивал: — А где же эти, уголовники?

Видя, что начальнику не терпится улететь обратно из засыпанного песком замка, Вали-баба приказал Калихану вывести беглецов.

— Все трое здесь? — спросил начальник, вынимая список и читая: — Нуров, Мусаев, Парпиев...

— Все трое, — сказал Вали-баба и отвернулся, посмотрел на сторожевые башни.

Начальник тоже посмотрел на башни, но, увидев, что беглецов выводят из помещения, сказал Вали-бабе:

— Они здесь, Вали-баба, внизу... Сажайте в вертолет, — приказал затем караульным.

А сам засуетился, доставая из чемоданчика коробки с подарками.

— Это вам, — передал коробки Вали-бабе, — десять именных часов. За хорошую службу.

Это был уже пятый подарок, те четыре тоже за хорошую службу. Беглецов тем временем посадили в вертолет и захлопнули за ними дверцу.

— Ну, кажется, все сделал, — остановился начальник, вспоминая. — Беглецов проверил, именные часы передал... Да! — вспомнил он главное и, подойдя к Вали-бабе, дружески взял его за локоть. — Послушайте, Вали-баба, не хотели бы вы вернуться опять в колонию? Я бы взялся ходатайствовать...

Вопрос его, хоть и несколько неожиданный, не застал Вали-бабу врасплох. Он знал, что могут так спросить. И потому ответил не раздумывая:

— Нет, спасибо, начальник. Мы уже строители моста. Со старым покончено... — А сам подумал, что не сможет уже, наверное, быть таким, как прежде, караульным, а служить без особого рвения, без души на такой работе никак нельзя.

— Ну, смотрите! — огорчился начальник. — Для вас в колонии всегда место найдется. Вы караульный что надо!

— Спасибо, — поблагодарил Вали-баба за доверие и, пока начальник шел по песку к вертолету, думал, как бы ему поточнее выразиться, поубедительнее, чтобы не показаться неправым.

Заметив, что Мусаев и двое других беглецов смотрят на них через стекло вертолета, Вали-баба остановился и чуть позже, чем надо было, сказал:

— Начальник, у меня есть просьба. — Вертолет уже зашумел, и остальное Вали-бабе пришлось прокричать: — Мне кажется, начальник, что один из них сидел без вины. Слышите меня?

— Который? — услышал в ответ голос начальника.

— Мусаев. Ученый инженер.

— Разберемся, — пообещал начальник. — Во всем разберемся. Пусть не волнуется.

Довольный своим разговором с начальником, Вали-баба поднялся на лестницу, чтобы лучше видеть, как вертолет взлетает.

Затем бывшие караульные побежали к сторожевым башням, но вертолет поднялся выше башен и замка и полетел в сторону безводной пустыни.

Долго стояли Вали-баба и товарищи возле башни и спустились вниз, когда вертолет с беглецами стал уже невидим для глаз.

— Убрать и почистить замок, — приказал на прощание старший караульный.

А к вечеру, когда замок был чист, команда снова долго шла по темным коридорам, возвращаясь на свою главную теперь службу — к мосту.

Выйдя за ворота, они тщательно, тремя ключами, закрыли их.

Вали-баба оглянулся на замок и вздохнул, как бы желая напоследок насытиться его воздухом, сказал:

— Ну, кажется, все...

Да, все, пусть замок теперь тоже живет своей новой жизнью, а если ему суждено уйти под землю вместе со сторожевыми башнями, что ж, пусть уходит — образ его навсегда останется в памяти...

1969

ВЛАДЕНИЯ

Этот коршун после ночи полнолуния всегда облетал территорию, которая по негласному птичьему закону принадлежала ему. Утомительно длинный перелет от скалы, одиноко торчащей из песка, через пустыню к высохшему сейчас, летом, озеру с деревцем акации на правом сыпучем берегу

Путь туда и обратно длился весь световой день, но, когда жаркий ветер, покружив в вихре над песками, поднимался высоко в небо, коршун не успевал вернуться домой, и тогда приходилось ему ночевать, спрятавшись в кусте саксаула, вздрагивая в страхе от шорохов и блеска упавшей звезды. Коршун был стар и уже не мог пересилить поднявшийся ввысь ветер, махал крыльями, пытаясь уйти в сторону, чтобы обмануть его, но все тщетно. Поток воздуха, плывущий в нижних высотах над пустыней, желтый, со струей легкого песка и листьями одуванчика, плотный, как сама мгла, безо всякого усилия и напряжения трепал птице крылья, и коршун, наглотавшись воздуха, с надутыми боками, отяжелевший, опускался на песок.

Такие перелеты случались раз в месяц после полнолуния, а для каждодневного промысла коршун улетал недалеко от гнезда в скале — всегда удавалось тут, вблизи, полакомиться зазевавшимся сусликом или,

неожиданно спустившись с высот, отнять у ленивого варана шакалью лапу и взлететь обратно, ловко увернувшись от взмаха вараньего хвоста.

А в нестерпимо жаркие дни, когда зверье пустыни уходило далеко под землю, можно было довольствоваться и парочкой каких-нибудь пичужек, измученных жаждой и лежавших в траве с высунутыми языками.

Так жил коршун изо дня в день, а длинный свой перелет он совершал не столько ради пищи или воды, а из беспокойства, не захватил ли кто-нибудь его владения. Зная, что ему принадлежит территория, коршун считал себя полноценной птицей, а отними у него этот путь над пустыней, он, униженный и забытый, сунул бы в тоске клюв в песок и умер...

В последнюю ночь перед полетом, когда луна округлялась и медленно поднималась из-за барханов, какая-то неестественно красная луна, без своего всегдашнего ровного света, от которого хочется зажмурить глаза, бодро и смело поцарапать клювом камни вокруг гнезда, устланного мхом и теплой лисьей шерстью, и тут же полететь на промысел со спокойным хладнокровием, так нужным для охоты, — в последнюю ночь, когда круглая и кажущаяся такой тонкой и воздушной луна, поднявшись немного, застывала справа от скалы, коршун не спал.

Он не мог уснуть не от того, что завтра с утра ему надо было облететь свои владения до самого высохшего озера с одиноким деревцем на сыпучем берегу; просто свет луны беспокоил его, коршун злился, боялся даже своей тени — в таком он был напряжении, — поворачивался, чтобы устроиться поудобнее, но бурый хвост мешал ему, мешали красные, уже туповатые когти на лапах, а сам он, весь черный, отбрасывал в эту ночь такую тень, которая казалась в два раза чернее обычной.

Еще не совсем открывшаяся луна, висящая серпом или уже потерявшая очертания серпа, но еще не полная, а закрытая сбоку, бросала свет без тени на песок ровно и спокойно, казалось, даже медлительный бархан поворачивается так, чтобы от него не падала к подножию тень, и зверек — суслик ли это или песчаная мышь — так пробегал хитро, что не видно было его отражения. Словно свет падал на зверька со всех сторон, зверек купался, наслаждаясь, в свете, и длинный хвост света, сквозь который пробегал суслик, забирал все запахи на шерсть: запахи влажного песка в норе, полыни, которой прикрыт вход, а полынь пахнет

солью, от нее щиплет в носу, а также людским жильем, ибо полынь — это связной между людьми и зверьем, покатится, высохшая, доберется до какой-нибудь деревни, воровато побродит ночью между спящими, забредет туда, где разложен очаг, заглянет в кувшины с маслом и водой, посмотрит на потолок над окном — висит ли мордой вниз высушенная овечья туша? — а потом, довольная, что не побеспокоила людей, увидела их спящими и сытыми, побежит обратно в открытую пустыню к зверью и будоражит их запахом человеческого очага.

Бросится суслик вдогонку за травой-полынью, поймает ее и держит лапами и вдыхает запахи деревни, а не насытится, потянет за собой в нору, чтобы полежать в тревоге на траве, а потом заснуть одурманенным.

Полынь зашевелится, пытаясь вылезти из-под спящего суслика, когда почувствует, как из другого, потайного выхода в нору проник ветер, принес с собой свежесть ночи и капельки влаги где-то стороной пробежавшего дождя, и захочется траве вместе с этим ветром, уносимой им, найти выход из норы, чтобы катиться потом в одиночестве по пустыне. Полынь свернется в комок, как сворачивается она обычно перед мордой какой-нибудь овцы, чтобы та испуганно не дотронулась до травы, приняв ее за песчаного ежа, и попытается освободиться из-под гладкого потного живота суслика. Но едва она сворачивается, идя на хитрость, как суслик, застонав, просыпается и, не успев открыть глаза, ощупывает лапками вокруг себя быстро так и проворно и, убедившись, что лежит все еще на полыни, успокоится и понюхает снова траву, но удовольствия уже не получит, ибо все людские запахи успел унести ветер, пробежавший по норе.

Суслик недовольно поморщится, все, что до этого ему чудилось, покажется лишь обманом, грезами, и даже тот миг, когда трава была поймана и обнюхана со всех сторон, был как будто так давно, в детстве... Теперь уже суслик откроет глаза, потянет еще раз носом, но уже не для того, чтобы почувствовать полынь, а просто чтобы успокоиться, умиротвориться запахами своего жилья.

Но — вот оказия! — нора уже пахнет другим, свежестью, дождем, всем, что принес с собой тот короткий и случайный ветер, пробежавший по подземелью. Видно, шакал, что вечно рыщет, обнюхивая все перед собой, набрел на ветки саксаула, которыми был при-

крыт потайной выход из норы, а суслик, когда закрывал его ночью, испугался тени варана, метнулся, неудачно ступил, поскользнулся и, оставив на острой ветке саксаула клочок шерсти, скрылся в норе, и вот шакал и нашел этот клочок шерсти и сразу понял, что если поднапрячься, терпеливо расширить нору, а потом просунуть морду, то во мраке можно почувствовать вдруг жирное тело суслика в зубах. И шакал разбросал вокруг ветки саксаула и уже хотел было расширить выход, но что-то ему помешало, остановило, должно быть, сама мысль о долгой работе ради минутного удовольствия утомила шакала, и он бросил все и отошел.

А в расширенный выход ворвался поток воздуха, вихрь, вернее, не весь поток, широкий и плотный, а только одна его струйка, изменившая из-за встречного бархана линию полета, ушла в нору, а остальной поток, уже чуть суженный, чуть обессиленный, поплыл дальше, не желая ждать, пока оторвавшаяся струйка, пробежав по всей норе, выбежит из другого выхода, по ту сторону бархана, и присоединится к основному ветру.

Эта струйка ветра, уйдя в нору, поиграла двумя гладкими морскими камнями у самого выхода, ударив их друг о друга, и в темноте даже искра выскочила, родившись между камнями, камни вспотели, став чуть теплее, а дальше ветер уже не бежал, а двигался медленно направо, туда, где в норе было ответвление, что-то вроде маленького амбара. Ветер стал собираться, передняя струйка остановилась, а потом поднялась на стенку из песчаника, чтобы подождать, пока хвост ее тоже не войдет в амбар. И ветру пришлось уплотняться, задыхаться, ибо амбар был тесен, и тогда ветер так собрался в этой тесноте, ища быстрого выхода, что поцарапал стенки амбара; песчаник кое-где обвалился, обнажив корни саксаула, растущего над норой.

Благо амбар был пуст или почти пуст, иначе ветер обвалил бы все, разломав эту часть норы. Только покатилась и прижалась к углу обглоданная кем-то, не сусликом, баранья кость, белая и отполированная, почему-то принесенная сусликом в свой амбар. Может быть, в длинные зимние дни, когда наверху, над песком, слой снега и льда, перемешанный с солью, суслик просто играет этой костью, перекатывая ее из угла в угол, подбрасывает, ловит на лету, держит в равновесии на кончике носа, затем, наклонив чуть, берет в зу

бы, словом, развлекается, а может, делает все это всерьез, чтобы не жить зря зимой, а оттачивать свои навыки, свое умение ловко набрасываться на полевую мышь или на хвост змеи. Потом, весной, летом... Ведь и суслик этот стареет, а чтобы жить дальше, надо оставаться ловким и умелым.

Ветер загнал эту баранью кость в угол, а потом еще и приналег, и половина кости медленно ушла в стену амбара.

Потом в амбаре стало свободнее, когда ветер начал выползать, а когда вылез, собрался у входа, а затем побежал дальше по норе, стенки амбара слегка заколебались, принимая свои первоначальные очертания, и кость снова медленно вылезла из стенки и, покатившись, упала в ямочку и застыла там, ибо песок, который давил сверху, вытолкнул кость обратно, и, как воспоминание о ворвавшемся сюда ветре, да и то короткое, недолгое, остались на стене капли влаги, дождя, которые принес с собой ветер и, уплотнившись, оставил.

Нора суслика коротка, так, метров пять со всеми ответвлениями и переходами, а дальше еще два или три пробега ветра по широкому месту норы, где суслик прогуливается — тут пусто и чисто, нечто вроде залы, — затем столовая со множеством ямок — в них суслик закапывает несъедобные остатки пищи, — и вот спальня, где суслик лежал на полыни и мимо него к выходу помчался ветер, забрав с собой все запахи.

В беспокойстве суслик поднялся, и вот тут-то полынь в последней надежде помчаться прочь из норы, ухватившись за хвост ветра, зашевелилась, но была снова поймана сусликом. Суслик взял траву зубами, запрыгал в залу, где прогуливался он после еды, и, встав на задние лапы, ловко так подпрыгнул и повесил траву на острый камень, выступающий из песчаника, рядом с другими пучками полыни, пойманными ранее, но теперь уже мертвыми, не благоухающими. Повесил в надежде, что они снова запахнут, а может, просто как украшение тусклых стен.

Теперь уже полынь никогда не полетит вниз, ей надо свернуться, успокоиться и высохнуть до основания и остаться так, как собственный скелет.

Траву может вынести отсюда лишь поток дождя. Набухшая, она будет бежать вместе с водой из низины в низину по пустыне, пока вода не спадет, а траву не засыплет песок.

Суслики боятся дождя. Весной, а нередко и летом,

в такое время, как сейчас, льет короткий, но обильный дождь, вмиг наполняет озера, быстро всасывается в песок, проникая в норы и выгоняя зверье из жилья. И так же быстро потом дождь проходит, вода испаряется, поднимаясь тяжелым облаком над пустыней, облаком не плотным, а из слоев, между которыми просвечивает воздух в лучах солнца; слои облаков спускаются друг к другу, нагретый воздух между ними лопается — звук глухой и нестрашный, — облака разрываются и бросают на прощание на землю несколько крупных капель уже не дождя, а воды, но вода эта, не дойдя до песка, испаряется.

Суслик, встревоженный запахами дождя, но наверняка знающий, что дождя над его норой нет, все же решается из осторожности проверить, и еще его беспокоит ветер, проникший в нору, значит, кто-то расковырял запасной выход.

Суслик решает вылезти в ночь полнолуния, и едва он высовывается из норы, как длинная полоска света, вобрав в себя запахи зверька, те запахи, что остались на его теле от полыни, несет их к скале, где мучается в бессоннице коршун.

Свет, принесший запах полыни, согрел коршуна; приятное ощущение лени охватило птицу, и в этот миг она уже уснула бы наконец, если бы не почувствовала, что скоро утро и ей придется облетать свою территорию.

В узкой расселине, где скрывалось гнездо коршуна, запах травы, перемешанный с запахом людского жилья, задержался и долго не выветривался. Здесь, среди чистых камней, тщательно и навсегда вымытых ручьем, что некогда стекал со скалы, запах этот отстоялся, выкристаллизовался и все чуждое и постороннее спряталось, осело в слое мха: запах норы суслика, амбара, где влага, не имея возможности испариться, уйти глубже или рассосаться, превратилась в дурно пахнущую смолу. Этот запах ушел, и остался букет из полыни, одуванчика, белые воздушные шарики которого, сотканные так искусно и незатейливо, катила с собой полынь, когда перебегала от бархана к бархану, возвращаясь из деревни, и еще запаха двух-трех лепестков прошлогоднего тюльпана, цветка, столь нежного и хрупкого, что, разбуженный утром солнцем, к вечеру он уже стелется по песку, принимая окраску верблюжьей колючки.

Весь этот запах снял с коршуна нервную бессонницу, нагнанную полной луной, и лень — это состояние

существ спокойных и умиротворенных, как бы погладил крылья птицы.

Она прижала к телу свои крылья, так много причинявшие неудобства, и опустила хвост, вздохнула, готовая теперь пролежать так до утра, до первых лучей солнца.

Хорошо бы, конечно, уснуть и набраться сил перед столь длительным и утомительным осмотром своей территории, но тем ненавистно птице полнолуние, что оно нагоняет беспокойство, страх, и все это, казалось бы, беспричинно, без повода, ибо после каждого облета коршун возвращается целым и невредимым.

Почему нужно лететь так далеко именно после ночи полнолуния? Здесь снова в силе негласный закон птиц, и само полнолуние не играет в этом особой роли. Просто так повелось издавна, стало как сигнал, как зов.

Полети коршун на осмотр в любой другой день месяца, он парил бы над своей территорией с большим усердием, легкостью и желанием, ибо был бы он отдохнувшим и выспавшимся, а не суетливым и беспокойным.

Но все же, думается, в дне отлета после полнолуния есть какой-то большой смысл, в него невозможно проникнуть умом. Инстинкт повелевает коршуну лететь именно в этот день, ибо чувствует птица, что всякий раз после полнолуния что-то меняется в пустыне и на ее территории. А на территории, которая в чем-то изменилась, надо все проверить, измерить всю меру нового, понять, на пользу ли это новое, облегчает ли оно существование или же, наоборот, затрудняет его. И, хотя за один короткий облет всего не оценишь — тем более, изменения происходят столь часто от полнолуния к полнолунию, — все же коршун пытается если не оценить, то, во всяком случае, привыкнуть к этим изменениям, чтобы во время охоты не сделать неверного шага в новых условиях и не попасть впросак.

Если он осматривает всю свою территорию из конца в конец только раз в месяц, охватывая взглядом заодно и всю ширину пространства, то изо дня в день ему приходится облетать какую-то ее часть, а эта часть, пусть даже малая, тоже может в чем-то меняться после полнолуния.

Но уже рассветало. Того самого мига, когда ночное небо приоткрылось, коршун не поймал, он все же не выдержал и уснул с открытыми глазами, так неожи-

данно задремал, одурманенный запахами, что не успел сжать веки. Впрочем, оно и лучше, что с открытыми глазами. В скале сейчас не все спят, кое-кто и бродит по мокрым от росы камням. Могла какая-нибудь самка приблизиться к нему и, чтобы снять беспокойство, просунуть клюв в его крыло безо всякого желания, равнодушно, просто ощутить запах теплого тела и снова отойти к себе в гнездо, пройдя спереди и заглянув коршуну в глаза — в темноте его желтые зрачки блеснули бы на нее отблеском понимания и сочувствия, и благодарная самка решила бы, что он тоже не спит.

Рассвет в пустыне приходит медленно, и, если не разглядеть в небе тот миг, когда в нем прочерчивается слабая, еле заметная черта между ночью и рассветом, можно долго не чувствовать приближения утра. Об уходе ночи коршун догадывается лишь по короткой прохладе, похожей на чье-то влажное дыхание рядом, — это роса ложится на песок и камни, ложится и сразу же нагревается и снова начинает улетать, превратившись в легкий туман.

Но коршун не всегда чувствует прилет росы. Обычно он спит в это мгновение и только, съежившись чуть во сне, прижмет плотнее крылья к телу и наклонит голову к теплым камням в гнезде.

Ночью в полнолуние все залито неестественным холодным светом, от света этого не шевелится трава, и птенцы не растут в яйцах, и много старых птиц и зверья умирает в эту ночь — нет роста и приобретений, зато много потерь в пустыне.

Потом, ближе к рассвету, свет этот ослабевает, и те, кто остался жить, чувствуют смутное облегчение, а трава осторожно, на ощупь, все еще не доверяясь этому свету, выпрямляет свои корни в земле, чтобы с приходом утра продолжать расти и наверстывать зря прожитую ночь.

Но вот наступает миг, когда свет вдруг меняет свою окраску, его столько же вокруг, видимость осталась такой же, только свет этот теперь не матовый, а сероватый, естественный и таким он останется, не ослабевая, до самого утра, а утром все кругом зальет желтый свет — дневной свет пустыни. И в ту самую секунду, когда матовый свет полнолуния посереет, прилетает на землю роса, будто матовым свет был от росы на небе.

Но и тут, на песке и камнях, жизнь росы коротка. Едва она коснется земли, как превращается сразу от тепла просто во влажный слой — это может быть пот

на камнях или следы дождя, не успевшего высохнуть и оттого пахнущего водорослями.

Роса, чистая и прозрачная, пахнущая высотами мироздания, где летает звездная пыль, живет только в полете, от матового света до песка — вот отрезок короткой, но поистине поэтической жизни!

Туман, оставшись после росы, поспешно уходит в расселины скал, в заросли саксаула, в норы песчаных зайцев, мышей и будит их влажным запахом, напоминая о близком дне. И после тумана все вокруг становится чистым и зримым, взгляд уже видит дальше и зорче и не утомляется от долгого созерцания пустыни.

Туман как бы забирает с собой легкие струйки песка, что держатся до рассвета в воздухе и не могут ни улететь, ни лечь на камни и травы, уносит он с собой и дымку — песчаная осока, сгорая днем от солнца, дымит незаметно; он такой легкий и воздушный, этот дым, что днем, при свете солнца, совсем не виден и только ночью собирается над песками красноватым облачком. И туман все разом смахивает с лица пустыни торопливым, но усталым жестом...

Туман уползает, но утро еще не наступило. Еще серый одинаковый свет, но не лунный, сотворяющий кругом замысловатые тени, а свет, как бы проникающий во все, просачивающийся сквозь барханы, заросли и скалы и оттого не оставляющий теней и своих отпечатков, спокойный, умиротворяющий. Едва хвостики тумана исчезают в норах и трещинах камней, чтобы, уплотнившись там, затвердеть и превратиться в пятна ярко-красной, голубой и желтой краски, проносится по пустыне следом легкий ветерок. Всегда кажется, что каждодневный на рассвете ветерок, теплый и солоноватый, прогоняет туман, а без его появления туман прожил бы еще немного, до первых лучей солнца.

Солнце уже вышло, но еще не видно из-за желтого воздуха пустыни. Его увидят, когда первые лучи коснутся песка и плавно так, со звоном лягут, превратившись в сплошной, новый уже, белый свет. А пока лучи его тянутся к земле, холод в высших сферах, через которые эти лучи пробиваются, спускается все ниже и ниже, самая подвижная его струя первой достигает земли — от нее и получается роса, — а плотный последний слой холода, спустившись потом, когда уже роса успела превратиться в туман, легко соприкасается с теплом камней и песка, оставшегося после ухода тумана, и от тепла земли и холода высших сфер и рождается этот легкий ветерок.

А это значит, что уже пришло наконец утро в пустыню. Ветер покачнет травы, зарябит песок, сорвет пух и перья со скал, словом, ударит в неслышный колокол дня.

Еще до прихода ветра коршун, спавший с открытыми глазами, безо всякого усилия, перехода от сна к пробуждению увидел наступление рассвета.

Все еще не вылезая из гнезда, не потягиваясь, не расправляя тела и крыльев, он просто смотрел. Тот самый суслик, что был разбужен запахом влаги, давно уже возился возле запасного выхода своей норы, собирая разбросанный саксаул. Взяв стебелек передними лапками и держа его меж коротеньких когтей, он важно и нелепо шел на задних лапках к выходу, чтобы прикрыть его.

Коршун уже давно хотел полакомиться соседом, чья нора находилась на подвластной ему территории. Но суслик днем, когда коршун охотился, почти не вылезал из норы, а ночью, когда суслик промышлял, коршун спал. И видел его коршун только изредка, вот в такие бессонные ночи или перед самым рассветом, когда суслик что-то поправлял у себя возле норы, что-то расширял или переделывал, был занят строительством.

Но рассвет — не время охоты. Тело тяжелое после сна, крылья помяты. Прежде чем начать охоту, надо сделать хотя бы несколько кругов над скалой, чтобы размяться, но суслик уже успевает заметить коршуна и вернуться в свою спальню.

Закрыв потайной выход саксаулом, суслик стал теперь на передние лапы, а задними лапами расковырял песок и насыпал слой его на стебли, чтобы место это не бросалось в глаза, и побежал к входу в нору, и коршун с сожалением посмотрел ему вслед, на жирные его ножки и вздутые от сытости бока.

По легкому треску вокруг скалы коршун понял, что лучи солнца уже обильным потоком достигли песков — это корочка соли, охладев за ночь и затвердев, лопалась от тепла. Коршун поднялся наконец на ноги и, подойдя к краю гнезда, выглянул наружу из расселины.

Заметил он сразу, что в пустыне уже началась работа. Первыми, как всегда, начинают ее жуки-скарабеи. Видно, парочка степных антилоп — джейранов, животных, которых коршун встречает теперь уже так редко, помчалась на рассвете далеко на водопой и где-то здесь рядом оставила после себя переваренную за

ночь траву — навоз. Скарабеи, толкая друг друга в черные бока и спины, ловко разрезали навоз зубцами на голове и сразу же начинали работать пилочками ног, лепя шарики и откатывая их каждый в свою сторону.

Черные гладкие спины их отливали на солнце синим светом. Свет этот резал коршуну глаза, и он часто жмурился, чтобы отдохнуть. Никакой свет так не утомляет взгляда коршуна, как синий, глаза его, привыкшие к желтому — цвету песка и белому — от больших соляных наростов на песке, так редко видят синий — небо в пустыне серовато-желтого цвета, — что он непривычно отталкивает взор, гасит его блеск.

В те короткие мгновения, когда коршун открывал глаза и наблюдал за скарабеями, он видел среди них обман и воровство. Стоит какому-нибудь жуку подтолкнуть своими зубцами шарик на верхушку барханчика, как шарик оказывается ловко отнятым у него другим притаившимся в песке скарабеем. И тот, кто с таким искусством сотворил шарик, лишь удивленно смотрит по сторонам, не понимая, в чем дело. Наклоняется вниз — не скатился ли шарик обратно, — клешня его от удивления вытягивается, а потом резко разрезает воздух от злости, когда он видит, что зеленый его шарик, цвета невидимых травных былинок, смешанных с песком, по которому катил он его усердно, попал в чужие клешни. А тот, плутоватый, уже пустился прочь с бархана, и преследовать его бессмысленно.

Терпеливее всех простодушные сизифы — жуки чуть меньше скарабеев по размеру, зато с другим преимуществом перед ними — у сизифов длиннее передние ноги, они могут скакать и проворно убегать от преследования.

Сизифы сейчас тоже катят свои шарики, но не отнимают их друг у друга. Бесцеремонно, без всякого напряжения и хитрости отбирают у них шарики скарабеи — подползают к сизифам, вонзают свою клешню в шарик и, подняв над головой, уходят, не прячась. И сизифу приходится снова делать свой шарик и спокойно толкать его передними ногами, пока скарабей не отберет у него пищу. И так может продолжаться до тех пор, пока сизиф не утомится и не поскачет в сторону без шарика — он, как и другой жук, хрущ, может вообще долго не есть.

Зато надо всем, что здесь суетится, обманывает друг друга — скарабеями, сизифами, полевыми мышами, снующими с рассвета от куста к кусту, над всей мелкой живностью, — висит смертоносный клюв кор-

шуна. Они — как его подданные, ибо живут на его территории. Нужно лишь усилие и чуточку сноровки..

Но пора! После скарабеев на добычу выходят коршуны.

Коршун вылез из расселины и прыгнул на камень, что висел над гнездом, прикрывая его от дождя, и подставил лучам солнца свои желтые ноги. Влажные, они сразу высохли, и коршун почувствовал их упругими, готовыми для прыганья по скользкой скале и к полету. Затем солнечное тепло побежало к его животу, лучи сквозь жесткие перья и пух проникли к коже, что-то вроде маленького сквозняка потеребило перья, поласкало птице крылья, сложенные в два сложных изгиба, крылья выпрямились, коршун поднял их и похлопал ими над спиной, затем хвост разом затвердел и чуть приподнялся на уровень спины, но не выше, продолжая коричневую ровную линию от шеи через все тело к копчику.

Дольше всего высыхал ночной пот на голой, в складках шее и на черной, без единой пушинки голове Голова и шея коршуна были покрыты жирной кожей, солнечные лучи сняли первый лоснящийся слой, но голова все продолжала потеть. И от такого каждодневного закаливания, от крапинок пота, высыхающих под солнцем и снова выступающих на коже, голова и шея, эти, казалось бы, самые незащищенные, но вместе с тем самые крепкие места, были покрыты таким блестящим слоем жира, что, затвердев, он образовывал перламутровую защиту.

Коршун почувствовал, как голова и все тело стали легкими, гибкими, и он несколько раз прыгнул на месте, ощущая в себе готовность достойно прожить грядущий день.

Правда, сегодня, в день самого длинного перелета, коршун должен соблюдать нечто вроде поста, ничего не брать в рот, кроме нескольких зерен дикого боярышника, если они обнаружатся, и раза два утолить жажду: один раз перед полетом, другой — в конце цели, у высохшего озера. (Птицы мистически верят в этот пост, обещающий им удачу в перелете, если не будет пролита кровь, и еще воздержание очищает их от яда, накопленного в беспокойную ночь полнолуния.) И хотя коршун не намерен сегодня никого убивать, все же приятно, прожив двадцать с лишним лет, под старость чувствовать себя таким бодрым и жизнеспособным.

Попрыгав на одном месте, коршун прищурился и

посмотрел с высоты скалы на пески, над ними уже шевелилась дымкой жара. День начинался жаркий. Сразу, без переходов, без четких границ между прохладой, теплом и жарой.

Не увидев ничего опасного для себя (в пустыне ничто не грозит коршуну, но все равно инстинкт повелевает быть осмотрительным), коршун пошел по скале дальше от гнезда.

Эта одинокая скала, торчащая из песка, была продолжением какого-то очень древнего горного хребта. Возможно, далеко за горизонтом, куда вела отсюда невидимая линия, гора снова поднималась ввысь, через желтовато-серый воздух низших сфер к высшим, где плотно, упруго и неподвижно висит голубой эфир, но коршун об этом не знал — там уже была не его территория. И на западе от скалы, за противоположным горизонтом, горы эти могли снова подниматься из-под земли к облакам, прохладные и снежные.

Но это всего лишь догадки. И подтверждают их камни, приросшие к песку; их не так много, этих камней, обвалившихся горных цепей, но, если лететь над ними и запоминать их взглядом и проводить мысленно линии от россыпей к россыпям, лежащим на довольно большом расстоянии друг от друга, можно догадаться, что от скалы этой прямые пути к горам.

Но коршун ни разу не улетал так далеко для осмотра. Хотя и принадлежала ему обширная территория для охоты, все же имела она четкие границы, нарушать которые он не имел права. И поэтому познания коршуна ограничивались лишь опытом, который приобрел он, осматривая свою территорию.

Скала, по которой шел коршун, имела форму огромного гриба. Основание из песчаника, но столь усердно выветренного, что больше уже ни одна песчинка не слетала с него.

Ветер может работать над формой скал только до какого-то времени. Пока песчаник медленно и незаметно уносится ветром, дождь и солнце, и особенно соляные пары, работают сообща против ветра. Ветер разрушает скалу быстрее, чем они ее укрепляют, но вот сила ветра начинает ослабевать, а сила дождя, солнца и соляных паров удваивается — это когда скала становится наконец тонкой, превращаясь в столб, и ветер посылает в ее сторону силы во много раз больше, чем нужно для того, чтобы свалить столб. Ветер приближается и, навалившись на него, почти не чувствует сопротивления и уходит, чтобы наброситься на заросли

саксаула вдали. Ветки саксаула гнутся к земле, прикрывая потревоженное зверье, а потом, выпрямившись, смотрят вслед ветру, который, наглотавшись песка, уходит, слабый, в норы.

Сверху эта скала прикрыта гранитной шапкой — ветер, кружась в вихре от основания скалы до ее вершины, как по движению штопора, обвалил с шапки все углы и со временем округлил гранит.

Ветер, танцующий волчок, принесет с собой песок, посыплет к подножию скалы, затем покружится вокруг столба, оставляя на скале влажные следы, поднимется потом на верхушку, побегает по кругу шапки — шапка тоже вспотеет ненадолго, — полетит серым вихрем к небу, разматываясь и уменьшаясь постепенно, и где-то, уже на черте видимости, подберет он тонкий свой хвост и растворится, превратившись в беспокойный и подвижный слой воздуха, из которого потом снова рождаются ветры и воздушные течения.

Скала была вся в глубоких трещинах — в них и свили себе гнезда птицы, — и, прыгая из трещины в трещину, коршун поднимался наверх, как по лестнице. Песчаник возле нижних расселин был покрыт красными пятнами окаменевшего мха, в них поселилась колония мелких жучков, они вели там понятную только их разуму работу — перегрызали волоски, бывшие некогда стебельками мха, уносили на расстояние бега в полсекунды и складывали там кучкой. Коршун опустил клюв в мох, но жучки в суете не заметили его. Зато коршун скосил глаза, полюбовался на свой, ставший красным клюв и запрыгал дальше.

Железная пудра на песке у подножия скалы, смешанная с солью, была поднята ветром и рассыпана на мох; со временем она окрасилась в красный цвет от слабых соков этого растения, в котором, пожалуй, в равной доле столько же от камней, от растений и от животных, ибо мох — это основа сущего в пустыне. От него и развились потом, отделившись, три ветки — песок, травы и кустарники, а также птицы и зверье.

Коршун, поднимаясь все выше, прыгнул наконец к расселине, возле которой мелькнуло у него смутное воспоминание.

В расселине в своем гнезде сидела самка, и едва она увидела нашего коршуна, как выглянула и открыла клюв в знак покорности. Не в нетерпеливой гримасе, когда открытый клюв выдает желание получить от пришельца ласку — при этом клюв поднят выше линии головы, — а с застывшим взором, со зрачками,

моментально изменившими свой цвет, ставшими из темно-желтых прозрачными, бесцветными и глубокими. Открытый нешироко клюв самка опустила, и коршун постоял и в знак памяти провел окрашенным клювом по ее шее и запрыгал дальше.

Этот коршун не был однолюбом и не жил ни с одной своей самкой больше одного раза после кровавой птичьей свадьбы.

Весной, после меланхолии и спячки, когда крупные и частые дожди и ливни изменяли ненадолго облик пустыни, — вся она зеленела, но не сразу, а через плавные переходы других цветов: красноватого вначале, цвета окаменевшего мха, затем густо-желтого, отливающего синим, а уж потом зеленого, но не плотно-зеленого, а пока еще с оттенком бурого, чтобы потом уже бурый, выгоревший цвет, цвет трав пустыни, разлитый на песке надолго, до самого сезона буранов, перешел в цвет весны, — вот тогда и начинались птичьи свадьбы.

Трава и нежаркое солнце, писк песчаной мыши и зов кулика, стрекотание саранчи, терпкий запах полыни и цветущей верблюжьей колючки, нижний, всегда стелющийся над песками ветер, слабым движением рисующий на своем пути замысловатую рябь, — вот атмосфера пробуждения, освобождения от зимнего плена, холода и неуюта, вся тихая и скромная игра природы, скрытую энергию которой некому пока разбудить... Ведь иной случайный весенний буран мог повалить большой лес, а здесь он только проснется, попробует разбежаться, но тут же гаснет при виде ровного пространства до самого горизонта, где нет бурану ни преград, ни сопротивления, и тогда буран вздохнет, срежет безо всякого усилия мокрую верхушку ближайшего бархана и уйдет слабой дымкой к небу. Уйдет, поняв, что сейчас время для малых энергий, энергий птиц и зверей.

Коршун прыгает по траве, утром еще мягкой и влажной, а уже к вечеру жесткой, шуршащей под ногами, находит маковые зерна, не успевшие прорасти за короткий срок весны, и, одурманенный, начинает петь. Скоро коршун будет ронять свое старое оперение, медленно, перо за пером, чтобы была у него всегда боевая форма, а это освобождение, ощущение перемены вместе с опьянением от зерен, вернее, ощущение потери, чувство ущемленности возбуждает в нем для внутреннего равновесия агрессивность, желание побед.

Самка перед свадьбой, как наряженная невеста,

сидит на скале, самец кружится, распевая воинственную песню, и самке отсюда виден каждый поворот его крыла. Песня для постороннего слуха вовсе не мелодичная, с двумя-тремя нехитрыми тонами: короткий свист, когда коршун вбирает в себя глоток воздуха, затем шелканье клювом и довольно длинное и грозное урчание, когда самец выпускает из себя нагретый воздух, — вот и весь боевой клич. Но другой коршун, который, должно быть, внимательно слушает, различает в скудных звуках длиннейший монолог о доблести.

Выслушав все это, наш коршун отвечает сопернику не менее длинным монологом, затем взлетает и заманивает соперника ближе к скале, чтобы самка рассмотрела все подробности их предстоящего поединка.

Дерутся они потом в мрачном молчании. Не делая передышек и ни на секунду не садясь на скалу — касание ногами чего-нибудь твердого противник расценил бы как мольбу о милосердии, а самка, равнодушно взирающая на все это, — как признак малодушия.

Противники сражаются все время в воздухе и до тех пор, пока один из них, окровавленный, не падает на горячий песок. Первые минуты они как бы делают разминку, прикрыв одним крылом голову и голую шею — наиболее ранимые, но вместе с тем наиболее трудноуязвимые места, описывают круги, ударяя друг друга неожиданно затвердевшими хвостами, затем кто-нибудь из противников, кому хочется скорее начать собственно поединок, по ровной и короткой линии, начертанной взглядом, достигает шеи соперника и вонзает туда клюв, крепко сжатый для точного и сильного удара.

Это как бы сигнал для обеих сторон — есть момент посягательства и момент ответа. И тот, на кого посягнули, успевает ухватить своим клювом клюв врага и как можно дольше не выпускает его, и вот две птицы, продолжая махать крыльями, повисают в воздухе в вертикальном положении, хвостами вниз, царапают грудь соперника когтями. Каждая из сторон теряет по нескольку перьев, но исход поединка еще не решен, ибо все идет на равных.

Эта близость друг к другу не дает им возможности хоть как-то разнообразить средства боя, ибо от частого махания крыльями они запутываются, крыло одной птицы оказывается в объятиях крыла другой, и так обе они как бы соединяются в комок вздрагивающих перьев.

Прощупав силу и слабость противника, соперники потом разъединяются, чтобы сделать несколько кругов над скалой — вид ждущей самки укрепляет их дух. В этом полете кто-нибудь из противников еще и потеряет не сразу упавшее, но уже ослабленное в своих связях перо из крыла. Длинное крепкое перо летит вниз так медленно, описывая неполные круги, что соперник, излсвчившись, успевает схватить его на лету, чтобы бросить сверху к ногам сидящей самки как доказательство близкой своей победы.

После этой небольшой разминки, когда в ход пущены пока только когти, голова и голая шея летающих коршунов начинают отливать на солнце синеватым цветом от обильного пота. Высыхая, пот этот на желтом густом фоне воздуха окрашивает все вокруг птицы испарениями различных оттенков. Но полутона эти так переменчивы, так неуловимы для напряженного долгого взгляда, что можно подумать, что этот невидимый ореол, окружающий в момент боя тело коршуна, наверное, и есть его душа.

Ведь когда решается, кто самый сильный, самый здоровый из этих двоих и кто завоюет право продолжить род, самая большая здесь ставка не тело, а душа, дух, и вот поэтому-то и летают коршуны в окружении своего ореола.

Но пора продолжить схватку! Самка как будто вдохновила их, когда они, каждый в своей орбите, кружились над скалой, и вот на мгновение коршуны замерли в воздухе безо всякого движения, прижав к бокам крылья, как будто собрались камнем броситься вниз, и со всей силой своей страсти ударились телами, их отбросило друг от друга, но они снова собрались с духсм и, вытянув шеи и неся перед собой клювы, как кривые сабли, снова сразились.

Стороннему наблюдателю могло казаться, что теперь поединок их ведется безо всяких правил, хаотично, словно соперники потеряли самообладание и будто кто-то третий, кто направлял их бой, спутал все карты: самцы бросались друг на друга, часто не достигая цели, приближались, но в какой-то миг пролетали мимо, не задев противника. Но смотрящему со стороны не были видны особые правила их боя и в каждом движении свой расчет. Даже в тот момент, когда казалось, что коршуны пролетали мимо друг друга, кто-нибудь из них все равно успевал ранить соперника, а целились они только в голову или шею.

Но вот конец, бесславный для одного из самцов:

наш коршун упал сверху на спину противника, вонзил ему когти в бока и несколько раз ударил тяжелым клювом по его голове, а затем отпустил, но соперник, оглушенный, все держался в его когтях, и победителю пришлось оттолкнуть его от себя хвостом. Соперник стал падать вниз на заросли саксаула, согнутый дугой, будто выщипывал он клювом собственный редкий хвост.

Наш коршун недолго покружился над зарослями, чтобы увидеть, как побежденный упал и стебли закрыли его израненное тело, а сам затем, утомленный, опустился на скалу рядом с самкой.

Равнодушная доселе самка вдруг нахохлилась, вскрикнула и похлопала над головой крыльями — запах крови побежденного на клюве нашего коршуна возбудил в ней страсть и нежность, какое-то смутное воспоминание и желание долгой любви, что мерещилась ей теперь. Но коршун наш не обещал ей любви долгой, и, хотя настоящее пиршество только начиналось и самка готова была выслушать его песню любви, он угрюмо пригласил ее к себе в расселину повелительным движением хвоста.

Казалось, что теперь он должен будет выполнить лишь свой долг, обременительный и утомляющий, главным для него в свадьбе было другое — доказать в схватке с соперником свою силу. Он словно понимал: то, что будет отдано ему потом, слишком ничтожно, там, в воздухе, получая удары справа и слева, он надеялся, что плата за победу будет иной, равной самой жизни или смерти.

Но плата все равно была равной усилию, ведь коршун продолжал род, а значит, давал птичьему миру новые жизни, отняв у нее взамен одну — жизнь соперника. Впрочем, побежденный не всегда умирал от ран, иным удавалось выжить, лежа в кустах и слизывая кровь с шеи, но позор был столь велик, что только смерть могла их умиротворить, ведь потеряли они право продолжить птичий род, а значит, и право на собственную жизнь.

Наш коршун не был однолюбом, после свадьбы он еще был заботлив и нежен, когда самка сидела на яйцах, но вот птенцы вырастали и заявляли о своем праве на собственную территорию, и, когда завоевывали ее, он уходил и жил один.

Так каждую весну устраивал он новые кровавые свадьбы, и победы помогали ему чувствовать себя хозяином своей территории.

Но коршун уже стареет, еще одна-две схватки в воздухе, и он поймет, что в пустыне, на той ее части, где стоит скала, появились более сильные особи.

Часто поэтому его охватывает страх, и утешает себя коршун тем, что, когда придет новая весна и он отвоюет еще одну самку, он останется с ней до конца, не уйдет, не покинет, будет жить с постылой самкой, ибо не избавится от чувства, что плата все же низка за доблесть. Но что делать, таков закон птичьего мира, и надо его признать...

А пока он идет, прыгая от расселины к расселине и всюду встречая знакомые головы самок, некогда сыгравших с ним свадьбу, и все они покорно опускают вниз клювы, как бы понимая, что не смогли дать ему взамен доблести нечто большее — только птенцов.

Но все птенцы уже улетели. Жить в скале стало тесно, а коршуны могут селиться только в скалах или в большой роще далеко отсюда — весь род коршуна и улетел к этой роще, чтобы основать там свои территории.

Остались пока только те два маленьких коршуна, что появились этой весной, и вот к ним-то и торопился перед отлетом наш коршун.

Чем выше поднимался он по скале, тем чаще видел клювы сородичей, выглядывающих из своих гнезд. В просторных расселинах жили только старые коршуны, такие, как наш, те, кто успел захватить себе территорию давно, когда скала эта только обживалась. Молодые же птицы довольствуются верхними ярусами и теснотой, и оттого, что им часто приходится видеть друг друга и дышать в лицо соседа, когда все выходят отдыхать на площадку, они устраивают нередко беспричинные драки.

Два маленьких коршуна жили на самом верху скалы в гнезде, которое устроил им наш коршун, теснились в одной узкой расселине под самой шапкой, и, как только коршун показался возле их гнезда, они в беспокойстве засуетились, царапая когтями песчаник, как бы укоряя отца за то, что он покинул их, не позаботившись об их будущей жизни, а они, еще не обученные воевать за свою собственную территорию и за новое, более просторное гнездо, должны приобретать нужный им опыт жизни сами, без учебы и воспитания, в то время как другие отцы живут с детьми, вместе вылетают на охоту, а возвратясь домой, в гнездо, молодые коршуны встречают ласку матери.

Коршун терпеливо выслушал ворчание своих детей,

затем не больно, так, усмиряя, ударил их клювом по шеям и, почувствовав, что эти последние из его рода уже вполне готовы для самостоятельной жизни, отошел от их гнезда, но они все продолжали выглядывать и протягивать к нему клювы...

Уже надо было улетать, вся эта церемония обхода скалы заняла у коршуна много времени, поэтому он торопливо пролез в трещину на шапке скалы и очутился на самом верху ровной гранитной площадки, всегда чисто вымытой дождями, без единой песчинки, но уже так нагретой солнцем, что коршун невольно поднялся на кончики когтей, чтобы не обжечь пятачки подошв на ногах.

Утренняя жара уже сменилась долгим дневным зноем. Зной — это совсем не то, что жара, и это чувствует каждый коршун. В жару дышать труднее, ибо в воздухе еще кружатся частицы влаги, ее отдают небу травы и песок, жаркий воздух, еще густой и тихий, и поэтому все утро слышны в пустыне звуки, голоса птиц и шуршание песков — влага собирает эти звуки и посылает вокруг.

Но вот все, что могли унести с собой лучи солнца, отдано пустыней, вся влага камней, кустарников и трав, и теперь царствует зной — сухой воздух, состоящий только из собственных звуков, видимые потоки его самой причудливой формы, сталкиваясь друг с другом, потрескивают искорками электричества.

Коршун смотрел на пески и ждал, желая увидеть, как поднимется вверх столб воздуха, из которого образуется ветер, что дует прямо в небо, поймать этот столб, пустившись вдогонку, и, поддерживаемый этим нижним ветром, подняться на нужную высоту и полететь над своей территорией, ибо путь долог и надо беречь силы.

Ждать пришлось недолго. Зарябил песок у подножия скалы, чуть прилегла жухлая трава, и понял коршун, что от сквозняков, что кружатся вокруг скалы, рождается незаметно столб. Мелко рубленная лучами солнца трава поползла со всех сторон туда, где должен был собираться ветер, увлекла за собой песчаную пудру с матовыми блестками слюды, смешалась с желтыми крапинками металла — золота, — и вся эта цветная масса сжалась в один комок, раздался звук, напоминающий вздох, и более тяжелые песчинки, подтолкнув этот комок, подбросили его в воздух, и тут родился столбовой ветер.

Метрах в двух от земли комок этот лопнул, но без-

звучно, и стал уменьшаться, удлиняясь и поднимаясь к небу. Коршун постоял, пока верхушка столба не поднялась к вершине скалы, а когда он почувствовал вокруг себя легкое дуновение — это столб, взлетая на неподвижный нижний слой воздуха, разрывал его, — коршун оторвал ноги от скалы, два взмаха крылом, и ветер, идущий столбом к небу, взял его в объятия.

Коршун прижал к животу ноги и раскрыл крылья на всю длину взмаха и так неподвижно, отдавшись полностью во власть столбового ветра, удалялся все выше от земли.

В первое мгновение он почувствовал, как частицы травы и песка, из которых состоял этот ветер, щекочут ноздри и слепят глаза, но потом все прошло, забылось от чудесного ощущения легкости полета, редких минут, когда коршун как бы неподвижно парил в воздухе, но его медленно несло вверх.

Столб, поднимаясь, описывал вытянутые круги над землей, и при каждом обороте вместе с ветром коршун поднимался еще на полметра, но, когда круг замыкался, птицу слегка опускало вниз, и тогда коршун чувствовал, как на мгновение задерживается у него дыхание, обогревая грудь, и как потом все проходит, приводя птицу в легкое волнение.

Столб поднимался ровный, не уводя коршуна в сторону от скалы, и, раскачиваясь и купаясь в волнах воздуха, коршун любил смотреть вниз на хвост ветра, который нес его ввысь. Хвост этот, отогнувшись чуть в сторону, пышный, подсвечивался снизу, с земли, и от движения частичек трав и желтых крупинок золота все время менял цвет, вобрав в себя такое сложное сочетание цветов, что был похож на сухую пустынную радугу.

Но, сколь бы заманчивым и приятным ни было это путешествие, пора выходить из воздушного столба. Посмотрев на землю, коршун понял, что подниматься выше ему не следует, иначе не сможет при полете разглядывать свою территорию. Коршун взмахнул крыльями и безо всякого усилия легко вышел вперед из воздушного столба, а столб, коснувшись его жарким хвостом, полетел дальше.

Теперь коршун летел, работая крыльями, и под ним простиралась огромная его территория. Была она обширной вовсе не потому, что коршун пользовался перед другими своими собратьями особыми привилегиями. Просто в этой части пустыни коршунов было мало, все они помещались на одной скале, и каждой

птице доставалось большое пространство, длиной в полдня полета.

У территории, над которой властвовал коршун, были и другие хозяева из птиц и зверья, но каждый из них, как и коршун, считал себя единственным хозяином, не замечая особей из других родов: лисиц, песчаных волков, пустынных крокодилов — варанов, даже суслик и саксаульная сойка имели свою территорию внутри владения коршуна, зато, скажем, беркут, венчающий царство пустынных хищников, имел еще большую вотчину, чем наш коршун, так что владения коршуна были всего лишь частью его территории.

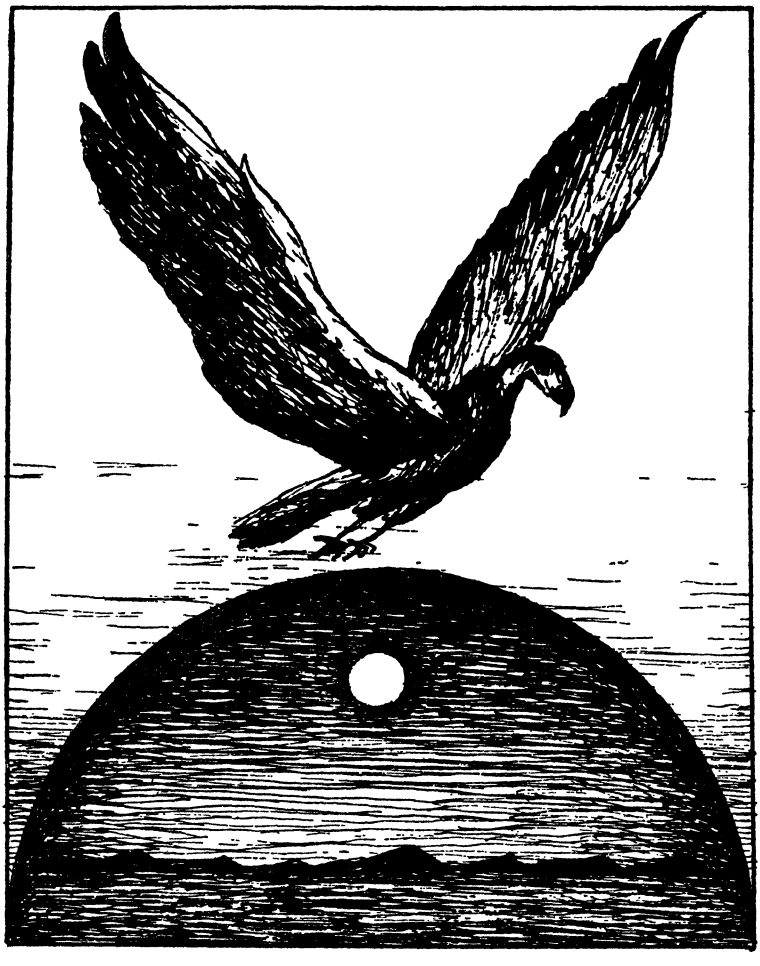
Но каждый из них по-разному жил на одной и той же территории, в разное время осматривая ее, и то, что интересовало горлицу, могло быть вовсе не замеченным лисицей или зайцем, и такое множество хозяев было не помехой, а жизненной необходимостью, ибо каждый из них охотился за другим: коршун за зайцем, суслик за полевой мышью.

Врагов не было только у беркута и коршуна, никто не охотился за ними, и только этих двух хищников можно и назвать подлинными хозяевами территории, хозяевами деликатными, не мешающими друг другу, негласно распределившими роли в пустыне.

Коршун летел медленно, чтобы сберечь силы для обратного полета. Эта часть владения была знакома ему по каждодневным вылетам на охоту, поэтому коршун не напрягал зрение и равнодушный взгляд его скользил по поверхности земли, не останавливаясь на деталях.

Множество других воздушных столбов, рождаясь в песках, поднималось с высоты, но коршун успевал перелететь над ними раньше, чем ветры началом своим касались его ног. Увидев столб, который тянулся на его пути, коршун, чтобы не попасть в его круговорот, замедлял полет, останавливался и висел в воздухе, паря, до тех пор, пока хвост столба не уплывал выше уровня его взгляда.

И здесь ночь полнолуния оставила на песке следы своей работы. Замечал коршун, что с момента его последнего осмотра — позавчера — два знакомых бархана, окруженных белыми озерцами соли, потревоженных притяжением земли, сдвинулись и край большого так врезался в бок соседа, что верхушка его осыпалась и вместо острого пика на верхушке темнела сейчас ровная круглая пробоина, как кратер. На месте ушедшего в сторону большого бархана обнажились но-



ры, и встревоженное зверье — суслики и зайцы — спешно вырыло себе новые ходы в жилища, но, беспокойное и суетливое от лунного света, сделало множество ошибок и неверных шагов, поэтому вся площадь вокруг этих двух согнанных с места барханов была перекопана, соленая кромка на песке поцарапана, а сам песок взрыхлен и собран в холмики; теперь, если родится даже маленький ветер, подлетев к этому месту, он найдет себе сопротивление и родит силу, и сила эта, подняв холмики песка, превратится в буран, правда, в не очень крепкий, но достаточный,

чтобы соединиться где-то поблизости с другим ветром, со столбом воздуха, и по пескам побегут, находя друг друга, один буран сильнее другого, и так до тех пор, пока по всей пустыне не поднимется песчаный вихрь.

Зорким взглядом своим коршун следил, куда побежали по взрыхленному песку лисицы и как низко летела над землей, ища куколки бабочек, славка. Воздух, который она разрезала взмахами крылышек, оставил на песке незамысловатый рисунок.

В обычные свои охотничьи вылеты коршун парил над каждым кустарником или зарослями, высматривая жертву, описывая круги, спускался ниже потолка полета, чтобы разглядеть норы вокруг бархана. Сегодня же, в день воздержания, он летел прямо и неутомимо и поворотами головы вправо-влево охватывал взглядом всю ширину территории внутри тех невидимых линий, где кончались границы.

Сейчас коршуну было важно одно — проверить, не захватил ли в его отсутствие другой коршун его владения, какой-нибудь пришелец, прогнанный со своей территории, который в поисках чужой залетел в этот район пустыни и свил себе гнездо где-нибудь в роще из саксаула.

Летая до сих пор легко и не чувствуя сопротивления, коршун попал теперь в такой слой воздуха, что казалось ему, будто тонет он в чем-то вязком. Это было пространство плотного воздуха, который, как нечто чужеродное в воздушном пространстве, висит и не рассасывается, втянув в себя и отпечатав шарики из пуха одуванчиков, перья, лисью шерсть и мягкие длинные жгутики песка.

Солнечные лучи, застревая в этом воздухе, освещают перья и пух многослойным светом, плотный воздух поэтому отбрасывает вниз тень, но тень эта не доходит до земли; под ней движется горячий поток живого воздуха, и такое ощущение, что поток уносит тень в сторону, унесет, а через мгновение на том же месте возникает новая тень, и ее снова уносит в сторону.

Коршун расправил крылья, повисел немного внутри этого плотного воздуха, передохнул, затем, сделав усилие, полетел вперед и снова почувствовал легкость от движущегося навстречу ветра.

Высоко, чуть выше потолка полета коршуна, плывут воздушные течения. И на той границе, где жаркое и прохладное течения могут встретиться и, смешавшись друг с другом, родить бурю, и висит этот плотный

воздух. Оба эти течения, расширяя себе пространство, давят на воздух и уплотняют его, а оторванные от их краев пух и песчинки висят в нем до тех пор, пока буран или гроза не ударит в плотный столб и не унесет с собой этот пустынный сор.

Над этой частью пустыни плывут маленькие течения, и путь их часто переменчив. Надо просто случайно попасть в течение, и, если оно пролетает над территорией коршуна, птица может поймать его и вместе с ним нестись по воздуху, не тратя сил, до самого озера.

Какая-то работа велась на подвластной коршуну территории. Хищник задержал взгляд над редкими зарослями тамариска и увидел, как множество жучков-мусорщиков бегает вокруг трупа песчаника — серого зайца с черными пятнами на боку и на кончике хвоста.

По привычке коршун повис в воздухе и выпустил когти, и жучки, заметив его тень на песке, засуетились, стараясь побыстрее насытиться. Старый, умерший собственной смертью заяц имел особый запах, и коршун чувствовал его с высоты парения.

Видно, песчаник, не желая доставлять хлопот тем особям, что жили с ним в одной норе, в ночь полнолуния ушел в пустыню и скакал там навстречу смерти.

Жучки бежали за ним, чувствуя по странному поведению зайца, что пришел его конец, и, когда заяц упал, не успев добежать до этих зарослей, мусорщики весь остаток ночи просидели возле него, чтобы после первых лучей солнца приступить к утренней трапезе.

Мусорщики знали, что не успеют они начать пиршество, как над ними закружится коршун, который тоже любит питаться падалью. Запустив когти в тело зайца, унесет его ввысь, чтобы прямо в воздухе начать и завершить свой завтрак.

Видел коршун, как быстро и ловко толкают они головами песок, чтобы засыпать мертвого зайца, спрятать от беркутов и коршунов, а самим прождать до сумерек в зарослях, чтобы ночью, когда хищники не летают, продолжить пиршество.

Коршун зло поскрежетал клювом, но более сильный инстинкт — инстинкт воздержания — не позволил ему спуститься вниз, чтобы унести добычу.

Редко удавалось ему заметить на своей территории падаль, и сегодня, как назло, был тот случай, когда можно было бы полакомиться, не делая никаких усилий, готовым, получить просто подарок природы, не отдавая ей взамен ничего. Впрочем, и жучки эти, и сам коршун были любимыми детьми природы. Не

будь они мусорщиками, гниющая под солнцем падаль несла бы вместе с ветром от горизонта к горизонту болезни...

Коршун полетел дальше, понимая, что труп зайца, если не будет он быстро засыпан песком, достанется беркуту, который вылетел, должно быть, на осмотр своей территории чуть позже коршуна, а сейчас взмахами больших крыльев догоняет его.

На том пространстве пустыни, где коршун обычно жмурил глаза и пытался не смотреть вниз, сейчас увидел он ровную серую линию, а когда присмотрелся, понял, что блестящий, как лед, слой соли — дно бывшего озера — треснул и показался ржавый песок.

Видно, в этом месте в ночь полнолуния легкое землетрясение разделило соляную площадь надвое, песок, к которому приросла корка соли, отодвинулся и сполз в овраг, засыпав норы степных волков, что любят селиться в оврагах.

В пустыне обнажилась линия песка между солью, появилось новое пространство, территория, и ее сразу же захватил суслик. Холмик, что рос на глазах, был свидетельством того, что зверек сейчас вовсю работал задними лапками, углубляя нору.

Коршун запомнил это место и полетел дальше. И услышал над собой тонкий и длинный, как луч, свист и шорох крыльев. Но прежде чем услышать, как разрезает птица воздух, увидел он внизу, как чья-то тень догоняет его тень, пригляделся и понял, что приближается к нему беркут. Коршун поспешил посмотреть вверх, чтобы выразить беркуту свое почтение, а беркут глянул на него со своей высоты и в ответ помахал приветственно крыльями и, тяжелый, с сытыми боками, продолжил свой полет.

Одарил его коршун вниманием не столько из почтения, сколько из желания понять, схватил ли беркут по дороге ту самую падаль, что по праву первого принадлежала ему, коршуну. Тяжелый, напряженный взмах крыла и еще не уложенный хохолок на затылке беркута, который при виде жертвы твердеет, поднимается и держится до тех пор, пока птица чувствует внутри себя вкус чужой крови, уличали беркута в слабости, жадности и чревоугодии, потому что и он должен был сегодня соблюдать пост.

Но беркут этот еще так мало прожил на свете, что часто нарушал птичьи законы, только старые птицы знают цену каждого запрета, сколь бы неприятным и мучительным он ни был. Впрочем, и коршун наш на

своем веку множество раз нарушал всякие запреты — уходил от самок, не дожидаясь, пока птенцы его подрастут и завоюют себе территорию для существования, и даже питался в день воздержания, когда, как сегодня, видел, что жертва дается ему совсем даром.

Вот сейчас, поглядывая вслед беркуту, он пожалел, что не полакомился мертвым зайцем сам, ведь запрет, нарушенный на его глазах, не такой уж и запрет, а просто тягостный предрассудок. И не так часто приходится наедаться вдоволь в пустыне, даже в самые хорошие годы, когда природа щедра травами и водой и в своем сложном круговороте успевает накормить одной этой травой длинную и сложную лестницу существ, на самой нижней ступеньке которой — бабочки и травоядные жучки, а на верхней, последней — беркут и коршун.

Жадность вдруг сжала все его существо, лететь стало труднее, крылья стали сухими и неприятно шуршали. Шелест их был слышен даже внизу, и горлица, летевшая в одиночестве по прямой, чуть выше песков, и вся дрожавшая от лучей солнца, испуганно залетела в кустарник.

Треск сухих веток возбудил в коршуне желание замедлить полет и как бы в отместку беркуту, завладевшему его добычей, ринуться вниз и, прежде чем горлица выберется из кустарника, пустить в ее серое тело когти и увлечь ее с собой в высоты, но хищник удержался от такого соблазна и продолжил облет территории.

Все, на что он смотрел с высоты, было унылым и однообразным — почти ровная долина, кое-где перерезанная холмиками барханов, большие пятна соли вокруг барханов, мешающие им передвигаться. Остановленные здесь надолго и взятые в плен солью, барханы эти медленно превращались в окаменелости.

У подножия неподвижных барханов выросли и отцвели кустики кандыма — разновидности гигантского мха. Высохнув, тонкие его безлистые ветки полегли и поползли по песку, но ветер собрал их, спутал, и отсюда, с высоты, щетинистые, были похожи они на ежей.

Целая колония скарабеев уже поселилась в кустарнике, и, когда тихий ветер срывал и сбрасывал на землю пушистые плоды кандыма, скарабеи бросались вдогонку за этими шариками, но, поймав их и обнюхав, сконфуженно отходили в сторону.

Уже и паук связал ветки кандыма своей паутиной

и терпеливо ждал, когда какая-нибудь бабочка, выглянув из-под камня и испугавшись зноя, залетит к нему и запутается.

Но вот бугорки кандыма зашевелились и прижались к земле, скарабеи, довольные, распустили немощные крылышки, и коршун понял, что дохнуло на них прохладой и решили они просушить свои крылышки невидимым ветром. Слабая тень поплыла над землей ровной и широкой лентой, и коршун почувствовал, что где-то здесь, совсем недалеко, движется по небу воздушное течение.

Доселе плотное, течение это, видно, утончилось и раздалось в ширину, нагревшись на солнце, и края его достигли территории, над которой пролетал хищник.

Коршун заволновался, но не стал менять линию полета, а ждал, пока течение полностью не войдет на его территорию, тогда можно будет броситься к нему в поток.

Расчет коршуна оказался верным, вскоре он почувствовал, как какая-то сила тянет его чуть в сторону, в свою сферу, манит и сбивает с пути. Это воздушное течение прямым своим краем медленно приближалось к птице, и коршун, чтобы не почувствовать неприятного толчка от его удара, сам нырнул чуть в сторону, как пловец в воду, и прохлада обдала его всего, потрепав перья и кончик хвоста.

Справившись с легким головокружением от плотной массы воздуха, которая, приняв инородное тело, слегка разорвалась и отошла ручейками в сторону, уступая коршуну место, птица расправила крылья, вытянув их и опустив на уровень своего тела, и, ведомая плавно течением, полетела сама над территорией.

Течение, в которое попал коршун, оказалось прохладным и было как подарок за воздержание, за смирение, что помогло птице справиться с желанием и не притронуться к зайцу

Правда, было течение намного прохладнее остального воздуха пустыни, но коршун хорошо чувствовал эту разницу, казалось, будто он второй раз за год возвращается в весну, такую же короткую и мимолетную, как в марте.

Коршун не знал, сколь широко раскинулось над пустыней это течение, боялся, что, если попытается измерить его ширину, может заблудиться и попасть на чужую территорию. Зато коршуну нравилось подниматься вверх, рассекая крыльями толщу течения, а

потом нырять в его глубины, к земле, и, хотя ни потолок течения, ни его глубину он так и не смог измерить, боясь сбиться с пути, все равно получал редкое удовольствие, ибо движения эти были похожи на плавание рыб в водах океана.

Слабый инстинкт, оставшийся у птицы от своих предков — обитателей моря, пробуждался в эти минуты у коршуна, навевая легкую, ничем не объяснимую грусть.

Так долго купался он, стремительно поднимаясь ввысь, а затем ныряя в глубины со сложенными крыльями и вытянутой вперед шеей.

Лучи солнца, самые слабые и короткие из них, не пробившиеся сквозь течение, гнулись и ложились полосками на воздух, и коршун, опьянев от игр, ловил их клювом, чтобы проглотить и почувствовать чужой, нездешний запах, запах водорослей и моря.

Ведь воздух этот был ответвлением огромного течения, что плывет всегда над одной и той же землей, над городами, лесами и деревнями, неутомимо, не меняя избранного пути, летит к океану и спускается потом радугой, ныряет в воду, оставив после себя брызги, и плывет, превратившись в морское течение, а потом снова улетает в воздух, отряхнувшись на берегу и оросив все дождем; и так вечно в одном круговороте: пока начало течения догоняет свой хвост над землей, тело его плывет по морю, и так эти два полукруга сменяются — когда один в воде, другой в воздухе, течение связывает землю, оба его полушария, всех живущих — рыб и коршунов, лесных зверей со зверями песков, — связывает больше, нежели просто сходством повадок или прошлого общего происхождения, но — судьбой.

Порезвившись вдоволь, коршун снова застыл в неподвижной позе над землей, и тень его, плавно ползущая по ровному песку, спускающаяся в овраги, чтобы затеряться на мгновение, а потом поднимающаяся на верхушки барханов, была свидетелем движения птицы.

Сам коршун не чувствовал ничего, только изредка поправлял линию полета поворотом хвоста, ибо знал, что течение пытается увести его в сторону.

Боялся он только одного: как бы из этого течения не родилась буря, редкая летом, но, может, оттого и свирепая. Почувствовав начало вихря, надо будет спуститься вниз и спрятаться где-нибудь в овраге, не то буря может унести его далеко, на чужую территорию. И хотя бурю легче переждать здесь, в высотах, ку-

да доходят лишь слабые волны песка, поднятого ветром, страх быть замеченным другим коршуном на его территории и изгнанным с позором столь велик, что коршун обычно прячется все же на земле — тут есть риск быть засыпанным или израненным только от собственного слабодушия или неловкости, и отважная птица предпочитает бороться с ветром внизу, чем в воздухе с другим коршуном, святость территории которого он нарушил, и вина не позволяет ему ответить по достоинству.

Прохладное течение, плывя в глубь пустыни, нагревается, но не все течение, а лишь та лента его, что над жаркой землей. Нагретая, она тянет за собой в пустыню прохладную свою часть, и вот в какой-то момент, пролетая над пространством, где сильно притяжение от засыпанных руд, теплый воздух замедляет свой полет, и тогда прохладная полоса течения наваливается на теплую со всего разбега, возмущенный воздух спускается стремительно вниз от нарушенного равновесия полета, тут навстречу ему поднимается столбовой ветер нижних слоев земли — и рождается буря. Так быстро и стремительно, что почти невозможно поймать начало ее рождения.

Пожар охватывает всю пустыню, но дымится не огонь, а песок, поднятый со своих твердых привычных мест, песчинки трутся в воздухе и, превратившись в пудру, насыщают эфир от низин до высот.

Солнце краснеет и не греет, теряет лучи по пути к земле, ложатся они на границе поднятого песка, как на крышу, осветив ее. И если коршуну, застигнутому врасплох бурей, удается подняться выше ее потолка, крыша эта кажется такой причудливой: тут стелются и кусты тальника, оторванные от земли, и кандым, и фиолетовые засушенные цветы акаций, и какой-нибудь зазевавшийся суслик, не успевший спрятаться в норе, поднятый на высоту, барахтается на этой крыше, хочет почувствовать что-то твердое под собой, но, растерянный, остается висеть на линии бури.

Но вот крыша начинает понижаться, плоскость ее опускается сначала медленно, затем все быстрее, и суслик уже не висит в привычной своей позе, прижав передние лапки к животу, а описывает круги, падая на землю, значит, буря ослабела, уходит.

Пролетев поначалу ровно и широко над землей, она где-то далеко, ударившись о горы, собрала всю себя в ущелье и снова ушла в родную стихию — что-то

лопнуло в небе, выстрелило, и ослабевший буран, превращенный в обыкновенный ветер, вторгается в воздушное течение и, растворившись в нем, плывет дальше, успокоенный.

Буря может длиться совсем недолго, но после нее в любое время дня и ночи наступает такая тишина в пустыне, благостная, усталая, что даже сверчок боится потревожить уснувшие звуки.

Все, что разучила для себя земля, всю длинную симфонию звуков, которую она хотела исполнить ночью, во время охоты сов, варанов и змей, и на рассвете, когда начинают промысел коршуны, зайцы и черепахи, все разом проиграл буран, перемешал все ноты. И после отлета бури земля пребывает в глубокой тишине, ловя новые звуки для новой гармонии.

Эта тишина как бы царствует для того, чтобы можно было разглядеть другое лицо пустыни после бурана, не отвлекаясь, сосредоточить взгляд.

Впрочем, взгляд быстро привыкает к тому, что овраг рядом засыпан — целая саксауловая роща переместилась и закрыла его, а бархан сбросил на ветки свою верхушку и остался один, как сирота, а о тех двух, что стояли рядом, напоминает рябь на песке. Пустыня имеет так много лиц, что к этому новому ее лицу привыкаешь скоро.

Сейчас оно одноцветное, серое, без белых пятен сухих соляных озер. Буря пронеслась не только над пустынной частью земли, из крестьянских полей принесла она сюда пудру глины, листья и стебельки злаков и бахчевых. Глина задержалась на соляных озерцах, и стебельки, вырванные с корнями, тщетно пытаются выпрямиться в слое своей земли и расти дальше.

Коршун всегда опускается и обнюхивает эти незнакомые листья, пытается пожевать их, и запах человека, чье поле буран разорил, будоражит его и теплит грудь.

Коршун еще раз поправил полосу своего полета и увидел границу территории — озеро с одинокой акацией на правом берегу. Заметил он, что и здесь пустыня изменилась после ночи полнолуния.

Весной, когда коршун прилетал сюда, акация стояла, открытая всем ветрам и течениям, опустив свои плакучие ветки, в скромном фиолетовом наряде; птица садилась на деревце передохнуть перед обратным полетом и склевывала сочные цветы, утоляя жажду.

Бабочки собирали с цветов душистый запах и,

не успев донести его на своих крыльях до соседних зарослей, теряли по пути. Дурманный запах этот прилетал обратно к акации и собирался вокруг дерева синим цветом.

Сейчас акация была в плену бархана и только верхушка ее выглядывала из песка, чтобы жадно дышать. Видно, небольшая буря пробежала по этим местам, стеля песок и собирая его возле дерева и строя бархан. Но нехитрое это строение еще не было закончено ветром, ибо другой, маленький ветер мешал ему. Поэтому один бок бархана, висящий над озером, полный и тяжелый, накопил в себе за счет другого, худого, неоформившегося еще бока так много песка, что готов был при малейшем движении обвалиться и засыпать часть озера. А худой бок, где отпечатался ствол дерева, выдувался снизу вверх, и так искусно, словно ветер решил немного разнообразить то, что возникает перед его взглядом, — эта часть бархана поднималась полукругом и на верху ее красовался изогнутый рог.

Коршун прикинул на глаз расстояние, оставшееся до озера, и нырнул вниз, чтобы выйти из течения. И как раз в тот момент, когда коршун пролетел сбоку бархана, под самым рогом, едва не задев его хвостом, течение отпустило птицу, и хищник мягко коснулся ногами дна озера.

Коршун нахохлился, словно кто-то наблюдал за ним со стороны, и птица приготовилась к защите. Нет, просто коршун был доволен перелетом — удержался от соблазна и не съел падаль, попал в воздушное течение и сохранил силы для обратного полета, а главное — чужого не увидел на своей территории и была она попрежнему его, законной.

В поисках воды коршун пошел, скользя по кромке соли, причудливые рисунки ее хрустели и ломались под ногами. Недавний скорый дождь, наполнив озерцо, продержался тут лишь до полудня, но соль успела разбухнуть, и вот, когда вода испарилась, вместе с паром поднимались и кристаллики соли. Поднявшись невысоко, но успев прилипнуть друг к другу, кристаллики падали обратно в озеро, из них, мягких еще и податливых, ветер слепил пластинки различной формы — треугольные, шестиконечные — и нарисовал на них узоры.

Вся корка соли на озере была покрыта такими узорами, и между ними осторожно, боясь поцарапать спину, пробиралась ящерица.

Коршун в беспокойстве пощелкал клювом и, если бы не сдержал себя, мог бы просто опустить клюв на голову ящерицы и схватить ее, ибо ящерица уже загнала себя в плен, находясь между пластинками. Но риск тот она считала для себя оправданным, ибо искала воду.

Коршун остановился, чтобы не вспугнуть ее, стоял, не ослабляя взгляда.

Но вот ящерица, видно, почувствовала запах воды, прыгнула к трещине на корке соли и просунула туда голову, а затем и передние лапки, держась за соляной прутик хвостом.

Коршун видел, как бока ее надуваются, и в нетерпении царапал соль когтями.

Ящерица напилась, хотела вытянуть обратно голову, но, отяжелев, поскользнулась и упала, скрылась вся в трещине. А через мгновение вылезла обратно, высунув мокрую голову и фыркая. Встретившись взглядом с коршуном, она как будто не поверила, стряхнула с глаз капельки влаги, пригляделась и побежала прочь, воинственно подняв вверх кончик хвоста. И, пока убегала, высохла под солнцем и вся побелела от соляной пудры.

Не услышав над собой шороха крыльев, ящерица, удивленная, оглянулась очень бойко, успокоилась, увидев, что коршун не преследует ее, и вскарабкалась на холмик и стала оттуда наблюдать пристально за птицей.

Смотрела, как коршун подошел к той трещине, откуда пила она, разломал клювом соль, расширил — открылась ямка, наполненная мутной водой, — и хищник стал пить, запрокидывая голову при каждом глотке и ожидая, пока горькая вода не потечет в горло.

Ямка эта, куда просочилась дождевая вода к толще соли, а потом закрылась коркой, чтобы не испарялась дальше влага, была уже раньше найдена жучками. Несколько их, нахлебавшись, не сумели выбраться на поверхность, и трупики застыли в соляных пластинках.

Коршун выпил всю воду и, почувствовав слабость и томление, решил сразу же улетать обратно, чтобы преодолеть тяжесть. Теперь он летел уже по самому краю своей территории, боясь попасть во встречное течение, с которым плыл к озеру.

Время укоротилось, перевалило за полдень, но зноя не прибавилось, и коршун по прошлому опыту знал, что полет туда и обратно протянется до сумерек.

Если, конечно, буря не остановит его, не заставит переночевать далеко от дома.

Сейчас коршун почти не замечал земли, взгляд его был напряженный, усталый, и скользил по пустыне равнодушный, как собственная тень. Но вот взгляд его поймал кого-то, задержался, затем снова ослабел, и, если бы существо это не летело под ним с одинаковой скоростью и по одной ровной линии, коршун забыл бы об увиденном.

Отсюда, с высоты, трудно было разглядеть, что это летит так низко, почти касаясь холмиков и кустов носом, и коршун, озадаченный, снизил потолок полета. Все, что было знакомо ему в пустыне, коршун узнавал с высоты по очертаниям, даже крошечных ящериц и жучков, а это странное существо как будто было ему незнакомо.

Описывая круги, коршун спускался все ниже, вытянув шею, смотрел в нетерпении, желая понять, что же это, мышь или птица с такими нескладными крыльями. Эти крылья коршун разглядел подробнее всего, ибо были они раскрыты для его взгляда и заслоняли собой большую часть тела, и поразило хищника, что были они без перьев и пуха, а кожаные, с когтями на концах.

При каждом взмахе когти эти, описывая линию, едва не касались морды летуна с длинными ушами, и, когда легкий ветерок чуть наклонил его тело в полете, коршун заметил, что когти на концах крыльев — это и есть, по-видимому, его лапы, ибо бока его были гладкие, округлые.

Озадаченный еще больше, коршун спустился так низко, что длинноухая птица полностью оказалась в его тени и летела так, не убыстряя полета, тяжело, в одном темпе. Она, должно быть, давно уже догадалась, что над ней парит коршун, но, кажется, не смутилась.

Когда осталось всего три-четыре круга полета, чтобы коснуться ее ушей клювом, коршун вдруг почувствовал запах, вначале непонятный, идущий издалека, как смутное воспоминание, затем защекотавший нос хищника уже чем-то знакомым, а когда запах этот совсем приблизился, оформился, благодаря опыту стал осязаемым, коршун в тоске поспешил подняться опять в высоту.

Ему пришлось парить еще немного, ожидая, пока воспоминание, вызванное запахом, не собралось в его

сознании картиной, такой четкой и яркой, словно переживал он ее вот сейчас, сию минуту.

А маленькое существо, заставившее хищника пережить вновь такое острое ощущение, тем временем уже удалилось, и коршуну пришлось снова взмахнуть крыльями, приглядеться, прежде чем окончательно убедиться, что летит это подковонос, карлик нетопырь из рода летучих мышей, с видом странным и трогательным.

Откуда появилась здесь, над песками, эта крылатая мышь, и почему летит она ровно сбоку своей тени, никуда не сворачивая и ничего не ища? Коршун снова накрыл ее своим отражением, как бы желая спрятать от чужих хищних глаз. Птице приходилось часто останавливаться в воздухе, парить, ибо взмах сильных крыльев уносил ее в сторону.

Похоже на то, что слепая эта мышь вылетела на рассвете после ночи полнолуния из своей сырой пещеры в далеких и неведомых горах, почувствовав близкую смерть, хотела лечь где-нибудь на скалах, чтобы обсохнуть, сложить крылья и больше не шевельнуться, ее старое больное чутье унесло ее в другую сторону, к пескам, и вот она летит, уже ничего не чувствуя, с одним только слабым желанием оказаться подальше от гнезда.

Коршун чувствовал это: ведь только существо, в котором еле теплится жизнь, остался лишь инстинкт ухода, бегства из гнезда, от сородичей, только оно может так равнодушно взирать на тень хищника рядом, не вздрагивать, не пытаться хоть как-то защититься.

Коршун вдыхал запах, что кружился над мышью частичками пара от ее влажного тела — белый ее ореол, — запах плесени мрачных сырых пещер, никогда не очищаемых сквозняком, где летучая мышь висела на своих крыльях, зацепившись когтями за стены.

Запах этот когда-то, очень давно, поразил коршуна, когда он первый раз повстречал в пустыне летучую мышь, такую же старую и немощную, как и эта. Помнил коршун, как долго боролся он с соблазном и запретом. Инстинкт повелевал ему не есть ничего неизвестного, но соблазн испробовать незнакомое существо был так велик, что в конце концов коршун поймал на лету мышь, а когда съел, показалась она ему даже вкусной.

Она больше насытила хищника, чем горлица, птица крупнее летучей мыши, чем даже песчаная крыса, за

счет больших своих, полностью съедобных крыльев и ушей. И, когда коршун разглядывал со всех сторон труп летучей мыши, удивила его такая странность природы, сохранившей нераздельно в одном существе и птицу и грызуна.

Было это давно, и коршун не встречал больше в пустыне крылатых мышей, хотя часто в тоске разглядывал песок, хотелось снова нарушить запрет, который теперь казался ему только помехой и предрассудком. Иногда ему чудилось, что он опять видит с высоты летучую мышь, — задержав полет на мгновение, чтобы справиться с волнением и обрести вновь хладнокровие, коршун стремительно опускался вниз, но оказывалось, что летит это какая-нибудь сойка и сухая веточка тамариска, что застряла у нее в перьях и изменила очертание крыльев, была ложно принята коршуном за кожаные крылья нетопыря. И коршун тогда с такой поспешностью и рвением, а не хладнокровно и достойно, к чему призывал его сам ритуал охоты, бросался на сойку, что та еле успевала между всплесками ужаса заглянуть хищнику в глаза, чтобы понять, что же так ожесточило его.

Коршун хотел даже покинуть эту свою постылую ему теперь территорию, полететь на поиски пещер и поселиться где-нибудь у подножия гор, чтобы ловить в изобилии крылатых мышей. Ибо возникла у него в душе к ним какая-то нежность и сама мысль полакомиться вновь плосконосым длинноухим существом приводила его в трепет.

Крылатая мышь все продолжала лететь, навострив уши, по прямой линии, и перед смертью, как обычно бывает, она видела каждый звук, каждый шорох так явственно и отчетливо, как никогда ранее; звуки эти от изобилия и многообразия путались перед глазами и мельтешили.

Мышь ослепла от мрака пещеры, но слуха не потеряла, и зрение ее переместилось в длинные уши, она ловила звуки ушами и видела их, и мир существовал для нее не в своем застывшем изображении, как для коршуна, не отпечатывался и запоминался через глаза, а был подвижен и виден через звуки

Разглядывая звуки пустыни, крылатая мышь вздрагивала от каждого шороха и свиста, ибо земля эта была незнакома ей; вздрогнув, впрочем, она тут же успокаивалась, рассмотрев все ушами, и летела тихо дальше, умиротворенная, потому что, должно быть, чувствовала себя в конце жизни особенно до-

вольной за такое богатое разнообразие понятых новых звуков — они насыщали слепую путешественницу и были для нее как бы подарком за неутоленное любопытство, за мрак пещеры, за те дни и ночи, когда, прозябая, висела она, зацепившись крыльями за стены, покрытые коричневой плесенью.

Рябь, что нарисовал воздух трением сухих песчинок, тянулась ленивыми ручейками вдоль барханов и звучала иначе, чем просто плотно лежащий песок; ручейки, засыпая ямки, булькали, выгоняя воздух и ложась на стебельки полыни, и, слушая все это, летучая мышь увидела и то место у подножия бархана, откуда тянется рябь, и куст саксаула, куда песок приполз и остановился.

Даже змею, что выглянула из-под этого куста, растревоженная ползучим песком, слепая мышь разглядела полностью, пролетая над ней, от головы до хвоста, весь сложный изгиб ее тела и все свежие черные пятна на коже, недавно полинявшей. Змея, что лежала, притаившись, подняла на шорох песка голову, голова ее, круглая спереди, но тонкая и приплюснутая с краев, с широкими скулами, поверх которых вырисовывались, как оправа очков, нижние и верхние брови, защищая от света маленькие, но зоркие глаза, закачалась из стороны в сторону на очень тонкой шее, и звук от этого колебания и создал перед слепым взором мыши весь облик змеи.

Крылатая смертница так чутко ловила эти звуки и так четко отпечатывала их в зримые образы, что коршун, летающий над ней, тоже их слышал. Поймав звук и рассмотрев его, мышь передавала его потом дальше, в воздух, ибо не хотела держать звуки в себе, чтобы не откладывались они в ней новым опытом, ненужным ей теперь, тягостным и случайным. И крылатая мышь желала, узнав кусочек пустынного мира, тут же позабыть его, помнила она только о смерти, к которой летела.

Зато коршун четко слушал через своего связного пустыню, слушал не как раньше, стоя на песке в минуты отдыха или сидя в гнезде на скале, а с высоты, куда доносились обычно лишь редкие сильные звуки.

Сейчас те звуки, что рождались на его территории, были столь мелодичными и нежными, что хищник просто блаженствовал.

Вот запела саранча. Летучая мышь увидела всю длину ее песни, все ее ритмы, и увиденный ею звук потерял потом свою плотность и отпечаток, и звук

без плоти зазвенел возле уха коршуна. Саранча пела, устрашая соперника, прискакавшего на ее территорию. Устроившись на ветке тальника, тоненькой и длинной ногой, как смычком, терла она свое бедро поверх линии бугорков на теле и наигрывала мелодию отваги. Сейчас, когда воздух был нагрет, делала она это быстро и торопливо в расчете, что лучи солнца усилят звуки, сделают их грозными для слуха соперника.

В сумерках же, когда саранча поет песню любви и когда коршуну особенно приятно слушать ее, звуки песни такие сладостные, что сразу усыпляют А если еще саранче подпевает сверчок и кузнечик — трио самых прекрасных певцов пустыни, — коршун чувствует, как выздоравливает, как уходит из его тела лихорадка и беспокойство перед длинной и темной ночью

Ведь коршун ощущает силу и жизнь в себе только на охоте, ночью же, когда естество и природа вынуждают его смириться, загоняют в гнездо, прячут, он складывает крылья, опускает в беспомощности клюв, кажущийся теперь таким слабым и немощным, что хищник чувствует беспокойство, ненависть к ночи, а эта тройка певцов умиротворяет его, примиряет со страхом отвагу, молодость и силу со старостью, а последний аккорд их мелодии, самый грустный и возвышенный, мирит уже саму жизнь со смертью.

Видел коршун, как крылатая мышь слабеет и замедляет полет, может случиться, что она неожиданно упадет, вздрогнет в судороге на песке, сложив в последний раз, уже ничего не чувствуя, в беспамятстве крылья, такие плотные и соблазнительные на вкус, и превратится в труп.

Коршун уже давно думал об этом и боялся, как бы беркут, который в любую минуту может нагнать его, возвращаясь после облета своей территории, не схватил на лету крылатую мышь... Может, и ему, как и коршуну, попадались такие странные особи, ведь территория его наверняка тянется к тем далеким горам с пещерами.

Хотя коршун с удовольствием поклюет и труп крылатой мыши, но все же нет большего удовольствия для хищника и наслаждения, когда чувствует он на языке еще горячую кровь, — такое ощущение, словно он отважно потрудился, славно провел охоту, выследил, догнал и изловил жертву, рискуя каждую минуту потерять ее из виду.

Коршун решил больше не медлить, нежность к этому ушастому существу, такому странному и бога-

тому, богатому способностью создавать из одних только звуков картины немыслимой сложности и выразительности, разлилась по его телу, и, захлебываясь от восторга, хищник ринулся вниз и, коснувшись хвостом песка, но не позволив крылатой гостье упасть, схватил ее на лету и унес в высоты...

Когда он спускался, звуки, что ловила летучая мышь, усиливались, поднимаясь к нему навстречу волнами, у самого тела мыши звуки эти даже оглушили коршуна, и с этой минуты он уже больше ничего не слышал.

Мертвенная тишина разлилась над песками. И теперь, когда коршун, отяжелев, летел дальше к своей скале, переваривая на лету пищу, он не слышал даже шороха собственных крыльев. Он попытался пощелкать клювом, но и клюв был как ватный, без звука.

Птицу стошнило, не почувствовала она удовольствия, как в тот первый раз, когда полакомилась крылатой мышью. Может быть, оттого, что организм ее, привыкший в этот день к воздержанию, обманутый, не хотел ничего принимать, но ведь пища не могла лежать внутри нетронутой, и вот тот месячный яд, что должен был выйти из птицы, вызывал теперь тошноту.

Вдруг кто-то сильным клювом ударил коршуна по голове и сразу же по шее и еще толкнул когтями в грудь; хищник застонал от неожиданности, вывернулся наконец от ударов и увидел, как другой коршун атакует его. Коршун наш собрался, чтобы защититься, но напавший не дал ему развернуть крылья, отлететь, чтобы иметь пространство для боя, и еще раз налетел, ударил в шею, в затылок, а один острый и жгучий удар попал чуть выше глаза, замутнив его.

Так отчаянно и метко мог драться лишь коршун, неприкосновенность территории которого оказалась нарушенной, и коршун наш, поняв это, не стал сопротивляться и показал противнику опущенный стыдливо хвост, признавая свою вину. И выпрямился, чтобы полететь направо, на свою территорию, и нападавший коршун молча проводил его до границы.

Увидел бы сейчас знакомый беркут нашего коршуна, он бы удивился такой перемене — вид у хищника был жалкий, перья на крыльях скомканы и еще не выпрямились в полете, а из глаза мимо переносицы к клюву текла кровь, свертываясь у дырочек носа. Во всем его облике чувствовалась вина. Такой птица давно не летала над пустыней.

Удары коршуна, на чью территорию он случайно попал, кажется, вывели его из оцепенения, вернули слух, и сейчас он снова слышал звуки собственных крыльев. Как тяжело разрезают они воздух, словно полет сделался чуждым для него движением и тяготил его непонятностью и бессмысленностью.

Да, кажется, только сейчас почувствовал коршун, как постарел всем своим существом, каждым негибким теперь мускулом. Ведь до того, как встревоженный собрат напал на него, коршун сам заводил драки, готовился к ним, накапливая в себе силы воспоминаниями о прошлых успехах, желанием побороть старость.

Сейчас же, когда он совсем не ожидал нападения и был сильно избит и поранен, коршун вдруг ощутил всю немощь старости и прожитых лет. И родилось это горькое чувство, когда коршун не смог увернуться от удара, и была тут еще вина за ошибку, когда залетел он на чужую территорию, и еще стыд после ухода, и сожаление, что кого-то потревожил, словом, все оттенки настроения, из которых собирается птичья мудрость. Мудрость — как запоздалое откровение, как предел, после которого коршун уже не может брать у жизни отвагой и силой, ибо мудрость ослабляет и глушит желания.

Прислушиваясь к звукам, коршун услышал приближение сумерек — серо-желтой полосы между днем и ночью — и понял, что не добраться ему теперь до темноты к своей скале.

Уже тени стали выползать из зарослей и россыпей камней, вытянулись они у подножия барханов, кустиков и веток, повеяло в воздухе слабыми всплесками прохлады, но зной не ослабевал, чтобы продержаться до полных сумерек. Тени эти расползутся потом по песку, и из них образуется кругом ночь, ровная и плотная, ведь в эту ночь не будет на небосклоне светила.

Коршун вздрогнул, когда услышал над собой шум крыльев, и догадался, что это беркут возвращается обратно.

С высоты беркут глянул на округлые бока коршуна и, поняв, что и тот не удержался от соблазна и полакомился тайком, блеснул, довольный, глазами и полетел дальше. Не он один, оказывается, нарушил запрет, и эта злорадная мысль должна теперь успокоить эмира хищников, чтобы не мучился он и не стонал перед сном.

Не успел, однако, беркут исчезнуть в глубинах воздуха, как коршун увидел, что внизу уже стелется ночь и, если не спустится он на пески, ночь захватит его в полете и собьет с пути. Кружась, он спустился вниз и сел где-то на темной поляне, тяжело дыша теплой вечерней росой. Посмотрел по сторонам. Куда идти? Где скала и гнездо?

Чутьем понимал он, что где-то по прямой и совсем близко. Но на пути встретятся барханы и заросли, их надо обходить, и можно тогда заблудиться и снова попасть на чужую территорию, где хозяин опять придет в ярость, начнет атаковать, поранит, а раненого коршуна легко может прикончить варан сильным ударом хвоста. И тогда все...

Коршуну стало жаль себя, одинокого среди ночи, где за каждым кустом таится опасность.

Но он все же решил идти, ибо вдвойне опасно оставаться до утра среди песков, где скоро совы выйдут на охоту за змеями и сусликами и могут принять его за жадную, ненасытную птицу, пожелавшую отнять у них добычу. Коршун пошел сквозь заросли, и ветки саксаула царапали его усталое тело, но он не обходил их, чтобы идти по прямой к скале.

Вдруг кто-то выскочил из зарослей, прямо из-под когтей коршуна. Хищник остановился, пригляделся и узнал того самого суслика, что жил недалеко от скалы и которым коршун не раз хотел полакомиться.

Суслик вскарабкался на холмик, огляделся и увидел, как коршун выходит из зарослей, и тоже узнал его, соседа. Разглядев, как хищник измучен и растерян, суслик понял, что потерял коршун дорогу к дому и что такой он совсем не опасен. Суслик важно зашагал впереди на задних лапах, передние сложив на животе — в своей всегдашней самодовольной позе, — и коршун запрыгал за ним, чувствуя, что суслик направился к скале.

Так шли они, деликатные, и коршун не приближался к суслику, пока неожиданно перед взором его не возникла знакомая поляна. Коршун забылся и на радостях прибавил шаг, и суслик, не поняв его, нырнул в свою нору и посвистел оттуда, укоряя коршуна за хитрость и вероломство.

Коршун хотел было дать как-то понять соседу, что побежал он к скале безо всякого злого умысла, но решил, что ему, сильному, унизительно оправдываться.

Скала слилась с плотной темнотой и лишь слабо белела от внутреннего своего света.

Коршун взлетел на нее, постоял, чувствуя привычное тепло гранита, запах мха, птичьих перьев — скромного знакомого мира, который был его домом. Затем полез в трещину на шапке столба и стал спускаться вниз мимо гнезд, где уже укладывались на ночлег другие птицы.

Весенний выводок, два маленьких его коршуна, приветствовали его полусонным ворчанием, он ответил свистом, слабым и успокаивающим.

Еще один поворот, и увидел коршун в расселине ту, к которой торопился, последнюю свою самку, еще совсем не старую, заботливую и добрую.

Она не спала, видно, дожидалась его возвращения. Выглянула и захлопала на него глазами, влажными от зевоты. И, увидев, что он жив, она, ничего не требуя — ни ласки, ни внимания, — приготовилась уснуть в одиночестве в своем неуютном гнезде, но коршун не уходил, стоял и смотрел на нее. Потом он нахохлился и хлопнул два раза крыльями над головой.

Это был жест примирения, зов, и, пережив волнение от столь неожиданного для нее сигнала, самка вышла из гнезда и запрыгала за коршуном...

Сова, что жила по соседству с гнездом коршуна и обычно заглядывала к нему, чтобы убедиться, что коршун уступил ночную свою территорию ей, увидев, что хищник сидит в своей расселине с самкой, долго смотрела на них немигающими глазами.

Казалось, она осуждает коршуна за малодушие, за страх перед старостью, за то, что не устоял он и привел к себе самку, но ведь сова еще многого не чувствовала, не понимала, и короткий, прожитый ею отрезок времени отсчитывался другими днями и ночами, чем у коршуна.

Коршун проводил ее усталым взглядом, и вдруг напряжение отпустило его, сняло горечь, когда уткнулся он клювом в сонное тело самки, пришло разом умиротворение, что примирило его с жизнью и вновь заставило почувствовать ее полным дыханием..

1974

ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНЫЙ АЛИШО

1

Это частное жизнеописание начнем мы не в духе восточного повествования — с рассказа о чайном ритуале, в который посвящается Алишо, или же о детском приобщении к фиолетовому туту, тоже похожему на ритуал, — все это исполнено изящества и красоты! — а с переживаний актера и скажем, что наваждение, столь часто ощущаемое им ранее, потеряло остроту, не вызывало более беспокойства и удивления, а стало мало-помалу глубокой сущностью Алишо. Видя себя таким, он перенес это свое видение и на окружающих, в сознании его появилась еще одна личная тема...

Но сегодня вдруг его чувствительное "я" вновь заставило Алишо посмотреть на себя со стороны и пережить тревожное волнение от собственной искаженности, — вот Алишо идет и кажется сам себе нелепым и смешным, такое ощущение, будто в спешке бегства схватил он в гардеробе киностудии и надел чужое пальто, и оно сидит на нем не так, — серое в полоску, с потертыми рукавами, — и эта шляпа, касающаяся полями бровей, приглушенно-зеленого цвета, никак не гармонирующая с его одеждой, и обувь как будто не его, размера на три больше, шаркающая, с изогнутыми кверху носками, — ужасно комичный портрет! И лицо, помятое бессонницей, взгляд не спокойный и мягкий, а

суетливый, зрачки расширены.. Кажется, стоит остановиться, чтобы успокоиться, взять себя в руки — он мнит себя выше остальных, — и прохожие деликатно и неназойливо поднимутся на носки, чтобы заглянуть ему в глаза и, довольные тем, что узнали тайну актера, уйдут, переговариваясь, ибо тайна Алишо сделает их всех знакомыми друг другу, сотоварищами.

Эта игра воображения, глубокая и острая, обманывала и зрение, когда казалось Алишо, что прохожие не прочь подойти к нему, остановившемуся у какого-нибудь дерева, поодиночке, терпеливо; искажалось и обоняние, когда чудился ему запах чужого пальто, идущий за ним серым шлейфом, плотным и нерассасывающимся; стоило ему обернуться, как конец шлейфа поднимался сам собой, чтобы ударить ему в нос, — так воображение становилось сильнее реальности, а реальность окружающего, присутствующие запахи и точный портрет Алишо, шагающего в своей одежде, складно на нем сидящей, — все это блекло, уходя в состояние призрачного

Игра фантазии длилась обычно до самого дома и остротой своей и необычностью намекала Алишо на какое-то его непристойное существование, на неприятность быть узнанным вот таким нелепым; и тогда, чтобы не быть разгаданным окружающими — ведь как актер он очень дорожил своей внешностью, — приходилось ему дерзить, точнее, играть... Знакомого он встречал неестественным смехом, неуклюже обнимал, чрезмерно веселый в своем притворстве, пошловато шутил с проходящими женщинами, лепетал что-то насчет свиданий, знакомые тоже старались войти в роль; а когда Алишо возвращался домой, долго и тщательно мылся в ванной комнате, укорял себя, не желая выходить к жене: "Боже, как все было пошло!" И, глядя в зеркало, гримасничая, думал, как бы ему незаметно перенести телефон в ванную, чтобы позвонить женщине, согласившейся на свидание, извиниться, оправдаться длинным монологом.

Это оправдание входило в тот ритуал очищения-мытья, стрижки усов, который всякий раз совершался в ванной комнате после внезапного наваждения на улице, и лишь тогда искаженный портрет Алишо снова принимал свои обычные черты — черты человека, чуточку скучноватого и надоевшего самому себе.

Телефон ему почти никогда не удавалось пронести незаметно в ванную комнату, оправдания перед незнакомой женщиной, написавшей свой номер на клочке

бумаги и так легко согласившейся на свидание, не было, и Алишо долго жил со скверным осадком на душе, хотя чуточку самонадеянно думал, что та женщина после стольких дней все еще ждет его звонка.

В такие часы — внезапное бегство в ванную комнату, долгое и медленное мытье рук и желание как-то избавиться от неприятного ощущения своего шутовства на улице — он пускал струю из душа, чтобы был слышен шум и плеск воды и Мариам, его жена, подумала, что решил он принять ванну, заметив на волосах следы небрежного грима — красноватой пудры с резким запахом одеколона.

Вода наполняла ванну, но Алишо все стоял перед зеркалом с напряженным лицом, стараясь по словам, фразам, услышанным или сказанным им, по запаху того места, где он был, по свету на холодных, потных декорациях собрать вместе картину, предшествовавшую тому любопытному состоянию на улице...

Все обычно начиналось с пробуждения на широкой кровати, обитой красным, с низкой спинкой у изголовья — на конце ее приделан небольшой столик для лампы. Теперь уже, с возрастом, это частая и долгая борьба с легкой меланхолией и ленью, нежеланием смотреть на телефон, который должен непременно зазвонить, — голос, удивительно сочетающий в себе вкрадчивость и нетерпение, — голос какого-нибудь помощника режиссера, — так некстати врывающийся в его комнату, разгоняющий утреннюю дымку интимного, сокровенного, собранного за ночь в спальне дыханием, теплотой одеяла, предсонными грезами и сновидениями...

Особенно желанны эти предсонные ощущения — кажется, они согревают все, до и после сна и сам долгий сон, снимая тоску и освобождая от напряжения и усталости. В голове легкий хмель, в носу запах тепла постели, а лень, которой Алишо отдавался полностью, как бы наполняла эти грезы плотью.

Задолго до сна он оставлял Мариам одну в ее спальне, курил, прежде чем лечь и в своем воображении снова вызвать Мариам, но не эту, другую, которую он никогда не знал, но видел на большой фотографии в раме в доме ее родителей, очень давно, и с тех пор он любил Мариам, никогда не виданную им, с доверчивым взглядом, девушку лет шестнадцати, полную ожидания и радости от будущей неведомой ей жизни...

Ведь женщина, что спала сейчас в своей одинокой спальне, была Мариам, которой он не принес счастья,

и это, как укор, легло своим знаком на все ее существо и омрачало, искажало сознание Алишо; та же, которую он увидел на большой фотографии, приходила к нему в грезы с доверием и ожиданием, потому и была желанной, как будто этой он мог бы дать счастье, если бы она хотела. Но Мариам, что появлялась в его воображении, была тем и хороша, что счастья не требовала, оставалась всегда молодой и доверчивой...

Прижавшись к ней, Алишо засыпал, довольный этим, не очень-то равным супружеством, ибо Мариам, приходящая к нему, была лет на двадцать моложе.

Странно, воображаемую Мариам он почти никогда не видел в своих сновидениях, даже капризную, могущую ранить своими укорами, — грезы эти не продолжались со сне, видимо, оттого, что в соседней комнате спала действительная Мариам во плоти, женщина одного с ним возраста, и ревнивый дух ее, должно быть, изгонял молодую Мариам из кровати мужа, едва тот засыпал, умиротворенный ее доверчивостью.

Но реальная Мариам из соседней спальни была бы, наверное, довольна тем, что в фантазии мужа приходила она сама, а не чужая женщина, она, хотя и в прошлом, несколько иная, еще с надеждой в душе... Но Алишо был скрытен и очень оберегал свои грезы, может, и потому, что нередко мучила его ревность, обида, если думал он, что шестнадцатилетняя Мариам, еще не знавшая его, могла бы полюбить другого — но кого, кого? Он вспоминал всех из ее окружения и не находил ни одного достойного мужчины, но ведь это и страшно, она могла ошибиться, доверчивая, желающая радости, и тогда нередко эту свою ревность и обиду Алишо переносил на Мариам, ставшую его женой, — одна мысль, что она могла бы предпочесть его другому, менее достойному, злила его.

Воображаемая Мариам не приходила в его сон в своей плоти, наверное, еще и потому, что утром, едва Алишо просыпался, боясь телефонного звонка, бежал в спальню к жене, как будто могла она еще продолжить его грезы. Сны щадили его, не желая тревожить столь длинной искаженностью реального, — ведь Мариам, пришедшая в его сновидения из грез, и та, подлинная, которую он видел по утрам, почти не отличались бы тогда друг от друга, обе со знаком укора.

Он сбрасывал с себя одеяло и бежал по коридору мимо детской и забирался под ее одеяло, пахнущее совсем по-иному, запахом чего-то тревожного, некой неестественной игры, дающее ощущение дня с его

мелкими заботами — при всем воображении нельзя себя обмануть, притвориться, как нельзя насладиться притворством того состояния, за которым последуют слова: "Ну, пора вставать!"

Они просыпались почти одновременно, довольно поздно, в девятом часу (летом чуть раньше), но Мариам продолжала лежать в постели, нежиться и потягиваться, ибо также отодвигала время утренних забот на кухне.

Когда он приходил к ней неестественно бодрый, с ужимками и смешком, желая своим серьезным намерениям придать шутливую окраску, иронический подтекст, Мариам отворачивалась от него, тоже шутливо, играючи, чтобы не смотрел он на ее белое, опухшее от сна лицо и растрепанные волосы, так естественные ночью и так уродующие утром.

Они говорили две-три фразы, ничего не значащие, не обязательные, как правило, как супружеский кодекс утра, и слова эти полностью рассеивали его желание, его жажду поймать то тонкое, еле уловимое ощущение, которое помогло бы продолжить грезы. Он смотрел на ее плечи в красных отпечатках одеяла, на ее шею, сравнивал с Мариам, которую видел в своем воображении, но все это было в искажении, далеким от оригинала, разве что только голос. Он был нежен и игрив, единственное, что еще могут как-то обыграть женщины ее возраста, надеющиеся уже больше не на свой вид, который вот весь тут, перед глазами, осязаем, грубо ощупываем, а на звуки, мелодию голоса, обманывающие ухо.

Но ведь он никогда не слышал голоса той, шестнадцатилетней Мариам, не мог сравнить с голосом жены, и нелепо поэтому оценивать этот звук, ласкающий и обещающий удовольствие.

Теперь, после утренних приветствий, Алишо понимал, что эта реальность начавшегося дня помогла ему ощутить нечто другое, полное противоположности его первому ощущению в момент прихода в спальню жены — не является ли та из грез копией этой, а оригинал вот он, эта женщина? Эта быстрая смена ощущений приходила от сознания того, что наступила другая жизнь, жизнь дня, а ее надо признать, покориться — ведь ее ценности истинные, человеческие, совсем иные, чем ценности ночных фантазий; трудно сводить их, они разные и несравнимые, и в каждый момент принимаешь то, что ощущаешь истинным.

Тоска была недолгой, лишь на границе иллюзорного

и реального, и, видя, как он ежится от неудовольствия, Мариам предупредительно гладила его волосы, чтобы "поставить его на землю".

Страдала ли она сама от этих частых его перемен мнимого на подлинное? Наверное, да. Он чувствовал это по движениям ее рук; в раздвоенности, правда короткой, пока утихнет боль от разочарования, от смены грез, она особенно сильно ощущала в нем человека взрослого, но с мальчишеским характером, и только такой он был еще способен на дерзкие замыслы. Из чувства дерзости и противоречия он мог бы сделать себе славу как актер..

Но с возрастом успокаивался, стал лучше, человечнее, ибо избавлялся от тщеславия, но и таким он не совсем удовлетворял ее. Кажется, она больше хотела видеть его тем, дерзким, не благопорядочным, ровным и человечным, ибо в ней, при всей ее пассивности, рыхлости характера, сидел глубоко демон (не тот ли, который приходит к нему в грезы?!), а он желал искушать, звал к честолюбию, зато потом, когда Мариам видела его неудачи, это ее удовлетворяло, но не потому, что она мстила Алишо, нет, просто такой, ей думалось, он свыкнется с этой действительной Мариам.

Так приходящая в грезы Алишо в облике шестнадцатилетней Мариам боролась против него в паре с реальной Мариам, и обе они помогали друг другу, в большом согласии и так ловко, что он и не подозревал об их союзе; они же и не намекали ему на этот союз, ибо знали, что в его восприятии их раздельно — в мечтах и наяву — и есть их сила.

Правда, теперь он опять что-то решил для себя честолюбивое, когда сказал недавно, что этот наступивший год — Год Зайца, под знаком которого он родился, "мой год" — повторил он несколько раз и так многозначительно, что Мариам покоробило — не задумал ли он прожить "свой год" по-новому? Потом, видимо испугавшись чего-то, он пояснил, что это будет год нравственный, и, хотя он не договаривал до конца, Мариам подумала, что проснулась в нем его всегдашняя ревность.

Но в чем мог он ее подозревать, эту истинно домашнюю женщину, родившую ему поздних детей и все время подавляющую в себе всякое искушение? Это-то и ужасно, думал он, подавление и мелкая борьба, ибо, при всей ее доброте, он ощущал в ней ожесточенность от этой борьбы, и не может ли случиться так,

что, оставив его с той, шестнадцатилетней, Мариам изменит ему, ибо эта длительная пристойность, становившаяся приторной и рыхлой, потеряет свою прочность от любования, лелеяния, и останется один лишь умственный запрет, перечеркнуть его не стоит большого усилия.

"Черт знает что!" — думал Алишо, чувствуя, что тревожится. Но если очистить его сознание от этой дури, с чем он останется и как будет воспринимать потом Мариам? — ведь мысль о ее возможной измене уже сама по себе драматична — для Алишо Мариам и существует как личность только в этой драматической окраске, а без нее она будет ровной, холодной, постылой женщиной.

"Ну, пора вставать", сказанное после долгого молчания, окончательно мирило Алишо с утром, и он первым шел в ванную комнату, а Мариам еще немного лежала в постели до пробуждения детей.

Теперь уже короткий взгляд на себя в зеркало (основной актерский туалет для бодрой внешности лишь по вечерам) — тоже способ щадить себя, не замечать вздутости вокруг глаз и не думать о приближающейся актерской старости, а постоянное: "Да, уже не то, не то", вылетающее всякий раз из уст, наверное для того, чтобы найти оправдание невезениям на студии.

Затем — напряжение, переходящее в ироническое кривляние, ибо уже зазвенел телефон. Говорит Мариам, и разговор ее с помощником режиссера, он уверен, короткий и сдержанный, никто из студии не подумает пококетничать, соблазнить, прошептать пошлое в трубку, ибо актерские жены, если они не актрисы, не во вкусе этих пошляков, кажется им, что они скучны, не искушены в любви — вздыхают о них такие же скучные инженеры и учителя.

"Да, я слышал, — говорит он, открывая дверь ванной комнаты, — да, да, надо торопиться. Послали автобус? Очень хорошо". И замолкает, чтобы не дать волю просыпающейся истерике: минут через пятнадцать у подъезда будет стоять автобус, пыльный, с поломанными сиденьями, который станет потом кружить по каким-то улицам и собирать актеров; для них встреча друг с другом в автобусе украсится неестественным для этой духоты, пыли и давки теплым восторгом приглашенных на ничтожные роли, а то и просто на реплики, которые кажутся бессмысленными. Один только режиссер и двое-трое из его окружения до того серьезны и каждый жест их так значителен, что обида от своих

ничтожных ролей сразу забывается, а чувство униженности от этих двух-трех выговариваемых реплик сменяется чувством собственного достоинства, которое всегда так красит творчество.

Эта серьезность уже и сюда проникает, в ванную комнату, и, чтобы как-то смягчить ее до срока, хотя бы до выхода из дома, чтобы не так пугала, Алишо, бреясь, почти всегда иронически противопоставляет мнимой серьезности того, к чему его приглашают, — веселость, напевает куплет из детского фильма, который он дублировал, о плутах, что явились в город и нарушили покой[1].

Король из атласа имел, говорят,
Для каждого часа особый наряд,
На пьесах веселых он часто зевал,
В штанах и камзолах зато понимал..

Все, что ни делалось на студии, казалось фальшивым, ведь не зря же слышится со всех сторон, чаще от режиссера: "Нет, это несерьезно!", "Так не бывает, несерьезно!" — как будто тот, кто делает все эти занятия значительными и правдивыми, сам давно разуверился во всем.

Привлеченные сюда песенкой, уже стоят в очереди возле ванной комнаты его дети в ярких своих пижамах; их отдохнувшие за ночь лица в нетерпении обращены на дверь, но укор в их глазах смягчался выражением той непосредственности, которая живет еще в существах, радующихся утру, своим играм и прогулкам, и это ощущение невинности, идущее от детей, рождает у Алишо желание поцеловать их, как если бы он прикасался сейчас к своему детству.

Желание остановиться, заговорить, вместо этих всегдашних легких и торопливых жестов, похожих на отмахивание, часто мучило Алишо, душа его чувствовала не просто короткую и быстро исчезающую вину, в сознании Алишо появилась устойчивая тема — тема "плохого отца".

Все эти игрушки, подарки — зыбкие знаки внимания; две крайности в отношениях с детьми — сдержанность, неумение сойтись с ними по-настоящему, так, чтобы было хорошо, и эта щедрая расточительность в подарках, в детских книгах, пластинках, — все боль-

[1] Эту песенку пел Алишо в ванной комнате.

ше похоже на пустую трату чувств, чем на постоянное, терпеливое воспитание.

Вся причина в том, что они — "поздние дети", считал Алишо, и это свое объяснение, вовсе не обязательное для других отцов и детей, но удовлетворительное в его случае, он считал тем более уместным и успокоительным, что было оно как бы глубоко личным объяснением для родителей, у которых такая разница в возрасте с их детьми (старшей дочери — шесть, младшей — четыре года), для людей, уже в чем-то разочарованных, усталых, со своими хроническими недугами (у обоих, кроме прочих болезней, пошаливает давно сердце, оба подвержены депрессии). И не оттого ли столь частая раздражительность, отмалчивание или ответы невнятные, скороговоркой на детскую любознательность — желание узнать, прочувствовать, потрогать, сделать, удовлетвориться. Но в ответ лишь слегка прикрытая улыбкой или кивком усталость, и нет между детьми и родителями душевного прикосновения; через дымку этой отдаленности любознательные глаза детей различают все, чувствуют холодок, — так и хочется поскорее закрыть чем-нибудь приоткрывшееся лицо подлинных отношений, — и не от этого ли — погоня за модной одеждой для них, чтобы сократить, затушевать отдаленность, за самыми интересными игрушками, за известными педагогами по музыке, за книгами, которые редко достаются другим детям, отсюда эта "книжность" воспитания, которая должна заменить собой теплоту и человечность, подмена себя каким-нибудь доктором Споком и мадам Фредерик, привлекающими таким сжатым, таким ускоренным воспитанием, — все это сродни любимому отцовскому жесту — легкому поглаживанию по голове детей, ждущих его у ванной комнаты.

Как продолжение их трудных детских вопросов воспринимает Алишо эти всегдашние и оттого ставшие сами как ответ вопросы актеров, сдержанно и чуть стыдливо появляющихся в дверях автобуса и поспешно усаживающихся на свои "законные" места: "Что будем играть?", "Кого выставлять напоказ?" — себя, свою неуклюжесть, ненатуральность в глазах режиссера.

В эти часы в автобусе утренняя тема Алишо — тема "плохого отца" — полностью занимает его, ибо вдруг он сам внутренне эмоционально опускается до возраста своих "поздних детей", чувствуя себя и сидящих с их вопросами: "Что будем играть?" — хлопающую

ладонь или ногу, наступившую на окурок: "Кого? кого?" — детьми, дающими самим себе невразумительный ответ.

Но порой все это кажется лишь домыслом, лишь капризом расстроенного сердца. Часто заставляет его вздрагивать появление режиссера со своей свитой, — в ней не оператор, не художник и не главный герой, то есть персонажи, вместе создающие для Алишо ощущение мнимости происходящего, — от них режиссер удален, чтобы подчеркнуть свое пренебрежение к кино. Да, он весь в жизни, что-то шепчет ему на ухо кокетливая девица, так желающая сниматься, — она согласна на риск, на будущие слезы, на мерещащийся обман, он же хмур, поглаживает усы и всем своим видом выражает неудовольствие, однако не настолько, чтобы обидеть и оттолкнуть от себя. Такое поведение режиссера более всего удручает старых, уже вышедших в "тираж" актрис, которые также в его свите. Кажется им, что, пренебрегая молодостью, режиссер вдвойне укоряет за старость; былые заслуги, звонки и записки влиятельных знакомых кажутся просроченным векселем, и удивительно, просто удивительно, как долго они надеются на роль. Еще есть, кажется, ничтожный шанс, обещание какого-нибудь помощника или ассистента режиссера молвить за них словечко в обмен на свое развязное поведение в их обществе, на откровенную пошлость, на дорогие сигареты, на намеки...

Молодые, красивые, модные как бы мстят в душе этим "вышедшим в тираж" актрисам, получившим когда-то столько славы и признания, выступившим в меру обаятельными, в меру соблазнительными, в меру доступными, этакой "женщиной, живущей рядом", которой можно позвонить, написать в письме признание в любви, попросить автограф. А она, ждущая сотнями этих писем, но смеющаяся над неуклюжими признаниями их авторов, — вот теперь, в старости, должна надеяться на чье-то покровительство, на чье-то словечко, сказанное на ухо режиссеру, чтобы тот обратил внимание.

Так и хочется Алишо закрыть ладонями искаженные лица актрис от пары пристальных глаз человека со сдержанным, холодным лицом, какого-нибудь прибалтийца, приглашенного, чтобы оттенять южные страсти сюжета. Он "гость режиссера" и посему в его свите, но гость нежеланный, трудно выносимый, однако терпеливый, ибо, как помещенный в чужую кварти-

ру, с невообразимым бытом и кухней, где все приправлено перцем и пряностями, — вынужден молчать.

Взгляд его сравнивает, подсчитывает, одобряет или осуждает, правда тайно, как и подобает гостю. При нем так хочется казаться лучшими, неестественно есть, говорить не то, прятать свои зевки — будто южане столь темпераментны, что никогда не зевают, — все хотят быть бодрыми, — и походка при этом меняется, и выражение лица, много жестов, рассчитанных на то, чтобы вовремя закрыть непристойное, порочащее, — так страсти постепенно накаляются, собираются вокруг режиссера, а он — порицающий, одобряющий, ласкающий, дающий надежду — кажется очень довольным тем, что находится в гуще жизни.

Ассистент поглядывает нетерпеливо на часы, осветители зажигают свои иллюминации, наполняя светом застывшие декорации, слышится пробное стрекотание аппарата, а художник с поспешностью ставит еще несколько маслянистых пятен на пейзаж-фон.

Вообще-то, он личность, этот режиссер, надо стать сбоку, чтобы увидеть его профиль — чуть вздернутый нос намекает на его милый характер и наивность, а шея почти без складок — на сговорчивость натуры.

Только вот если встретиться с ним взглядом, то портрет искажается, человек этот строг и неприступен, и не обнаружишь в нем ни одной черты, за которую мог бы ухватиться человек растерянный и слабохарактерный, чтобы утешиться. Но когда он говорит, то тоже совсем другой, иногда позволяет себе положить обе руки на плечи Алишо и закрывает глаза, чтобы, возможно, скрыть сострадание.

Однажды перед сном Алишо вдруг представил режиссера в его спальне, так, ничего особенного не ощутил, — кажется, увидел его в теплом нижнем белье, но подумал, что и у режиссера должно быть много устойчивых тем в сознании, которые так прочно связаны друг с другом, что и не избавишься, как от опыта, — скажем, как мучительно должны соприкасаться линии таких тем, как "тема незаконнорожденного сына" — это он сам — и "тема неблагодарной дочери", сбежавшей с каким-то приезжим актером из Осетии, — его дочь.

Вот это неприятное в его биографии, как постоянный возврат к подлинной жизни, и заставляет его всякий раз чувствовать фальшь в игре актеров: "Это ведь несерьезно!" Ненатурально, несравнимо, мертво! Ведь только что все жили — девица, и гость, и знаменито-

сти, вышедшие в тираж, — а тут, едва он закричал: "Мотор!", ударила хлопушка и затрещал оператор, всех как будто бы сковал страх, все онемели: "Вы требуете роли наперед, чтобы заучить те несколько реплик, достающихся вам по праву вашего таланта? Никогда! Жизнь наперед не заучивают, как не заучивают наперед и поведение..."

Но всегда находится человек, который успевает вовремя прийти к актерам на помощь. Он сидит на стуле за какой-нибудь старой декорацией, которую завтра уберут, в начищенных до блеска сапогах из реквизиторской, и едва актер зазевается или, не выдержав криков режиссера, решает незаметно уйти за бутафорскую дверь, как реалист тут как тут, берет за руку и наклоняется к уху: "Вы куда? Не срывайте съемок!"

Никто не знает, кто этот человек, но зато он всегда безошибочно почувствует в вас, идущем по коридору или сидящем в буфете, некоего стыдливого антипода, спросит: "Сколько на ваших?" — и многозначительно прибавит: "Срываете!"

Удивительно, но среди всех этих страстей, от которых кругом идет голова, вдруг возникали для Алишо ощущения грезового состояния, приходя из его ожиданий в реальность, сюда, в общество "вышедших в тираж" актрис. Их заботливость к другим, внимание и ласка напоминали ему то, что он чувствовал, когда, скажем, в детстве мать поправляла его одеяло, утешая коротким своим прощальным взглядом, — так в ряду желанных знаков, которые связывают любящих, появлялись и их знаки.

Частые их встречи, хождение в гости друг к другу, споры вокруг какого-нибудь старого подарка, японского медного божка или лечебных браслетов, снижающих якобы кровяное давление, разглядывание фотографий молодости, долгое чтение давних писем поклонников-зрителей — все это поддерживало в них веру; даже мелкие ссоры были так естественны в том сюжете, где одаренно играли милых, приятных.

И когда неожиданно возвращался успех к одной из "вышедших", если вдруг все видели ее в большой роли — как это случилось? кто помог? (все это держалось в глубокой тайне, ибо важен был сам успех, а остальное непристойно обсуждать), — и тогда все были трогательно заботливы, помогали молодому, одаренному, своим старым знакомым, подругам. Сидящие в перерывах в старинных креслах, найденных в реквизиторской, важно, с веерами в руках, и вмешивающиеся в работу

режиссера, в сценарный банальный сюжет, они превращались в идолов, прикосновение к которым приносит защиту, умиротворение, все думали, что постылая работа кончилась и начнется теперь время творчества.

Но "лучшие времена" так и не наступали, все нервничали, возбуждались — дерзкий блеск в глазах, чрезмерная шумливость и смешливость, жесты и тайная зависть, слежка, как бы кто не обогнал и не занял лучшие места, две-три измены, четыре-пять свадеб за сезон, пока кто-то из своих в главной роли. Даже в просмотровом зале, где тушился свет, — место, где венчались все страсти и где для своего узкого круга показывали законченный фильм, — даже здесь они не могли еще прийти в себя, чтобы поверить увиденному, тому, что кадр, где кого-то из них снимали в толпе, — вырезан, как мешающий монтажу, а того, кто выкрикивал в лицо главному герою нечто вроде : "Да стоит ли так толкаться?!" — с чувством, как гамлетовское хрестоматийное "быть или не быть?", — просто выбросили из-за брака пленки.

И тогда случается это наваждение как трата актерских возможностей — ощущение Алишо своего нелепого вида в чужом пальто, дерзость и приставание к прохожим женщинам на улице — зрительный обман, приходящий в те короткие, прекрасные времена, когда одной из них (одному!) вдруг опять повезло в главной роли и была надежда для остальных...

2

Их спокойная, ровная супружеская жизнь приносила Алишо и Мариам больше неприятностей, нежели постоянные разрывы, уход надолго к родителям, разводы и примирения их легкомысленных знакомых; спокойствие это исподволь переходило в раздражение, не так сказанное слово, не так выраженный взгляд, и обсуждение этого, чтобы излить себя, а отсюда еще большие недоразумения и постоянная внутренняя нервотрепка, ибо в таком возрасте никто уже не мог меняться к лучшему. Так скрыто шла борьба за главенство; внешне ничего не происходило из ряда вон, того, что могло бы как-то окончательно прояснить отношения.

В глазах легкомысленных знакомых их супружество считалось все же очень удачным — ведь раздражения и ссоры по мелочам считаются в семьях чем-то само собой разумеющимся, а "тихое супружество" можно

всегда принять за желанное, ибо такое супружество всегда бодрое на людях и ласковое при детях.

Отсюда это странное, но такое понятное, человеческое желание после ссор непременно появиться на людях, ведь оставаться вдвоем и разбираться спокойно не в чем, можно ссылаться на свое нервное состояние, раздражительность, за которыми ничего не кроется. Знакомые, у которых надо провести вечер, как бы должны показать достоинства супруга супруге, добродетели, нравственность; в их обществе можно получить снова бодрость и веру — отсюда эта веселость в обществе, мягкость, маленькие подарки, как знаки доброты и желания сделать другим приятное.

Две актерские семьи в этом обществе друзей, семья инженера, учительская семья и семья врачей — долгая игра в карты, которая перемежается всегдашними разговорами об ухудшении водки, о холестерине, перенаселении, о марках автомобилей, все достойно, со знанием дела, немного религиозного тумана в разговоре, немного атеизма — в меру, дабы не были такие разговоры опасными и предосудительными, затем долгое прощание и прогулки вдвоем в молчаливом, размеренном состоянии людей, много говоривших, но мало выпивших, переглядывание и смешки возле какой-нибудь арки, где они, в молодости, до супружества, любили стоять и целоваться, и, начиная с этой арки, все возрастающее желание повторить молодость, пусть по-другому, хуже, усталыми людьми, но зато опять войти в спокойный свой мирок, в ту семейную крепость, которая — они это хорошо знают — никогда не разрушится. И поэтому — легкое волнение, когда приближаются они к какому-нибудь кирпичному дому, где должны остановиться и поцеловать друг друга: "А помнишь?" — "Конечно же!.." — и напоминание, как оправдание каких-то мелких подробностей того вечера досупружеской жизни — чей-то голос, прогнавший их отсюда, тутовое дерево, стоявшее рядом и возвращение домой под утро на какой-то грузовой машине: "А водителя помнишь?" — "Помню, конечно!" — "Нет, не помнишь!" — "Он еще не взял с нас денег". — "Фу, какая мелко-материальная память" — сказанное так, словно это открытие должно принести обоим восторг, как и тогда, когда оно было впервые сделано.

В такие вечера спокойствия и согласия фантазии Алишо всегда приобретали плоть и реальность, он не довольствовался теперь их эфемерностью, их

свойством ускальзывать из-под одеяла, он возвращался к одной из устойчивых своих тем — "теме первой любви", юношеской страсти, так и оставшейся неудовлетворенной. Ревность его к шестнадцатилетней Мариам как бы искала для себя выхода, успокоения в чем-то сильном, а для этого он и себя должен был увидеть шестнадцатилетним.

Но вначале ему нужно было еще долго бороться с неприятным ощущением от вечера в кругу друзей, ибо сама тишина спальни была как бы укором тому шуму, тем разговорам... Он делал почти немыслимое, чтобы выделить из увиденного на вечере отдельно лица мужчин, отдельно женщин, чтобы потом собрать в своем сознании картину, из которой должно родиться воспоминание о женщине из "темы первой любви", но тщетно. Полная мешанина сказанного и услышанного, лиц с общим для мужчин и женщин выражением, разговорами о народонаселении и ухудшенной водке, как в однополом обществе, где невозможно влюбиться, сотворить интрижку, приревновать жену... Личные страсти подавлены в скучной пристойности, в обмене любезностями, в этакой доброте хором, стерты. И из всего этого уже дома, наедине, у Алишо и Мариам должно было родиться чувство недовольства, желание снова почувствовать себя людьми, защититься интимностью, страстью, вспыхнувшей как протест бездарно проведенному времени в гостях, страстью, правда короткой, но сильной, приносящей утешение и "домашнюю радость", — так побег от себя после каждой ссоры кончался возвращением к себе самим.

Из этого состояния, как его продолжение, как линия его отношений к действительной Мариам и к той, шестнадцатилетней, рождалась Нора — главный персонаж его "темы первой любви"...

В этом порядком надоевшем ему городе, где у каждого своя биография, Алишо неуютно. Его биография затеряна в маленьком городке на юге, а потом продолжена в других городах, но не в этом, чужом, холодном, не согревающем его историю ничем, кроме света какой-то тесной гостиницы и дыхания его шести или восьми сотоварищей по номеру, большому, с толстыми стенами, как палата больницы старой доброй планировки.

Днем — долгие поездки в другой конец города, в театральный институт, а потом вместо усталости — какая-то странная возбужденность и бессонница — все от застенчивости, от чувства своей провинциально-

сти, когда боялся он спросить улицу, номер трамвая, не те документы сдавал в институт, путал дни экзаменов и ничего толком не знал вразумительно о том жестком быте, в который более расторопные быстро вживаются — они ходят и за месяц до начала учебы уже шепчут всем на ухо о том, что они везучие, презирая таких, как Алишо, ужасно несерьезных молодых людей, которых зря отпустили от себя родители. И отсюда, наверное, от спокойствия и расслабленности счастливчиков, эта неестественная возбудимость Алишо, его неумение заставить себя уснуть, даже если все ночные разговоры в номере закончены — тихие рассказы командированных о том, сколько кто успел сделать за день, обмен мельчайшими подробностями, которые и должны этих неуверенных в чужом городе людей связать на несколько дней братством, перед которым любой, даже самый расторопный администратор, ведающий делами, должен не выдержать и отступить.

"Ну, а у тебя как, студент?" — сочувствие, приглашение в свою компанию заговорщиков. В ответ лишь невнятное бормотание, похожее на оправдание, робкие паузы, когда Алишо ощущает их деловитость, силу, разность в возрасте, и отсюда признание того, что сотоварищи по номеру вправе укорять его, насмехаться, давать советы, как жить, как действовать ему, шестнадцатилетнему юноше, вдали от дома.

Их увлеченность делом, решительное желание добиться того, за чем они приехали, еще больше смущало Алишо, подчеркивало разницу. Все они присутствовали здесь как бы вместе с семьями, привезли домашние привычки, тот уют, который никогда не покидает их, — личные полотенца, комнатную обувь с отпечатками ковров, по которым они мягко и вкрадчиво ступали, эти позы на кроватях или креслах, их привычные и всегдашние, как на любимых фотографиях, разговоры о женах и детях, с такими ошеломляющими интимными подробностями, словно речь шла о тех, кого все слушатели хорошо знают и посему снисходительны к их слабости. Не стыдно и не во вред никому рассказать об интрижке с соседкой или ловкой неуплате алиментов; споры о том, как лучше застеклить веранду и сделать ее, в обход всем правилам пожарных, кухней, — долгие, шумные споры, — и все для того, чтобы нарушить ровные, пресные отношения между мужчинами номера и стать кому-нибудь главой общества, как бывает это и в купе поезда и в мужской палате больницы, где встретились ненадолго

столь разные люди. А когда такой глава гостиничного номера признан всеми, неожиданное прекращение споров, как вздох облегчения, и того, кто стал главой, и тех, кто ему подчинился; предложение, принятое с восторгом единодушия, закончить вечер выпивкой в складчину, прямо здесь, в номере, сейчас же — водка, какие-то холодные пирожки, немного колбасы, за которыми посылается в ближайший магазин "застенчивый студент" с третьей кровати у окна.

И теперь уже другая атмосфера в номере — тихие, братские отношения, поддакивания главному и смешки над его остротами, обращенными больше в адрес студента, шептание ему на ухо чего-то сокровенного, разговоры о женщинах, прогуливающихся вокруг фонтана, "ну, на этой самой площади, где театр", долгое и бережное укладывание пьяного главного в постель, восхищение им утром — "прекрасный товарищ, компанейский парень", толчея в буфете, чтобы принести ему горячих сосисок в постель, сладостное чувство подчиненности, без которого наш человек не проживет и трех дней в командировке — растеряется до смерти, заболеет, — обмен адресами, приглашениями погостить и поохотиться на персональном газике, просьба писать.

Эта удивительно странная привычка быть в атмосфере своего семейного быта и далеко от дома, в поездках, особенно удручала Алишо, еще больше удаляла его от этих людей — ведь он, наоборот, не хотел в первую свою поездку из дома думать о родителях, о сне после полуночи на своей железной кровати, о пробуждении, об утреннем стакане молока натощак, о той вкусной еде, которой его так заботливо кормили. Тут прекрасные сосиски, прекрасные холодные пирожки, и эта теснота по-своему тоже прекрасна, эти стуки горничной в дверь — в любую минуту она может потребовать, чтобы Алишо выехал, ибо поместили его сюда на три дня, "до приезда какой-то делегации", а уже седьмой день, — тоже не страшны. Еще одна встреча с администратором — в такие минуты Алишо очень решителен, чувствует себя двойником какого-нибудь удачливого студента, ведь сколько у него преимуществ перед соседями из номера — нравствен, вежлив с прислугой, сдержан, возвращается к своей кровати еще задолго до того, как привратник повесит на дверях гостиницы цепочку, — и все будет улажено.

Способность улаживать, заставлять администратора

отменять свое решение о выселении, возможность просыпаться без просьбы матери, ложиться без напоминаний отца, покупать самостоятельно зубную пасту — притом, оказывается, что это очень редкая зубная паста, какая-нибудь "мери-члери", восхваляемая сотоварищами по номеру, — этакая проворность в поисках портного, который так хорошо и быстро залатал его черные в коричневую полоску брюки, и просьбы соседей "познакомь и нас с этим портным", — все удаляло Алишо от скучноватого существования дома, в кругу родных, и давало молодому человеку уверенность: "Вот, в первый раз уехал из дома и оказался таким ловким в жизни". И еще умение незаметно войти в круг гостиничной обслуги, в быт этого временного дома, частые выходы в вестибюль и наблюдение за всеми, кто проживает в гостинице и кто приезжает, предложение привратнику покурить с ним, два-три вежливых слова в ответ на вопрос горничной: "Не скучаешь?", много ничего не значащих слов старой женщине-телефонистке, сидящей за своей перегородкой в вестибюле и скучающей между редкими телефонными разговорами и интересующейся его личной жизнью, его домом.

В ответ нелепый обман, прибавление к своим шестнадцати годам еще четырех, пяти лет, чтобы казаться совсем взрослым, бывалым человеком.

Так жил он и чувствовал до недолгой истории любви, начавшейся банально, с несложными сюжетными ходами, будто история эта должна была посмеяться так жизненно и правдоподобно над романтическими мечтаниями Алишо.

Банально было само начало — обычная его вечерняя беседа с привратником, прерванная приездом машины, из которой вышел с чемоданом майор, затем его хрупкая, с печальным лицом дочь — печальная, впрочем, не по натуре, а от усталости, долгого поиска гостиницы, напряжения в чужом городе и, как потом выяснится, ссоры с отцом в машине; отец этот в представлении Алишо сразу слился с теми его товарищами по номеру, которые несли с собой повсюду груз своей семьи.

Суетливость привратника, бросившегося к чемодану майора, короткая перебранка майора с шофером насчет платы, прерванная тут же дочерью, — вся эта атмосфера дала возможность Алишо как-то естественно оказаться внутри компании — отец — дочь — привратник — шофер — с красным плащом дочери в руке

Затем долгое, напряженно-терпеливое ожидание с этим плащом у окна администратора, проверяющего документы: имя — Нора, возраст — шестнадцать лет, цель приезда — учеба в консерватории, в сопровождении отца ("Хуршидов — так меня зовут" — будто одна эта фамилия на слух должна произвести впечатление), взявшего отпуск лишь на три дня, затем, разумеется, Нора будет жить в общежитии, нет, он обещает, "слово военного", что только на три дня, иначе будут неприятности в воинской части...

При таком частом повторении "три дня" напряжение постепенно сменяется на лице дочери улыбкой, словно вот уже сейчас через внутренние муки пережила разом эти три дня отцовской опеки и освободилась — несколько веселых слов отцу, когда они поднимаются по лестнице на второй этаж, улыбки, смех и вопросительный взгляд, брошенный Алишо, идущему уверенно с плащом и чемоданом майора, как будто раз и навсегда нашел он себе место внутри их маленького мирка, уютное, теплое место.

А ведь были у него совсем другие намерения: думал Алишо, что, покурив с привратником, отправится один на прогулку, "осваивать дальше город", — теперь же внутренняя зависимость от поредевшей компании — только Хуршидов, Нора и он — волновала его не меньше, чем те минуты, когда он садился в поезд, чтобы первый раз в жизни оказаться одному в чужом городе, на свободе — прекрасная наивность юношества!

Что, собственно, произошло? Он только проводил их в номер, Хуршидов позволил ему войти на минуту, чтобы поставить чемодан возле шкафа. Беглый взгляд, успевший охватить многое — три никелированные кровати, круглый стол довольно безвкусной работы гостиничного столяра; Нора, устало севшая в кресло, ее строгое черное платье и чуть обнажившиеся колени, и Хуршидов, сразу же бросившийся искать свои комнатные туфли, — вот и все, что удалось ему увидеть перед уходом, слишком скупо для зрения, но, видимо, эта скупая и детальная картина и могла породить потом, когда он вернулся в свой номер, столько чувств, разнообразных, острых, часто повторяющихся и требующих особого внимания, особого рассмотрения каждой детали — ее платья, ее рук, кресла, куда она села.

Все, чего недоставало его зрению и слуху, он мог дополнить теперь своим воображением, лежа на кро-

вати, рядом с уснувшими сотоварищами; робкое торжество от ощущения собственной смелости, позволившей ему проводить ее до номера и приоткрыть немного для себя завесу ее жизни — печальное лицо при выходе из машины, сердитые слова, обращенные к отцу, затем улыбка и примирение с отцом, когда поднимались они к себе, скупые паспортные сведения: имя, цель приезда и еще, что более всего казалось ему важным, их родство от приобщенности к миру искусства — он в театральный, она в консерваторию, — было той малостью, столь нужной, чтобы почувствовать себя связанным с ней.

Он прислушивался к разговорам телефонистки, доносившимся из вестибюля, но боялся выйти и подождать там Нору, а в том, что она выйдет непременно к телефону, не было сомнения — почти все, кто поселялся в этой гостинице, сразу же бросались звонить, чтобы сообщить о своем благополучном приезде, словно ехали они в город, о котором столько слышали дурного! Боялся, как ни странно, не ее равнодушия, невнимания к себе, не разочарования, а взгляда ее отца, по которому вдруг ощутил мучительно возврат к своему прошлому существованию дома, своей несвободе. Себе Алишо казался иронизирующим над привычками Хуршидова, семейное спокойствие и опекунские обязанности которого он желал нарушить. Ведь в том кругу людей, который очертил в своем сознании Хуршидов еще задолго до приезда сюда с Норой, были — ректор, преподаватели, студенты в безликой своей массе, комендант общежития, администратор гостиницы — со всеми еле заметные, непрочные связи (лишь по делу дочери), — но только не Алишо, активный молодой человек, торчащий возле его дочери у окна администратора, у телефона, возле дверей...

Все это были фантазии, майор, спустившийся после переодевания в буфет с Норой, забыл Алишо, однако Алишо, лежа в постели, уже вовсю боролся с ним мысленно, чувствуя неприязнь.

Неприязнь эта была продолжением той бессильной, смешной неприязни к бородатому мужу учительницы, который как-то очень грубо поступил с ним (вдруг теперь старая тема снова всплывала в его памяти, — видно, была она запрятана в подсознании, иначе не повторилась бы в знакомой схеме: он — она и сопротивляющийся).

И не отсюда ли нежелание вставать с постели, пока не утихнет в номере беготня, стук стульев, передви-

гаемых во время упражнений с гантелями, жужжание электробритвы, лязг ножниц, писк пульверизаторов, распыляющих дешевый одеколон — запах его проникает даже под одеяло, которым укрыт с головой страдающий Алишо. Утренняя суета соседей защищает его от вопросов: "Не заболел ли студент?" Кажется, прояви они участие, ему придется открыть свое лицо, и тогда все сразу догадаются о том, что его так волнует, — послышатся смех, советы "семейных", и от их правоты, опыта все разом исчезнет из его души, трепетное и лелеянное, и минутная трезвость, которую он столь запоздало почувствует, сделает это утро таким же обыденным и банальным.

И все же в десятом часу, когда номер был пуст, он встал и пошел к телефону и стоял там, заполняя какие-то бланки и делая вид, что хочет поговорить с домом. Сейчас работала другая, молодая телефонистка, не его знакомая, и это было очень кстати, старая, с которой он говорил вчера, сразу обо всем догадалась бы — встретились они взглядами, когда он нес чемодан майора. А сегодня не заговорить с ней было бы странно, и тогда еще один человек узнал бы о его тайне.

Но и эта молодая телефонистка обратила на него внимание, ибо он был излишне возбужден и казался суетливо-вежливым — вскакивал, чтобы уступить свое место другим, пододвигал чернила, улыбаясь, подавал ручку, с готовностью писал кому-нибудь текст — и удивительно! — делал множество ошибок, и сам себе казался таким неестественным от смелости. Если бы она вдруг не пришла — все, без сомнения, закончилось бы истерикой от ощущения игры, которая почти всегда вплетается в сюжет юношеской влюбленности.

Нора, идущая по вестибюлю к телефону, первая увидела Алишо, и ее почему-то слегка смутили его так аккуратно выглаженные брюки. Она бросила взгляд на свое сиреневое платье, проходя мимо зеркала, и неприятное ощущение от его столь тщательно выглаженных утром брюк, разница между вчерашним его видом и сегодняшним снова вернули ее на мгновение в атмосферу ее тихой улицы, где молодые люди со своими признаниями в любви раскрывались для нее в своей банальности через такие мелкие детали, как прическа, брюки, обувь, начищенная до блеска. Но Нора сумела и выделить его интуитивно из той среды молодых людей, разглядев лицо, нервные руки и всю фигуру Алишо, робкую и простодушную.

Она улыбнулась чуть раньше, чем он ее увидел, Алишо уловил лишь приветливость на ее лице — след этой улыбки; обмен утренними любезностями, потом взгляд на ее профиль и желание, пока она писала на бланке номер телефона, спросить что-нибудь о майоре.

Долгий взгляд все понявшей телефонистки, ее желание помочь этой молодой паре (они ей сразу чем-то понравились, может быть, робостью, юностью), ее обращение к Алишо с укором: "Что же вы, помогите девушке заполнить бланк", поддержанное Алишо: "Да, да, простите", — ибо Нора от неопытности все напутала — ведь ей впервые приходилось говорить с домом из такой дали.

Третий персонаж — сопротивляющийся — появляется в тот момент, когда их милая игра с бланками, ручками, чернилами так забавляла Нору и Алишо, что хотелось бесконечно продолжать ее, притворяясь этакими далекими от почтовой суеты детьми, непрактичными, обаятельно-ироничными от ощущения того, что все вокруг начинает отодвигаться от них в своей холодной реальности.

Став сбоку, Хуршидов наблюдает за их суетливой восторженностью, вытирая платком губы — он только что из буфета, — и его слова: "А не много ли пять минут, может, хватит и трех?" — все разом ставят на свои места, ибо доводы его слишком разумны — ведь они еще ничего не успели узнать, даже не были в консерватории, а ничего не сказать маме — значит расстроить ее, не лучше ли поговорить с ней подольше, когда можно будет ее чем-нибудь порадовать, — все, что он говорит, смущает Алишо, как будто укоряют его. Нора же все еще под впечатлением их долгой игры с Алишо продолжает улыбаться, соглашается — три минуты, прекрасно! — время, его плотность, ошеломляющую длину чувствует лишь Алишо по взглядам отца.

Какая она прелестная, ведь легкостью, с которой Нора соглашается вместо пяти поговорить с домом три минуты, этой необязательностью, никчемной, не главной во всем том, что удалось им вместе придумать, возясь над бланками, она пытается избавить Алишо от робости.

Затем совсем несвойственная ей милая болтливость, когда говорит она с матерью, возбужденность, которую даже отец не способен успокоить своим холодным сдержанным тоном, когда, взяв у дочери трубку, он пытается сказать и несколько своих слов, через силу, необязательных, ибо что он, право, может рас-

сказать жене, с которой простился два дня назад? Настроение его еще по-прежнему ровное, как дома, он не утомился и не отдохнул и ничего такого не узнал, чтобы порадовать или огорчить жену: "...подожди, вот свожу ее в консерваторию, тогда...", "...с Норой? Ничего особенного, да, спала, ела".

Пока Нора рассказывает, как она здесь устроилась, что ест, Алишо думает, что вот теперь, после второго ее разговора с матерью, Хуршидов возненавидит его, ибо эта ее возбужденность, передавшаяся матери, растягивает разговор женщин, и ясно ведь, что виноват в чрезмерной веселости и болтливости Норы Алишо, отец поворачивается и, не дождавшись окончания разговора, медленно идет по вестибюлю на второй этаж.

Неожиданный и торопливый уход Норы вслед за отцом еще больше смущает Алишо, он сидит, сдерживая улыбку и подавляя в себе тщеславие — ведь это он вывел из равновесия Хуршидова своим подчеркнутым вниманием к Норе; но это чувство уходит от внезапно нахлынувшего ощущения, такого живого и реального, ее дома, матери, ее городка, должно быть неуютного, как и его город; он отчетливо слышал голос телефонистки: "Той-Тюбе" — где это? Наверное, тоже на юге, и само название городка навевает такое чувство, которое Алишо испытывает всякий раз, когда его гостиничные соседи начинают рассказывать о своих семьях, выбегают по утрам голыми до пояса к умывальникам, со своими зубными щетками и мылом в жестяных желтых коробках и стучат об пол гантелями, привезенными с собой.

С этим чувством он долго едет потом в автобусе в театральный, но запах свежей краски в аудитории, бутафорские маски, которые показывает им преподаватель, теснота и напряженность между студентами, ждущими первого экзамена, и естественное желание каждого уже сейчас казаться умнее, начитаннее, и любопытные взгляды девушек, разглядывающих парней, взгляды, которые сменятся потом на более спокойные, доброжелательные, — все заглушает радостное чувство от свидания утром с Норой.

"Каков плут", — подумал он о себе; ведь это странно, что сумел он хотя бы на время, в это утро, повторить ловко привычки тех молодых людей, которых презирал за их модность, за их везение, ибо удачливым в его глазах был тот, кто следил за шириной брюк и прической и оттого нравился девушкам. С тех пор эта деталь с брюками, которая все портила, возвращалась

в его сознание, искажая весь облик, и пальто, и шляпу. и обувь, когда стал он актером и ощущал себя "вжившимся" в свой ансамбль одежды.

Сомнения Алишо длились до того удачного часа, когда вдруг в автобус, в котором он возвращался из института, вошла Нора — его быстрый взгляд, обращенный в окно, страх: с ней ли Хуршидов? — затем осторожный поворот головы, когда Нора медленно, держась за спинки кресел, продвигалась вперед. Вот прошла мимо, задев его плечо рукой, извинилась, не глядя; сейчас непременно следом за ней он увидит Хуршидова, как два портрета, наложенные один на другой, на оригинал — копия, чтобы примирить чувство красоты и безобразного.

И теперь ей показалось, что, как и утром, она первая увидела Алишо, повернувшего в недоумении голову назад, ибо решил он, что отец сел отдельно от дочери; а молодой девушке, для которой жизнь состояла из чередования игры и загадок, это повторение утреннего не могло не показаться предвестием чего-то хорошего, тем более что, входя в автобус, она уже думала об Алишо.

Радость на ее лице смутила Алишо, и, съежившись на мгновение, он понял, что отца ее нет в автобусе, — их незаметное для окружающих рукопожатие было как знак истосковавшихся, а торопливые его шептания о встрече вечером у гостиницы — страхом, что ощущение от ее руки успеет остыть раньше, чем он добьется ее согласия на встречу: "только вдвоем, без отца". "Хорошо, но вы его не бойтесь", сказанное также шепотом, могло показаться ему укором за его нерешительность, а это действительно было так; вернувшись после телефонного разговора в номер, Нора вдруг разрыдалась от грубых слов отца, рассердившегося на то, что "одевается она по три часа и заставляет его торчать у стола дежурной по этажу в ожидании", и эта ее истерика была протестом отцу, который, знала она, будет против ее встреч с Алишо. И сейчас в автобусе неожиданное упоминание о нем, как будто Алишо все знал о разговоре в номере, еще больше сделало его предложение о встрече желанным. Но почему не сейчас, думалось ей, она бы бросила все свои дела и они пошли бы куда-нибудь, прямо сейчас сойти на остановке, и это вдвойне прекрасно оттого, что оба они не знают города! Вечером наверняка воспротивится отец, а думать с полудня о вечерней их встрече с Алишо казалось ей невыносимым.

Алишо еще раз сжал незаметно ее руку и от смелости не уловил, как дрогнула рука в нетерпении, в некой досаде, и вышел из автобуса, хотя мог ехать с Норой еще. Эта его поспешность, похожая на бегство, была странной и для него самого теперь, когда он смог договориться с Норой о главном, дальше пошла бы легкая болтовня на студенческие темы, но это "дальше" и смущало Алишо, он боялся показаться после этой удачи скучным, смешным, не то сказать, не так и все испортить еще до вечера — ее согласие и было для него тем душевным подарком, растратить который не хотелось на пустые разговоры, и с этим ощущением он думал ждать вечера. Он и не подозревал, что желания их уже теперь не совпали. Нора хотела, чтобы побыли они вдвоем, не откладывая время встречи, но ведь и Алишо в своем расчете не был таким уж хитрым, и Нора это понимала, он просто давал ей время подготовить себя, как готовил себя он к их встрече всю ночь вчера, и все утро, и даже сидя в аудитории: "...и тогда я шепну ей: "Встретимся вечером?"

Его мужской эгоизм проявился и в такой маленькой детали — время, оттянутое до вечера, приносило ему радостное волнение, к чувствам Норы примешивалась теперь и досада от разговора с отцом перед встречей с Алишо.

Но к вечеру стало чувствоваться, что Алишо зря понадеялся на силу своего терпения, радостное возбуждение от встречи, похожее на эйфорию, мало-помалу от сильных всплесков стало искажать его ощущения, чем ближе было время, когда Нора должна появиться у дверей гостиницы, тем быстрее его нетерпение превращалось в мнительность, желание скрыть от всех миг их нового рукопожатия, ибо вся эта история была для него слишком хрупкой, слишком личной, перечувствованной, чтобы мог он выставить ее напоказ.

После разговора с ней в автобусе Алишо сразу же вернулся в гостиницу и немного постоял возле телефонистки, затем побродил по вестибюлю, думая подняться на второй этаж и пройти возле дверей ее номера, но так и не решился. Какие-то необязательно-нелепые слова, сказанные горничной, полбулки и полчашки кофе в буфете, затем минут пятнадцать на кровати с закрытыми глазами — всего понемногу, все ненужное, лишнее, потом уход из гостиницы и медленная прогулка по скверу и все возрастающая мнительность и осторожность — тут за углом, может встретить его какой-нибудь сосед из номера, здесь — горнич-

ная, у дверей гостиницы — телефонистка, в сквере — Хуршидов, который сразу догадается, в чем дело; странное вчерашнее одиночество в чужом городе, которое вдруг теперь, когда Нора дала согласие, сменилось на еще более странное чувство причастности всех к его сегодняшнему вечеру, на такую ненужную известность для десятка разных людей, от легкого знакомства с которыми он ранее не ждал никакого подвоха.

Затем, уже к семи часам, эта его позиция в полутемном углу возле лотка, где торговали пирожными, и спокойный взгляд, обращенный к двери гостиницы, откуда Нора должна выйти, взгляд человека, уставшего от напряжения и сомнения.

Когда Алишо увидел ее не одну, как ожидал, а с отцом, выходящим, непринужденно разговаривая с Норой, из гостиницы, напряжение вдруг прошло, а когда понял, что остановились они, ожидая его, Алишо постоял немного, чтобы не догадались, что он, спрятавшись, ждал, затем спокойно и улыбаясь, будто еще издали, идя по улице, увидел их, пошел к месту встречи.

Хуршидов должен быть доволен его видом — ни тени смущения и неудовольствия, как будто не было этой просьбы: "Только без отца", наоборот, все открыто, никаких шептаний за его спиной, все как в отношениях честного и благородного юноши и девушки, выходящей на встречу с маменькой, как в старых романах. Только мелькнула у Алишо мысль, такая спокойно-обреченная: "Он ведь есть. Вот он и есть тут", — но мысль эта не могла ясно выразиться на его лице, ведь он действительно был, этот сопротивляющийся, и был давно, с той самой минуты, когда Алишо впервые увидел Нору, был в мыслях, в переживаниях — конкретно-телесный, еще более жесткий и реальный, чем сейчас, наяву.

Короткий обмен приветствиями, и как спасение — пожелание майора пойти всем и отужинать, через улицу, в ресторане, и размеренная, тихая прогулка до ресторана (Алишо, легко касаясь локтя Норы, ведет ее), вопросы Хуршидова об экзаменах, ответы Алишо, такие же короткие и однозначные, шутки отца в адрес дочери, так сильно переживающей на экзаменах, ответы Норы, милый смех и короткие минуты молчания, когда смотрит Нора на Алишо, не боясь показать опухшие от слез глаза.

Эти глаза, выдающие то, что произошло недавно, перед выходом, в номере, не казались теперь Алишо такой важной деталью, истерика или драма была уже

ненужной и нелепой в общей атмосфере ее хорошего настроения, смеха и шуток с отцом, их большой душевной близости, родственной теплоты и участия — для Алишо самого появления Норы с отцом было достаточно, чтобы пришло вдруг равнодушие, за которым уже не существовало его прошлого радостного возбуждения, его мнительности, его благодарности за согласие прийти одной, без отца, на встречу. Все это ушло, он потерял с тем чувством внутреннюю связь, и сейчас он понимал все так: вот есть то реальное, новое, хотя и не предвиденное им состояние, они идут втроем и это есть самое подлинное и существенное сейчас и безошибочно верное. Не стоит мысленно возвращаться назад. Нет смысла даже спрашивать: что случилось? Почему пришла не одна? Что означают слезы? Иначе как быть вот с этим реальным, их теперешним состоянием в ресторане? Куда деть это ощущение от сладкого шампанского? Игры оркестра? Вопросов Хуршидова?

Впрочем, во время беседы, ставшей сугубо мужской — его и Хуршидова, — Алишо часто ловил на себе ее взгляды, которые как бы должны были привести его в чувство, дать понять, что то, что сейчас происходит, — не подлинное, как всякое навязанное состояние, — подлинно то дневное, в автобусе, и то, что будет между ними завтра, послезавтра.

Алишо сейчас чувствовал себя свободнее в разговоре с Хуршидовым, чем с Норой, — подавленный неудачей, он как бы признавал в душе правоту отца. Если вдруг стать холодно-расчетливым и притвориться, что вся эта история не касается тебя, можно понять логику Хуршидова, когда не дал он, чтобы Нора шла одна на свидание, — путаница в планах казалась ему невыносимой, он здесь на три дня, чтобы устроить ее в консерваторию, забрать из гостиницы и самому спокойно уехать потом в Той-Тюбе; нелепая история с Алишо в самый первый день, нет и нет! Главное сейчас учеба, о каких увлечениях может идти речь, и о чем они договаривались, и чем все это закончится? Допустим, что любовью, но это так обременительно для семьи, столько проблем, надо устраиваться с жильем, деньги — ведь на стипендию не проживешь, куда потом, в Той-Тюбе? Немыслимо. Ну а если это увлечение мимолетное — молодые люди, слоняющиеся в гостинице, не внушают доверия, — будет драма, уход из консерватории, он слишком хорошо знает свою дочь, — вот как видел все Хуршидов. Это был его сюжет, где казалось все так жизнеподобно — ведь говорит собственный опыт

человека, прожившего без малого пятьдесят и знающего наперед каждый поворот жизни; притом что за пошлость этот "гостиничный роман"!

Слушая его рассуждения о том, как лучше прожить студенту свой день — ведь он тоже был студентом! — Алишо никак не может освободиться от чувства, что говорит один из его соседей по номеру, несущий всюду свой груз семейности; "не уехать ли теперь?" — впервые приходит эта дерзкая мысль и удивляет своей точностью — невозможно все это пережить. "Я ее люблю", — думает он, глядя на Нору и ожидая, пока она посмотрит опять с укором на него — ей кажется, что он все не так понимает, оттого не желает говорить с ней, скучно рассуждает с Хуршидовым.

Но об отъезде Алишо думает в тот момент, когда понимает, как она прекрасно себя ведет, вышла из гостиницы с отцом, шла с ним под руку, смеялась, была тепла с отцом — ведь как было бы все ужасно, выйди она с заплаканными глазами, с трагической миной и шла бы молча или шептала ему о своей невиновности, — такого вечера в ресторане могло бы и не быть, не было бы ничего, ни этого признания, ни разговорчивого собеседника.

Затем неожиданное предложение Хуршидова: "Что же вы, молодые, потанцуйте" — как щедрость победителя, довольного собой — все так удачно решилось для всех, Алишо это стало ясно, когда на мгновение потух свет люстр, предупреждая о скором закрытии ресторана.

"Что еще может остаться?" — думает Алишо, танцуя — ощущение ее руки на плече, ее взгляд и запах ее волос, кончики которых задёвают его подбородок и еще ее слова: "Приходи завтра в консерваторию"

Теперь уже остаток вечера, каких-нибудь десять минут до закрытия — молчание Алишо, его рассеянные кивки на слова Хуршидова — стыдливое чувство довольства от ее приглашения. "Надо взять себя в руки, иначе он догадается о нашем завтра", и опять никчемная болтовня, и вдруг неожиданная решимость сказать ему, кто он есть, если Хуршидов еще раз будет груб и несносен с Норой. Он ведь должен когда-нибудь избавиться от чувства робости. Вернее, он должен был объяснить — не кто есть Хуршидов (его Алишо мог оправдать, человека с "грузом семейности"), а кто есть сам Алишо — ведь, право же, совершенно напрасны эти подозрения и вся возня человека, который совершенно не знает его, а Алишо, ведь он крот-

кий человек, но гнев кротких бывает страшен, и Хуршидов должен будет почувствовать это, если завтра... А завтра последний день, потом он уедет в Той-Тюбе — чувство восторга и смущения от всей этой истории, в которой больше пустой страсти, страсти, бесполезно растрачиваемой, немного надежды и совсем мало истинного, — все это вновь взволновало Алишо, когда он лежал и не мог уснуть, уязвленный смехом соседей по номеру, когда часа три назад вернулся сильно возбужденный от одного бокала шампанского: "Студент отбился от рук".

Право же, вот цена мужской дружбы! Эгоизм, чуточку грубости, отсутствие любопытства и презрение к тому, кто старается преуспеть в любви, — так приблизительно представлял Алишо атмосферу случайных сообществ, в которых и выдвигается вперед человек типа Хуршидова или бородатого мужа учительницы.

Но завтрашнего дня, которого так ждал Алишо, не было. Вернее, был он лишь в тряске в автобусе и в беготне по многочисленным лестницам консерватории под шум расстроенных инструментов, в лицах удивленных его назойливостью секретарш, студентов, которые и не слышали о Норе; в передышках рассматривание стенных газет с огромными басовыми ключами по краям в классах фортепьяно, виолончели, скрипки, гобоя, национальных инструментов, всюду — ответы вполголоса, через силу, невнятно — обычная экзаменационная суета. Ведь как это нелепо — в такой атмосфере, среди всех этих звуков, хорового пения, вокала, надеяться найти Нору, это ведь так противоестественно — быть и хозяином и сторожем, и гонцом и душеприказчиком своей влюбленности, и ее транжиром, ибо с каждым часом он все трезвее ощущает свою потерю, свою неспособность среди хаоса реальности хоть как-то что-то понять, пока вдруг к нему не приходит такая простая мысль: "ОН НЕ РАЗРЕШИЛ ЕЙ СЕГОДНЯ ВЫХОДИТЬ", — мысль, как выяснилось, неверная; чтобы вырваться из плотности звуковой атмосферы, он возвращается в гостиницу на такси, поторапливая шофера. А потом странный вопрос: "Подождать?" — словно шофер уверен по поведению Алишо, что надо подождать, чтобы увезти его еще куда-нибудь с такой же бешеной скоростью.

Но вот продолжение консерваторской атмосферы — из ЕЕ номера, куда он постучал, выглянули другие, чужие люди. Объяснение ошеломленного юноши они

слушают недоверчиво, ибо уже расположились в номере, окружив себя привезенным домашним уютом — основательно и надолго. И отсюда недоверие, из ощущения правильности каждого своего шага с той минуты, утром, когда их сюда поселили: "Отец и дочь?"

"Уехали рано утром" — объяснение знакомой администраторши и долгий взгляд, как сочувствие, ибо и она уже знает, как и многие в гостинице, историю зарождения и конца его влюбленности. В ответ, разумеется, его спокойное: "Я так и знал", затем, как надежда, — телефонистка, согласившаяся среди множества переговорных бланков найти ЕЕ бланк с номером телефона той-тюбинского дома.

Ведь должна же была она сказать ему еще что-то, кроме: "Хорошо, я приду вечером" и "Приходи завтра в консерваторию", — еще что-то важное. Будет, конечно, ужасная слышимость, телефон затрещит, чтобы исказить ее слова. "Вы проследите за слышимостью?" Через минуту: "Вам некогда искать?" Какая досада. "Хорошо, я подойду вечером".

Прогулка по скверу за углом гостиницы и гадание о том, какое будет главное, ее третье слово, которое он услышит вечером по телефону: "Я тебе обо всем напишу", "Приезжай ко мне", "Хочешь, я приеду в твой город?", затем, близко к вечеру, — все тревожнее, не так просто: "Нет, я не смогу сейчас приехать", "Я тебе все объясню в письме", "Нет, пока не приезжай", — от мучительного сознания того, что все кончилось, что в самом начале его чувств, столь бурном, быстром, уже и был заложен скорый конец их истории и что она была дана ему, чтобы обжечь и создать в сознании Алишо еще одну тему, и как подтверждение всему этому — слова телефонистки вечером, перед тем как Алишо уже решил собирать чемодан: "Нет, ничего не нашла".

После этого — бегство в номер, надо до прихода соседей взять вещи и незаметно уйти, чтобы не было вопросов, сочувствия, взглядов ему вслед, долгого обсуждения после его ухода, а потом еще воспоминаний, когда он уже сядет в поезд и будет лежать на полке, неподвижный, с иронической улыбкой на губах, чувствуя, как приходит к нему равнодушие и спокойствие; это состояние, когда он вернется домой, врач назовет потерей чувствительности, анестезией, и диагноз этот долго потом будет выражать отношение к нему других и считаться его сущностью, подобно тому как удачно сделанная маска заменяет порой лицо

Но сам Алишо будет сопротивляться такому взгляду на себя, он притворится, что ничего такого не произошло в чужом городе, и сумеет переубедить родителей, с тревогой следящих за ним с того дня, как он вернулся. И естественно, всякое объяснение, люди добрые и любящие, они будут понимать как нежелание сына признать свои неудачи на экзаменах. Его же самого эта анестезия будет странным образом возвращать к воспоминаниям об учительнице, жившей в мансарде школы, как будто его душа еще не насытилась горечью, а желала новых неприятных ощущений, чтобы сближением одной темы, "темы первой любви", которую он считал оконченной, с другой — "темой детской влюбленности" — уравновесить его ощущения.

3

Сейчас, в зрелом возрасте, ощущения Алишо от давней своей "темы детской влюбленности" были связаны с беспокойной его любовью к своим поздним детям, с неуверенностью — сложным чувством, которое не может быть никогда длительным, каждодневным, а лишь с горячечной, почти назойливой страстью и остыванием. Отсюда вдруг это внимание к детям, когда он целыми днями не отходил от них, — чтение сказок, игры, смешные выдумки, прозвища и клички, ежечасное Мариам: "измерь им температуру", разговоры о знакомых врачах на случай, если, не дай бог, дети заболеют, самое заинтересованное обсуждение музыкальных способностей дочерей: "Нет, мы не так их воспитываем. Каждой нужен особый подход", ибо старшая — сангвиник, младшая — меланхолик; трогательное, почти атавистическое желание сохранить первые выпавшие детские зубы, волосы после первой стрижки, частое приглашение фотографа: "Знаете, как вам будет интересно через много лет посмотреть на себя", шумные прогулки с ними, аттракционы, луна-парки; затем, как реакция на все это, — утомление и остывание, раздражительность, этакие патриаршеские наставления: "Вот когда я был ребенком, то..." — как недовольство своим вчерашним сюсюканием, этим чуть пошловатым зовом: "Детки..." Тревожные мысли об их будущем, которое с каждым днем все реальнее, назойливее, — ведь и у них все заметнее эта естественная тоска по влюбленности, смена настроений от ревности и благодушия, кокетства, желания

нравиться к строгости, меланхолии, — словом, все как когда-то у него самого, в тот год, когда Алишо исполнилось восемь лет и он пошел в школу.

Старше всех в классе на два года, всегда серьезный и сосредоточенный, изнывающий тайно от школьной дисциплины, но сдерживающий себя уже развитой волей в пределах дозволенного — типичный послевоенный "поздний школьник". Первые месяцы учебы до зимних каникул еще не особенно тягостны — желание войти в коллектив, приспособиться к поведению тех, кого он в душе называл "белоручками", — у них еще наивно-первобытное восприятие, они чуточку жестоки в обращении, в играх, эгоистичны.

Но учительница вовремя замечает его душевное смятение — Алишо не так все легко дается, как другим, нет гибкости восприятия, сам себе он кажется недоразвитым, "груз возраста" мешает ему забывать о неудачах; мнительность Алишо еще больше усиливает тягостное ощущение от этих неудач, так что нередко он плачет.

Потом простуда перед каникулами, два-три посещения Алишо учительницей. Она сидит на стуле у его постели и держит его руку, прощупывая пульс: "Я немножко врач". Рука ее ласковая — вот когда она не учительница, когда у него дома, она совсем другая, смотрит на него серьезно-вопросительно, как будто очень обеспокоена, ведь ни к кому она больше не пошла, отсюда прямо по снежным улицам отправится к себе в мансарду — стыдливая, тайная благодарность и довольство собой утешают маленького притворщика. Он наконец замечен, выделен из группы других, а это так приятно его самолюбию, ибо, замкнутый и мечтательный, он уже давно ждал, давно желал вот таких знаков — от мамы, от учительницы, от друзей... "Не волнуйся, лечись, а я с тобой позанимаюсь в дни каникул" — сказанное перед уходом учительницей было для него еще большей наградой, чем если бы она стала его жалеть, чего он так ждал.

Задолго до выздоровления он уже мысленно много раз поднимался по запретной лестнице, покрытой снегом, к мансарде, видел ее комнату, стул, лампу, которая освещает ее лицо, когда она читает тетрадь Алишо, и из глубины расстояния, сквозь дома и улицы, смотрит на него с улыбкой, довольная его сообразительностью и прилежностью. Эти его самые первые грезы, столь короткие, вызывали беспокойство и такую естественную ревность, когда взгляд его, блуждающий

по мансарде, обнаруживал пальто или шляпу ее бородатого мужа, и тогда он жмурился, чтобы скорее забыть это.

Он вспоминал свое любопытство, когда видел их, учительницу и мужа, идущими по улице под руку — Алишо тихо шел сзади, чтобы примирить в своем сознании вот эту ее интимность со строгостью в классе, часы ее работы с часами личной жизни, и вот теперь, когда учительница пришла к нему, заболевшему, и он почувствовал ее руку, Алишо вдруг ощутил как бы продолжение того, чего он не видел, когда учительница и муж сворачивали куда-нибудь в переулок, куда он уже не решался идти и подглядывать за ними.

Ведь, чувствуя себя таким взрослым в классе, он внутренне был в ее мире, больше в мансарде, чем в классной комнате, ощущение взрослости, которое было ему внушено и родителями, и самими учениками, и вот наконец признано и ею, раз и навсегда отлучило его от прошлой детской жизни, заставило проститься с тем, что уже опостылело, с опекой, выговорами, порицанием, а взамен предложило первое чувство влюбленности в нее, учительницу, новое, более острое и более мучительное чувство, чем любовь к матери, — от него теперь и пойдут его сознательные, глубокие ощущения своей личности.

Естественная рассеянность, длящаяся эти два часа, пока он сидит с ней в мансарде за учебниками, его скользящие украдкой глаза, когда желает он сверить свое видение ее комнаты в воображении с реальностью окружающего, и лоб, который все еще продолжает ощущать прикосновение ее рук, когда вошел он сюда в пальто и шапке, стал снимать и от смущения и спешки не мог расстегнуть шапку: "Ну, ты смешной, ей-богу..." — улыбнулась она его виду и бросилась к столу за гребнем, а он стоял у зеркала, позволяя расчесать свои взлохмаченные волосы. И отсюда это плутовство невинного, желание разжалобить ее, сказать, не грубо, конечно, и не прямо, что дома совсем не следят за его внешним видом, затем долгое и совестливое размышление, к чему может привести эта его неправда, к тому, что она посочувствует ему, или же к неудовольствию: "Не люблю, когда мальчики такие жалобщики".

До следующего раза, когда он должен снова прийти к ней, Алишо живет с радостным ощущением подаренного ею знака — этого ее жеста с гребенкой, — лучше всего бродить по улицам, ведь дом по контрасту уже

раздражает его своей размеренной, спокойной атмосферой, так знакомой ему, — он чуточку груб теперь с родителями, нетерпелив, молчалив — словно неизменность окружающего должна охладить ее знак, огрубить, растерять в каждодневном. А с приятелями он суетлив, возбужден и ироничен, как владелец ее знака, — поистине для него странная ситуация — все они знают ее и его, но бесстрастным своим, ровным знанием, а это значит, что ничего не знают о главном, — это его очень забавляло.

С ощущением этого знака, правда уже остывшим от частого прикосновения к нему душой, Алишо шел к учительнице во второй раз, в ее мансарду, с нетерпеливым желанием узнать, что на этот раз она приготовила ему, какой взгляд, слово или жест, что могло бы согреть его до следующей встречи, но на этот раз она встретила его более сдержанно, ибо увидела, каким он был — возбужденно-невнимательным, и поняла почему — от ее простого жеста при встрече, — и теперь, как воспитатель, решила не давать ему повода вести себя так, словно главное для него не уроки, не дисциплина и усидчивость, а эти знаки...

Строже, чем обычно, она спросила, приготовил ли он урок, и очень удивилась, когда увидела, как он был исполнителен и прилежен. Он действительно очень старался, думая, что для нее ведь главное — его прилежание, это как бы его знак, посланный ей, взамен он получит ее одобрение и улыбку. Она надела очки, сразу удалившись от него, стала строже и холоднее и, посмотрев его тетрадь, похвалила, а он покраснел и оробел — так ему было приятно.

Но он ждал большего, хотел, чтобы она сняла очки и заговорила с ним о чем-то другом, спросила, откуда у него синяк на щеке (ведь она немножко врач), и помазала бы ему щеку каким-нибудь лекарством, и хотя в этот ее знак примешивалось бы ощущение неприятного от запаха лекарства, он все равно был бы доволен своим приходом, ибо, как только она открыла ему дверь и впустила в мансарду, он понял с огорчением, что на многое ему сегодня рассчитывать не следует. Но очки она не сняла до самого конца урока и была сдержанной и даже временами нетерпеливой, и это он объяснял себе тем, что в комнате постоянно присутствовал ее бородатый муж — сидя спиной к ним за столом, он не отрываясь писал что-то. Несколько раз она даже обращалась к нему, спохватившись, когда говорила с Алишо громко, забывшись: "Прости,

мы тебе не мешаем?", на что его неизменное: "Нет, нет, не волнуйся" — и к Алишо сразу же возвращалась эта немного странная своей загадочностью картина на улице, когда увидел он их идущими тихо под руку, — картина из их личной жизни, которая будоражила его любопытство.

Потом все кончилось, и он долго, сконфуженный, надевал свое пальто и ту самую шапку, которая взлохматила его волосы, а она сказала: "Какой ты смешной, ей-богу..." Но сейчас она ждала и молчала, а он оделся и вышел с таким ощущением, будто каникулы кончились и он прощается с этой мансардой и будет теперь видеть учительницу только на уроках среди тридцати учеников — там она другая, может при всех пожурить его, и он почувствует себя невыносимо в этой обстановке, посмотрит из окна на мансарду и постарается все забыть...

"Прийти послезавтра?" — спрашивает он тихо. "Да. А почему ты спрашиваешь? Не сможешь?" — "Смогу". И он уходит, привыкая к мысли, что надо снова принять дом, место, где его всегда ждут, утешат, и что в этой скучной и однообразной жизни среди родных он будет таким же желанным, как и раньше; он станет взрослым когда-нибудь, и вдруг учительница встретит его и скажет ему что-то важное, ибо он будет тогда умен и красив, он сможет на равных разговаривать с ее бородатым мужем, спорить с ним о разных науках и книгах, она удивится и подумает: "Почему я тогда обошлась с ним неласково, надо было выйти за него замуж", — все по тому знакомому ряду, о котором он часто слышит в разговорах взрослых, когда те о чем-то вспоминают былом.

Но дома он еще более замкнут и грубоват, рано ложится в постель — "Ты не болен?" — и думает почему-то, что, если он пойдет к учительнице раньше двенадцати — часа их уроков, — окажется, что бородатого ее мужа нет дома, и он успеет до его прихода получить желанный знак. С одиннадцати он уже бродит возле школы, тихо ступая по снегу, и думает: а что, если бы у нее был сын, который бы учился в его классе, как бы он вел себя с ее сыном, дружил ли? — и почему-то с облегчением считает, что это хорошо, что нет этого сына, — все, наверное, было бы по-другому, хуже, натянутее — ведь сын бы ее, высокомерный и несносный от ощущения своего особого положения, не мог бы стать его другом, они враждовали бы непременно.

Потом он ровно в двенадцать (каждую минуту спрашивал у прохожих время) стучит в ее дверь, ждет, не в силах справиться с волнением, но вместо нее появляется бородатый муж. "Извините..." — "Иди, мальчик, сегодня урока не будет", — сказано, как ему показалось, грубо, как назойливому, вот этому нелепому его виду на лестнице. "А завтра можно..." — "И завтра не будет, не приходи больше", — раздражительно от его недогадливости, как будто его стыдят и дарят другой неприятный знак, чтобы кончить все, прогнать его с лестницы. Он бежит вниз, удивляясь, что не падает, — ведь под ногами очень скользко, он помнит это; когда поднимался, думал, что сегодня еще холоднее, и он это ей скажет и будет сидеть, засунув ладони себе под мышки, чтобы согреть, — с очень трогательным видом, и она обратит на это внимание.

"Она должна мне сама сказать", — думает Алишо и ступает по тем своим следам на снегу, которые оставил, поднимаясь к ней; затем горечь пересилила его терпение, и он плачет от ощущения силы, грубости, строгости бородатого человека, его взрослости и невозможности преодолеть свои страх и робость — ведь достаточно было одного слова, чтобы все это кончилось, все его ожидания, те особые дни, когда можно было идти в ее мансарду, — как все хрупко и просто!

Окоченевший, он идет домой, уже твердо решив смириться с прошлой своей жизнью, оно продолжится, это существование без ее знаков, состояние обычного ученика, — от горестной мысли он бежит и, спускаясь с ледяной горки, хочет упасть — шальная мысль на секунду, — ставит нетвердо ногу и падает, скользит на спине и только дома чувствует боль в позвоночнике, когда переворачивается ночью в постели, вздохнув печально. Он улыбается этой боли, лелеет ее, зная, что теперь, когда он снова заболеет, она придет к нему, сядет на стул и возьмет его руку: "Я ведь немножко врач". А утром он просит, торопит, чтобы позвали к нему врача. Врач говорит что-то о поврежденном нерве позвоночника. "Это серьезно, может остаться на всю жизнь, если неверно лечить", — но слова его радуют Алишо — они как месть бородатому ее мужу.

Но проходят каникулы, он все лежит, а она не приходит; проснувшись, Алишо спрашивает о ней — нет, не приходила, просит пойти и сказать, что он не ходит в школу, потому что повредил нерв — он плохо произносит это слово "нерв" но мать произнесет лучше и убедительнее. Впрочем, он ведь так боится всего,

что несет печать убедительности, — слов, жестов, лиц, кажется, что они выражают саму сущность жизни, столь непонятную его сознанию и столь пугающую, и не потому ли Алишо так спокойно встретил женщину, с которой мать вернулась из школы: "Я твоя новая учительница". Он ничего не стал спрашивать, она посидела и сказала: "Выздоравливай скорее" — и ушла, и он твердо решил не видеть ее больше, и получилось так, как он хотел, — его отдали в другую школу.

Все оказалось так просто, когда он через пять или шесть лет действительно встретил на улице учительницу. Ему, уже такому взрослому, она призналась, что в те дни, когда он приходил к ней в мансарду, произошла у нее ссора с директором школы — ничего особенного, старая неприязнь, из-за квартиры или еще из-за чего, — и она ушла из этой школы, перешла туда, где квартиру ей дали. "О, ты уже совсем взрослый! Как учишься?" — несколько необязательных слов, и они расстались. И хотя это объяснение, такое ясное и простое, должно было как-то оправдать в его глазах бородатого ее мужа, Алишо тогда не придал этой встрече и ее словам никакого значения, поэтому в его устойчивой теме бородатый муж так и остался персонажем сопротивляющимся — ведь важно было для него первое ощущение от всей этой истории и то, как воспринимались внутри ее разные лица.

4

После истории с Норой и длительной анестезии, ставшей причиной отстранения от воинской службы, — спокойная работа в прокатной конторе у отца-экспедитора, человека энергичного, берущегося за все, что считалось тогда новым и модным в их маленьком городке, — прокат, кредит, химчистка, сервис, няньки на дом. И постоянное сыну: "Не утомляйся! Прогуляйся за городом!", и неожиданное их трогательное сближение, людей ранее отчужденных. Утром вместе в контору, вечером прогулки по городу, эта неестественная веселость отца, желание казаться сыну не просто отцом — другом, в меру строгим, в меру предупредительным, по-приятельски развязным, когда невинный разговор незаметно переходит ту грань, где какие-нибудь интимные подробности уже не кажутся неловкими и неуместными, — к примеру, рассказ отца об

интрижке молодости с дикторшей радио: "Разумеется, до знакомства с твоей мамой, мой мальчик".

Как удивительно! Сейчас, когда Алишо уже знает этот мир — актрис и дикторш — он и представить себе не может женщину другой профессии, скажем учительницу, работницу фабрики, профсоюзов, в роли любовницы отца, — разумеется, кто-нибудь из этого мира — радио, кино, салон красоты, ибо в нем уже тогда, в молодости, когда учился он торговле, науке весьма трезвой, жил затаенно артистизм, ожидая своего часа, какого-нибудь шестьдесят второго года, чтобы проявиться и удивить тихий восточный люд постройкой пятиэтажного Дома быта с финской мебелью, договорами, контрактами с железной дорогой и воздушным сообщением, финансами, кредитами, — и это в городе дремотном, утомленном, с двадцатитысячным населением, последние два поколения которого и не думали уже выдвигать из своей среды деятеля с "европейскими" замашками.

От ощущения "своего часа", везения — эта неожиданная раскованность отца, человека ранее скрытного и угрюмого, долгие, пошловатенькие обсуждения по вечерам, в присутствии матери, достоинств и недостатков женщин, и таких их достоинств, о которых не принято говорить вслух, и все под видом просвещения Алишо: "Сын уже скоро начнет нравиться женщинам", так вот, чтобы знал...

Удивленные взгляды матери, ее робкая настороженность — ведь непохоже на отца, эти разговоры за столом, частые, суетливые, смущали Алишо, но прервать отца, встать и уйти — чересчур ребячливо, тем более что разговор о женщинах, столь обнаженный, идет на равных, как будто и Алишо может о чем-нибудь таком рассказать, будто отец знает о его "гостиничном романе", но не так, как было в действительности, не в столь невинном, чистом виде, а в другом, земном, повседневном варианте, с соблазнением, обманом и удачным бегством при полном одурачивании Хуршидова. И при этих вольных разговорах Алишо чувствовал этакое подмигивание отца, его скрытые от матери жесты за спиной, приглашение в заговор мужчин против одной женщины — матери, не позволяющей им, после закрытия конторы вечером, посидеть в ресторане, выпить, познакомиться с женщинами, а потом поехать с ними куда-нибудь за город, не думая о том, что надо непременно вернуться домой в свою постель.

Так думал Алишо, живя с ощущением стыда перед матерью, но и любопытства, желания увидеть, чем все это кончится, — ведь искушение дерзостью не могло длиться так долго, в матери уже собиралась злость, а отец становился все более развязным, и Алишо был уверен, что непременно так и кончится напряжение в семье — после работы они пойдут в ресторан, напьются и не вернутся ночью домой; мать, подготовленная к этому долгими разговорами отца с Алишо за столом, должно быть, улыбнется про себя и уснет — странное поведение, не правда ли?

Но случай представился — из дома брата пришло приглашение на свадьбу, — и вот напряженное ожидание с утра, чрезмерная суетливость Алишо от мысли, что наступает развязка, все примерно по старой схеме — поездка, пьянство на свадьбе, атмосфера беспечности и веселья — вот что ждет их с отцом; мать, естественно, ехать не может, не на кого оставить дом; но вдруг вечером, когда надо решить все наконец, отец упрямо желает остаться — это путешествие, сутки в поезде туда и обратно, два дня свадьбы, немыслимо, особенно сейчас, перед открытием нового Дома новобрачных, поедут мать и Алишо, все, так решено!

Удивительно, вместо облегчения — непонятное упрямство матери, слезы: "Как не стыдно, ведь свадьба единственного брата, как можно?!" Она не простит отцу, если он не поедет с Алишо, все его разговоры о занятости и работе — чепуха, он просто бессердечен, давно забыл родственников, и не три дня они должны побыть в деревне, а всю неделю, пока не пройдут свадьбы в доме жениха, в доме невесты и потом послесвадебная суета; брат один не справится — и вот все, что накапливалось месяцами, давая о себе знать лишь в откровенно-развязных разговорах отца, желавшего просветить сына, вылилось теперь в такую мелкую ссору из-за поездки.

"Но, может быть, это он просто так, — думал Алишо, когда они сели наконец в поезд, — решил просто успокоить мать, зная, что она откажется от поездки, а ему, посланному на свадьбу насильно, будет больше доверять".

Да, так оно и должно быть, вот сейчас они разместят как-нибудь коробки и пакеты с подарками — и сразу же в ресторан, и будут сидеть и пить, и поглядывать в окно, и, чтобы Алишо не смущался, что они опять на равных с отцом, отец будет хлопать сына по плечу и показывать взглядом на какую-нибудь инте-

ресную женщину за соседним столиком и разрешать, для большей убедительности и естественности обстановки, платить за выпитое Алишо из своих денег — ведь ничто так не подчеркивает равенства между мужчинами, как денежная независимость (одна из заповедей отца).

Коробки и чемоданы уложены, Алишо выходит в коридор вагона, чтобы прочитать все, что написано о правилах поведения пассажиров и о часах работы ресторана, чтобы в случае, если отец сильно напьется, не растеряться и сориентироваться. Ресторан через два вагона, он это отметил про себя, когда не сел еще в вагон, а сейчас он смотрел, не пройдет ли какая-нибудь интересная женщина, чтобы отцу можно было потом показывать на нее взглядом; единственное, что его как-то смущает, — деньги, которыми надо расплатиться за выпитое, какие-то жалкие тридцать рублей в кармане, что ж, он попросит взаймы у отца, а выпить лучше шампанское, вкус его вернет на мгновение Алишо к тому вечеру, когда он сидел в ресторане с Норой, четыре года назад. Нет, слишком тоскливо все это, лучше выпить водки — все будет грубее, откровеннее, он сам должен быть циничнее, смелее, самостоятельнее, не тем робким, ущемленным Алишо, нежным, влюбленным.

Только странно, что отец до сих пор не выходит из купе, проводник уже заходил туда дважды, с постелью и чайником, последний раз так закрыл дверь, как будто не желал беспокоить спящего.

И вот с той минуты, как Алишо вернулся в купе, чтобы позвать отца в ресторан, и до самого утра, когда сходили они с поезда, его не покидало тягостное ощущение возврата к прошлому, к тому холодному, пресному существованию в номере гостиницы в чужом городе, до встречи с Норой, — отец лежал в постели в своей пижаме и спал, и был сейчас одним из тех гостиничных сотоварищей с грузом семейности, которые вызывали в Алишо жалость и скуку.

Что же это такое? И как понять его пижамное прозябание на полке после всего того, что говорилось им в назидание Алишо при матери? И сейчас, когда они так свободны... Но если отец лишь дразнил Алишо, все придумал, чтобы как-то повлиять на что-то в сыне, исправить, а самому остаться в своем ровном и пристойном существовании энергичного и делового человека, то это вдвойне нечестно.

"Ведь я могу, раззадоренный так, уйти в дурную компанию, — подумал о себе иронически Алишо. — Ведь если мне указать, но не повести, я могу пойти сам и ошибиться, разве не мог догадаться отец?" — так думал Алишо, вспомнив книгу, где с героем случилось нечто подобное.

Но и не к чему пока огорчаться — впереди еще деревня, потом свадьба и два или три послесвадебных дня — достаточно времени и места для мужского заговора. (Именно это сильное слово "заговор" и повторял много раз Алишо, чтобы выразить свои желания, ибо все, что смущало его, казалось таким таинственным и трудным.)

Прямо с поезда — в объятия двух трогательных в своей непосредственности и добродушии тетушек, пораженных его взрослостью и поэтому даже чуть-чуть смущающихся его, как будто мог он, Алишо, которого они так давно не видели и который успел за это время утратить в их глазах детское обаяние, то, что еще как-то намекало им на родство, стать теперь чужим, привлекательным молодым человеком с городскими манерами, чем-то нарушить спокойное течение их вдовьего существования. И, наверное, поэтому — тайное соперничество тетушек в том, чтобы опекать его эти несколько дней, быть чем-то вроде заботливой старшей сестры. "Какой ты бледный!", "Нет, надо взяться за него, хорошенько попоить молоком, сливками, медом", и постоянное напоминание ему тетушками, чтобы он ничего не делал эти дни, никаких хлопот по свадьбе, только прогулки и отдых, позволительно даже баловство, лазанье по деревьям и купанье в пруду. Эти щедрые заботы, впрочем, наверное, для того, чтобы отрезвиться, не признать в нем взрослого: "Ты ведь не забыл свое абрикосовое дерево? А помнишь тот фиолетовый тут, под которым танцевал с дядей? И знай, что слева, на дне пруда, — мельничный жернов, можно ногу поранить".

Как это мило — заботливая атмосфера! Она сразу успокаивает Алишо, защищает от смущения, от необязательно-вежливых вопросов людей, давно забытых им, и вводит в число тех редких гостей, которым разрешено пренебречь всей строго-торжественной обстановкой взамен одного лишь своего присутствия, — "почетный гость".

Его даже не посвящают в свадебные тайны, считая их, должно быть, слишком скучными и материальными для молодого романтика, у которого от созерцания

тутовой рощицы за домом или запаха базилики уже восторженно блестят глаза; его гонят прочь, пройтись по деревне, и разрешают вернуться лишь к вечеру, когда соберутся гости и начнется свадьба, вернуться лишь затем, чтобы показать себя, вот, мол, смотрите, ехали так далеко, из города, уважили...

Как жаль, он ничего здесь не узнаёт, ничто не волнует его из виденного десять лет назад, в детстве, в тот год, когда повредил он себе нерв позвоночника, возвращаясь из мансарды после грубого окрика бородатого мужа своей учительницы (боже, как давно это было и каким глупым он был!), ничто не вспоминает он, кроме этой рощицы, да и она, приведя его в восторг, потускнела и осталась стоять в стороне, измученная духотой поздней весны. Это, разумеется, тетушки виноваты в такой сдержанности Алишо, они сразу же сумели подчеркнуть в нем его взрослость, молодость, привлекательность: "Смотри, чтобы никто тебя не украл!" — а это заставило Алишо надеть маску меланхоличности, недоступности, легкой презрительности, когда шел он по одной-единственной улице, вдоль которой и тянулась деревня. И все оттого, что отец предал, сначала долго подзадоривал, обещая непристойную игру, шалость с рестораном и ночным побегом из дома в мир, где мечта так легко превращается в реальность, мир столь соблазнительный, что и плата — беспокойство или слезы матери — кажется ничтожной. А потом еще подмигивал ему заговорщически перед поездкой, теперь же, когда они здесь, отец оставил его с тетушками — милыми болтуньями, а сам, как будто не было поездки, утомления, стал пилить с дядей сухой орешник во дворе, чтобы было больше места гостям. И удивительно, слушая, как тетушки суетятся вокруг Алишо с этими своими предостережениями в шутку: "Смотри, чтобы не украли тебя, такого красавца!" — отец хмурится и покашливает, будто осуждает их за то, что говорят они ему недозволенное.

Это предательство — во время их работы в конторе делать вид, что между ними невысказанная мужская тайна и мужская солидарность, теперь же отнять всякую надежду и снова возвыситься в своей роли отца, авторитета, воспитателя. Уверен Алишо, сегодня вечером: "Смотри, ты много пьешь!" — или тем же тетушкам: "Нет, нет, не надо жалеть его, пусть поможет убрать со столов, мы его воспитываем в послушании", — тоном, каким он может поставить всех на свои места.

Нет, кажется, сегодня и надо проучить его, первый раз в жизни сделать не так, как он хочет, — напиться, приставать к какой-нибудь девушке; если будут совать ему в руки ведра, чтобы сходил он к пруду, — топить их к чертям, все бросить и уехать раньше времени. Пусть отец видит, что Алишо долго надеялся на него, но когда понял, что обманут его нарочитым равнодушием и, что самое обидное, его подчеркнутым отцовством, он не растерялся, а пересилил в себе робость, тоску, познакомился с женщиной и пригласил ее на свадьбу, а теперь сидит с ней рядом и пьет нагло и, криво усмехаясь, поглядывает на отца: "Должно быть, такого возраста была твоя диктор радио. В остальном, кончено, все другое, но теперь ты затоскуй о том, как давно это было у тебя... как ужасно давно. Вот в этом я и сильнее тебя..."

"Сильнее тебя", — повторял Алишо, чувствуя иронию к себе, своей меланхолической маске, когда равнодушно поглядывал он на полки сельского книжного магазина — начало своего осмотра деревни. Зашел потом в контору общепита — зачем? — пробежал строгим взглядом стенную газету и, найдя в ней несколько неправильно написанных фраз, усмехнулся, и эта усмешка и была той тратой ложных чувств; после этого снова ощутил в себе слабость, вспомнил то время, когда так нелепо потерял Нору, и еще какие-то другие обиды, горькое чувство детской растерянности, оставшейся от влюбленности в учительницу, и еще многое, затем вдруг понял он всю подоплеку отцовского поведения — оно было провокационно-медицинским, желанием помочь ему, как старший и сильный, перебороть робость, выйти из нервного состояния после истории в чужом городе — о ней родители сразу догадались.

Значит, это такая ерунда, все фантазия и бредни о мужском заговоре против женского тщеславия матери, этот ночной побег в мир непристойных приключений, от которых дрогнет сердце матери, когда она поймет по их виноватым лицам, что произошло, они же будут стоять вот так вплотную с ее драмой, заранее все подстроившие, а теперь вернувшиеся посмотреть на спектакль.

Всего этого нет, есть просто некое практическое объяснение провокациям отца, который был в заговоре с матерью — их очень волнует, что Алишо, которому уже двадцать, слишком впечатлителен, нервен, романтичен, может снова влюбиться, чисто и возвышенно,

и опять же разочаруется. Не лучше ли несколько закалить его (совет д-ра Темиркомузова, лечившего Алишо), примешать к его чувствам — земного, непристойного, дать понять, что любовь — не только ожидание прекрасного, как в старых, добропорядочных романах, а и ресторан, подмигивание, мелкие интриги, ночные побеги, семейные драмы, — словом, как кто может. Алишо замкнут, и у него нет друзей, которые могли бы показать ему оборотную сторону чувств, пусть этим займется отец.

Думая сейчас об этом, Алишо терял ту ясность, взволнованность, с которой жил в ожидании новой любви, улетучивалась тайна, что приводила его всякий раз в восторг своей загадкой — а как это будет? Кто она? Когда? Равнодушный в своей трезвости, продолжал идти по сельской улице, осматривая магазины, сам себе удивляясь; ставил локти на прилавки, чтобы в такой развязной позе поговорить о чем-нибудь с продавщицами, имена которых он сразу же забывал, едва выходил из магазина, но зато помнил, что приглашал их на свадьбу. Они смеялись, ибо были уже приглашены, и тогда он понимал, что ничего не выйдет, не сядет возле них, и не напьется, и не глянет дерзко на отца; приглашенные заранее, за день или за два до его легкомысленного приглашения, имеют свою роль и свои места на свадьбе — мужей, матерей, отцов, подруг.

Только вот здесь, в маленьком белом здании, где оказалась Станция переливания крови и где, от потери ясности и самообладания, он что-то шептал неумное медсестре, сидевшей в передней комнате, говорил, как жаль, что он не болен и что-то в этом роде, медсестра с характерным лицом казашки была неприглашенной, вернее, так: получилась путаница с дежурством, она дежурит с вечера того дня, когда свадьба (так она и сказала, когда пришли ее приглашать), теперь же вышло, что работает она на Станции до вечера... Словом, он запомнил, что зовут ее Майра, такое броское имя, да еще казашка и не приглашенная, — обо всем этом он думал, когда возвращался обратно мимо рощицы домой.

Тетушки встретили его, так же трогательно заботясь, и повели в одну из комнат, чтобы он отдохнул немного: "Никто из гостей сюда не зайдет". Но едва они вышли, как появился человек, неся ящик водки, положил под кровать: "На всякий случай, если не хватит", — плутовато поднял он палец вверх, и тут

Алишо неожиданно предложил ему выпить, открыть одну из бутылок, выпить быстро и поставить ее обратно в ящик.

Что за дерзость? — человек с поднятым вверх пальцем так и остался стоять, возмущенный, в позе обиженного селянина, который сыт по горло хамством городских — на базаре, в автобусе, в обувном магазине, у нотариуса, в общепите и ювелирторге, но здесь, на свадьбе, где святость соседствует с самой природой и естеством, предлагает такое дельце, похожее на воровство, — вот такой смешной собеседник попался Алишо; но когда он узнал, что это предлагает ему даже не приближенный, а сам родственник невесты, решено было без промедления выпить, а когда выпили, Алишо узнал еще, что казашка живет здесь одна, на Станции, она из города за пустыней и перевалом — Джетысай; что агроном иногда прискачет к ней на лошади, увидит, что она принимает у кого-нибудь кровь, смутится и уйдет, а лошадь оставит привязанной у крыльца, вернется поздно вечером, стучится тихо в дверь, но она его прогоняет — таким видели его, робким, а ее дерзкой, много раз, они оба, как в спектакле, со своими страстями, остальные в деревне живут тихо и незаметно, как будто и не едят и не дышат.

"Ну, полно!" — махнул ему Алишо, представив себя в этом спектакле в образе генерала, прогоняющего надоевшего денщика, лег на кровать в чем стоял и уснул — так неожиданно разрешилось его долгое ожидание, кончилось то, о чем он много дней думал, едва просыпался по утрам и видел отца, лукаво подмигивал ему, как бы говоря: вот уж сегодня непременно убежим на всю ночь для сладкой жизни. Все разрешилось — он погулял по деревне, зашел на Станцию, где переливают кровь, познакомился с ней и еще узнал так много, как будто в этом ее городе — Джетысай, в ее имени — Майра, в агрономе, в его лошади, его робости, ее дерзости и в любопытстве всего деревенского общества и было все, что могло сполна заменить по своей насыщенности вечер в ресторане с отцом, ночные приключения и утреннюю драму с матерью, — потому, удовлетворенный, он и уснул.

А когда Алишо проснется, он почувствует себя страшно опустошенным, поймет, что отныне не будет у него этой игры, этой душевной гонки, этого изо дня в день повторяющегося приглашения к легкомысленности. Того, что он увидел на здешней Станции, и что,

возбужденный выпитым, почувствовал, и что услышал о лошади и агрономе, пустыне и перевале, было достаточно, чтобы он остыл, успокоился, смирился с будущей пресной жизнью с родителями, с отъездом осенью на учебу.

Мысль о том, что с отъездом наверняка должна начаться другая жизнь, мелькнула у него, когда он понял, что отец просто дразнил его понапрасну, предлагая приключения, и вот если бы он теперь хорошенько напился и проснулся, освобожденный от хмеля, то понял бы с тоской, что все, с чем он ехал сюда, осталось позади, в прошлом, но спать ему больше не дали. Через час, все еще пьяный, он был разбужен тетушками: "Посиди немного с гостями, невесту приводят". Они повели его во двор, и он в каком-то веселом возбуждении ощущал, что ничего не кончилось, что плутовское, легкомысленное его состояние продолжается, прерванное ненадолго, с того момента, как он, прощаясь, на Станции, сжал заговорщически локоть Майре, а она не ответила, ибо была спокойна и равнодушна.

Значит, все так, как задумано, никакой замены, человек с ящиком ничего ему не рассказывал, желание приключения по-прежнему велико, отец должен быть осмеян за свое немужское поведение — вот оправдание любой выходке.

Оставленный назойливыми тетушками, он пробирается к тому месту, где сидит Майра (мужчины и женщины сидят отдельно, мужчины в верхнем дворе под шатром, женщины в нижнем, между ними палисадник в ярких цветах). В дерзком шутовстве незаметно топчет палисадник, прохладный и благоухающий, идет, еще не увиденный гостями, не осужденный, не осмеянный, видя множество раз лицо отца, странно, только его лицо, — возле кухни, среди музыкантов, проверяющих смычки, у кувшина с маслом, среди гостей в верхнем дворе, — и понимает, что отец не справляется с навязанным ему ритмом свадьбы, что, такой энергичный на службе, он не выдержит здесь, в свадебной суете, поссорится с братом, прокричит в истерике что-нибудь осуждающее Алишо. Но пока этого не случилось, Алишо должен показать отцу, на что он способен, а способен он на очень большую глупость — здесь, в кругу благопристойной свадьбы, спуститься через палисадник в нижний двор к женщинам, они зашепчутся осуждающе, тетушки ахнут, но он возьмет Майру за руку и пригласит ее за ворота

дома... Уже смотрят, надо придать своему лицу выражение цинизма и веселости; но тут, чтобы спасти атмосферу тихого веселья свадьбы, человек, с которым Алишо пил, обнимает его, дает ему понюхать какой-то цветок — он тоже пьян, но удивительно трезво следит за каждым движением Алишо, шепчет: "Как вы хорошо пьете, пить с вами одно наслаждение, не надо никаких больше удовольствий простому человеку" — и, продолжая обнимать Алишо, пытается внушить гостям, что они заранее задумали некий такой братский номер в палисаднике, Алишо по-

бродил немного с комическим видом, чтобы развеселить гостей, а теперь он спустился к приятелю.

"Идите за ворота, приятель, я скажу, чтобы она вышла", — шепчет этот душевный селянин, спасший и свадьбу и устроивший все так ловко для Алишо.

Выведенный к воротам, Алишо стоит и волнуется, думая, что ему теперь сказать Майре, слышит, как отец говорит: "Ты много выпил, пройдись". — "Да", — кивает он, довольный тем, что обманул отца притворством, и дерзко смотрит на него, давая понять, что это еще не все, он сделает нечто более непристойное. Отец усмехается и уходит. "К кувшину, музыкантам, кухне", — шепчет, улыбаясь ему вслед, Алишо.

Когда Майра вышла, Алишо порадовала простота и такая неестественная для него легкость, с которой они что-то сказали друг другу, засмеялись и пошли в сторону рощицы — тут Алишо совсем стало хорошо, и он взял Майру за руку. Невольно отметил про себя, что это другая рука, теплая и мягкая и совсем уютная, не такая нервная и ускользающая, как у Норы. Вот если бы она сейчас, не дойдя до рощицы, ушла от него и он никогда больше не увидел бы ее, то забыл бы вскоре об этом их прикосновении, ибо вдруг ощутил тоску и горечь, вспомнив ощущение от рук Норы как глубоко затаенное, оберегаемое...

Он растерянно остановился, чтобы справиться с тем, что вдруг стало мешать его смелости и дерзости. Майра заметила это, удивилась, чувствуя, как ослабевает его рука, и подумала, что должно быть, он женат или влюблен и это вдруг вспомнилось ему и устыдило его.

Алишо потянулся к Майре, чтобы поцеловать, и было что-то в этом его порыве такое детское и торжественное, что Майра невольно рассмеялась, спрятала свои губы, прижавшись к его груди, но он поцеловал ее волосы. "Странно, все на свадьбе", — прошептал он от смущения, и сказанное им просто так, чтобы не выдать своего смущения, тоже показалось Майре по-детски трогательным и беззащитным. И весь его облик, такого растерянного и неумелого, с нерастраченными чувствами, вдруг испугал ее, и Майра, боясь своей слабости, своей невозможности устоять перед его чистотой, потянула его на дорогу, к свету, и с этой минуты они все время куда-то бежали, смеясь, по мосту через речку, по правому низкому берегу, возле стогов сена и

даже забежали ненадолго на Станцию, в переднюю пустую комнату, а когда потом уходили, дежурная узнала Майру и окликнула ее в окно.

Увлеченный этой радостной игрой, этим похожим на исступление странным состоянием, в котором Алишо еще никогда не был, он ничего не ощутил от первого своего поцелуя, на стогу сена, куда взобрались они и сели, задыхаясь от бега, и поцелуй получился так естественно, как продолжение их игр. Они потянулись друг к другу, обнялись, а потом, как бы не поняв, что случилось, скатились по сену на дорогу и снова бежали куда-то, смеясь и прыгая, не желая ни о чем говорить и спрашивать более того, о чем уже успели спросить, тоже легко и непринужденно; как заученные заранее диалоги в их игре: "Ты женат?" — "Нет". — "А любишь?" — "Нет... А ты любишь?" — "Нет". — "А ты замужем?" — "Нет". — "А агроном с лошадью?" — "Узнал, значит". — "Да". — "А что узнал?" — "Что ты не открываешь дверь". — "О чем ты еще хочешь узнать, чтобы быть довольным?" — "Ни о чем... Давай еще поцелуемся". — "Нет, я так не люблю". — "А меня ты пустишь к себе... когда-нибудь?"

Потом придумали новую игру — предложил ее Алишо, когда заметил, что на том же самом стогу сена у дороги они поцеловались второй раз, и, поймав себя на этом, они пришли в восторг — и вот теперь должны были обежать все семь стогов сена на скошенной лужайке у дороги, при лунном свете, под звуки далекой свадебной музыки, прежде чем, взобравшись на свой, уже изрядно взлохмаченный, целоваться. Так забылись они совсем, но голоса тех, кто уже уходил со свадьбы, заставили их спрятаться — мимо, по дороге, расходились гости, говоря о новобрачных, и это отрезвило Алишо и Майру, она стала прощаться, но Алишо не отпускал ее.

Договорились: он пойдет и посмотрит, как там отец и тетушки, чтобы не спохватились они и не искали его вокруг дома с лампой, а затем вернется к ней, она будет сидеть пока и болтать на Станции с подругой.

Алишо удивила неожиданная тишина во дворе, странная пустота столов с недоеденными блюдами и сиротливые фигуры тетушек и еще двух-трех женщин в разных концах большого, темного двора, где свет был потушен для экономии, и невеста увезена, и дядя и тетя оставлены без своей дочери. Он зашел и стоял у ворот, не решаясь ступить дальше, и было у него

такое ощущение, что попал он в чужой дом, — наверное, оттого, что уходил он отсюда пьяный, было тесно от гостей, от звуков музыки и голосов, и, уходя, забрал с собой это ощущение многолюдия, эти звуки, и когда прыгал с Майрой вокруг стогов сена, целуясь, все жил с этим ощущением от свадьбы, будто было оно частью его игры с Майрой, их ласки, объятий.

И вот когда вдруг он увидел пустоту двора, недоеденное и недопитое на столах, а вместо музыки — ворчание усталых тетушек, которым надо было до утра успеть очистить столы и заново убрать двор для новых гостей, Алишо встревожился и подумал, что, должно быть, вместе с тем, что ушло отсюда, из двора, ушла и Майра, и никогда он больше не увидит ее.

Утомленные тетушки не удивились, увидев его, не засуетились нежно и трогательно, и это показалось ему дурным знаком. Несколько вопросов: "Тебя не забыли накормить, мальчик?", "Понравился тебе наш плов?", "А где ты сидел, мы тебя не видели?" Он думал все время, как бы незаметно уйти, а пока они спрашивали, собирал тарелки на столах, и складывал в ящик недопитые бутылки водки, портвейна, и брезгливо сливал в одну бутылку коньяк из недопитых рюмок.

Прислушиваясь к разговорам тетушек, Алишо понял: что-то случилось с отцом, утомился, а может, перепил, словом, закружилась у него голова, и еще задолго до конца свадьбы его уложили в постель. "Все мешает нам увидеться с ней", — подумал Алишо и попятился в темноте к воротам, а выйдя на улицу, побежал к Станции, почему-то уверенный, что Майры там нет, не будет он стучаться к ней, как тот агроном, — глупо и непристойно, он ведь сам посмеивался над агрономом. А что, если он сейчас увидит, как Майра стоит и разговаривает с этим агрономом и держит его лошадь под уздцы, а он гладит ее руку и хвалит за храбрость — ведь не испугалась придержать лошадь; Алишо слышал, что, если казашка берет лошадь мужчины под уздцы, значит, согласна выйти за него замуж — намек, ритуал.

Он взбежал на крыльцо белого домика, и ее развязный смех остановил Алишо в комнате, где Майра сидела за столом с подругой. "Что с тобой? Боялся?" — было тоже сказано со смехом, но не с тем, ласковым, нежным, который он слышал на скошенной лужайке, а так, будто желала она его унизить, показать подруге, оробевшей от его появления, что вот прибежал он, не

может без нее, влюбленный горожанин, а она позволяет себе так с ним разговаривать.

Алишо не удивился этой перемене, с того момента, как увидел он опустевший двор, понял, что так все должно быть теперь — мучительнее, тревожнее, и ее лицо, и ее слова.

Подруге, видно, жаль сконфуженного Алишо, и она предложила сесть, и эта ее жалость еще больше удалила от него Майру — он понял, что не чувствует она теперь в нем былой уверенности, силы и дерзости.

Майра закурила, поглядывая иронически на Алишо, подруга, думая, что не говорит он смущаясь, решила уйти, но Майра остановила ее и заговорила с ней на скучную, бытовую тему — просила одолжить денег, чтобы могла она купить те коричневые, чешские, с пряжкой туфли, которые лежат в магазине, считала каждый рубль своей зарплаты, сколько на что она должна истратить — на торшер, на индийскую скатерть... Затем встала и сказала, что уходит домой, скоро утро, надо выспаться, с вечера заменит подругу. "А вы, если вам не спится, посидите и развлекайте мою подругу", — сказала Алишо.

Он испугался и подумал, что ведь совсем незнаком с подругой, а познакомиться теперь, когда она видела, что приходил он к Майре, а та нехорошо с ним говорила, — трудно, да он и не хочет, не получится с подругой просто и легко, как с Майрой, и вообще, что случилось?..

Алишо вышел за Майрой и подумал, что ему надо быстро говорить, сразу начинать, иначе будет поздно. "Что с вами?" — "А что со мной?" — "Вы ведь не такая..." — "Что же вам во мне не понравилось?" — "Странно просто, разве это не мы, до того, как я сбегал домой, целовались?" — "Мы". — "Тогда что же..." — "Мы ведь не сможем больше быть такими..." — "Это вы потому, что я еду... скоро?" — то, как он сказал, заставило ее остановиться, она опять испугалась себя, своей слабости перед его искренностью — во всем, в том, как он вбежал на Станцию, как смутился, как сидел, как смотрел и что и как говорил сейчас, чувствовалась его ребячливость и наивность; даже свой первый поцелуй он отдал ей, приехал откуда-то, напился для храбрости и вот стоит перед ней, женщиной, с которой встретился случайно на день или два, доверяет себя, не думая, что можно разочароваться...

Майра прижалась к нему, и он поцеловал ее. За короткие три часа он научился различать даже оттенки поцелуев, этот показался ему сдержанным, и он порадовался еще больше, ибо понимал, что все до этого, на Станции, было представлением, да, он ей нравится, ей больно расставаться, но не надо сейчас думать об этом, он еще здесь два дня, они будут вместе завтра и послезавтра, а дальше посмотрим... Он хотел сказать ей это, но промолчал, хотя и чувствовал, что сказать надо.

Она не желала идти больше на скошенную лужайку, только согласилась посидеть с ним, обнявшись, на мостике в странной для Алишо атмосфере тишины деревни и редких всплесков воды под ногами. Теперь сидели они тихие и умиротворенные, и молчание уже не тяготило их. Подумал Алишо, что это, должно быть, оттого, что сделались они близкими друг другу.

Здесь, возле мостика, и нашла их медсестра из Станции, окликнула Майру, что-то долго шептала ей в темноте. Алишо с неприязнью смотрел на ее фигуру, ощущая тревогу, и тон Майры подтвердил его догадку о том, что случилось такое, что должно разлучить их теперь навсегда: "Иди к машине, я приду..."

К какой машине? Разве он уезжает? Видно, отец что-то решил. Да, так и должно было случиться, прекратиться неожиданно, нелепо, так быстро, чтобы не мог он, Алишо, ничего толком сообразить. Отец мог это придумать в наказание, ведь вся история Алишо с Майрой началась так, будто был это его шантаж, его приглашение к приключениям, теперь же, когда приключение началось, отец и должен был прервать все и увезти Алишо почти что насильно. Так думал Алишо, но, встретив у ворот тетушек, хлопочущих возле маленького автобуса, подающих друг другу какие-то одеяла, подушки, спорящих и плачущих, и дядю, что-то вкрадчиво объясняющего шоферу, понял по отдельным услышанным их фразам, что отцу стало вдруг совсем плохо — язык распух и слабость — и что местный доктор смотрел его и утешил, но отец внушил себе, что надо ему срочно уезжать, прямо сейчас, ибо не желает он лежать в здешней больнице и умирать вдали от дома. Доктор улыбнулся и сказал, что до больницы дело не дойдет, но, едва он ушел, отец стал одеваться, его хором уговаривали, но он извинялся и говорил, что испортил брату свадьбу, и просил помочь ему уехать, тогда послали на железную дорогу и узнали, что поезд будет лишь к вечеру следующего

дня. Тетушки, дядя и несколько близких соседей решили, что надо гостя отправить, соседи тут же пошли, чтобы от имени деревенского общества просить в сельсовете машину и медсестру сиделкой возле отца...

Чтобы не бросалось в глаза его долгое отсутствие, Алишо незаметно влез в автобус и стал суетиться там, поправляя одеяла, взял протянутый ему кувшин с водой, привязал к спинке сиденья, затем поглядел, что бы еще сделать, — увидел несколько сухих листьев между оконными рамами, вытащил этот сор и выбросил и вышел, отряхивая руки. Обман удался, никто не спросил его ни о чем, у всех было ощущение, что он давно с ними в тревожной суете, с того момента, как отец проснулся, застонав, и попросил доктора... Прислонившись на мгновение к шелковице, Алишо улыбнулся в темноте, — уверен он, что отцу захотелось ехать не потому, что испугался он своей болезни, просто он не мог бы выдержать еще день среди сестер и братьев, с которыми давно в плохих отношениях. Еще его должно было смутить исчезновение Алишо, отец все понял и решил вмешаться странным образом — излишним притворством, оханьем, трагическим выражением лица, разговорами о больнице, о смерти вдали от дома. Такая у него натура, не может спокойно и достойно уйти от чего-нибудь неприятного, тягостного, обязательно должен сыграть маленькое трагическое представление, как вот сейчас, чтобы выглядело все правдоподобно и не обидно ни для кого. Но тетушки и дядя, разумеется, поняли все, посему особенно и не уговаривали отца, но как чудесна эта их выдумка с медсестрой, и надо же было самому случаю, в насмешку над всем этим спектаклем с тяжелой болезнью, выбрать Майру!

Довольный тем, что все он понял, угадал истинное желание отца и дяди, Алишо с излишней поспешностью бросился в комнату, где лежал и ждал его отец, попрежнему выдавая себя за старательного устроителя лазарета — маленького автобуса с лежанкой, питьевой водой и едой в корзине. Очень кстати были и первые слова Алишо: "Все готово, отец", ибо отец был уже на ногах и одет. Бледный, он с неприязнью глянул на сына, но тот, не желая делать пауз, стал говорить что-то ироническое в адрес слишком осторожного сельского доктора, растерянных тетушек, да так уверенно и нахально, словно действительно присутствовал при всей этой истории; отец что-то медлил, слушал, а когда увидел, что и дядя направляется мимо палисадника к

нему, кивнул Алишо и вышел довольно твердой походкой к машине.

Алишо насторожился, следя за ним и ожидая, что и как он скажет, когда увидит Майру, уже сидящую в машине, рядом с шофером, но отец принял это как должное, еще раз просил брата простить его, толкнул Алишо к тетушкам, чтобы он поцеловал их на прощание и утешил. Алишо поцеловал их и, проходя к машине, удивился тому, как неожиданно светло вокруг, такое ощущение, будто тягостно прощались они всю ночь, в темноте и проглядели наступление утра.

Когда отъехали уже далеко от деревни, Алишо вдруг подумал, что они молодцы с отцом, сидят друг против друга с такими лицами, будто нет ничего особенного в том, что едет с ними женщина, Алишо может не выдержать напряжения и сказать глупость, как-нибудь неосторожно выдать себя, если не сумеют они сделать с отцом так, чтобы все стало на свои места: может, сказать что-нибудь о Майре? И так, слово за словом, они вернутся к откровенности, мужскому заговору, равенству, которое было между ними до того, как отец вышел из игры... Нет, будет так неестественно и фальшиво, ведь Майра не женщина вообще, Майра — его женщина...

"Ну вот, кажется, и началось", — подумал Алишо, когда отец предложил ему скатать одеяло и помочь убрать лежанку и, пока они убирали, был непривычно словоохотлив, объяснял, что не к чему так ехать, прижав колени, в неудобной позе, можно утомиться, чувствует он себя сносно, так что лежанка ему сейчас не нужна, потом можно опять поставить, и вообще автобус этот, кажется, очень удобен для перевозки лежащих людей, кроме сиденья для шофера и кресла рядом с ним за перегородкой — всего два кресла, и поставлены они так, спинками к перегородке, чтобы было просторнее...

Алишо отвечал ему, что да, наверное, в селах такие автобусы перевозят лежащих людей, только кресла поставлены неудобно, едешь и не видишь впереди дороги, лишь пейзаж по бокам и сзади, на что отец возразил, что кресла так расположены, чтобы сидеть лицом к лежащему человеку и наблюдать за больным. "Ты прав, отец, именно для этого", — сказал Алишо и подумал, что шофер, должно быть, принимает их за людей не очень серьезных, ведь легче обо всем этом спросить у него, чем самим спорить, зато вот Майра, наверное, понимала их "птичий язык".

Она ни разу не обернулась, не посмотрела ни на него, ни на отца, эта милая сиделка, по какому-то глупому, понятному отцу, тетушкам и отчасти Алишо, поводу вынужденная ехать с ними и всерьез думать, что нужна для помощи больному, — сельский доктор все объяснил ей, сказал, как надо поступить в случае, если... хотя и был уверен, что гость просто перепил, но почему привторяется тяжелобольным — непонятно...

Удивительно, все знают, что серьезность обстановки — мнимая, кажется, и шофер догадался, что история с тяжелобольным и его страхами, утомительно длинная поездка держится на ложном внушении, и только Майра одна верит своей роли медсестры.

Но пусть едет она в странном заблуждении, серьезная и напряженная, ведь если бы она и догадалась, что все — лишь прихоть отца, она засмущалась бы и растерялась, ибо оказалась бы теперь в другой роли — девушки Алишо, и так о ней все и думали бы.

Роль девушки Алишо требует для естественности другого поведения, не этой молчаливости и строгости, Майра должна быть веселой, кокетливой, как была она еще совсем недавно на Станции переливания крови, желающей нравиться всем, и отцу, и Алишо, и шоферу, молодому человеку из ее деревни, года на два старше Алишо.

Алишо ревниво поглядывал на него всякий раз, когда видел, что Майра что-то ему говорит, а он в ответ смущенно улыбается, отвечает односложно или просто кивает в своей неуклюжей скованности, будто ослаб он, размяк и теперь ее игре и порханию не может противопоставить свою силу, — соперник ли шофер?

Они будут потом возвращаться на этой же машине обратно в деревню и одни, думал Алишо, но тут же успокаивал себя собственным успехом — сумел же все так увлекательно построить — приехать, познакомиться, поцеловать, а теперь еще и едет с этой женщиной, как бы увозит к себе.

Но каждый делает вид, что верит роли другого: у Алишо — роль сына, сопровождающего больного отца, у Майры — роль медсестры, у шофера — роль односельчанина, обязанного опекать женщину, у отца — роль старшего в компании, — какая скука! Вот с этим ощущением скуки и скованности своей ролью Алишо стоял возле автобуса и не мог собраться с духом, чтобы сказать что-нибудь Майре во время первой короткой остановки, когда шоферу захотелось

напиться. Он пошел через дорогу к колодцу с навесом из четырех деревьев, принес воды в ведре, Майра и Алишо напились, отвернувшись, будто момент, когда они пили, мог подчеркнуть какой-нибудь их физический недостаток. И тогда бы они разлюбили друг друга.

Отец не стал пить и очень неохотно ответил на вопрос Майры о том, как он себя чувствует; поговорили о жаре, шофер сказал, что очень хорошо знает дорогу, к вечеру должны приехать в город, — заметил Алишо, что и все остальные страдают от своих ролей, нужно усилие, особое поведение, чтобы убрать всю эту ложность, ибо время идет, а они еще так далеки с Майрой и столько в их чувствах надуманного.

Но ведь если все будут слушать, Алишо скажет Майре совсем не то, вымученное, необязательное, надо потерпеть, хотя каждый час молчания охлаждает их чувства. Часы их такого странного поведения уже давно стали длиннее часов их встреч, времени, когда бежали по ночной лужайке, лежали на стогу и целовались под звуки свадебной музыки...

Время, что было против их чувств, как бы отпечаталось в самом пейзаже; пейзаж с обеих сторон дороги был тревожным — ровное, соленое пространство с редкими кустиками, быстро нагревающееся, — место не для любви, для раздражительности, скуки, ибо едва они остановились еще раз, как подул на них горячий ветер с песком. Шофер пополз к заднему колесу, чтобы осмотреть его, и вылез обратно, с отчаянием пожевывая фиолетовые цветы кандыма.

Он и решил разрядить как-то ложную обстановку, которая всех тяготила, — стал громко объяснять, отчего именно в этом месте дуют ветры. Так отчего же, отчего? — все подвинулись к нему, засуетились, приятно улыбаясь. А оттого, что недалеко перевал, ветер собирается возле него, сужается и, пробравшись через перевал, осторожно, словно боится поцарапаться о камни, бежит потом так быстро, что не успевает снова раздаться вширь.

Алишо с тревогой смотрит на шофера, когда тот столь образный свой рассказ усиливает еще и жестами, темпераментно и размашисто разводит то одной, то другой рукой, словно трава, которую пожевал он, найдя под машиной в песке, вернула ему утраченную силу и самонадеянность. Черт, какая неожиданность! Соперник. Алишо заметил это, глядя на Майру, — она оживилась, будто сбросила маску, будто разгадала всю

неестественность поведения, достаточно было кому-то из мужчин устремленно направить на нее взгляд, как все затаенно-женское вышло из нее наружу, и она даже позволила такую вольность — в порыве удивления, должно быть, бессознательно сжала рассказчику локоть, а он ничего, разрешил великодушно.

И так ехали они долго. Духота в автобусе, вдруг ставшая несносной, и взгляды отца, обращенные к Алишо, все понимающие, будто даже сочувствующие. И сначала отца тешила бледность и растерянность сына; откинувшись в кресле, он разглядывает, как меняется лицо ревнующего Алишо. Да, только отец мог остановить, не дать развиться ложной обстановке — с ухаживающим шофером, кокетничающей Майрой и ревнующим несчастным Алишо. И стоило ему сделать самую малость, попросить Майру измерить ему давление, как вернул отец все на свои места, надел всем прежние маски.

И пока отец сидел на складном стуле возле бархана, а Майра измеряла ему давление, Алишо ходил вокруг с несчастным видом, в надежде, что она поймет все. Боже, хотел сказать этот влюбленный хитрец, решая прибегнуть к гуманным, педагогическим доводам в свою защиту, — как это жестоко для молодой души, когда вначале услаждают ее ласками и поцелуями, а потом неожиданно кокетничают с шофером.

Майра, должно быть, все это поняла, и отсюда ее молчаливость, когда ехали они и когда остановились, чтобы поесть, — ели молча, жевали медленно все сухое, дорожное, сидели в придорожном чайном домике — все пресное, с тоскливым запахом неуюта, и вдруг, как память о ночи на лужайке, — веточка душистого базилика, протянутая Алишо Майрой, приправа к мясу, — и вот этот короткий жест, почти не замеченный и не оцененный отцом и шофером, размыл все, убрал обиду, ревность, страх, кокетство.

А потом всю дорогу до самых сумерек — частые взгляды, чтобы донести бережно, не растерять облегчение, пришедшее вместе с подарком Майры — веточкой базилика, и волнение, и тоска, и желание пожать друг другу руки, чтобы была до конца высмеяна их глупость в этих масках и ролях; нет ничего, все это бред — автобус, шофер, болезнь отца, есть желание и любовь. Лишнее вокруг исчезло, реальность сузилась, оставив место лишь волнениям Алишо и Майры, и отсюда их невнимание к тому, что шофер, оказывается, проглядел дорогу, свернул не в ту сторону, и все

от усталости, — предлагает часа два поспать, а потом опять ехать. Никаких обсуждений, ибо сказавший это прижался лицом к рулю и уснул.

Так неожиданно — ведь казалось, что Алишо и Майра уже обдумали все сотни вариантов приезда на место, расставания и будущей новой встречи, и так трезво, словно заранее уже прожили это, а тут вдруг все меняется, о том, что заночуют они в дороге, никто из них и думать не смел, ибо ведь с самого начала шофер обещал приехать на место к вечеру.

Удивившись тому, как шофер быстро уснул, они, растерянные, даже не смотрели друг на друга, казалось, что непредвиденное обстоятельство может все испортить, принести снова страх, недовольство, ссору, и лишь спокойные слова отца, принявшего все как должное и сказавшего, что и всем остальным не мешает вздремнуть, успокоили молодых. И опять их воображение стало лихорадочно искать что-нибудь выгодное для себя — надо поправить время, часы приезда и отъезда — новое расписание. Теперь, когда к месту они приедут, вероятно, утром, то, может быть, шофер не захочет сразу уезжать, потянет его в городские красочные магазины, а Майра в это время побудет с Алишо. Он покажет ей все, все свои заветные места, и мост, каменный, с резными фигурами языческих птиц, и то место в крепости, куда ему нравилось подниматься, и улочку, где он живет, — тихую, маленькую, и приведет ее не в реальную улицу, где стоит его дом, а скорее пустит ее вовнутрь своих ощущений от моста и этой улочки, от старинной крепости, туда, где перемешано детское, тоскливое: ожидания и желания, слезы, обиды одиночества, где еще свежо ощущение от истории с учительницей в мансарде, от "гостиничного романа" с Норой.

Не груба ли, не произнесет ли насмешек, не поиздевается ли, как тогда, с сигаретой на Станции? И еще жива обида от ее кокетства с шофером...

Его удивило, что отец, ни слова не сказав, растянулся на лежанке, не спросил, как всегда, когда старшие заботятся: будешь спать? Укройся, чтобы не было холодно, или что-то подобное, и когда Алишо это понял (вернее, так понял) и хотел протянуть руку, чтобы коснуться плеча Майры, то отец, не поворачивая к ним лицо, словно стыдясь заранее того, что может поймать их на чем-то недозволенном, попросил у Майры таблетку снотворного,

Дальше — все в каком-то исступлении, в лихорад-

ке — Алишо протягивает руку к Майре, сидящей неподвижно рядом со спящим шофером, дотрагивается до ее волос, она ловит его руку и сжимает его пальцы (ах эти уловки любви!), и тогда он резко наклоняется к двери машины, без излишней осторожности, со скрипом открывает, выпрыгивает, снимает Майру с сиденья — секунду они стоят снаружи, на ветру, в темноте, и бегут в пространство, низкое и ровное, оно дает ощущение свободы, манит неожиданными красками, как маленькими полосами лужаек — откуда она тут, свежая трава? И отчего все видно? — впереди запах, горький и душистый, как запах базилика. Но падают они на что-то жесткое, выгоревшее, и, целуя ее, Алишо ощущает во рту и вкус соли, целует так исступленно и с ощущением такого счастья и страха первого раза...

А когда лежали они спокойные и она устало и как будто неохотно целовала его руку, а он пожевывал кончик ее волос, в растерянности, в каком-то стыде, стыде оттого, что молчит, не может ничего сказать, а надо, наверное, в таких случаях что-то говорить, чтобы не показаться подлецом, соблазнителем, Алишо думал о том, что теперь ему совсем не страшно отпускать ее назад с шофером, и, чтобы не казаться все-таки соблазнителем, зашептал ей, что скоро они опять встретятся, он будет приезжать к ней в деревню, и что женится на ней, и пусть она этому верит, потому что никому он до нее не обещал.

5

Сейчас, в зрелом возрасте, когда история с первым познанием женщины приходит к нему в воспоминания и он как бы рассматривает все, напрягая память ума, память слов, звуков и запахов, чтобы найти во всем этом что-то, что бы согревало, — ничего, кроме неприятного ощущения, не остается, ибо вспоминается сразу столько разного: и слабое чувство вины за то, что пришлось такими уловками, снотворной таблеткой, разговорами о повышенном давлении перехитрить отца, лежащего на больничных носилках; и любовь в десяти метрах от того места, где пытался заснуть заболевший отец; и недовольство собой, что пришлось шептать злое и постыдное в адрес шофера, всячески унижая его в глазах Майры, для того чтобы была она благоразумной на обратном пути; и еще сюда приме-

шивалось чувство неуюта, неудобства — ведь произошло это "дорожное приключение" на выгоревшем, жестком, соленом пространстве, открытом со всех сторон, ветреном, темном, никак не вяжущемся в его ощущениях с чувством интимного, уютного, нежного. Это чувство неудобства, неуюта было, пожалуй, наиболее неприятным для него, человека теперь изнеженного, утонченного, обленившегося, которому Мариам с первых дней супружества сумела создать во всем личном, домашнем, интимном защитную атмосферу.

Зато все, что случилось потом у него с Майрой, было для Алишо желанным — она сумела так договориться у себя на Станции, что на три дня в неделю отпускали ее в город; она почти не выходила из комнаты, которую они сняли, боялась встретиться случайно на улице с отцом Алишо, — и ее бесконечные ласки и нежности, радость, когда Алишо, закрыв к полудню свою Прокатную контору, бежал к ней с консервами, колбасой, шампанским. Первое время — все еще какая-то робость и стыдливость от чувства, что делается нечто не совсем законное, без обговоренных до конца правил. Ведь казалось Алишо, что если мужчина и женщина должны пройти через столько условностей в любви, найти, как они с Майрой, тайную комнату встреч, взять деньги без разрешения отца в кассе Проката, то теперь они морально связаны друг с другом, и Алишо поэтому часто давал Майре клятву, что они поженятся.

Но странно, Майра как будто не замечала своих прав возлюбленной, ни разу не поддержала разговор о женитьбе, ничего не требовала, да и о ребенке шепнула как-то вскользь, между ласками, скорее сказала себе, чтобы, возможно, не забывать, остерегаться.

Алишо злился: ведь если она так равнодушна к этой стороне их отношений, к законной, — значит, не любит его; ему же очень хотелось, чтобы его первая женщина была капризной, ревнивой, чтобы все для нее было не так, чтобы спрашивала она, где он задержался, чтобы говорила о женитьбе и о детях, но чтобы он, среди всей этой сложности, среди всего этого кошмара их отношений, оставался всегда сильным, разумным, хитрым и чтобы, если они расстанутся, мог он сказать себе: да, столького она требовала, женить хотела, ребенка, а я все-таки ловко выкрутился.

Теперь он понимает, что не желала она ничего от самозабвения, ей было хорошо с ним эти три дня в неделю, от полудня до полуночи, и не знала Майра, что

то, что не заявляет она о своих правах, и охлаждало Алишо, как будто его любовь могла держаться лишь на ощущении ее прав на мужа, отца детей. И он уже ничего не обещал, видя с горечью, что нет в этом надобности, и не бежал к ней в полдень, оставлял Майру одну до вечера, чувствуя потребность в мужском обществе, чего он раньше сторонился. Ежедневная болтовня в парикмахерской напротив Проката — двое мужчин, они часто выпивали после закрытия парикмахерской, Алишо хвастливо что-то болтал — вид его стал самоуверенным, говорил он громко и всегда спорил, даже походка сделалась иной, более твердой, будто связь с женщиной так обогатила его, такую внушила ему силу и дала столько дерзости...

Отец наблюдает за Алишо с видом человека, который в стороне лишь до поры; когда покажется, что связь Алишо с Майрой зашла далеко, он все прервет, остановит. И вот, когда решает он, что время, идет проверить кассу Проката, а там нехватка денег, отец с матерью настаивают, чтобы Алишо на месяц раньше, в конце мая, ехал опять в столицу, в институт. Три последних вечера отец не отпускает Алишо от себя и, проводив его на вокзал, сажает в поезд. По дороге на вокзал Алишо от злости и обиды, чтобы досадить отцу, признается в своей связи с Майрой — подчеркивает несколько раз: "Та медсестра, помнишь, ехала с нами, когда ты был болен, именно она, которая дала тебе снотворную таблетку..."

А потом, когда ехал уже в поезде, пытался в мельчайших тонкостях вспомнить движение лица отца, слушающего такое признание, но ничего не вспомнил — пустота, будто и лица-то не было, потому что отец ничем не выразил своего неудовольствия, выслушал, потом хлопнул сына по колену и, поцеловав, втолкнул в вагон. И как будто достаточно было этого признания, чтобы своей любовью к Майре мелко отомстить отцу, как почувствовал он, что любви больше нет — веселый поезд мчал его навстречу новому...

Но вот прошла суета первых месяцев студенчества, и актерский факультет разделился на пары. Алишо все такой же робкий от ощущения своего провинциализма и малых знаний, и еще эти вечные для него темы, всюду напоминающие о себе, — "поздний" — поздний школьник, а теперь — поздний студент, — казалось, мешали его сердечным делам. И снова тайная комната, и приезды Майры, поначалу скучные, пресные отношения, Майру теперь больше манит сам город и

его магазины, а он сидит с книгой, не выходя, затем, усталая и обозленная чем-то, возвращается Майра и бросается на кровать спать, а он удивленно смотрит на нее и безо всякого сожаления, равнодушный, закрывает дверь и идет темными улицами к себе в общежитие.

И все больше, с каждым ее приездом замечает несносное в ее характере — вздорность, человек она с искаженными понятиями, легко поддается чужому влиянию. Из далекой своей деревни везет сюда бережно, боясь растерять в поезде или самолете, свою злость, часто начиная скандал прямо на перроне, едва выйдя из вагона. Злость от постоянных ее вопросов к тем, кто хотя бы мельком видел Алишо: "Хороший он? Понравился он вам?" — иные: "Трудно судить", многие: "Замкнутый он, невеселый". Ей же нравится веселье, чтобы ходил он с ней по столице, танцевал и пел — боже, какие муки! И так четыре года до того дня, когда обязали его на факультете разыграть маленький дипломный спектакль в Доме учителя.

Спектакль начинается с хора — тридцать женских лиц, взгляд медленно движется, то опускаясь, то поднимаясь — по росту, — смущение от строгих, педантичных лиц, лиц вздорно-кокетливых, только одно ее лицо успокаивает взгляд мягкостью и теплотой, как будто лечит.

"Ля-ля-ля", — поет она не в унисон, робость мешает ей поднять свой голос до силы и уверенности других. И всякий раз этот жест, как уже заученный, как обязательный, — Алишо сжимает ее ладонь и, наклонившись к ее уху, показывает, вот так: "Ля-ля-ля" — почти как она, только, может быть, на два "ля" дольше. И может быть, оттого, что эта такая милая, такая лирическая атмосфера всем нравится (сообщество учителей всегда радо счастью одной из своих), еще до его прихода в зал хор уже пробует голоса, чтобы выделить ту, которая фальшивит.

Тема "спутницы жизни", кажется, легко усвоена Алишо, она богата оттенками, настроениями, красками и запахами, хотя богатство это и тонкость ушли в воспоминания: "А помнишь, ты тогда говорила?..", "А вспомни, как ты стоял...", и выстроилась обыденная, ровная на поверхности супружеская линия, — но ведь так, наверное, всегда, реальность супружества скупа, а остальное богатство — ее облако, грезы. И не оттого ли все так легко усвоено, что легко и просто было между ним и Мариам — учительницей из хора, как будто он и она истратили на отношения с другими

весь свой темперамент, свои надежды, ожидания, злость, все буйство молодости, а оставили друг для друга тихие, молчаливые прогулки, разговоры без упреков, без обещаний и клятв, без хитростей и ревностей. Как приятное дополнение ко всему этому оказалось, что Мариам хорошо и вкусно готовит, комната ее чиста и уютна, и вся она как бы пришла из дремоты и умиротворения. И даже когда приезжала Майра, чтобы позлиться, оскорбить его, и когда бегала она вокруг дома, где Алишо и Мариам пили чай, и бросала в окно комья снега, Мариам ни словом, ни жестом не выражала своего нетерпения — в этом Алишо и находил для себя силы перед угрозами Майры, вдруг заявившей о своих глубоко личных правах.

Хвала интуиции, ведь это она оберегала от Майры его личные заветные места в городе — каменный мост с языческими знаками и старую крепость, все время уводила их, гуляющих, от этих мест — пусти Алишо Майру в свои внутренние покои, все — и знаки детских игр, и его тайный шепот фиолетовому туту, — растасканное и разграбленное, летело бы вместе с грязными комьями снега в его окно, — и тогда ничто не спасло бы от мучений совести: ни спокойно-меланхолический вид Мариам, ни его собственная твердость.

Мариам же и в это сумела войти так естественно и просто, как в свой мир, и в его восприятие моста и тутового дерева на пустыре за его домом, и в куст олеандра во дворе его детства, будто давно, с самого рождения, было это ей дозволено. И не от этого ли их ровная, почти ничем не омраченная супружеская жизнь десять лет, с того года, когда Алишо закончил учебу и остался в столице, — и так, уверены они, проживут вместе до конца.

...С наступлением утра грезы уходят, но Алишо все медлит, сопротивляется заботам предстоящего дня, сегодня, к примеру, он никак не может решить, идти к врачу или нет. И будильник каждое утро ставится на ранний час, и Мариам будит его, целуя и журя, как ребенка, хотя боится детской, капризной черты в его характере — ведь из болей в позвоночнике, вернувшись от врача, он сочинит ужасную историю о близкой своей смерти — и будет сам ей верить.

Но вот все же решил: "Пойду, позвонят из студии — шли к черту!" Мариам содрогается — что-то переменится в его жизни, то, что годами дает о себе знать, но не выходит наружу, сегодня выйдет, и что-то переменится в жизни Алишо.

Нервы на пределе, врач успокаивает, вяло поднимая и опуская перед его напряженным лицом руку гипнотизера. Осмотрел, ощупал, оттянул кожу, отпустил, надавил, спросил: "Чем вы занимаетесь?" — а потом, как бы сочувствуя, слушал, не прерывая, и кивал в знак доверия быстрому, нервозному рассказу Алишо о том, как он во время съемок поднимает в мольбе руки к небу, в напряжении прижимая тяжесть позвоночника книзу, и как поворачивает направо-налево, медленно-быстрее голову, следя за пробегающей мимо толпой, и кланяется, опускаясь в умиротворяющей позе для того, чтобы потом быстро подпрыгнуть вверх, разведя руками в удивлении от того, что видит, борется всерьез с другим мужчиной, и тот прижимает его к земле и коленом давит на грудь, а когда отпускает, Алишо задыхается; когда соблазнит — получает удар в щеку, когда украдет — по руке, состроит гримасу — по ягодице, станут его грабить — по животу, а когда уводят его жену — ниже живота, — ужасно хлопотная профессия!

"Ну, довольно, боже мой", — еще раз осматривает, ощупывает, оттягивает кожу, но уже как-то по-другому, и ощущения врача через его пальцы передаются в нервные окончания Алишо, чтобы как сочувствие и удивление принял он к себе в организм и по этим окончаниям передал дальше, в нервные начала.

Важная перемена — запрещено работать актером на студии, нужно делать что-нибудь спокойное, малоподвижное, и перед тем, как впервые идет он на телевидение, где ему надо, прежде чем показаться на экране, обучиться держаться, улыбаться, смотреть, спрашивать, читать, выключать, — долгие и такие хлопотные, такие милые (как умеет Мариам привносить во все чуточку игры и обаяния) обсуждения, как заживут они теперь всей семьей по новому времени и бюджету.

Утром он поведет старшую в школу, а Мариам еще понежится в постели — ведь она так поздно ложится из-за вечных хлопот — что приготовить на завтра, что не забыть, о чем напомнить, а она любит еще немного, когда все уже проснулись и суетятся, готовя завтрак, полежать — это так по-женски!

Все будет по-другому, переставим мебель, уже второй год не можем найти времени, чтобы поставить шкаф к другой, темной стене, и надо купить маленький коврик, чтобы, ложась в постель, постоять на нем, размять ноги, пошевелив свободно пальцами, тут надо два новых стула, будут приглашаться гости, а тут по-

ставить диван — возможно, кто-нибудь из гостей захочет остаться ночевать, — слушая все это, Алишо думает о том, как мало будет зарабатывать, и восторг Мариам и детей от ощущения всех перестановок, покупок, гостей, ковриков под ногами, приносящих уют, прерывает робко: "Экономия!" И теперь, когда дети уже постарше, можно будет ходить в театр, и предвкушение ночи, которая еще впереди, лени, утренних нежностей в постели должно быстро снять горечь от плохого спектакля, банального сюжета — ведь, что ни говори, друг мой, а жизнь богаче той ее части, которую нам предлагают, и сколько еще того, что мы утаиваем, бережем, во что верим, куда не пускаем посторонних, сколько личных правил, привычек, сколько грез, лени, сновидений...

А когда для Алишо наступит тот день и тот час, и он должен будет показаться на экране телевизоров, а в нем еще живет долгий, устойчивый, как невроз, страх, что вот покажут его крупно, и в чужих семьях чужие люди что-то узнают по общему выражению лица, по морщинам, что-то такое, чего не желал бы открывать в себе, и когда все-таки (никуда от этого не денешься!) наступит эта минута, и юпитеры будут включены, и экран открыт, и он поведет свою скромную для начала карьеры передачу рекламы и объявлений, а потом в волнении поспешит домой, чтобы спросить у Мариам: "Ну как?" — и она скажет: "Ты был таким уверенным и даже, кажется, чуточку счастливым", то оба они, поняв друг друга, обнимутся, и покажется вдруг Алишо, что вот так все и шло, все шло к тому, чтобы испытал он сейчас с Мариам эти нечаянные радости...

1975

ЗАВСЕГДАТАЙ

Я уже давно не торговец, и все же лучшие часы дня — утренние — провожу на базаре. После отдыха и сна первое, что хочется увидеть, — эти краски, плоды, услышать гомон, похожий на птичий, нет, это надо самим посмотреть, мне трудно... Должно быть, сама Тихе-Фортуна — она у нас объявлена и покровительницей торговцев, — едва омоет глаза росой, устремляет одобрительный взгляд на плоды и слышит птиц... да, такая жизнь— привилегия, — завернув ночь в одеяло, с началом дня расстелить перед восточным человеком базар. Базар не смущает нашу веру, он оставляет нас вечными язычниками и... вечными странниками.

Я немного торговал в детстве, но об этом потом. Я понял, что торговля — это не профессия, а состояние души, надо родиться... Другое дело, мой дед по матери — он был домоторговцем. В двадцать лет он получил наследство: два квартала — "Суфиён" и с трогательным, простодушным названием: "Алвондж" — "Люлька" — сто двадцать домов; через шесть лет он имел уже двести, присоединив к своим владениям самый прибыльный участок в городе — квартал "Арабон", где был рынок каракуля. Трудно сказать, на что употребил бы дальше дед свой базарный гений, если бы в двадцать шесть не упал с лошади на охоте и не умер в ужасных

муках. Может, в один прекрасный день купил бы все дома Бухары, чтобы продать их с немалой прибылью истинному их владельцу — эмиру города, забавно... Забавно, что и торговля внутренне ступенчата, как пирамида, чем больше овладеваешь ее основанием, тем труднее добраться к ее острому концу, — там где-то и запрятан фараон-хозяин.

История с дедом произошла очень давно, а сам я с шестнадцати лет уже не живу в Бухаре, только бываю там неожиданными наездами у старой матери — у нее маленький дом совсем не в тех кварталах, которые принадлежали деду. Мне тридцать семь, так что я еще далеко не стар, второй год живу праздно, я завсегдатай базара. Соседей, должно быть, смущает эта моя праздность, ведь к сорока годам еще только вырисовываются контуры служебной карьеры, а оставшиеся потом двадцать до пенсии тратятся на то, чтобы в полной мере достичь... Я же в тридцать пять уже вышел на пенсию, прослужив в балете больше двадцати.

В балет я попал совершенно случайно и неожиданно, на базаре, где я торговал старыми книгами — без всякой прибыли, за свою цену, — меня заметил один приезжий учитель. Почему-то ему показалось, что я подаю надежды, не спорю, я был стройным красивым мальчиком... Мне так захотелось в столицу, так увлек учитель! Отец — странно! — сразу согласился, мать поплакала. Ученики никогда не ошибаются в своих учителях, учителя же всегда в учениках, так и мы, должно быть... Через год он не отправил меня обратно домой, а бросил в массовку. Нельзя сказать, что у меня ничего не получилось, с годами мне поручали кое-какие выходы, маленькие самостоятельные па-де-де... к черту, тоскливо вспоминать, скажу только, что в чем-то учитель разглядел мою суть, увидел во мне художественную натуру, меланхолика. Словом, из торговли — в балет, и вот теперь опять базар, это может показаться смешным. Но я вижу в такой линии одну закономерность, парадоксальную на первый взгляд и до неправдоподобия смелую для того, кто рискнет ее высказать, — в балете и торговле много общего, ну хотя бы в желании полностью раскрыться, одержимой раскованности, одним словом, я лишь намекнул на родство, не желая полемики. "Да, — скажу я своим опровергателям, — торговцы тоже немного эстеты, они необязательно из одного лишь низменного желания — выручка, всякий там доход, конечно же, все это берется в расчет, но среди торговцев встречаются и прелюбопытнейшие типы, сидя-

щие с утра до вечера на базаре лишь ради самого базара, перед ними товар, красиво разложенный, и такому эстетствующему торговцу иной раз вовсе и не хочется продавать, жаль расставаться... а с чем — спрашивается? Он и сам названия не знает тому, что разложил, — нечто среднее между тыквой и пустынным каштаном, экзотический фрукт, обнаруженный где-то в горах и впервые привезенный на базар. Спросишь: "Сколько?", он глянет на тебя осуждающе-подозрительно и махнет: "Иди, все равно не купишь!" Да, торговля — это состояние, причем такое трепетное состояние души, когда самовыражение полное, как в нирване.

Так вот, первый мой опровергатель — это сосед-литератор, выпустивший уже четыре книги. Он известен, его хвалят, но когда я прочитал написанное им, то решил, что напишу эти свои записки о торговле не хуже. Все у моего соседа какое-то вялое, головное, без мускулов, похоже, что у него не осталось о чем писать. Признаться, это третий вариант моей истории, я соседу читал, он очень интересовался, но как будто его что-то раздражало в самом моем письме, манере, стиле, и он словно еле выдерживал до конца очередной главы, говорил:

— А теперь расскажите, этот ваш перс Бобошо в самом деле совсем бывает не озабочен, если за весь день не продаст и пригоршни своих фисташек?

— Разумеется, — отвечаю я, — такова его натура...

— Что-то не верится...

Сосед, вообще, я заметил, прежде чем поверить, подвергает всего меня сомнению — завидная черта...

В основном мы спорили с ним насчет общности торговли и балета.

— Да, все как-то мелко, — снисходительно говорил сосед, — балет — это возвышенно, истинно, можно сказать, танец — родоначальник всех искусств. И, простите, торговля — это глупо...

— Ну а как вы смотрите на то, что самой первой человеческой деятельностью была торговля? Натуральный обмен дарами природы, так сказать...

Он как будто задумался, что-то его осенило, но, видно, не до конца, мысль в животе запуталась, потому что, чувствую, он опять направляет беседу к базару и к интересующему его торговцу:

— А не думаете ли вы, что этот ваш перс просто для прикрытия там сидит, для полезной деятельности...

— А перед кем ему оправдываться, он человек больной, инвалид...

С каждой нашей беседой я чувствовал, что сосед, возможно, хочет сам написать на базарную тему — не отсюда ли его пренебрежение к моим запискам и желание получить что-нибудь любопытное от меня устно, словно своим изложением я все безнадежно испортил и только в устной речи я еще кое-что сохранил.

Те два варианта, первый назывался просто "Базар", второй несколько усложненно — "Восточная медицина" — оба эти названия и сам текст мне не нравились. Теперь я спешу изложить историю в третий раз, с новыми подробностями, хотя многое опускаю из старого, может, назову потом все это "Завсегдатай", но не знаю, как-то все о себе, смущаюсь...

Но довольно о соседе, разговор наш о балете, столь нелицеприятный, на меня подействовал, и в этом третьем варианте я многое из наблюдений над родством балета и торговли опускаю, оставив лишь самую малость, намек — это мне нужно для связи повествования, — только чисто формальную сторону, не вдаваясь в подробности, ибо, возможно, я и ошибаюсь, дилетантствую. И еще чисто человеческая сторона — ведь как с балетом, так и с торговлей связано у меня столько любопытного, лучшие молодые годы... всякая неправда была бы досадной.

Для того, кто решил сделаться завсегдатаем, лучше всего начать зимой — все пространство открыто, можно прогуливаться между рядами, рассматривая. Идут дни, редис в мешках цветет, выпуская желтые стебли, утро туманится, время клонит к весне, и базар становится теснее, словом, начав обозревать зимой, вы насладитесь сменой красок, одного плода другим, и так создается ощущение, что жизнь все прибывает. Вы забываетесь... Не верите ни в увядание, ни в старость — до какого-нибудь дня в середине осени, когда жизнь прямо-таки кричит о себе, оглушая, — столько в ней здоровья и соков. Затем вдруг — да, всегда неожиданно! — приходишь, и все увяло — цветы отяжелели, опустились, виноград потемнел, осыпая ягоды, на яблоке нездоровые розовые пятна — всюду пахнет брожением, кисло... У меня к тому же очень острое обоняние, убегаю, чтобы несколько дней поскучать дома. Благо, сосед — литератор К., не хочу называть его полностью, не смею смущать.

Да, вот так за весь год все прошло перед глазами — базар раскрылся, и вот когда ты забылся, поверил, он опять спрятался, оставив для дыхания самую малость — всего несколько рядов, где торгуют сухими фруктами.

В этих сменах: щедрости и скупости, здоровья и болезни, простодушия и хитрости и плутовства — весь характер базара. Он бросает из одной веры в другую, оставляя в сплошном безверии, я уже где-то заикнулся о язычестве. Можно сюда добавить еще безродность, вернее, безнародность, но я потом поясню, боюсь отвлечься...

Сейчас зима, так что само время как бы позаботилось о том, чтобы я следовал его течению, что я и делаю. Зимой базар отдан на откуп таджикам и кореянкам. Фисташки, миндаль, садовый орех, арахис и совершенно притупляющая осязание корейская капуста, набитая в целлофановую колбасу с соком перца. Должно быть, простодушные, симпатичные кореянки добавляют еще и уксус, не знаю, это я никогда не решаюсь пробовать — меня свалит...

Весь базар в двух рядах — ягоды шиповника, пучки травы бессмертника, хвощ, цвета и вида красной икры ягодки облепихи, такие же маслянистые, товар нетрадиционный и не совсем установивший пока для себя твердую цену, колеблется...

Впервые я увидел на базаре ягодки облепихи года три назад, объяснения торговки меня не удовлетворили, по обыкновению я стал придумывать свое, чтобы и торговка и зеваки вокруг поверили. "Это, — сказал я,— должно стоить столько, сколько лососевая икра". И я стал что-то говорить о потопе и о том, что рыба, уплывая, оставляла свою икру на обнажившихся кустах... Я люблю безобидно так разыгрывать, наверное, надеюсь на то, что на базаре странным образом уживаются наука и суеверие и все новые мифы рождаются здесь.

Торговцы-таджики очень высокого о себе мнения, продают только то, что стоит не ниже пяти рублей за килограмм, и не станут возиться ни с редисом, ни с луком — овощи не их стихия.

Бобошо с ними в ряду, он местный перс, забывший свой язык, и забавно, что таджики сторонятся его и убеждают, что сами они узбеки, а Бобошо — таджик, пусть так... Об этом я и думал, говоря о безродности внутри базара, за воротами же они снова таджики.

Это я понял очень просто, стоило мне заговорить с ними по-таджикски. Они сразу насторожились и замкнулись, а когда я отошел — отпустило, и они зашептали тревожно:

— Ин ки бошад, худое?![1]

---

[1] — Боже, кто это может быть?! *(тадж.)*.

Должно быть их смутил мой узбекский вид — овал... разрез глаз — генотип.

Теперь мы дружим и свободно болтаем — они знают, что я бухарец, что во мне в равной доле таджикская — от матери — и узбекская кровь.

Лично я доволен — мечтательность и художественно-загадочная томность матери разбавлена отцовской крепостью и простодушием — это дало артистизм и большую выносливость при в общем-то слабом здоровье.

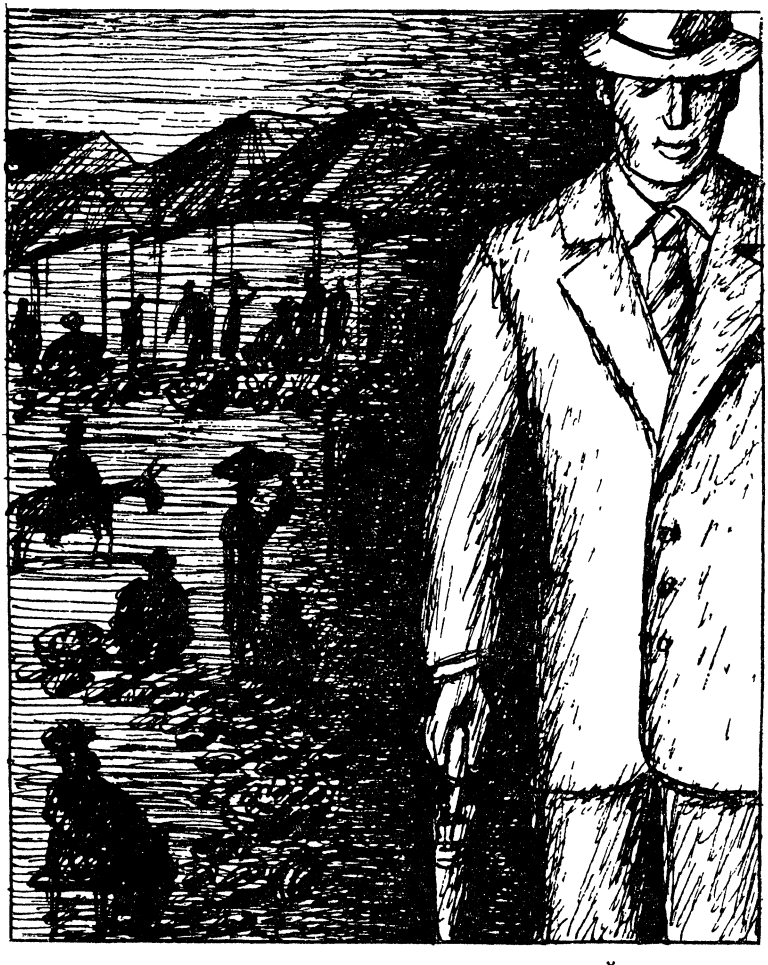
Бобошо привлек меня своей иронией, а ведь это дар не каждого, незаурядного ума — слегка отстранившись, ирония разглядывает жизнь — воздержусь, здесь я банален...

Вообще, в первые дни моих прогулок весь базар насторожился, принимая меня за человека, который, должно быть, что-то высматривает, выискивает, — соглядатай. И только Бобошо сразу разглядел и стал объяснять всем, что это просто у меня влечение, совершенно безвредное для окружающих, — поверили, что я чудак и прочее, но все равно долго еще смущались. Наверное, им был малопривлекателен мой — как бы выразиться? — портрет, что ли? Действительно, я всегда элегантен, с зонтом-тростью, для покупок саквояж с бесчисленными "молниями" — таков мой всегдашний облик для наблюдающих торговцев.

Мне стоило больших трудов стать элегантным, но теперь это моя привычка. Тело мое в своих частях странно негармонично, и, помню, с раннего детства все портные оказывались сконфуженными, снимая мерку. Нет ничего бросающегося в глаза: ни искривлений, ни тени уродства, просто руки длиннее, чем это надо для туловища, ноги короче, а плечи шире — все, повторяю, заметно лишь после дотошных измерений, — и вот, чтобы все это скрыть, я должен одеваться не просто опрятно и со вкусом, а элегантно. Сложное содержание не может вмещаться в простой оболочке, а говоря по-базарному — умелая упаковка...

Все отвлекаюсь — виноват... Этой зимой я впервые подумал, что еще не знаю оболочку базара, и вот прогулялся по четырем улицам, вдоль которых крытые ряды, лавка красильщика, скобяная, два чайных домика и трапезная, где можно собраться и заказать вкусный обед. От улиц, неожиданно сузившись, тянутся переулки, а потом просто тупики, откуда нет дальше пути — приходится возвращаться.

В переулках темно даже в солнечный день: веники,



мочалки, порошки, пемза — все для личной гигиены и чистоты дома, и, едва проникаешься ощущением покоя, вспомнив, как хорошо спится на белой и чистой постели, выходишь на птичий ряд.

В птицах много кротости, и взгляд их мудр, и это заметно, когда сидят они в клетках. Нельзя сказать, что на воле они суетливее и глупее, но в клетках, наблюдая за торгом, они чем-то наполняются глубоким. Голуби, петух с сизым от холода гребнем, перепела... Надо бы о перепелах сказать что-нибудь доброе и побольше, все же наша национальная птица, символ...

Я насчитал около двадцати таких переулков и тупиков, мне сказали, что их больше, но я в тот день утомился, решил, что закончу прогулку, выйдя к воротам.

Ворот, венчающих улицы, оказалось тоже четверо, главные — с двумя створками, но их-то почти не открывают, проходят в калитку... Два других входа на базар можно лишь условно назвать воротами, хотя все и ввозится отсюда. Это просто железные перегородки, отодвигающиеся. Я, выросший в Бухаре и видевший столько ворот, с таким искусством созданных — резных, орнаментальных, — нет, я не решаюсь назвать это воротами.

— Ну, вы уж слишком придирчивы, — сказал сосед К. — Нашли проблему! Надо быть щедрее...

Я вспомнил, как в Бухаре стояли ворота сами по себе, без стен — вход в квартал, — и они ежедневно запирались, имея при себе привратника.

Сосед, должно быть, просто не чувствует... забыл, что у восточного человека свое, особое отношение к таким символам, как ворота, благоговейное, об этом надо бы поподробнее рассказать.

Те два входа, которые я назвал воротами — возле них все время переминаются с ноги на ногу уйгуры и армяне-посредники, — стоят близко друг к другу, так что одна, северная, сторона базара совсем осталась без ворот — может, строители полагали, что весь товар будет с юга? А может, одни ворота, свернув за угол, стали от скуки рядом с другими? Скорее, это...

На севере глухая стена, там мясной павильон. Словом, ничего запутанного, внешность базара никак не выражает суть, игру стихии, наоборот, может показаться слишком простоватой и аскетичной, а в чем-то и просто неудобной. Но в этом-то и все хитрое притворство базара — внутри жирно, сытно, богато... И просто удивительно, как торговцы умудряются приспосабливаться, изворачиваться, торгуя на углах, в темных тупиках, на лестницах, цепко, ничего не скажешь. Всегда бодрые, хохотуны, в сильные холода вспарывают бока у ведер, бросают угли, поддувают, сидят в грубых тулупах, кругом и греют руки, затем собираются на щедрых трапезах.

Меня тоже часто зовут погреться таджики, выдающие себя за узбеков. Я присяду в их круг — ведро гудит, шелуха земляного ореха, брошенная в огонь, пахнет так хорошо, создавая ощущение уюта, я на минуту забываюсь, думая, что вот так всегда я был с ними, торговцами, в братстве. Да, истинно, что-то и мне переда-

лось из рода, может быть, гораздо меньше, чем отцу, а в натуре деда торговля собрала себя для высшего проявления, потом несколько поколений все пойдет на спад для того, чтобы опять собраться в каком-нибудь гении. Словом, стоит нас немного заворожить, а потом слегка расковырять — будет видно: в каждом сидит торговец!

— Значит, ты в детстве торговал? — всякий раз удивляется Бобошо — добрый человек, говорит, должно быть, для того, чтобы самый последний скептик, которого смущает моя элегантность, и тот признал своим.

— Да, собирали поздней осенью, прямо из-под снега, стебли хлопка и продавали связками в городе...

— Это в Бухаре?

— Я ведь рассказывал... Продавал уголь, сено. На "Дровяном базаре".

— Жаль, Ахун, что ты не продолжил, из тебя вышел бы прекрасный торговец, — говорит Бобошо.

— Куда нам перед вами, таджиками. Мы созданы быть перекупщиками, — отвечаю я, намекая на свою активную узбекскую половину.

Бобошо понял так, будто я его передразниваю, взбодрился.

— Из смеси таджика и узбека рождается великий торговец!—говорит он, протягивая мне горсть фисташек.

— Если хорошая закваска, то да, — смеюсь я.

Вокруг тоже смеются, я выбираю самую крупную косточку, фисташка слегка надколота, надо лишь ногтем раскрыть скорлупу — и зеленоватый острый плод с нежным вкусом и неброским запахом миррового масла...

Я люблю этот плод, он собрал в себе все самое тонкое, что может почувствовать язык, неужели я старею, все острое и жирное меня раздражает — это слишком теперь грубо для меня, как насилие, зато какой букет, сколько оттенков оказалось в плоде фисташки и миндаля, какие запахи — раньше я этого не чувствовал, да, старею...

Что ж, всякий возраст неповторим, и ничто так не подчеркивает ступени возраста, как пища. Ведь замечено, что человек проходит через три пищевых возраста, самый первый — примитивный, когда человек просто насыщается, — стадия "кишечной палочки", ест много мучного и мясного, почти не чувствуя различия, не наслаждаясь тонкостями. В среднем, более зрелом возрасте желудок требует возбуждения, без него не чувст-

вуешь вкус. Осязание — о нем примитивный человек как будто не догадывается — возбуждается, требуя разных приправ к еде: перца и уксуса, горьких и мятных трав — "стадия языка". А близко к старости, если чувствуется отвращение к тому, что так любил, будучи примитивным существом — к плотному, жирному, острому, — все чувства утончаются, и человек живет обонянием.

— Да, но тут вы отрицаете индивидуальные наклонности, — возразил сосед К.

Теперь он разговаривает со мной терпимее, почувствовал, что я неплохой спорщик и долго стою на своем, пока мой собственный опыт не убедит в обратном. И даже когда убеждаюсь, все равно воздерживаюсь от обобщений, считая, что частный случай со мной не может никак быть правилом даже для меня самого. Сложно с опытом, с пережитым...

Другой знакомый, с которым я иногда делюсь, — Бобошо, — это мое пояснение к пище выслушал молча и деликатно. Не возразил, я его все больше ценю за эту деликатность, за умение подбадривающе слушать, даже если это неприятно.

Бобошо уже знает о том, как в раннем детстве я разрезал красивый кусок шелка на множество лент, сложил, как складывают в магазине тюки с материей, и выставил в собственном магазине в мансарде для маленьких красавиц соседок. Там у меня все было, прилавок, весы из ореховых скорлупок, рис, мука, сахар в мешочках, принесенные тайком из кухни. Горделивый, я стоял за прилавком и ждал — красавицы приходили сразу все вместе, разглядывали выставленное, чуть приседая, мило смеялись. Ничего смешного, просто так принято, ибо какая красавица угрюма на базаре? Да, дни... Бобошо знает и о том, как торговал я, уже будучи отроком. Я называю ему: "Сенный базар", "Базар циновок", "Базар стекольщиков". Больше всего его умиляет рассказ о том, как мы с братом решили избавиться от всего, что было нам мало, тесно, чтобы родители купили обновки, — маленькая хитрость... Помню, мы сидели с братом дома одни, и от нечего делать я предложил пойти торговать. Чем? Моими старыми брюками — какая разница? Оказалось, что у брата жмут башмаки, у меня противная шапка зеленого цвета.

На базаре, среди торговцев старьем, мы чем-то не понравились сторожу, он запер нас, чтобы допросить. Пока он меня расспрашивал, брат Афзал убежал, вы-

прыгнув в окно, и вернулся с отцом. Отец был довольно видным человеком в городе, и сторож его таковым и знал — так что, естественно, речь не могла идти о краже.

— Им дорого обойдется это их баловство, — сказал отец и на улице сам нас допросил. Ничего не узнав внятного, он в отчаянии потянул меня за рукав: — Ну хорошо, за сколько ты собирался продать свои брюки?

Я назвал какую-то фантастическую сумму, на которую можно было одеть всю семью в меха, отец рассмеялся и больше уже не вспоминал об этой истории.

— Как трогательно! — восторгается Бобошо. — Вообще, детство... не рассказывай! — Он готов прослезиться, сентиментальный продавец фисташек, видно, тоже часто вспоминает забавные истории детства. Рассказывать об этом — расстраиваться, описывать тем более грустно. С отдаления прожитого детство видится в идиллических тонах, хотя ведь тогда, когда жил в настоящем, все могло быть не так просто и трогательно — мне, к примеру, было трудно в детстве.

— Отец твой, должно быть, часто поступал так благородно, Ахун? — спрашивает Бобошо, со мной он разговаривает осторожно, боясь обидеть, и вообще у него такой тон, будто я его сын, хотя он старше меня всего лет на десять.

У Бобошо красивая и благородная внешность, но бывает, когда он расстраивается, какой-то внутренний недуг, что-то нервное, пробегая по правой стороне его тела, на мгновение искажает лицо до безобразия. Я отворачиваюсь, да и сам он очень смущается, словно уличен. Поистине красота есть слегка прикрытое безобразие, а высший ум у черты безумия, крайности гораздо ближе друг к другу, чем стоящие рядом качества, такие, как храбрость и отвага, — здесь я, возможно, банален...

— Признайся, Ахун, ведь тебе порой так хочется... на чем-то очень крупном и рискованном? Я ведь вижу, как тебе тоскливо от наших мелких дел, ты, должно быть, презираешь нас за то, что ни на что мы не способны, кроме этой детской торговли на сто рублей, на двести.

— Я-то нет... не знаю, — говорю я Бобошо. — А вот ты, наверное, страдаешь. У тебя все качества большого торговца — умен, спокоен, но возбуждаешься от легкой авантюры, мыслишь абстрактно, в масштабе, наблюдателен и немного сентиментален.

— Да, нет. — Бобошо как будто растроган моей по-

хвалой его торговым качествам. — Каждый должен быть собой, и это справедливо... Но ты, кажется, сказал: сентиментален?

— О, сентиментальность! — говорю я значительно. — Она так нужна торговцу, в голове есть такой пунктик, который ведает тягой к приключениям. Сентиментальность раздражает этот пунктик, и человек пускается...

Бобошо пристально смотрит, я же невозмутим, и торговец не знает — шучу ли я, но на всякий случай улыбается:

— Ты, кажется, сегодня хорошо расположен... разыгрываешь?

— Да, с возрастом я стал расположен... смотрю на мир доброжелательнее.

Торговцы вокруг от безделья слушают с долей благоговения — считается, что я всегда говорю занимательные вещи.

— Что-то мне не нравится... Ты стал много говорить о возрасте — кого хочешь удивить, меня ли, старика? Сколько бы ты ни прыгал, все равно останешься мальчиком, не сделавшим еще своего славного дела.

"Мальчик, не сделавший еще своего славного... главного дела" — мне это нравится. Бобошо афористичен. Он любит по разному поводу вставить в разговор нечто подобное, как бы сочувствуя. Он убежден, что я не просто прогуливаюсь, завсегдатай, а человек, ждущий своего часа. Будто, попадись мне интересное дело, способное увлечь, во мне проснется торговец, авантюрист, я рискну... Если кто и ждет своего часа среди этих замерзших торговцев сухими фруктами, так это сам Бобошо. Уверен, первым, кого позовет приключение, — рассудительного, с виду меланхоличного отуреченного перса. Ведь он как-то вставил: "Кто не рискует, тот проигрывает на базаре..."

Да, риск... Здесь, на базаре, когда риск минимальный, все кончается проигрышем, — это я вижу почти всюду среди торговцев, если дела их маленькие — четыре мешка арахиса, пуд сушеной, в обрезках, дыни... Только слышишь: "Одни убытки", но риск все равно привлекает, этой зимой я увидел на базаре новые лица, с годами почти никто из торговцев не уходит, зато новые прибывают. Мне было интересно: есть ли среди всей этой публики еще чудаки, которые просто изо дня в день прогуливаются между рядами, знакомясь, — завсегдатаи, кроме меня. Я стал приглядываться, останавливаясь перед новым лицом, слушать, спросил Бо-

бошо. Он рассмеялся сконфуженно, будто я его в чем-то желал уличить:

— Странно, я об этом никогда... Только две породы людей — торговцы и покупатели, а вот что между ними, среднее, не задумывался, брат. Ты, должно быть, заревнуешь, узнав, что еще кто-то такой же праздный?

"Но почему у меня такое ощущение, будто я его в чем-то постоянно уличаю?" — подумал я с неприязнью, а это было похоже на отношение любящего, который боится измены и готов заранее и безо всякой причины подозревать. Это сосед К. заронил сомнение, сказав, что Бобошо прикрывается...

А на следующий день я был удовлетворен сполна, когда ко мне подошел уйгур и пригласил в чайный домик. Он сразу приступил к делу, и я отметил про себя, что вот это и выдает — новичок он в торговом деле, не владеющий еще собой и не поборовший суету, или же рисковавший много раз и теперь только выигрывающий от риска. А когда он назвал меня "знаменитым торговцем", я принял скучный вид, поняв, что передо мной один из тех посредников, которые часто обращаются ко мне за помощью.

— Кто же вам показал на меня? — спросил я, попрежнему скучая.

Он не решался, говорил, что понял сам, наблюдая, и что если такой опытный торговец согласится помочь... Словом, его люди скупили в каком-то городке, по пути сюда, весь товар кавказцев — сто пудов мандаринов, а фрукт этот быстро портится... Подобные дела возбуждают меня вначале, берусь играючи, но близко к середине вдруг все надоедает, теряю вкус и отхожу.

Короче, уйгур хотел, чтобы я уладил все здесь, внутри базара, склонил кое-кого, чтобы в один день к рядам были выставлены пятьдесят подставных торговцев и чтобы выдали каждому весы к отдельному месту, — уйгур задумал начать и закончить с мандаринами в течение дня, так быстро, как будто дохнул на стекло — пропотело — и сам же стер: ничего не было в помине!

Я слушал, что-то в его идее было незрелое, дилетантское, особенно уязвима та часть дела, которая касалась склада. Он хотел, чтобы одни ящики завозились на склад, другие тут же увозились к прилавкам, создавая у недоброжелательного наблюдателя ощущение, будто товар здесь хранится давно.

— Вы ведь знаете, когда товар хранится день-два на складе, это придает делу налет респектабельности, —

сказал мой собеседник, виновато улыбнувшись и, должно быть, чувствуя себя глуповато оттого, что напоминает мне об этом простейшем правиле базарной игры.

— Да, всего лишь налет, — ответил я сухо, рассердившись за его чрезмерное подобострастие ко мне. — И больше ничего... А это, как дыхание на стекле, бывает, что не успеешь стереть — опаздываешь...

— Не хотите ли вы сказать, брат...

— Послушайте, — перебил я уйгура, — вы уже давно?..

Да, я это почувствовал сразу: он долго был просто завсегдатаем, он так и назвал себя — не "гость", "посетитель" или скромно: "ученик базара".

— Я несколько лет был завсегдатаем, но самым обыкновенным, не таким, как вы. Вы так называете себя из скромности, на самом деле — мне говорили, — весь порядок базара, каждый его нерв держится вашими руками...

— Вот уж нет, — сказал я и подумал, что, если даже половину того, что он здесь наговорил о моих торговых способностях, опустить как лесть, останется... что значит базарная молва, небольшая загадка — и рождается миф... Юсуф Прекрасный.

Меня всегда умиляла эта библейская история, торговый эпос, сочиненный на восточном базаре или в долгом пути через пустыню торговцами. Юсуф Прекрасный, брошенный братьями в колодец и подобранный караваном, — сын риска, жертва прелюбодейства, ставший управляющим хлебными магазинами фараона.

— Первый и простейший талант торговца — умение предвидеть, как Юсуф Прекрасный, семилетнюю засуху, — говорю я уйгуру и соглашаюсь помочь его делу лишь из мелкого тщеславия — вот ведь бывший завсегдатай, которого увлек базар, а называет меня учителем, значит, я по-прежнему единственный, это моя привилегия...

Уйгур наклоняется и взволнованно дышит мне в плечо, показывая среди столбика цифр на бумаге мою долю — восемьсот рублей.

— Что ж, — говорю я великодушно, соглашаясь с долей.

Посредник доволен, благодарит, приглашая вечером в трапезную, хотя чувствую: что-то внутри его точит — естественное волнение, может, страх.

— А как вы предвидите... наше дело? — спрашивает он, желая обрести уверенность.

— Как семь тучных лет после семилетней засухи,—

отвечаю я, зная, что доля иносказательного лишь украсит торговую сделку.

Иносказательность — одно из базарных суеверий, сулящих удачу. Как бы ни полагался на свое умение, он все же чувствует непостоянство в основе своего дела, а удачу можно ждать, лишь наблюдая за приметами, начиная от вселенских — стояния луны над базаром — и кончая мелкими, как пол и одежда первого покупателя.

Торговцы верят, что день будет легок на удачу, если первым покупателем окажется мужчина. Как часто я пользуюсь этим, чтобы купить что-нибудь по сходной цене! Вижу, как твердо стоит на своем торговец, когда подходит женщина, не уступает ни на копейку, она, сердитая, идет дальше, должно быть не зная, что и там будут непреклонны, ибо торговцы еще задолго до начала базара сговариваются продавать по единой цене, всякий отщепенец, сбавивший, чтобы сбыть товар побыстрее, жестоко презирается — с ним стараются не иметь дела, отворачиваются, и строптивый — смотришь — исчез с базара, разорился. И только ранним утром — и опять по сговору — цена может колебаться, опускаясь лишь один раз от своей твердой линии, да и то тогда, когда первым подходит мужчина-покупатель. Стоит ему отойти, купив, как цена снова подскакивает до своей твердой отметки, и со вторым покупателем — неважно, мужчина ли он, — торговец уже несговорчив, стоит на своем... И еще близко к вечеру, когда товар слегка увял, а сам торговец утомился, цены у всех понижаются на одну ступень — время покупательниц...

Бобошо сказал, если помните: "Каждый рожден быть собой, и это справедливо". Здесь чувствуются нотки предопределенности, вера в звезду, как будто один родился перекупщиком, другой посредником, третий поставщиком, и таким должен оставаться, чтобы не нарушать правила, которыми исстари живет базар.

Поставщик — тот, кто выращивает фрукт, и, если он не продал его через посредника перекупщику, а решил торговать сам, он с презрением озирается вокруг, называя перекупщиков трутнями. И напрасно! Поставщик, сделавшийся хотя бы ненадолго торговцем, выглядит очень наивно и почти всегда проигрывает оттого, что решил свои фрукты продавать сам, ибо забывает, что сорванный плод уже не сочный фрукт, натюрморт, а товар, крепкий, обкатанный, жесткий, звенящий металлическим рублем, — тихая жизнь сада ему уже чужда, он весь в стихии базара... Вечером крестьянин смущен-

но складывает, сидя в чайном домике, рубль к рублю, прозревая...

Еще есть люди... их так мало, один-два человека на весь базар, поэтому нет названия их профессии, я же называю: художники торговли. Уйгур принял меня за такого художника, надеясь, что я закрашу самые тонкие, лезущие наружу места в его деле с мандаринами.

Что ж, я опять взялся, хотя и давал себе слово не ввязываться. Натура, увлекло... Сплошная игра — и с весовщиками, и на складе у меня хорошо получается. Я убеждаю их, жестикулируя страстно, затем перехожу на шепот, толкаю панибратски в бок, хохочу. Держу про запас поговорку, анекдот, а то и просто непристойность, ибо весовщики падки на обнаженную шутку, с ними целый день только об этом и говори, глядя из окна на торговок, не насытятся.

Я настойчив, но не надменен, не требователен, весовщики не чувствуют тяжесть, как сказал Бобошо, я бываю "и мил, и смущен, и по-ребячески трогателен", и они уступают, разумеется, небескорыстно.

Они наконец чувствуют, что я ищу приключения, и хотят посмотреть, чем это кончится. Приключение — страсть не очень-то серьезная для базара.

А кончается как обычно. Наверное, начинаю слишком самозабвенно, ибо где-то на половине дела вдруг становлюсь равнодушным, устаю — и неделю меня не видно на базаре.

Бобошо знает, что у меня бывают приступы, когда обостряется обоняние и мучают запахи, — я держусь подальше от базара.

— Что, брат, опять запахи? — спрашивает Бобошо, глядя на мое одутловатое лицо. — Я так и сказал тому мандарину, что нездоровится.

— Прошу тебя, не показывай больше на меня, — говорю я, уверенный: уйгур остался в выигрыше. Ведь неважно, что я вышел из дела, важно: я удачно и ловко повел, считается, что торговля капризна лишь вначале, любит быть продуманной, потом же катится внутренней энергией, пока не истратит себя всю по пути, давая в финале прибыль.

— Я думал: тебе надо развлечься. Ходил ведь скучный...

— Трогательно, но... Я ведь скучный по натуре, бывает, что и неделями слова не хочется сказать, а потом вдруг понесет... Но теперь все меньше, не возбуждаюсь.

— Я ведь говорил: тебе под стать великое дело. Мандарин, клубника, шиповник, — говорит он с долей пре-

зрения, перечисляя плоды. — Они даже меня не увлекают...

Иногда мне кажется, что Бобошо подбрасывает мне такие маленькие дела... Не вводит ли он меня во вкус, не обучает ли, как волчонка? Для чего?

Еще одно базарное суеверие: считается, что удачливым может быть не только каждый торговец в отдельности, но и весь базар в целом, если в нем торгуют из года в год знакомым товаром; от всего нового, необычного базар, говорят, отворачивается, смущаясь, отсюда презрение Бобошо к мандаринам, привезенным издалека. В Бухаре вообще любили торговать одним — "Базар цветов", "Базар циновок", "Шелковый базар"...

— Удивляюсь, вам еще удается безнаказанно ловко свернуть, — сказал сосед К. — Для вас это просто красивая игра, приключение, но ведь для них рискованная работа, сама жизнь, и как они вас не запрезирали?

— Значит, моя игра лишь украшает их тяжкий труд, — говорю я простодушным тоном баловня судьбы. — Делает их базарное существование полным и осмысленным — и это они чувствуют нюхом. Что у торговцев сильно развито, так это безошибочный нюх, не расчетливость, не хитроумие — нет, ерунда...

— Возможно, что вы и наблюдательны, — отвечает сосед К. Теперь он доброжелательнее, раньше же подчеркивал дистанцию, не подпуская, затем слово за слово — и оценил. Прихожу, он сидит в кресле, закутавшись в махровый халат, теплый, как после бани, скучает. Два часа пишет, прогуливаясь перед этим каждый день по одной и той же улице, не сворачивая, а после работы скучает. Я поймал его на скуке — и вот так вошел в дом. Бывает он, как бы спохватившись, становится надменным со мной, а потом расслабляется и опять очень мил, болтает. Это меня усыпляет, и я тоже делаюсь скучным и болтливым, начиная думать, что он такой участливый... совсем теряю голову, а потом жалею. Ну, почему я такой, хочется опереться на его невозмутимость и холодность, а во время одной из таких прекраснодушных бесед я совсем сглупил и сказал:

— У вас, должно быть, связи в издательстве... — думая, что он поможет когда-нибудь с публикацией этих записок.

— Разумеется, — сказал он, — как же без этого?! — И вдруг опять замкнулся отдалившись: — Только я не сторонник... каждый должен в одиночку.

Черт побери, как я жалел, не успокаиваясь весь день. В одиночку? Тем лучше. Посмотрим... Важно по-

нять систему. Теперь многие понимают... к примеру, что деревья живые, — мажут срубленное место чем-то густо-зеленым.

Я уже писал, рассказывая о внешности базара: "На севере глухая стена, там мясной павильон...", надо закончить, ибо какой азиат, чувственный, иррациональный и созерцательный, удержится, чтобы не поболтать о мясе... У меня у самого правило — не есть утром мяса, день надо начинать, будучи достаточно легким, чтобы долететь хотя бы до середины своего дневного дела к вечеру. Я заметил, что и птицы встречают божий день с мякиной во рту, гусеницу откладывают, пряча, а червяк на росе — дурная для них примета.

Павильон белый и просторный внутри, на первом этаже мороженая океанская рыба с довольно хищным видом, дальше говядина. Говядину я стараюсь не есть и вечером, только уж если совсем нечего... Знакомый киргиз шепнул мне, что говядина переваривается с трудом и потому считается нездоровым мясом, от нее давление под ложечкой и головные боли. Что ж, киргизам можно верить, они большие знатоки мяса.

— Лучше уж творог, — добавил киргиз.

И здесь киргиз прав, хотя бы потому, что творог на втором этаже продают миловидные торговки, белолицые и здоровые, — я часто поднимаюсь...

Среди молочниц, чувствуется, нет напряжения естественного отбора, как у океанских рыб-чудищ, они не конкурируют, потому-то и милы. Они свободны, хохочут и зазывают покупателя лишь для базарной этики.

Я здесь отдыхаю, прислонившись к гранитному фонтанчику рядом с ведром сметаны, и сметана приноравливается, начиная дышать со мной в ритм.

Сегодня моей молочницы нет — торговки смотрят хитро... "Это, должно быть, за вчерашнее", — думаю я.

А ведь я полагал, что для них торговля превыше всего, а вот поди ж ты... Одна решила пренебречь, чтобы слегка уязвить, — плохо я знаю женщин.

Прижавшись к холодной чистоте прилавка, я обычно болтаю беззаботно с Алией. Неужели молочница до сих пор не привыкла к моей необязательности и несерьезности? В ее возрасте-то... разница между нами почти двадцать лет.

— Это от молока ты такая белая, — говорю я, — от близости...

Она смущается, но вообще-то Алия очень разная, смотрит пристально, словно хочет угадать, что со мной было, когда не поднимался в те дни к ней, обижается,

если я быстро прощаюсь, или вдруг становится холодной. Это я сам ее так настраиваю, если с утра расположен, весело шучу с ней, говоря: "Я твой молочный брат", а в иной день смотреть ни на кого не хочется, видит из окна, что я не поднимаюсь...

А вчера я так разболтался, что получилось само собой, будто я ее приглашаю остаться вечером. Боже, что я наделал, ведь все это мальчишество, глупость, от тщеславия: пойдет ли, если позову?

Я себя ругал потом до вечера и все-таки не решился пойти. Нет, дело не в смелости, просто у меня есть другая женщина и наша с ней история тянется вот уже без малого двенадцать лет. И кончится, я чувствую, женитьбой. Пора уже прислониться и мне и ей, возраст...

Я был лет двадцать в таком мире... все время, пока Алия росла. Вообразил, что надо отдаться искусству, не скрою — дурачился в молодости, волочился. Наши театральные пошляки называют его "обнаженным миром". Я нахожу глупым это — "убежденный холостяк", "заядлый многоженец", нет ничего устойчивого, такое ощущение, что если все стоит, то мы проходим мимо этого, меняясь... череда дней...

А молочница — это наше наследственное. Среди семейных сплетен есть и рассказ о том, как дед был неравнодушен к молочницам и прачкам, а бабушка, утонченная бухарская дама, презрительно-насмешливо взирала...

Раз в неделю меня зовут в трапезную знакомые торговцы — удачная сделка. Здесь тихо, можно свободно растянуться на нарах, глядя в окно во двор, где сразу варят в шести котлах. Замечательно вкусно пахнет. Выйдешь, чтобы наломать стеблей и бросить в очаг. Немного сыро во дворе, и платан стряхивает лист, долго смотришь, как лист, кружась, летит — благостная лень...

Я уже писал об этом. Первыми моими записками был этакий бурлеск "Хвала лени", тоже рожденный от созерцания базара...

Я люблю смотреть, как едят, никто не может быть таким естественным, как едок, ничто так не идет человеку. Да, только трапеза и любовь еще как-то привязывают нас к жизни.

Помню из детства, когда после долгой болезни мне захотелось есть, и мать так обрадовалась: "Раз хочется, значит, уже здоров". Это все так просто, никакой философии — Кант, Кьеркегор, Конфуций... кто еще там на "к"? Оуэн...

Возможно, я глуп, но меня это иссушает, меня на-

полняет жизнью простая фраза о еде и здоровье. А сколько раз после бессонницы и увядания, когда казалось, что силы покинули тело навсегда, мы шли к женщине? И снова чувствовали, что возродились...

С каждым днем на базаре становится темнее — утром густая роса, а в полдень из-под ног лезет пар — торговки ожили, стали болтливее — весна...

Потом день — смотришь — широко открылся от солнца. Лук, клубника, ягоды шелковицы, пахучая зелень — укроп и сельдерей, овощи. Но теснее всего и гуще в цветочном ряду — еще полусонные деревца, еще темно-зеленая, вялая рассада, луковицы гладиолусов...

А вот и литовка Аннелора, значит, перезимовала свою восемьдесят первую зиму. Как и в прошлую весну, она торгует луковицами, совестливая и аккуратная, высушила стебли гладиолусов вместе с цветами — всех видов и цветов — и выставила для обозрения. Здесь и "граф Ойя-Айя" и "Лазурная Балтика", "ноготок коршуна" и "морские кочевники", "Чио-Чио-сан" — прекрасно...

В Аннелоре борются дух изобретательства и дух торговли, я ей говорю, что это слишком расточительно для ее слабого здоровья — выращивать цветы и самой же приносить их на базар, но что поделаешь, торговля... увлекает.

Аннелора держится несколько обособленно, она считает себя начитанной и интеллигентной и признает лишь меня достойным собеседником, говорит:

— Такую жуткую историю я прочла. Один человек в Иране: Маджид Занди, он не спит уже двадцать три года — как тебе это нравится?

— Мне моя собственная бессонница не нравится, — улыбаюсь я.

— Чувствует себя прекрасно, на службе восемь часов — что скажешь? — Аннелора говорит нарочито громко, чтобы торговцы вокруг слышали — она убеждена, что никто из них, кроме доходных листков, ничего не читает, — за это и презирает.

— Сверхчеловек, — говорю я.

— Остальные шестнадцать бодрствует — помогает жене по хозяйству, играет в самодеятельном театре, рисует... и так обречен жить до конца. Голова повреждена у человека, — скучно и впрямь как прочитала излагает она: — Может быть такое?

— Ну, раз написали...

В дни между весной и летом, каких только диковинок не увидишь на базаре — торговый бум, везут все,

что сколько-нибудь весит, имея форму. Что это — корень, а может, ствол или такая причудливая крона? Обнюхивают это твердое и красное, мшистое, спорят: лекарственный корень? Хлебная дыня? Масляная губка? Торговец горделиво взирает, уклоняясь от спора — как бы не продешевить. Пробуют на вкус, обмеривают взглядом — вот так, сам базар назовет и оценит...

А между летом и осенью базар так наполняется-лоснится... Меня, признаться, это изобилие не радует — прячутся тонкости от тесноты, плод давит, все пространство садов и бахчи, которое и за день не пройдешь, пытается вместиться здесь, на пятачке... шум, гомон... Ждешь опять поздней осени или зимы...

Эта зима: дождь со снегом — самое тягостное, что может послать небо, чтобы поколебать дух и сделать человека скучным и беспомощным.

Я все выходил по утрам и смотрел, думая, что вот в природе что-то сдвинется за свою черту и установится по-иному, но — увы! — ничто не колебалось, не уходило: ни дождь, ни снег. Я возвращался, не заходя на базар.

Раньше я еще как-то ухитрялся, затевая игру с собой, и, случалось, побеждал себя терпением, близко к утру бессонница отпускала; тогда я спал до полудня, думал: "Какая разница, просто сон передвинулся..."

В бессонницу я видел первый луч, раннюю птаху, слышал, как перед самым рассветом дождь начинал шуметь, пробегая по стеклу. Пробежит всегда в один и тот же час и утихает. Отчего? И так каждое утро.

Думал утешить себя тем иранцем, о котором рассказывала Аннелора. Благо, мы не так уж и далеко, он тоже бодрствует в те часы, что я мучаюсь. Я думал о том, как он играет в любительском театре... словом, иранец Занди меня забавлял.

Еще я вспоминал о тех днях, когда в ночь с субботы на воскресенье я засыпал с радостным ощущением — ведь мать не станет будить меня, чтобы отправить в школу. А бывали дни, когда надо было убирать снег со двора. Ляжешь под ватное одеяло, согреешься... а тут отец уже, смеясь, сбрасывает одеяло, чтобы разбудить. Вот ведь благость такого здорового, хотя и короткого, сна — утром шутки, смех отца, ленивое потягивание в постели, притворство и поцелуй матери. Да, дни...

Обычно в такое время нездоровья я убегаю от себя к матери в Бухару, езжу к ближним горам — там, у подножия, маленькое озеро и дикий орех. День иди два живу в доме знакомого, такого же одинокого, как и я

сам, рыбака. Он учит меня ловить форель, смеется, ибо я никак не научусь. Ловля не моя стихия.

Вот и сейчас надо убежать, заперев пустую квартиру, и вернуться потом успокоенным и в ладах с собой... Жениться? Ведь время уже, если этим кончится у меня с моей женщиной, не пора ли? Но что-то меня смущает, может быть, эта мысль, такая банальная и никого не оправдывающая: "Не может ли стать хуже? Та любовь, которая еще теплится в нас порознь, не обернется ли скукой и раздражением, когда мы будем бок о бок?" Это говорит возраст, опыт и усталость — все, что может теперь лишь опошлить чувства. Прозевал я свой час, час безудержной, слепой и святой любви...

Я отправился к Бобошо за советом. Пока я разбивал косточку миндаля, перс сочувственно смотрел мне в лицо, почему-то странно беспокойный.

— Что, опять запахи, нездоровится?

— У Сабаха на том конце базара горный перец... и я даже это чувствую, — говорю как можно бодрее.

Вот так и начался наш разговор, тут бы и рассказать ему о женитьбе с долей легкости и иронии. "Отец", — говорю я, смеясь и хлопая его по плечу.

Я заметил, что у профессиональных торговцев женитьба и семья имеют оттенок чего-то тягостного и противоестественного, оттого-то, говоря о ней, они ухмыляются в ус или же нетерпеливо раздражаются — странно. Ведь по здравому размышлению все должно быть наоборот — отцовство, семья в каждой судьбе, без них, мне кажется, невозможно себя чувствовать уверенно за прилавком, это как пай, доля, прибыль...

Но, может, я не до конца еще понимаю их натуру, и потому отношение торговцев к семье кажется одним из немногих базарных противоречий?

— Я так и думал: тебе нездоровится, — с сожалением сказал Бобошо. — Ходил по базару и спрашивал... — Он все суетился, непохожий на себя, пересыпал фисташки с ладони на ладонь, чтобы не смотреть мне в глаза.

"Должно быть, ему тоже не по себе", — подумал я и спросил:

— Как состояние луны?

— В общем-то благоприятное, — уклончиво ответил Бобошо, хотя обычно в эти дни месяца всегда жаловался на плохое влияние полнолуния.

— И на торговлю влияет?..

— Очень, на редкость хорошо.

— Да, луна, — сказал я мечтательно, и мы почему-

то уже не могли сдержаться, все говорили о нашем светиле, будто что-то в нас накопилось и вот теперь стоило лишь слегка тронуть тему — покатилось...

— А торговка Зара, — сказал Бобошо, — ты бы видел... сегодня она луноподобна...

Бобошо неравнодушен к толстой армянке Заре — мастерице резать морковь макаронками для плова.

— Да, она прекрасна. И ты красиво говоришь. И сколько кругом упадка от этой красоты. — Я прижался локтями к прилавку, как и Бобошо, и, наклонившись к нему, шептал, а он кивал и улыбался, покручивая ус. — Я это тоже заметил, Бобошо: в дни, когда зима уходит и сушеный абрикос пахнет по-весеннему пряно... женщины делаются луноликими.

Странно, что мы только и говорили о луне. От нечего делать. Должно быть, у нас обострились чувства — ведь абрикос источал пряный запах, совсем ему несвойственный, видимо, замешанный внутри плода среди многих привычных его запахов, чтобы в какой-то день вдруг встревожить, пронзить для полноты ощущения самого чувственного нашего образа — луны.

Вот луна округлилась,
Глядит с прищуром.
Уединимся...

В этих разговорах были нотки вызова нашей всегдашней скучной пристойности, что-то совсем несвойственное, и я вдруг подумал, что надо остановиться и стоять, взяв себя в руки, натянув удила, иначе нас может бог весть куда занести это хмельное. Но куда? Любопытно...

— Говоришь: искал меня? — спросил я, как бы подзадоривая Бобошо.

— Да, и тебя не видели. Ах, жаль! — Он хлопнул себя по колену. — А я бегал...

— Рассказывай, я слушаю. Ведь еще не поздно, — сказал я, чувствуя, что вот наконец тихий, меланхоличный перс скажет о том, к чему исподволь, взвешивая каждый шаг и каждый свой жест, шел.

— Помнишь, — шепнул он, — ты говорил: вот бы какое-нибудь увлекательное дело... тогда стоит рискнуть, а так все это дрянь — мешок фисташек, пуд орехов...

— Помню, — сказал я. Выходит, он так же думал обо мне, будто и я иду исподволь, взвешивая, и что, когда подбрасывал для меня разные мелкие дела с перекупщиками, весовщиками, я менялся, поддаваясь ба-

зарной страсти, а сам Бобошо следил, ожидая, пока я созрею.

— Такое дело есть, — сообщил он чересчур доверительно, будто я уже с ним на равных, пайщик.

"Ах ты старый волк", — подумал я, еле сдержав возглас удивления и восторга. Только в одном он ошибся. Обучая меня, он возбуждался сам, увлекаясь и входя в азарт, страсть меняла его, а не меня, тот, для кого все это красивое приключение, никогда не обучается, он чуть выше — и парит, ловко сворачивая на опасных перекрестках.

У маленькой станции должны сбросить с поезда товар, а мы перевезем все это через пустыню в крытых фургонах...

— Товар ты увидишь на месте, — сказал Бобошо, еще больше смущаясь от того, что недоговаривает.

— Круглый, пахучий, маркий, синий? — настаивал я. — Ты ведь понимаешь: быстрее всего прогораешь, когда знаешь все, кроме кое-каких мелочей, — добавил я беззаботно и рассмеялся, чтобы он не подумал, будто мне тревожно от этой затеи, в которую я уже, кажется, вошел, даже не успев хорошенько поразмыслить, — все это возбуждение и хмель, нельзя ему доверять себя, опасно...

— Лекарственные травы, — назвал товар Бобошо и, поддавшись моему настроению, тоже рассмеялся, думая, что, возможно, я удивлюсь и запрезираю его, скажу: какая разница, фисташки или целебный корень — товар жидкий, неувлекающий.

Но я его выслушал спокойно, и даже нахмурясь, и как бы понимая всю серьезность дела, и весь риск, ибо знал, что Бобошо многое недоговаривает, еще не полностью доверяя мне как компаньону.

Если бы я настаивал, то, конечно же, он бы еще кое-что открыл, но я не стал искушать — не все ли равно, трава это или меха, просто мне давно действительно хотелось посмотреть на все изнутри — на тех, кто привозит товар и передает его перекупщикам, и тех, кто, рискуя, перевозит все это часто по нескольку дней — поездом, на верблюдах, на своих спинах — через пески и горные тропы... В этом зрелище было что-то щекочущее, я давно ждал...

Близко к полудню мы перешли с Бобошо в трапезную, чтобы вместе пообедать. Не сразу поняв, почему они берут меня с собой, я сконфузился, ибо ничего, в чем у меня был талант, не требовалось: ни переговоров

на складах, ни услуг машинистов поезда и погонщиков фургонов. Никаких дел.

— Ты должен просто создавать вокруг легкость и ироническую беззаботность, — сказал Бобошо. — Торговля это любит. И знаешь, большинство крупных дел проваливалось от чрезмерной серьезности и напряжения... Ты будешь как вестник удачи, талисман...

Я хотел было возразить, ибо никак не ожидал такой роли, но Бобошо спокойно и даже несколько властно положил руку мне на колено:

— Не надо... Есть много людей... каждый второй может уладить на складе или достать бумаги о том, что мы работники лекарственного завода и скупаем в деревнях травы. Но не каждый — клянусь! — может в минуту опасности выйти к постовым с таким простодушным, доверчивым и обаятельным видом, как ты, излучая одну лишь правду... перед которой не устоишь

— Ты чертовски красиво говоришь, — шепнул я. — Ну, разумеется, я буду выходить к постовым с документами, где все шито-крыто... если это потребуется

— Думаю, что не потребуется. Должно быть, я не так выражаюсь — красиво и потому неточно. Ты можешь и не выходить. Достаточно того, что ты будешь с нами. Как талисман, — опять повторил он.

— Еще одно базарное суеверие? Хорошо, а кто нас поведет?

Бобошо опять — странно — сделался робким и даже заискивающим, чтобы попросить меня не настаивать на разглашении.

— Извини, этого велено пока не говорить... Но ведь ты понимаешь, — заволновался он, — я ведь не рискну передать тебя в ненадежные руки, не волнуйся. И потом в случае провала... ты ведь ничего не теряешь, только ты один едешь без своей части в деле...

"Да, — подумал я, — у тебя надежные руки, ты долго и тихо готовился для своего, может быть, самого главного выхода... бенефис..."

— У нас это называется бенефис! — сказал я вооду шевившись своей догадкой. — Что ж, по коням!

Бобошо так и не вернулся сегодня к своему месту на базаре, попросил присмотреть за фисташками приятеля Дауда. Мы ели, пили чай, отдыхали, растянувшись на циновках, и я понял, как все продумал он до мелочей, знал все о каждой лекарственной траве, словом, выходил не дилетантом. И даже поразмышлял на досуге над такими психологическими тонкостями, как разум и интуиция, сказав:

— Многие, даже крупные, торговцы, которые были в прошлом и которые есть сейчас, скажем, в Аравии, не правы, полагаясь на одну лишь холодную расчетливость. Все в торговле и вокруг нее интуитивно, полно гибкости. А истинный торговец — это человек странный, эмир причуд...

Бобошо меня совсем покорил всеми этими разговорами, действительно, столько привлекательного и странного, мне не терпелось уже сегодня же быть на той маленькой станции, хотя, по условиям, мы собираемся в Чашме послезавтра и каждый своим путем — поодиночке. Я воздухом, на самолете...

— Что ж, помолимся нашей покровительнице, — сказал я, — это о ней, о Фортуне, мудрец Плиний сказал: "Ей на счет ставится и дебет и кредит, и во всех расчетных книгах смертных она одна занимает и ту и другую страницу". Хорошо?

— Аминь! — заключил Бобошо.

...Итак, сегодня я прилетел в Чашму[1]. Из маленького полуфанерного самолета, который все время летел прямо, в нижних высотах, я всматривался в пустыню: по ней мы погоним назад фургоны.

В эти последние дни зимы, перед коротким своим цветением, пустыня лежала ровная, в островках талой воды. На обратном нашем пути вся она успеет высохнуть и станет белой от соли, из-под кромки соли прорежутся желтые пилочки трав. В пространстве сплошного сна все совершается очень быстро — цветение и увядание, — чтобы не создалось ложного ощущения, будто, кроме сновидений, здесь мелькнуло еще что-то похожее на жизнь.

Так, настроенный философски, пролетал я, и это был тот редкий случай, когда банальность дела пытался осмыслить я созерцательно.

Самолет, в котором, кроме меня, летели еще двое учителей со скрипками на какой-то сельский концерт, сел тяжело, как упал, где-то между полями. Я вышел, посмотрел по сторонам, ежась от холода, и увидел

---

[1] Эту часть заметок я пишу, как говорится, по горячим следам. Очень неудобно, хотя и не лишено преимуществ перед рассказом, удаленным во времени,— больше текущей правды и живой жизни. Неудобство же в том, что события, которые еще не остыли, не позволяют постоять над своим прахом в мечтательно-философской позе, чтобы разглядеть, что же осталось поучительного в горстке пепла. Впрочем, утешаюсь. Вернувшись с удачей, перепишу эту часть заново, обогащая.

Чашму у подножия трех холмов, но никто из встречных так и не смог вразумительно сказать, какая из дорог к ней ближе всего. Местные жители с удивлением смотрели на меня, казалось, они никогда не слышали ни о самолетах, ни о взлетной полосе в своих краях, такая скрытность и нежелание помогать пришлому так меня забавляла, что, шагая рядом с каким-то крестьянином, я сказал из желания прервать тягостное молчание не очень остроумное:

— Да, это Бобошо, надо же, плут, за одну ночь перенес сюда аэропорт со всеми эхолотами и локаторами...

Попутчик даже не задумался над сказанным мною, не оценил странную игру ума, видимо считая, что, задав встречный вопрос, он скорее поймет, чего я хочу.

— Вы кто? — спросил он весьма неделикатно.

Теперь я решил сделаться скрытным, как бы в отместку, будто я обиделся, и ответил, заторопившись и суетясь:

— Вообще-то я собирался сначала в Сукок... — И свернул на тропинку, зная, что есть другая дорога к Чашме — изучил местность по карте. Вот так, начав с ним серьезно и озабоченно, перевел потом разговор на ровные, бесстрастные тона, а под конец не выдержал — подурачился, напустив туману. Благо, все кругом так озабочены, иначе надо бы было собраться троим и хорошенько побить меня за дерзость.

Пройдя немного по мягкой глине, я остановился, чтобы передохнуть. Земля пахла густо — корень полнел подо мною в толще, зерно трескалось, выпуская наружу свой ус, косточка раскрывала половинки, зеленея. Это чувствовали только мы двое — я и поющий жаворонок, который кружился недалеко, созывая на утехи подругу. Мне было так хорошо... невольно подумалось: "Я ехал ради этого глотка воздуха, и пошли они к дьяволу, торговцы!" Но тут же собрался, не давая себе ослабеть, — долг, жесткий порядок организации, где я всего лишь рядовой, хотя и с привилегиями. Вестник удачи, талисман... Надо спешить, чтобы к полудню, как сговаривались, собраться в гостинице.

Я приближался к холмам, поглядывая на городок, и, увидев его первые дома, понял, какой он весь тихий и серый, из красной глины, похожий на одно их тех селений, которые издавна строятся у колодцев, возле заветных камней в пустыне, у всякой возвышенности, стоящей на пути горячих ветров и несущей прохладу. Типичный наш городок, каких я видел множество, разъез-

жая с балетом, и которые мне нравятся своей приветливостью и скукой.

Я не ошибся, действительно Чашма предстала такой, какой мне грезилась по дороге на возвышенность: дома поднимались тремя ярусами и кругом было столько дикого ореха, деревья были опущены ветками в воду, чуть вдали речка с крепким мостом, а по мосту проложена железная дорога.

Все это я успел заметить, пока шел к гостинице — длинному одноэтажному домику с окнами во двор, где занимались спортом ученики школы. Неужели так — гостиница и школа имеют общий двор, и школьники поглядывают из окон на приезжих, а приезжие забавляются тем, что смущают учениц, бегая по утрам в одном нижнем белье в котельную за чаем. Скука... Впрочем, какая мне разница, кто на кого смотрит смущая. Это не мой быт и не моя жизнь, я здесь лишь гость, и, должно быть, сам я неэтичен, иронизируя, возможно, и приезжим и ученикам ничего не видится такого, все естественно вписывается в жизнь, как здоровая ее часть.

Зато приятно удивило, что все за меня уже было сделано в гостинице и даже уплачено наперед за чай и глажку, мне, усталому, оставалось лишь протянуть руку к стойке, где сидел администратор, и взять ключ.

Я даже рта не раскрыл, чтобы назваться, как трогательно заботлив Бобошо, предписавший мне такую курортную жизнь.

Бобошо молча пил чай... Странно, я как-то не подумал... вот уж кого я не хотел здесь видеть — Сабаха. Оба пили чай в своем номере напротив моего, держа дверь распахнутой, чтобы увидеть мое появление.

— А вот и наш брат, — негромко сказал Бобошо и, как всегда, проникновенно-приятельски обнял меня. Сабах, вскочив, подобострастно поклонился.

— Долетел, приятно, нашел, не устал, готов, — говорил я все это односложно, чтобы избавить себя и его от возгласов, дружеских похлопываний, которыми люди, самые сдержанные и равнодушные, вдруг начинают обмениваться, встретившись вдали от привычного своего места. Только подумалось тревожно: "Зря не настоял, надо было настоять, тогда бы он назвал... Я бы знал, что и Сабах едет..."

— Ну иди умойся с дороги, — сказал Бобошо. — Ты будешь жить один, роскошно...

— Да? — удивился я. — Такие почести?..

— Ты ведь любишь, чтобы в комнате всегда было свежо.

— Да, уж извините, мужики, — сказал я, должно быть, чрезмерно эмоционально, потому что рассмеялся как-то нехорошо, нервно. — Страсть. Спасибо...

Я зашел к себе и закрыл дверь перед самым их носом, не подумав, затем высунулся и показал им жестами, какая это прекрасная комната. Они, довольные, закивали и ушли к себе продолжать чаепитие, и, услышав по их чамканью, что дверь они так и не закрыли, я оставил и свою полуоткрытой.

Меня потянуло лечь, и я полез на кровать, так ничего и не сняв с себя, кроме пальто.

"Впрочем, какая разница, кого еще здесь соберет Бобошо", — подумал я.

Я чувствовал, что потерял уже интерес. Достаточно было пролететь над пустыней и пройтись пешком мимо размокших полей и увидеть Чашму, взглянуть снова на лица торговцев, обнять Бобошо и зайти вот в эту гостиничную комнату — я все представил. Уже знал, как все будет, получат товар и повезут... Тоска...

Торговцы интересны лишь на базаре, так сказать, в среде обитания, на фоне фруктов. Здесь же, когда я увидел, как пьют они чай из казенных стаканов, обжигаясь, — на базаре они медлительные, с чувством достоинства дуют на пар, — и как вышли ко мне в коридор, покрашенный маслом, — банальные люди...

Всегда в самый, казалось бы, неподходящий момент находится что-то, что, отрезвляя, отвлекает. Уже собрался, настроившись на роль, чтобы проникновенно прожить в ней до конца дела, но нет, вывела — и поди ж ты, какая-то птаха! В тот час я и стал равнодушен к Бобошо и его делу, когда закружился надо мной жаворонок и запел в лад с моими чувствами. Как и жаворонок, я жил, радуясь простору и свету над полями...

Что это? Знаки предостережения? Причуды моей натуры? Так бывает часто... Собрался помочь одному кавказцу в его деле, сосредоточенный и уверенный в своем хитроумии, проходил мимо ряда, где торгуют медом, и вот поймал чей-то взгляд, приостановился — улыбается мне торговка Айша. И я уже забыл о кавказце и о весовщике, бродил, думая об Айше, а через час подошел к ней, чтобы поболтать, попробовать горного меда, протянутого на краешке расписной ложки.

Прозрачный мед, в каплях застывшего воздуха и оттого кажущийся всегда свежим и душистым, светится, как лицо Айши, я ей говорил об этом в тот вечер

А было еще на складе... увлеченно убеждал кладовщика взять товар сверх положенного, и уже осталось только удовлетворенно ударить по рукам, как вдруг услышал: засвистел с прищелкиванием сверчок.

Меня это так приятно удивило, я сел послушать, чувствуя, как ушло нервное и как я отдыхаю, усталый.

— Сверчок, — сказал я кладовщику, но он суетился, чтобы быстрее закончить со мной и закрыть склад: — И часто он так? Свистит в один и тот же час?

— Я не прислушивался, — угрюмо ответил кладовщик, щелкая замком и намекая этим, что еще минута бесполезной болтовни — он вешает его на ворота.

— Насекомое, — сказал я, — оно терпеливо слушало наш торг, а потом как свистнет...

Кладовщик презрительно, хотя и жалея, глянул на меня, и я ушел поскорее от его убийственного взгляда, думая о пении сверчка... Это вроде кузнечика, думал я, только кузнечик прыгает днем, а этот хозяин темноты. Из семейства жуков... Впрочем, могу и ошибиться с насекомыми, ибо биология — моя страсть, а человек страстный, как известно, чаще всего летает по верхам, помахивая немощными крылышками.

Вот так всегда — птаха, сверчок, женщины, и я уже расслабляюсь, теряя цель. Моей сосредоточенности хватает ненадолго, я как будто в игре с завязанными глазами, иду на ощупь с вытянутыми руками, а когда наткнулся, весело смеясь, снимаю повязку прочь...

Уверен, что из-за этого у меня ничего не вышло в балете, а ведь подавал надежды. Все из-за дурацкой неспособности молча, стиснув зубы, идти до конца, не отвлекаясь.

Почти всякий раз во время танца заходила жена учителя: ничего особенного, вешала у окна ключ от дома — учитель жил рядом с театром, через двор, — или молча клала на подоконник круглый рубль ему на обед, уходя на целый день. Минута — и она снова оставляла нас одних, но этой минуты было достаточно, чтобы день мой был испорчен, я начинал спотыкаться и делался неуклюжим. Она была обаятельной женщиной, хотя и тихой, и маленькой, и, должно быть, несчастной с моим учителем. Всякая чушь лезла мне в голову: "Куда она ушла на целый день?", "И о чем они, супруги, говорили утром за завтраком?" — и все оттого, что я знал любовницу учителя.

Странно, почему она заходит — неужели нельзя отдать ему этот рубль дома, за завтраком, и сделать еще один ключ, чтобы у каждого был свой?

Первое время мне от чрезмерного простодушия самонадеянно казалось, что заходит она, чтобы показаться мне ненадолго — ведь, как женщина опытная, она не могла не заметить, что нравится мне. Возможно, так оно и было с начала нашего знакомства, но потом я почувствовал, что она очень быстро потеряла ко мне всякий интерес и продолжала заходить по утрам в театр из привычки, не желая даже повернуться в мою сторону.

Словом, я терялся... а учитель хлопал меня по ногам линейкой, морщась:

— Ну, волчок, волчок!

Не знаю, что это должно было означать в его устах— волчок, ибо к балетной терминологии этот окрик не имел отношения, просто, наверное, учитель, все больше разочаровываясь во мне, дал мне такую кличку — оригинально...

Думая об этом забавном, я, оказывается, заснул. Бессонная зима отпустила, едва я прошел пешком мимо поля и почувствовал себя опять вышедшим из очередной игры. Должно быть, бессонница приходит всякий раз, когда ощущает цель, и, наверное, эта цель и делает наше существование тревожным — слаще всех сон у детей и горлиц, не ищущих ни в чем смысла, жизнь сама их убаюкивает за их мудрую неприхотливость, ибо любит недокучливых.

Моя дверь оказалась заботливо прикрытой. Наверное, они уже все слетелись, и старый, мудрый коршун Бобошо ворчливо журит их в комнате напротив.

Долго же я спал — за окном уже вечер. Я вышел в коридор: да, наш главный — Бобошо своим ленивым, чуть пренебрежительным тоном наставляет, ему робко отвечают оправдываясь. Бобошо снова обращается к каждому по отдельности, словно только это может внушить ему уверенность в своем превосходстве — их робкое оправдывание по второму, по третьему кругу.

Что ж, подумал я, команда подобрана разумно, кроме Сабаха, желчного и мнительного, здесь Карахан — сама слепая мощь и выносливость, осторожный, вкрадчивый Дауд — сладострастный любитель наслаждений, гурман, и с ними глухонемой Норбай — я узнал его по частым мычащим восклицаниям. Какой букет, какие противоположности, дополняющие друг друга, умен Бобошо! А я как нечто символическое, этакое духовное начало, облагораживающее языческую братию.

Хотя если мы погорим, это нисколько не оправдает

меня перед законом — ведь все мы занялись делом преступным...

Единственный, кто меня здесь раздражает, — Сабах Он насторожен и, должно быть, до сих пор считает меня чем-то вроде осведомителя.

Случалось, что дела, за которые я брался, проваливались. Так было, кажется, два раза, и Сабах ходил и шептал, настраивая против меня торговцев, хотя все знали, что я вышел из игры, притворившись больным. Мы с Сабахом повздорили, Бобошо мирил нас, но торговец пряностями все не успокаивался и грозил: "Увидите, если я его выслежу — убью!". Сказал он это в трапезной, когда был пьян, и Бобошо, говорят, трогательно за меня вступился и погнал его прочь из-за стола, голодного.

Боясь, как бы не увидели меня подслушивающим разговоры, я зашел, хотя и не хотелось их видеть. Я был бодрый, отдохнувший и заинтересованный, я весь, должно быть, сиял от благорасположения.

Все встали, здороваясь со мной за руку и улыбаясь моим словам:

— Только дисциплина сулит успех организации!

— Ты так завидно спал, баловник, — сказал Бобошо, сразу сделавшись при моем появлении приятным и мягким — ему казалось, что именно таким я его и знаю всю жизнь — не жестоким и волевым, каким был он минуту назад. — Ну идите! — махнул он остальным, и все молча вышли, оставив нас двоих, ушли безропотно, проглотив такой его пренебрежительный жест, потому что чувствовали, что, хотя сейчас я такой же рядовой, как глухонемой Норбай, все же с Бобошо у нас особые, дружеские отношения от обоюдной внутренней симпатии.

— Ну что? — спросил я как можно беззаботнее, не напрягаясь: — Сегодня ночью?

— Скорее всего завтра, — так же легко, улыбаясь, отвечал Бобошо, словно речь шла не о рискованном деле, а об интрижке с торговками: — Разница в один день допустима...

— Разумеется, в таком сложном деле... хотя ты ведь лучше меня знаешь, что допуски и неточности в сроках — это не повод для расслабленности, — сказал я несколько нравоучительно, так сказать, в духе... — Странно, что и Норбай... — добавил я осторожно.

— Норбай потом останется. Здесь его родина, и он решил вернуться... У него много знакомых погонщиков.

— Что ж, мудро... Все ребята подобраны...

— Как будто, — пожал плечами Бобошо, — но ты ведь знаешь, все они лодыри... надо держать в руках, не расслабляя ни одной нити. — В его тоне я уловил самодовольные нотки и подумал, что он так откровенен и делится со мной из-за того, что чувствует себя сейчас уверенным. И только со мной, с человеком в общем-то своенравным и независимым, он ощущает свою естественную слабость и потому, откровенничая, ждет все время похвалы и поддержки. Этакий князек, любящий иметь рядом с собой поэта... но беспощадно наказывающий его в случае измены. Если так, не появится ли у меня при малейшей оплошности еще один враг, кроме Сабаха?

— Только я еще болтаюсь, не зная свою роль, — сказал я ему осторожно. — Вы спорите, обсуждая, а я сплю. И ты еще назвал меня при них баловником. В конце концов ведь может назреть бунт... увидят, что я на особом положении курортника.

— Не думай об этом! — сказал Бобошо, энергично отмахиваясь как от назойливого.

— Нет, меня это волнует... а потом, я ведь могу оказаться талисманом, приносящим одно несчастье, — сказал я и рассмеялся, чтобы сгладить впечатление от своих слов.

— Бунт подавим, — небрежно ответил Бобошо, должно быть, утомившись от разговора со мной. Он зевнул, глядя в окно: — Здесь такой воздух... теперь я прилягу, когда ты бодрствуешь.

— Да, расслабься. Я прослежу, натягивая нити...

— Только не переиграй, — шепотом предупредил Бобошо, ложась на кровать и сразу же засыпая.

Бодрствовать я вышел на площадь перед гостиницей. Солнце уже клонилось, но было еще тепло. Я дышал, все радуясь чистоте воздуха и тишине.

Сел у дверей на теплый камень, отглаженный и натертый до блеска от сидения тысяч постояльцев этой гостиницы за все сорок лет, что это здание стоит. Сорок лет... время течет мимо камня, подумалось что-то тревожное и тоскливое, но прервалось, не оформившись в мысль, достойную записи.

Я сидел и смотрел по сторонам, хотя смотреть было не на что — площадь пустовала, а передо мной между старыми платанами с облезлой зеленой корой была зажата небольшая лавка. Хлебная или молочная, а может, мясная. В маленьких городах базара как такового нет, торговец стоит в одиночестве там, где ему удобно

чаще всего возле своего дома — можно постучаться в любые ворота и купить что надо. А лавки эти выглядят чем-то чуждым, до смешного убогим именно потому, что имеют постоянное свое место где-то рядом с гостиницей, вокзалом — для робких приезжих.

На какой-то миг во мне заговорил торговец, и я подошел к лавке, глядя на выставленные в ряд банки с простоквашей и медом.

Остановился, и тут из лавки выглянула торговка — миловидная, с белым татарским лицом, лет двадцати пяти. Она посмотрела на меня, как и подобает смотреть на праздношатающегося приезжего — чуть свысока, я же растерялся и невольно сделался игривым, облокотив-, протянул руку к банке с простоквашей.

— Покупаю. Собственного изготовления?

Татарка кивнула, не зная, чем отвлечься от разговора со мной в своей тесной лавочке.

— Мед тоже... своя пасека?

— Пейте скорее, закрываю, — сказала торговка неохотно и снова глянула на меня несколько надменно, как на постояльца такой скучной гостиницы — с коричневыми стенами и железной кроватью.

Я пил медленно, наслаждаясь, и смотрел на торговку в упор, и мне все больше нравилось ее лицо, в котором было столько здоровья и деланного равнодушия ко мне, человеку на вид хилому и нервному.

"Что ж, это хорошо... прониклась... праздное шатание для мужчины — неплохая реклама... порой, — подумал я. — А надменна оттого, что все, кто жил когда-то напротив, пытались заигрывать..."

Я выпил всю простоквашу и, сделав совершенно равнодушное лицо, отошел, чтобы вернуться к своему камню.

"Ведь должна же как-то оценить... выделить из той тысячи", — подумалось с обидой.

Я сел и стал поглядывать, и видел, как она не закрывает свою лавку и даже не ушла куда-то, оставив товар, как было до моего появления. Голова ее то появлялась в окошке, то снова исчезала — в ряд вместо банок ставились бутылки с молоком, потом бутылки снова убирались...

"Выделяет, — подумал я самонадеянно. — Это как рок — влечение к молочницам и хозяйкам пчел..."

Мне сделалось забавно и смешно. "Нет, — подумал я, — такую глупостью не возьмешь, не оценит, иначе можно было бы что-нибудь сострить насчет меда, перемешанного с простоквашей для здоровой закваски..."

Я остановил тихого, болезненного на вид мальчика лет двенадцати, чтобы узнать о торговке. Мы говорили шепотом, как мужчины, и мальчик воодушевлялся от этого все больше — его уносило к несущественным мелочам, которые могут лишь поглотить и потушить всякую страсть — к примеру, рассказ о том, как татарку прошлым летом скрутило здесь, в ее лавке, и как ее везли резать аппендикс.

Зато нужное я узнал, хотя и не без раздражения и ненависти к болтливому мальчику, — зовут ее Савия, живет возле железной дороги с сыном, у сына есть бабушка, которая имеет свой дом и балует внука, покупая ему транзистор, который помещается в ухе.

— Сколько? — спросил я нетерпеливо.

— Транзисторов? — не понял мальчик.

— Ушей, — передразнил я его. — Лет внуку... сыну?

Оказалось, что семь.

— А что же мать... отец так скуп? — осторожно поинтересовался я и был сполна удовлетворен ответом. Это меня так воодушевило, что я стал как-то нехорошо посмеиваться, ударяя себя по колену.

— Говорят: моряк, плавает, — повторил мальчик, у которого тоже пробудилось что-то неблагородное, хитренькое, мужское. — А все знают, что... — И он сложил пальцы, изобразив решетку, и глянул сквозь нее на меня тусклым глазом.

— Ну, довольно! — сказал я строго, мне стало неприятно оттого, что пробудил в нем столько во вред его чистоте и наивности. Я положил ему на ладонь два металлических рубля и сказал, чтобы на один он купил для меня меда у Савии, а другой оставил себе за наушничество.

— Плохо наушничать... хотя за это иногда и платят,— добавил я угрюмо.

Он побежал, а мне уже не сиделось спокойно, я стал прохаживаться у входа и вдруг увидел Сабаха. Вернее, поймал его настороженный взгляд, будто он выслеживал меня.

Сабах перешел площадь и предстал передо мной подобострастный, ловко расслабившись, словно таким и шел ко мне с самого начала.

— Ну как? Справились? — шепнул я так, будто знал, куда их, небрежно выгнав из комнаты, послал Бобошо.

— Колеса смазали, — ответил Сабах, и я понял, что ходили они осматривать фургоны и приводить их в порядок, чтобы ночью, когда поедем к железной дороге, не скрипели.

— Хорошо, — сказал я надменно и, желая внушить, будто замещаю сейчас Бобошо, добавил: — Спит...

— Нам бы мяса — поужинать, — робко сказал Сабах в тот самый момент, когда я подумал: а не переиграл ли с ним, не слишком ли предстал властным... возможно, сам Сабах его и замещает... скорее так. Ведь Бобошо, как бы я ни был ему близок, не доверит, зная, чего в моей натуре недостает. Ах, надо бы узнать и лестницу, кто из нас на какой ступеньке!

— Да, надо бы, — сказал я, дружелюбно похлопав Сабаха по плечу. — И вообще, черт! Давно хотелось с тобой... надо обязательно, когда вернемся с удачей. Выпить я могу, когда надо, просто мало кто видел...

— Одно удовольствие, — ответил Сабах, быстро и кратко обняв меня. — Одно удовольствие с тобой...

Мальчик уже возвращался, и я отвел его в сторону, забыв о Сабахе,— мне не терпелось...

— Сказала: мог бы и сам еще раз подойти, — ответил мальчик и как-то заговорщицки, оглядываясь, протянул мне банку с медом.

"Завтра, — подумал я, воодушевляясь, — непременно завтра..."

Потом я не знал, куда себя деть до полуночи, когда мы должны были гнать фургоны к железной дороге. Уверенности, что товар сбросят сегодня, у Бобошо попрежнему нет, хотя он и выспался и был оптимистичнее, но все равно рисковать не хотел. Ну что ж, прогуляемся ночью.

Я думал о Савии, заходя к себе в комнату и снова выходя из гостиницы, и в темноте даже подошел к лавке и осмотрел ее, закрытую, снаружи, при свете луны.

Остаток вечера болтал с профессором. Мы с ним как-то очень быстро познакомились и разговорились, когда стояли у бака с чайниками, почувствовав друг к другу естественное влечение людей образованных, оказавшихся среди такой скучной публики.

Он назвался, когда пригласил меня к себе в комнату:

— Доктор Шайхов! — и оказалось, что он приехал сюда со своими людьми наблюдать весеннее возвращение птиц в пустыне. Люди его уже разъехались, каждый на свое место, чтобы следить за небом.

Наверное, желая удивить меня тем, что все вокруг так разумно, и внушить благоговение к своей работе, доктор сказал:

— Сейчас вот модно держать на столе в конторах этакие календари... Как их называют? Раскидные? Раз-

движные? Это я вам говорю, чтобы сравнить с календарем, который знает каждая птица. Птичий календарь...

— Да, — ответил я. — Ведь сказано же: "И аист под небом знает свои времена, и горлица, и журавль, и ласточки наблюдают время, когда им прилетать..."

Шайхов был приятно удивлен, он чуть ревниво смотрел на меня, дуя на чай, но не отказываясь от мысли поразить меня чем-нибудь этаким экстравагантным из мира своей науки.

— Вы знаете, — сказал доктор, — я сторонник... биология должна выглядеть несколько наивноватой, чтобы добиться всеобщего признания и всенародного внимания к своим усилиям. Наивноватой из-за своей интуитивности...

Биология наивновата и интуитивна — это действительно экстравагантно в устах почтенного профессора и способно удивить смелостью.

— Да, — опять согласился я. — Вот и Аристотель, к примеру: "Пеликаны также улетают в другие края, переселяются из Стримона на Истр". Из Стримона на Истр... Наивно и прекрасно!

А близко к полуночи, приятно и тревожно суетясь, мы отправились на первую свою вылазку и, чтобы не привлекать нездорового внимания, пробирались по двое задними дворами на окраину Чашмы, к фургонам.

Я выбрал себе в попутчики молчаливого Норбая — не хотелось ни с кем разговаривать, я злился, думая, какого дьявола я сейчас иду? Вместо того чтобы зябнуть, не лучше ли провести вечер, болтая с доктором Шайховым, иронически подзадоривая старика некоторым снобизмом по отношению к его науке. Во время первого нашего разговора, я чувствовал, он был обескуражен, так и не понял: острю я оттого, что много знаю о птицах научного, или же просто самонадеянно-невежествен. "Мы должны продолжить, любопытно", — сказал Шайхов.

А лучше всего, если бы я сейчас полежал и помечтал немного о молочнице в лавке напротив, вспомнил бы ее чувственное лицо, которое сразу замкнулось, едва увидела Савия, что глянул я неравнодушно...

И вообще, почему я еще здесь? Пора кончать с торговцами, мне скучно. Одна лишь Савия... если завтра она встретит меня так же холодно, я сажусь в самолет и улетаю, обиженный.

Так, злясь на все, не заметил я, как Норбай привел к широкому двору с навесами, под которыми чернели фургоны и фыркали лошади. Остальные четверо с Бо-

бошо тоже уже подошли и смотрели, как погонщики выводят лошадей, привязывают... Благо, была первая ночь полнолуния, кругом висел ровный свет, можно было разглядеть лица торговцев и погонщиков.

— Полнолуние ты тоже предвидел? — спросил я Бобошо шепотом.

— Да, чтобы было меньше копоти и дыма. — Я заметил, как с Бобошо сошло напряжение, он улыбнулся.

— Базарный стратег, — заключил я и понял, что был он прав, говоря о том, что я нужен лишь для самой малости, не черной и рискованной работы — для легкости и поднятия духа. Ведь действительно, не пошути я сейчас о том, как ловко подсчитал Бобошо ночь полнолуния, все бы стояли напряженные и угрюмые, а может, даже перессорились из-за пустяка. Нет на свете людей более раздражительных и сварливых, чем торговцы, и Бобошо хорошо знал, с кем едет.

Но вот лошади уже запряжены, фургоны выстроены, их шесть, и каждый отвечает за свой фургон и за товар, который повезет.

Потом стали выводить фургоны, и мы вскакивали на подножку, чтобы сесть рядом с погонщиком. Мне достался третий фургон, и, сидя рядом с молчаливым погонщиком, я стал разглядывать... Мне нравились эта езда и этот фургон, что-то ребячливое прыгало во мне от восторга... Полумрак и тихая езда, колеса смазаны, не скрипнут — постарался Сабах.

Сабах едет где-то сзади, кажется, пятым, и я его не вижу за высоким фургоном. Я ощупывал... фургон был сплетен полукругом из толстых веток, а задняя дверца сколочена из досок. Передняя же дверца, возле которой мы сидели с погонщиком, была поднята наверх и служила как бы навесом. Я просунул голову внутрь фургона и увидел, какой он просторный, пахнет соломой. Где-нибудь в дороге можно спокойно переночевать, не выходя из фургона, надо лишь опустить переднюю дверцу. Стены такие крепкие, что никто не сможет без усилия отодвинуть прутья снаружи, тепло в соломе... да, это и хороший дом во время длительных вылазок.

Удовлетворившись осмотром, я повернулся к погонщику, чтобы взять у него поводья. Оказывается, он следил за мной краем глаза, и моя суетливая ребячливость умилила его, улыбнувшись, он бережно протянул мне поводья, как протягивают младшему и неумелому, хотя погонщик был одного со мной возраста.

"Надо быть сдержаннее, — подумал я, — не хватает,

чтобы и погонщик заподозрил... Ведь этот волк провел по пустыне не один караван, у него глаз наметанный. Может, где-нибудь подслушать разговор Сабаха и Бобошо обо мне и вставить: "Да, он не такой — торговца я чувствую по запаху..." Добавит подозрений".

Я вел фургон, легко натянув поводья, лошадь, должно быть, прекрасно знала эту ночную дорогу — шла медленно, без принуждения. Это второй раз так волнующе... Раз было в детстве, ехал очень долго из деревни в Бухару и сам вел лошадь рядом с лошадью дяди. Дядя ехал и всю дорогу хвалил. "Прекрасно, прекрасно!" — запомнил я. Мы с ним договорились, что обратно я поеду один, дядя — он был офицер — будет далеко сзади, поглядывать мне в спину в бинокль. Я так мечтал... но не вышло, разгоряченный, я простыл по дороге и слег, дядя уехал один и написал мне: "Чтобы не было лошадям обидно, я менял их, половину пути до высохшей шелковицы я ехал на своей, а твоя привезла меня благополучно и стала у дома, отчаянно лизнув кольцо, ухватившись за которое ты так любил раскачиваться на воротах". И дальше дядя, чтобы умилить меня, ребенка, простодушно приписал: "Это лошадь тебя целовала", хотя от этого, я помню, мне сделалось как-то странно и холодно.

Если я выдержу и не сбегу, вот теперь займусь тем, чем не удалось насладиться в детстве, — уговорю Бобошо снять с моего фургона погонщика и поведу сам, ибо до сих пор живу с мучающим ощущением, что поцелуй лошади так и остыл без взаимности.

Нет, что и говорить, в этой жизни, которую я сам себе придумал, есть и свои маленькие прелести, эта поездка, например...

У самой железной дороги погонщик опять забрал поводья, и фургон спустился в широкую лощину и стал. Рельсы блестели высоко наверху, и, глядя на них, я снова оценил талант Бобошо — здесь, недалеко от станции, поезд замедляет ход, и, стоит лишь успеть вынести к дверям вагонов товар, мешки сами покатятся вниз, к ногам лошадей, так быстро, что даже опытный глаз следящего не успеет разглядеть все до конца.

Хотя никакой уверенности, что это случится именно сегодня, да и сам Бобошо не раз предупреждал, что мы вроде бы репетируем, все волновались, а когда услышали гудок паровоза, Карахан первым не выдержал и почему-то залез в фургон. И это самый смелый наш товарищ... Но Бобошо лишь глянул на него, и Карахан так же быстро вылез и стал рядом со мной. Мне было

забавно, я нисколько не тревожился. Такое ощущение, что рискованная сторона дела меня не касается, и, попадись мы сейчас с поличным, меня оставят здесь одного без наручников. Ведь я чувствую себя вышедшим из дела, лишь наблюдая со стороны, чтобы записать потом тайком увиденное...

Второй день в Чашме начался... было тихо и солнечно, когда я распахнул окно и глянул в сторону лавки, напрягаясь. Шел пар отовсюду, земля высыхала, твердея, — дома и деревья; весь городок, такой приветливый с утра.

Потом я прохаживался вдоль длинных и низких, как гостиница, домов, под платанами и в орешнике за лавкой, но Савия все не появлялась, не открывала. Я решил позавтракать у нее простоквашей и вот уже час ношу с собой хлеб. Я отказал торговцам, просто не зашел к Бобошо, постарался выйти из гостиницы незаметно, и мой отказ от их общества выглядит так подозрительно. Впрочем, мне все равно, пусть думают, я волен завтракать там, где мне приятнее, — по условиям, я теряю свободу лишь с полуночи, когда надо отправляться за товаром, с этого времени я подчиняюсь Бобошо безропотно, коль скоро я еще с ними.

Эти нервы... меня бросает в обе крайности, незаметно собирается злость, как сейчас, потом отпускает, и приходит такое сладостное благодушие... Вот идет Карахан, минуту назад я бы бросился на него с кулаками, если бы мне показалось, что он следит за мной, — так мне стали противны торговцы, сейчас же я улыбаюсь и машу ему рукой. Он мне жестами дает понять, что его послали купить что-нибудь на завтрак и что меня тоже приглашают. Я киваю с благодарностью и слышу, как из маленького белого здания, мимо которого проходит, широко ступая щегольскими желтыми сапогами, Карахан, стучат ему в окно.

Вижу, как Карахан побледнел, сник и пошел, тревожно поглядывая в мою сторону.

Я постоял, пока Карахан не зашел в здание, куда его так властно позвали, и понял, что случилось неприятное. Вспомнил, что в этом здании сидит постовой, следящий за всем, что происходит на улице, это он так небрежно, словно был заранее убежден в виновности Карахана, постучал в стекло, даже не потрудившись выйти наружу.

Было у нас условие: не оставлять товарища в беде и сразу же сообщать Бобошо, если кого-нибудь возьмут. Только я не знал, взяли ли Карахана или, может,

постовому просто захотелось выпить чаю, и он позвал Карахана, желая послать его за кипятком.

Я подкрался... постовой сидел напротив Карахана и угрюмо поглядывал, недалеко от окна стоял доктор Шайхов, и это меня воодушевило... Потеряв солидность, столь необходимую в разговоре с постовым, вбежал в комнату. И только за порогом взял себя в руки, сделавшись меланхолично-надменным.

— Доброе утро, доктор Шайхов! — приветствовал я его, подав руку, будто ради этого пожатия и зашел сюда. — После нашей вечерней беседы несколько любопытных идей... — Продолжал я здороваться за руку и с постовым и с Караханом, но глядя все время на профессора. — Где-то в мире интуитивного, о котором мы говорили... Простите?! — Я словно только сейчас догадался, удивившись: — Что вы делаете с самого утра в этом не очень-то веселом заведении? Надеюсь, вас не обокрали? И с вашими людьми в пустыне?..

— Да нет, боже упаси, — трогательно замахал руками Шайхов. — Просто от нечего делать наношу визиты... Вчера, например, чаевничал с заведующим местной аптекой — душевный человек... потом со смотрителем водонапорной башни — этот так себе...

— Я с ним даже в столовой рядом не сяду, — вмешался в разговор постовой, с уважением слушавший нашу с Шайховым болтовню. — Необразован...

— Да не в этом дело! — искренне было взялся разубеждать его Шайхов, но, словно утомившись, махнул рукой, чтобы поскорее попрощаться с постовым. — Спасибо, в следующий раз... — И, дружелюбно обняв меня, потянул к выходу. Я повернулся и успел выразительно глянуть на Карахана, желая успокоить его, и вышел, не попрощавшись с постовым.

Мы медленно пошли по улице, болтая, и Шайхов сказал, что еще сегодня он должен будет нанести визит... "Как он называется... скупает лекарственные травы?" — смутился доктор, не находя слов.

— Лекарственные травы? — удивился я, должно быть, чрезмерно выразительно, и если бы Шайхов был потоньше и не смотрел бы на человека взглядом птицы, перенося психологию двукрылых на двуногих, то обратил бы внимание на то, почему это меня так взволновало.

— Тот малый, который показался постовому подозрительным... он позвал его стуком в окно... вынул бумагу, и тогда я вспомнил, что...

— Должно быть, его называют заведующим пунк-

том, — хотел было я пофантазировать, но Шайхов воскликнул, перебивая меня:

— Да, ведь вы тоже собиратель трав?! Это был ваш товарищ? Почему вы не вмешались и не объяснили постовому? — Шайхов не укорял и не подозревал, просто с детской непосредственностью восторгался, удивляясь совпадению.

— К чему? У него ведь документ... подтверждающий. И пока мы болтаем, постовой, наверное, уже прочитал и, извинившись, отпустил моего сотрудника.

— А если нет? — продолжал горячо Шайхов, и я подумал, что он просто рад, что нашел себе такую историю. — Вы знаете, постовой показался мне человеком дотошным и подозрительным, одно неосторожное слово, косой взгляд вашего товарища... Я думаю: надо вернуться и узнать, я могу вмешаться авторитетом. — Шайхов оказался одним из тех милых людей, которые не могут без какого-нибудь волнующего занятия, если вокруг ничего не случается, они выдумывают для себя историю и, войдя в нее, поверят, а выйдут утомленными и опустошенными, но с чувством удовлетворения— это называется "жить полной жизнью". Неспроста мы с ним сразу друг другу понравились.

— Доктор, все не так мрачно. — Сейчас меня Шайхов раздражал, я думал, как от него отделаться, потому что увидел: лавка открыта и банка с моим завтраком выставлена. — Благодарю, если понадобится авторитет... — И я довольно бестактно и решительно первым подал ему руку, прощаясь. И, поругивая доктора в душе, заторопился к молочной лавке, чувствуя, как проголодался.

Когда я подошел, Савия выглянула, и я протянул руку к банке с медом, будто собирался это выпить как простоквашу. Ну вот, оказывается, она тоже из мира сего и ценит глупость, потому ей понравился мой жест и дурачество. Савия чуть улыбнулась, поправив волосы.

— Мне так вкусно... вчерашний мед, я решил и утром, — начал я, немного смущаясь и делаясь наперекор этому еще более болтливым и развязным. — Но лучше ведь дар коровы, чем пчелы? А вы, Савия... так вас зовут?

Она смотрела, как медленно я пью простоквашу, благожелательно и с интересом, а я думал: как надо мало времени... вот уже она меня выделила из тысячи приезжающих и уезжающих — это меня так воодушевило...

— Могли бы сами спросить, — сказала Савия тихо. Этот мальчик, он разнесет...

— Но ведь вы были так неприступны... я пил, и у меня все застревало в горле, — ответил я, порадовавшись тому, что ее беспокоит чужое мнение, — хороший знак, значит, учла и молву, когда думала обо мне.

— А что я должна была? — как бы удивилась моим словам Савия. — Городок маленький, каждый подходит... И вот сейчас, вы уже второй раз стоите, а из дома напротив смотрят, как вы долго...

— Дом напротив? В гостинице живут мои товарищи.

— Это вы-то собиратели трав? — сомневаясь, спросила Савия, ставя второй ряд бутылок.

— Непохож? — так сводя одну глупость с другой, я договорился, что провожу ее вечером, ибо ничто так не наполняет страстью, как легкомыслие, банальные слова, повторяемые с каждой другой женщиной с большей или меньшей откровенностью.

Я простился с Савией и продолжил прогулку, держась подальше от гостиницы. Это как предохранительный инстинкт — нежелание встретить кого-нибудь из моих торговцев, ибо сам вид их мог испортить мое благодушно-приподнятое настроение. Я чувствовал, что не дождусь вечера и снова приду к Савии — и все испортится. Со мной всегда так... поначалу теряю голову, если чувствую благосклонность женщины. Это, конечно, если я в знакомой среде, в своем городе или же в Бухаре ухаживаю. В чужой же местности, я заметил, это тоже как инстинкт — перед решающей встречей и объяснением меня тянет осмотреть все вокруг, чтобы знать хотя бы ту улицу, по которой буду прогуливаться, где она кончается, какие в ряду дома, чтобы в случае неудачи легко свернуть и не блуждать в одиночестве, неизвестно где и зачем. Словом, осторожность все время напоминает о себе, не давая забыться.

Сейчас я решил выйти к железной дороге и пойти вдоль, до окраин Чашмы, привыкая к месту, — мальчик сказал, что Савия живет в одном из домов у дороги. И еще мне было интересно посмотреть на все днем, ибо ночью мы уже пробирались вчера к железной дороге. Это сделает ощущение здешних суток полными и придаст такую уверенность с Савией.

Мне объяснили: железная дорога совсем близко, надо лишь свернуть и пройти по песчаной поляне... Я прибавил шаг и, выйдя к поляне, чуть было не разразился руганью от досады и не пошел назад, отказавшись от вылазки, ибо столкнулся здесь с одним из моих тор-

говцев. Было так неожиданно, подумал: не мерещится ли? Благо, был это безответный и робкий Норбай, осторожно и крадучись, он ступал по песку, держа в одной руке банку, в другой железный прутик, которым он ловко переворачивал камни, перевернув, смотрел... Если бы не это его странное занятие... Я успокоился, заинтригованный, и подошел.

Норбай не удивился, будто ждал меня, и поднял банку, довольный, чтобы показать добычу. В банке двигался коричневый с черным комок, четыре сцепившиеся клешнями скорпиона с поднятыми острыми хвостами. Я воскликнул — так мне стало жутко от неожиданности, я их мистически боюсь с детства. Помню панику и крики матери, если скорпион выползал из-под ковра...

— Зачем тебе эта тварь? — спросил я Норбая. Ему очень понравилось впечатление, произведенное на меня его ядовитой живностью. Норбай мычал, делая какие-то непонятные жесты, и прыгал, смеясь. Видно, то, что он хотел мне объяснить, забавляло его самого.

"Это его страсть — скорпионы..." — подумал я, а Норбаю сказал медленно, чтобы он мог понять меня по движению губ:

— Что ж, мне нравятся люди с причудами. Это все равно что домашняя колбаса с острой начинкой. — Норбай ничего не понял, хотя и робко закивал. Мне и самому не очень-то понравилось это банальное сравнение, и я решил взять выше и торжественнее: — Это не простая раковина, с жемчугом...

Норбай лишь делал вид из вежливости, будто понимает мою речь, и я решил еще что-нибудь сказать из волнующего меня, что не вызвало бы ответного возражения, из того, что хочется носить с собой не замутненным сомнением собеседника, как заветное.

— Ну, почему ты как ребенок в восторге, поймав скорпиона? И почему профессор Шайхов бегает по Чашме и ищет себе истории, чтобы прожить в них увлекательно? А сам я? Куда меня несет сейчас? Должно быть, не хватает чего-то, нет в этой жизни такого, что пригладило бы горячим утюгом все наши складки — и это замечательно! — так выразил я свое заветное смущенному Норбаю, который стоял, нетерпеливо помахивая прутиком и желая как можно быстрее распрощаться со мной. Я высказался, зная, что не будет спора, это все равно что разговаривать с горлицей.

Порой мне только кажется, что обо всем я догадываюсь, и голова тяжелеет от свежих мыслей. Может

быть, все, что я прочувствую за целую жизнь, соберется у меня потом в одну густую, устоявшуюся идею, через нее можно будет всякий раз осмысливать увиденное и услышанное — заветная эта идея тянется не кончаясь...

Мне сделалось грустно, и, чтобы не казаться и Норбаю и себе слишком назидающим, я сказал, поглядывая вокруг и глубоко вдыхая:

— Ты родился в замечательном месте, Норбай. Мне нравится. Значит, ты нас проводишь с фургонами, а потом вернешься уже навсегда? Мудро... — И я пошел, чтобы продолжить осмотр железной дороги, крикнув на прощание: — Бобошо скажи, что я гуляю. И помню, сегодня... — И подмигнул ему заговорщически.

Это Норбай понял, закивал подобострастно, понял он и то, что я похвалил его за такую привязанность к своей маленькой родине — холмистой местности недалеко от пустыни, где влечение к его землячке сделало меня на минуту так непредусмотрительно философичным.

Вот уже я вышел к рельсам, справа в один только ряд тянулись дома, левая сторона спускалась к обрыву. Уже пробилась трава, еще робкая и бледная. Успокоенный тем, что все вокруг показалось до банальности виденным — эти дома и полоса земли за ними, спуск справа, — я сел на траву, чтобы отдохнуть.

"Значит, из ее окна можно прыгнуть прямо в степь", — подумал я, и вдруг еще одно открытие удивило меня: я разглядел внизу ту самую лощину, куда мы ночью пригнали фургоны, а высоко над нами проехал товарный поезд...

Какой мы круг проделали понизу, а ведь все рядом, если идешь через пустырь, где Норбай ловит скорпионов, как два края, которым не сойтись, словом, здесь я ничего не прочувствовал, не ощутил местность в единстве созданного, может, надо спуститься по этой скользкой и крутой тропинке и ступить в лощине на еще не высохший след лошади, которая меня везла, чтобы замкнулось все внутри?

Но я не решился: пусть этот шов в сознании так и останется незаштопанным, ведь он и делает меня таким разным, там, внизу, с торговцами, и здесь, на теплой траве, ленивым и разморенным, ждущим вечера, вздохов и признаний...

В таком состоянии я еле дошел обратно в гостиницу и лег, предвкушая ровный и спокойный сон.

Странно, проснулся и вдруг сразу подумал: "Из ее окна прямо в степь", не о том, который теперь час, и не

о Бобошо. Словно во сне что-то тревожило, укоряя за простодушие и неосторожность, за то, что уснул среди дня, вместо того чтобы успокоить чем-нибудь Бобошо и его товарищей, так долго не видевших меня и, наверно, догадывающихся.

Это чувство бегства, смутное ощущение опасности, должно быть, управляло мною, и, вместо того чтобы выйти в коридор и открыть дверь Бобошо, я выглянул в окно и, никого не увидев на улице, выпрыгнул и побежал вдоль стены, крадучись.

Уже стемнело, было время встречи...

"Нет, это меня не страх разбудил, а час, когда должен бежать к Савии", — подумал я, чтобы успокоиться. И никем не замеченный, свернул к рощице, где мы условились встретиться.

Я стоял, глядя из своего укрытия на дорогу... вот сейчас Савия свернет, и я, выйдя неожиданно, сожму ей руку — она вскрикнет... Ребячество.

Я ждал долго, потом сделался ироничным и усмехался для самозащиты, уверенный, что она не придет. Все так глупо, пора уже привыкнуть, говорил я себе, ведь тебя не первый раз разыгрывают, не стоит огорчаться. Каждый играет себе под стать, ты придумал рискованную игру с торговцами, а женщина — эту свою милую шутку. Якобы проучила горожанина за дерзкое приставание. Сидя сейчас дома, посмеивается, представив меня таким сконфуженным.

Я подумал остаток вечера до полуночи провести с Шайховым, в моем возрасте надо уже знать меру — болтать с умным собеседником о птицах полезнее, чем бегать чувственно-глупым за молочницей... Сегодня забираем товар, и прощай Чашма, меня здесь не было никогда, Савии померещилось, ни царапины не оставлю, ни следа...

Так огорчился я неудачей... но Савия пришла неожиданно, со стороны железной дороги, где я прогуливался днем, и это меня обрадовало, будто там, где я ходил, думая о ней, Савия могла почувствовать ответное влечение.

— Оставила сына у бабушки, — сказала Савия, и мне понравилось, как она в этом просто призналась, словно была между нами такая договоренность.

Она успела переодеться и была яркой, вульгарно манящей, простодушная молочница, а я молча шел рядом, не смея начать — все было неожиданно: и ее появление, и ее вид — я растерялся...

— Это у той бабушки, которая балует? — спросил я,

вяло улыбаясь и ненавидя себя за то, что так нервно сжался.

— Да, ты ведь и об этом знаешь, — сказала Савия, благо, она не требовала наигранной болтовни ухаживания, будто все это было ей чуждо, достаточно, что мы встретились и просто шли рядом.

Такая безответность воодушевляла меня, я сказал:

— Здесь некуда пойти... я осмотрел...

— Да, все смотрят из-за заборов...

— Ты сейчас другая... нравишься, — сказал я, удивляясь тому, какой она сделалась тихой, собралась вся и ждала, что все пойдет так, как она задумала в этот вечер. Мне знакомо такое поведение: женщина, которая думает, как мало времени ей отпущено, чтобы добиться взаимности... Но, может, я ошибаюсь, думая о расчетливости Савии, однако рискнуть не мешает.

— Прохладно, — сказал я, поеживаясь, — не разговоришься, я бы пригласил к себе...

— Нет, к тебе нельзя! — Что-то ее расслабило, ей, должно быть, понравилась такая моя напористость и откровенность.

— Может быть... Ты ведь пригласишь? Или, кажется, что... — Я спохватился, подумав, что могу все испортить — уж слишком нетерпелив.

Но Савия перебила меня, ее, наверное, покоробила моя неожиданная словоохотливость и хитроумное желание, недоговаривая и намекая, обставлять все густым слоем пустых слов.

— Бедный, если тебе холодно, я тебя чаем напою, — сказал она.

Пока мы шли молча к ее дому по дороге, мне знакомой, я думал: отчего все идет так быстро, без сопротивлений — я не чувствую себя удачливым, ибо нет той игры ухаживания, которая мне так по душе. Может, Савия считала меня слишком изощренным, слишком поднаторевшим в ухаживании и неотразимым и боялась, оттягивая и заполняя пустое время болтовней, показаться невыгодно простоватой и неискушенной, должно быть, она уже имела дело с таким, как я, двуличным и столичным, потому решила поступать, как заранее обдумала и без лишних слов. А может, все не так?

Может, она чутко поняла, что я не в духе, что-то со мной сделалось, пока я ее ждал, тоска... Мне почудилось в рощице, будто Сабах следит за мной — мелькнул кто-то за деревьями... Я был благодарен Савии за ненавязчивость, она мне нравилась именно такой — вульгарно-яркой, с приятным чувственным лицом.

Плохо только, что и в любви я такой же, как и в торговле, отдаюсь воображению, фантазия толкает меня поначалу со всей страстью, и я забываюсь, но до той поры, когда полностью вхожу в роль, и оглядываюсь. Как грезил я днем, ждал этой встречи, стоило мне посмотреть на ее дом снаружи, как мысленно уже проник внутрь, и все мне здесь нравилось, каждый загадочный угол.

А вот сейчас, не успел я зайти к Савии, сесть в маленькой комнате и оглядеться, как проникся всем духом ее существования — одинокой женщины, пропало всякое желание. Здесь все было массивно — стол и шкаф, уютно, пахло подвалом и чердаком — вкусным и квашеным, — но не было особого, еле уловимого духа, той среды вокруг женщины, знающей любовь и чувствующей себя естественной и уверенной.

Было все ровно, чисто, словно заранее выветрили всякий чужой дух и готовили Савию на выданье привередливому вдовцу, женщину уже в летах, но наивную и безропотную, готовую быть примерной женой на всю жизнь.

"Да, — подумал я без особого сожаления, — все кончится крепким чаем в молчании — и марш баиньки в одиночестве в гостиницу..."

Она и появилась из кухни, такая чистая и торжественная, с подносом, как официантка, меня покоробило.

Я как раз думал о том, что в полночь опять надо будет выходить с фургонами...

— И напою и накормлю, не думай, — сказала Савия, делая все с каким-то воодушевлением, словно ей приятно, одно удовольствие кормить чужого человека.

Я глянул ей в лицо и проникся ее настроением, засмеялся.

— Не думаю, — сказал я и, продолжая смеяться, протянул к ней, не желая ничего, просто так, руку, и все получилось быстро, мы, кажется, не смогли опомниться — она села на секунду рядом на диван, прижалась, и я поцеловал ее.

И она была уже у двери, смущенная, и махала рукой, говоря:

— Ну ладно, ладно, будешь ужинать?

Было столько ласки в том, как она на мгновение прижалась ко мне, чего-то нервного, будто она примерялась ко мне, привыкала, но что-то в ее размеренной и спокойной натуре сопротивлялось, и потому поцеловала она меня, будто обожглась, с налету.

Должно быть, зря я пишу об этом так подробно,

словно оправдываю и ее и себя — и перед кем? Наверное, перед соседом К., так и не могу забыть его иронического взгляда циника, будто он следит...

"Да, вот тебе и на выданье солидному вдовцу, — думал я, усмехаясь, пока Савия возилась опять на кухне. — Забавно. С ней протянется долго... Со спадами и взлетами, ведь и она оказалась неровной..."

Когда Савия накрыла на стол, я снова потянул ее к себе, но теперь она сопротивлялась, сделавшись холодной, рассердилась почему-то. Я же ни минуты не мог сидеть теперь спокойно — ходил взад-вперед мимо стола, не глядя на еду, не знал, что говорить, смеялся нехорошо, чтобы отвлечь себя и держать в руках.

Наверное, тот порыв казался ей слишком несдержанным и преждевременным, и она сожалела сейчас, сидя с неприступным видом, разрезая мясо.

— Да, — сказал я, садясь напротив Савии, — надо вовремя отужинать. — Сказал, может быть, несколько зло, издеваясь, потому что вдруг она изменилась и глянула на меня, презирая.

— Если будешь хамить, выгоню, — тихо сказала она и долго потом молчала, вздрагивая, и я, по-прежнему слишком развязный, жующий, даже и не подумал, что Савия может заплакать.

— Да ну, что с тобой? — сказал я, изумившись, — Ты прости меня...

Странно — меня убивает, я теряюсь, когда вижу, что женщина, за которой я ухаживаю, плачет, я становлюсь жалким и сентиментальным, и мне кажется, что только ответными слезами можно восстановить понимание.

— Прости, — повторял я, — все глупо.

Она подняла голову и долго смотрела на меня, пытаясь вытереть слезы на лице яблоком, которое она только что надкусила, и взгляд ее снова был спокойный, без тени смущения.

Я снова, как и на диване, почувствовал, как в ней собирается нежность и что вот сейчас потянется она ко мне, если я только первый...

— Ты всегда так, вытираешь яблоком?

Это была не бог весть какая шутка, но Савия, смеясь, швырнула яблоко в угол комнаты, когда я ее обнял и она ослабела всем телом...

А близко к полуночи меня как болью пронзило, я поднялся с постели, не зная, куда ступить в темноте. Затем снова сел на край кровати, а Савия, полусонная, держала меня за руку и не могла понять, куда я должен исчезнуть на час. Я говорил, что забыл отдать ключ

напарнику в гостинице, клялся, что вернусь, и одевался торопливо.

Свет она не разрешила зажечь, в окно светила полная луна. Вспомнилось, и я прошептал:

Вот луна округлилась,
Глядит с прищуром
Уединимся..

— Я не выдержу, усну, — хрипло шепнула Савия, потягиваясь и целуя меня, затем резко, словно забеспокоившись, села: — Ну, иди, ты ведь тоже должен лгать...

— Я вернусь, — умолял я, не задумываясь над тем, что она хотела сказать, говоря о моей лживости. — Прошу тебя, неужели это все? Я так не хочу. — Я был искренен, потому что мне было хорошо, давно мне не было так хорошо с женщиной, я любил Савию, хотя и знал, что ненадолго, торопливой и проходящей нежностью.

Наконец Савия успокоилась, и я вышел, шагая прямо и не оглядываясь. Куда делась моя всегдашняя настороженность? Я был отчаянно смел — еще ощущал на кончике языка поцелуй женщины.

Перейдя через рельсы, я побежал по краю обрыва. Успею ли спуститься к своим торговцам прежде, чем пройдет поезд? Я был так возбужден, так дерзок, что совсем не думал о Бобошо и о том, что они, должно быть, искали меня весь вечер, решив, что я сбежал. Сабаха всего перекосило, наверное, от подозрений.

Сейчас я удивлю их, показавшись откуда-то сверху, как существо с головой коршуна, туловищем льва и хвостом рыбы, рассыпая под светом луны серебро своей гривы, — таким, должно быть, мерещился нашим предкам горделивый удачник, вышедший из юрты на песчаный простор и оставивший лежать за войлочными стенами побежденную женщину.

Но ведь торговцы без воображения, разве оценят эту картину, это таинственное появление, только Бобошо догадается о моих ночных приключениях и по-мужски великодушно похлопает меня по плечу, смеясь. Сладострастный Дауд, криво усмехаясь, начнет выпытывать: кто она?

Удивительно, во мне появилась такая цепкость, как у летучей мыши, я спускался по крутой тропинке, не спотыкаясь и не падая. А ведь днем, когда я смотрел вниз, сделалось так не по себе!

"Ночью в нас пробуждается инстинкт летучей мы-

ши, — подумал я. — Надо сказать это Шайхову, чтобы подразнить его воображение".

Где-то на середине спуска я остановился передохнуть, ухватившись за куст, и вдруг различил, увидел, как они гонят, торопясь, фургоны. Что-то их задержало, вышли позже вчерашнего, наверное ждали меня.

Я воодушевился и решил: первым спущусь, и стану, и подниму руку перед мордами их лошадей. Скорее! Это искупит многое, можно солгать и сказать, что я давно прогуливаюсь в лощине, переживая за дело.

— Чудак, — повторит Бобошо и обнимет.

Обо всем этом я думал, спускаясь, когда находил оправдание, меня веселило и взбадривало, но потом весь сжимался от беспокойства, вспоминая слежку Сабаха в рощице... и еще Карахан... Дьявол, совсем забыл о Карахане, ушел, оставив его у постового, и не сказал Бобошо — это мне не простится...

Меня несло, я был и наездником и лошадью и примчался первым, фургоны, чуть скрипя, подошли и стали.

Я смотрел, не оборачиваясь, в сторону железной дороги и чувствовал, как торговцы замешкались, не слезая, наверное, приняли меня за постового. Странно, ведь светло, я, например, издали различил все лица, и лицо Карахана — выпустили, значит, допросив... Это они от неожиданности и растерянности, видимо, все торговцы напряжены, перессорились из-за меня. Мне надо этим воспользоваться, я шагнул к фургону Бобошо.

— Это я, Бобошо, — шепнул, — гуляю здесь с вечера, лажу по окрестным холмам...

Услышав мой голос, все спрыгнули на землю, суетясь, но через секунду опять стали мрачными. Несмотря на все запреты Бобошо, двое: Сабах и Карахан — не могли сдержаться и готовы были уничтожить меня прямо здесь — такими они насупленными и злобными подступили.

— Ты не сказал, подонок?! — Карахан повернулся вполоборота, упругий, сделав такой жест, будто собирается ударить меня ногой. Если бы не Бобошо, который, выразительно глянув на него, повертел в руке плеть...

Я отошел, чувствуя легкий озноб, и смотрел не на Карахана, который мог подойти сзади, а на Бобошо, видел, как он вынул часы, глянул с таким выражением: пора! И я сразу услышал шум поезда, легкую суету — каждый занял место возле своей лошади.

Я тоже, как и все, ждал, глядя наверх и не мигая, делал вид, что больше всех волнуюсь, хотя, признаться, мне было наплевать на их товар — там, где проходил сейчас поезд, прислушиваясь к стуку колес, ждала меня Савия.

И должно быть, оттого, что мне стало безразличным все вокруг, я первый и понял, что случилось, когда поезд ушел. Другие стояли не веря, не понимая, Карахан и Норбай даже побежали вперед, к самому обрыву, и махали руками в отчаянии, хотели подняться наверх, но скользили.

Бобошо был бледен, я впервые видел его таким растерянным, он отвернулся в тот самый момент, когда нервное, пробежав, исказило его лицо до безобразия.

— Выходит, и сегодня не вышло, — прошептал он, следя за тем, как мы, окружившие его, ведем себя. — Значит, завтра, третий и последний день. Клянусь вам, мужики... — Наверное, Бобошо понял, что слишком уж жалко оправдывается, выдавая растерянность, потому так резко повернулся и пошел к фургонам, рассуждая трезво и холодно: — Сегодня какой день, Сабах?

— Ты ведь сам сказал: второй, — ответил Сабах нехотя. — Или ты это говоришь для хитрости, как твой... — Он не договорил, наверное, не хотел произносить мое имя, даже оскорбляя, — так я был ему ненавистен.

— Запомни, Сабах, я вас брал сюда на три дня. Третий день еще не настал. — И вдруг Бобошо в сердцах ударил плетью лошадь, которая потянулась к нему мордой, чтобы обнюхать: — Подтянитесь! А ты, Ахун, вернешься с нами и проведешь остаток ночи не в объятиях, а в сырой, вонючей гостинице!

И еще он сказал мне доверительно: "Что ты за человек?! Все время собой озабочен... Этим ты меня подводишь..."

Что ж, остроумно вышел Бобошо из положения, все вокруг захихикали, дергая плечами, Дауд, как я и ожидал, пожелал узнать от меня кое-какие подробности, но я сделал обиженный вид и молчал до самой гостиницы, наивно думая, что, приняв такой маленький укол от Бобошо, я отвел от себя более чувствительные удары Сабаха и Карахана.

Но едва мы зашли в комнату Бобошо, как Карахан стал у двери, заслонив ее, а Сабах прямо-таки истерично замахал руками:

— Ответь, Бобошо, этот твой сумасброд получит равную с нами долю?!

— Разумеется, тысячу рублей, — спокойно ответил Бобошо. — Сядь, я с ним сам поговорю...

Не знаю, что вывело из себя Карахана, то ли спокойный тон Бобошо, то ли названная им сумма, он отбежал от двери и двинулся к столу, заикаясь:

— Он молочниц обнимает... дышит воздухом! Запри его, Бобошо, а меня поставь караулить!

— Почему ты не сказал о постовом? — перебил Карахана Бобошо и встал.

Как ни было тяжело и гнусно слышать все это, я еле сдерживал себя, чтобы не послать их всех к чертям с их делом. Бобошо, видимо, это чувствовал, потому говорил примирительно, особенно не нажимая, только это меня еще подбадривало.

— Мне хотелось самому вызволить, без лишнего шума. С помощью Шайхова. Ведь мы зашли к тебе с тем птицеловом? Признайся? — Ко мне снова возвращалась моя всегдашняя уверенность в том, что обведу я их вокруг пальца, одной лишь игрой воображения, которая, я уверен, поубедительнее их тупой логики и здравого смысла.

— Да, он заходил, — сбавив тон, пояснил Карахан, обращаясь почему-то не к Бобошо, а к Сабаху, с которым, видимо, тайно сговорился проучить меня.

— И тебя выпустили? — продолжал я воодушевляться. — Без угроз и допросов? Ты ведь вот сидишь, Карахан, напротив, или тебя нет, глядишь тоскливо из-за решетки?

— Да, здесь я, о чем ты?! — испуганно пробормотал Карахан. — Он не в своем уме...

— Иногда достаточно зайти к постовому с влиятельным лицом, а не поднимать шум и натравлять всех вас. Что ему Норбай промычит? А Сабах, он одним своим видом набавит срок. — Я был так уверен, что подавил их, рассмеялся: — Радуйся свободе, Карахан...

— Они ушли с профессором, постовой выходил, возвращался, пил чай, ни о чем меня не спрашивая, потом глянул и сказал: "Иди!" — Удивляясь тому, как мирно решилось его дело, говорил Карахан.

— Шайхов пошел в гости, а я, уверенный, крепко заснул, — сказал я миролюбиво: — Вечером прогулялся, не без приключений, конечно. — Вот все, чем я мог удовлетворить любопытство Дауда, но и этого признания было достаточно, чтобы в такой пошлой мужской компании разрядить обстановку.

Бобошо сделал вид, что поверил моим рассказам о постовом и о том, как мы вызволили с Шайховым Карахана, и устало махнул рукой, лишний раз, наверное, удивившись тому, как я могу невозмутимо изворачиваться.

— Только не увлекайся... — сказал он, и я не понял, имеет ли он в виду мои любовные похождения или страсть воображать то, чего нет.

Но этих его слов было достаточно, чтобы кончить на сегодня со всем, что накопилось неприятного, со злобой и ссорами. Я ушел к себе и сел в темном углу комнаты, чувствуя себя страшно разбитым. Да, на сегодня все кончилось, но с каким трудом, сколько надо было потратить сил, чтобы переиграть, чтобы подавить их злобу, отвести подозрение. Еще одно такое объяснение, и я не выдержу, сдадут нервы, не хватит ни легкости, ни воображения — и тогда все, надо будет отвечать за такую благостную жизнь и свободу. Торговцы не простят... И Бобошо не сможет уже спасти меня, что-то надломилось, дало трещину в его организации, и сегодняшняя неудача с товаром... Еще один такой промах, и они съедят самого Бобошо, если он не пожертвует мною...

Я напряженно вслушивался — торговцы еще немного походили по коридору, и даже кто-то подергал мою дверь, будто бы приглашал меня поиграть в карты, и, услышав, что я подал голос: "Сплю!", и этот, назойливо-подозрительный, ушел к себе.

Я так торопился, что, должно быть, наперекор своему возбуждению сказал себе: "Хватит окон, не заключенный..." — вышел в коридор.

Я решил еще раз подразнить судьбу, но никто из торговцев так и не увидел, как я выбежал из гостиницы.

Савия... едва я обнял ее... было столько нежности и поцелуев.

А утром она не хотела вставать, забыла о своей лавке и о том, кто она, но я все помнил о себе, потому что из летучей мыши снова превратился в осторожного, слишком осторожного человека, угрюмого и назойливого, ненавижу себя по утрам.

Стал опять убеждать Савию, просил, чтобы она отпустила меня на час, и вот эта моя угрюмость на нее подействовала охлаждающе.

— Иди, — сказала она, — и не буди меня...

И я опять побежал, мотаюсь, весь в бегах, между ее домом и гостиницей, от любящей женщины к ненавидя-

щим торговцам, от которых завишу и которые опять потребуют объяснений. Так раздваиваюсь, свожу злость и ласку, угрозы и наслаждения — долго ли выдержу?

Я весь проникся иронией, едва услышал, что и Норбая забрали утром, ну, разумеется, без меня что-то ведь должно было случиться, чтобы подозрение пало на меня.

Этот большой оригинал — постовой, говорят, снова постучал в окно, увидев Норбая с чайником, — такая небрежность и несуетность постового, признаться, мне начинала нравиться. Взять для допроса безъязыкого Норбая, чтобы довести дело до такого абсурда, да, этот постовой определенно что-то задумал такое, чтобы ошеломить всех нас и запутать нелогичностью своих поступков, — оригинал, повторяю...

— Где ты был? — спросил Бобошо, сидя в кругу со всеми, тревожный и растерянный, как и они.

— Гулял... до тех холмов и обратно.

— Вот пусть он теперь и Норбаю поможет, — сказал Сабах очень спокойно, видно сдерживая себя для того, чтобы и его игра со мной казалась основательной и логичной, — переменился, обдумывая за ночь, стал хитрее...

Все смотрели на меня, и первое, что мне хотелось ответить как-нибудь так, внушительно-путано: "В условиях моего участия в деле такого правила — вызволять каждого попавшего — не было, не так ли, Бобошо?"

Но я зашел слишком далеко, много накопилось у них против меня, поэтому я не стал спорить, решил откупиться Норбаем. И Бобошо думал так же, как и я, потому-то кивнул одобрительно, когда я сказал:

— Разумеется, кто же еще... Сейчас мы с Шайховым... — Я выпрямился и горделиво вышел, заставив Бобошо вздохнуть облегченно, а Сабаха недоверчиво насупиться.

Сначала я взялся рьяно... но увидел, что Шайхова нет в его комнате, и никто в гостинице не знает, где его искать. Кому он сегодня наносит визиты в ожидании своих птицеловов? Мастерам в пекарне или заведующему больницей? Что за манера изучать местные нравы и жителей, примеряясь по верхам, по начальникам? Впрочем, не знаю, может быть, и мудро, достаточно поговорить с мастером, чтобы понять, какой сорт хлеба предпочитают остальные тысячи.

Я шел торопливо по улице и думал обо всем этом, осуждая своего чудаковатого приятеля Шайхова за его непоседливость. Где теперь его искать? Может, решить

все так просто — самому пойти сейчас к постовому и на месте что-нибудь придумать, хотя черт его знает, о чем он там беседует с безъязыким Норбаем?

Я уже решился было направиться к постовому, свернул за угол и тут, в узком переулке, был пойман за руку Савией. Она вся дрожала от гнева... впрочем, не знаю, от неожиданности я сразу не понял, зачем она здесь.

— Почему ты лгал? Ты ведь уезжаешь? — Она уже ничего и никого не боялась, не отпускала мою руку, словно я хотел бежать, не замечала прохожих, которые, конечно же, все ее знали и удивленно смотрели. — И ты здесь ходишь? Теряешь минуты? Ты ведь обещал быстро...

Не знаю, что ее вынесло из ее уютного дома на эти улицы, на такую откровенность, но от обиды ли, жалости к себе, воображая, что я так подло, не простившись, сбежал, или, может, ее мучало другое, не пойму, только вижу опять слезы...

— Я сейчас... уже шел, клянусь. Только мне надо одно дело...

Она не слушала и пошла, уверенная, что я иду за ней к дому, и этой своей уверенностью она прямо-таки потянула меня за собой, будто не было у меня воли сопротивляться. И о страхе я забыл, ничто меня не отрезвляло. Я только сказал еще, оправдываясь в последний раз, уже перед тем, как зайти в дом:

— Не сделаю... они теперь не пощадят...

Она смотрела на меня с выражением превосходства, когда заходил я и закрывал ворота, как на человека, который подчинился ей безропотно. Должно быть, Савия бог весть что о себе вообразила, одинокая женщина, она снова сделалась такой уверенной.

— Не бойся, — сказала она, обнимая меня сразу же за воротами, — ты ловкий, ты умнее их — выкрутишься. Они как стадо, ничего с тобой не случится...

Она меня спасла от тоски этими своими словами, мне сделалось легко, я подумал, что действительно и на этот раз одурачу своих торговцев.

Как будто для этого Савия меня и искала, чтобы сразу уснуть, а я лежал и думал, почему я размяк, увидев ее, пошел, я ведь уже не желал видеть, мне хотелось побыть одному, и, если бы снова потянуло к ней, пошел бы лишь к вечеру, чтобы проститься. Да и то навряд ли. Почувствовав сегодня утром, что мне грозит, когда все смотрели на меня, я решил, что надо держаться теперь до самого отъезда, быть собранным и осторожным, что-

бы не было у торговцев повода обвинить меня в чем-то Дела у них пока не складывались, а постовой уже напустил страху, и торговцы мои расползлись... Опасно..

Может быть, я не до конца понял загадку Савии, и меня потянуло из любопытства? Она все твердила почти в каждом разговоре: "ложь", "лжешь", "ты ведь тоже имеешь право лгать" — это ее, наверное, мучило, но что? Перед кем она лгала? Перед кем оправдывалась?

Впрочем, какая мне разница, что ее мучит, я сам в опасности. Женщина часто преувеличивает, может, никакой вины и лжи нет, просто причуды, тоска одиночества, зато я трезво вижу, как настроились против меня торговцы, и стоит у них чему-нибудь лопнуть — ведь заподозрят меня как виновника.

Мне стало так не по себе... простое любопытство держит меня здесь, никогда я не терял так голову. Я хотел подняться, но разбудил Савию, она глянула на меня весело и бодро, достаточно ей было вздремнуть на полчаса, обняв меня...

А весь остаток дня был потом таким неровным — приятные часы сменялись часами тягостными, прямо-таки истеричными. Савия вскакивала и начинала ходить по комнате, говоря о том, что она даст развод мужу. Теперь она поняла и решилась, ведь не может же она так жить еще семь лет... Она просила, чтобы я не спал, слушал ее, и я действительно сначала слушал, но до тех пор, пока не утомился. В другой раз я, может быть, и поддержал бы ее разговоры, что-нибудь посоветовал, был бы внимателен к чужим волнениям. Но сегодня меня самого тревожило... Норбай сидит у постового..

Я многое не расслышал, что Савия шептала мне, в полудреме я только поддакивал ей. Оказывается, за ней ухаживает местный учитель, но Савия никак не решалась на развод с мужем, который должен еще отсидеть семь лет.

— Теперь я выйду за учителя... ты уедешь, и я дам согласие, — сказала она спокойным и рассудительным тоном, и я подумал, не желает ли она вызвать во мне ревность... Я посмотрел — нет, не похоже.

— Да и при чем здесь ты? — повторила она. — Ты можешь и не уезжать... завтра я скажу учителю...

— И вправду, если бы я остался? Навсегда, не уезжал бы? — спросил я лениво.

— Оставайся... Ты-то здесь при чем? — Ее действительно это искренне удивляло.

Здесь я, признаться, поморщился от обиды, удив-

ляясь такому странному течению ее чувств, неужели нельзя было решить все без моего участия, не делая таких кривых и сложных ходов, а прямо перейти от мужа к учителю? Что она проверяла в себе, соглашаясь на краткую и быструю любовь со мной, почему выбрала меня таким своеобразным посредником между старой своей жизнью и новой?

Это меня по-мужски задело и обидело, но потом я быстро успокоился, подумав, что я-то действительно ни при чем, ведь не обещал ей ничего и слава богу, что так просто все кончилось между нами.

"Что-то есть во мне роковое, — подумал я, — все застыло у женщины — ждала мужа, отказывая учителю. И вот я вмешался в ее жизнь просто так, играя, и все у нее расстроилось, пошло... Так и торговцы... Что меня привело? Без меня они спокойно бы ждали, играя в карты и зевая... А сейчас расползлись, как тараканы. И не знаю, чем все кончится, — впереди еще три дня пути на фургонах..."

Савия не давала мне думать, целовала...

"Впрочем, — думал я, — мое вмешательство... Но и они все меня используют с выгодой. Эта женщина второй день счастлива от любви. Бобошо уверен в удаче со мной, не согласись я поехать, он бы бросил свою затею. Так что взаимно..."

Мысли меня утомили, я решил все послать к чертям и забыться с Савией — ведь не часто бывает так хорошо с женщиной, надо ловить час, миг и быть ему благодарным.

Я отрезвел лишь близко к полуночи, что-то кольнуло, напоминая.

Савия была спокойна и даже помогала мне одеваться, будто внутренне уже давно от меня удалилась, и была вся теперь в будущем, словно то, что мерещилось ей, было лучше и желаннее. По мне она уже прошла, как по мосту... от мужа к учителю...

— Ты как Золушка в полночь... — сказала она, и мне понравилось то, как она прощается со мной, и эти ее слова...

— Ах, жаль, — сказал я, смеясь, — не могу забыть туфельку. — Я порылся, не зная, что ей оставить на память, потом вынул свои карманные часы — дорогая реликвия деда-торговца, — протянул ей.

"К чему мне теперь часы... все равно не успею", — думал я, выбегая к воротам. Поезд уже гудел, я слышал это, протягивая Савии часы.

Я побежал к рельсам и, если бы собрался с духом и

бросился, может быть, еще проскочил, но остановила эта впечатляющая картина: из первого вагона толкнули вниз мешок, и он полетел в лощину, потом со второго, головные вагоны промчались мимо, и в открытые сквозные двери я видел, как ловко работали теперь во всех вагонах, сбрасывая туго набитые товаром мешки, — и так по длине всего поезда.

Вот поистине торжественный час, которого так желал Бобошо, к нему шел этот хитроумный перс тихо, исподволь, торгуя для прикрытия своими фисташками. Четко и ловко сработано, что и говорить, а четкость любого дела, пусть даже такого опасного, как это, приводит меня в восторг.

Восторгаясь, я забыл о том, что не успел к ним в самом финале, — обидно. Товарный поезд уже давно исчез, а я все стоял на краю обрыва и напрягался, чтобы что-нибудь увидеть, хотя бы одну фигурку, самого высокого и большого из них, Карахана. Но слишком далеко я был и чувствовал, как обострилось у меня то, что называют седьмым чувством, — всем своим нервным, возбужденным существом я ощущал каждое их движение внизу, в лощине, как они поднимают мешки и толкают в фургоны, как торопятся, а Бобошо повелительно показывает им плетью...

Впервые за эти два сумасшедших дня я не торопился, я знал, что успею прийти в гостиницу раньше них, идя самым медленным, прогулочным шагом.

Я все еще ощущал вкус поцелуя, и это ощущение, такое острое, будет долго волновать, ибо настояно из травы жизни, из ее странных и чудесных переплетений...

Я вернулся к себе подавленный, осмотрел все углы, открыл даже шкаф, будто кто-то может там прятаться, затем лег. Прошло много времени, прежде чем я услышал их первые шаги и слова, каждый, проходя мимо моей двери, считал своим долгом потянуть ее, проверяя.

— Не пришел, — говорил один, другой более определенно: — Все не оторвется, — третий выражал отношение всей компании: — Сволочь!

Потом все они ушли куда-то, наверное, собрались у Бобошо, и долго не открывалась дверь, не слышно было голосов и шагов — и так тревожно тянулось до тех пор, пока вдруг не почувствовал я запах. Мне трудно описать его, он просочился в коридор из щелей, и только я со своим обонянием почувствовал, что приготовили они себе напиток из смеси трав — кукнар.

Я вдыхал запах кукнара и чувствовал, как успокаи-

ваюсь, уходит напряжение, мне, чтобы опьянеть, вовсе не обязательно пить, достаточно надышаться парами.

Я уже задремал, когда услышал стук в дверь и голос Карахана:

— Открой! Ты дома! — У них, должно быть, после кукнара тоже обострились чувства, и мой запах, человека трезвого и чистого, вылез из щелей моей комнаты и заволновал их.

Карахан повелел и ушел, не повторяя, уверенный, что я не рискну ослушаться.

Я не рискнул... Вышел к ним с небрежным видом, набросив на плечи халат, маскируя этим свою внутреннюю собранность — я сжался, как кулак. Теперь все шло по-крупному, в игру вводилась жизнь или смерть— это я понимал...

Когда я показался в дверях, все непроизвольно убрали свои чашки со стола, будто я, увидев, как они пьют, мог выйти и донести. Все насупились, но внутренняя их веселость от выпитого прямо-таки выпирала, потому смотрели они на меня дурашливо-лукаво, как проказники. Только Норбай радостно замычал и встал мне навстречу, словно не я должен был вызволять его из-под стражи, а он меня, милый дуралей...

На столе было столько хлеба и вареного мяса, а Дауд все продолжал резать мясо ровными ломтиками, будто, сделав удачную вылазку и получив товар, они намеревались без отдыха и пауз жевать и насыщаться...

Я все разглядел одним широким взглядом и оценил, увидел даже банку на подоконнике, в которой прыгал клубок скорпионов — причуда Норбая...

— Что, нездоровится? — спросил Бобошо, впервые не участливо, а с иронией, даже зло — понимаю, что это не его интонация, подлаживается под всеобщее отношение ко мне.

— Да, — сказал я своим обычным, простодушным тоном человека, свыкшегося со своим недугом, — обострилось... — И сел недалеко от Бобошо, повинуясь его жесту, и оглядел всех опять, чувствуя, как им не терпится продолжить веселье, а приходится притворяться и сдерживаться, а сироп тем временем сгорает внутри бесполезно. Когда я зашел, Бобошо держал в руке маленький серебряный кувшин, намереваясь разливать по второму кругу, только сам он, я заметил, собран, как никогда, и трезв, бодрствует...

Карахан переглянулся с Сабахом, затем потянулся ко мне через горку хлеба и мяса, жуя:

— А мы думали — сбежал... Даже к твоей татарке

бегали проверять... и Сабах хотел остаться... еле отклеили от нее, — проговорил он, делая паузы и подергиваясь.

Не знаю, как у меня получилось, так ловко и быстро схватил со стола плеть Бобошо и полоснул Карахана по лицу изо всех сил.

На мгновение все опешили и смотрели на меня с перекошенными ртами, и в тот миг, когда я бросил плеть, Сабах раньше всех опомнился и вскочил, замахав руками, примиряя и гася страсти.

— Довольно, довольно... Еще один крик и за стеной... так нас всех загребут. Тише! Забыли! — И хлопал по спине Карахана, усмиряя и приводя его в чувство, как бы говоря, что не время сейчас, еще успеем отыграться...

Единственный, кто оценил мой поступок, — это конечно же, Бобошо. Не скрывая, он смотрел на меня, сочувствуя и сожалея, и взгляд его говорил: "Лучше бы тебе не появляться сегодня... И вообще, пора тебе исчезнуть..." — не знаю, может быть, показалось, но я чувствовал, что он тайно на моей стороне. Теперь только тайно, к сожалению, он был не властен, они расползлись... Не оказался я счастливым талисманом.

Лицо Карахана прямо-таки расплывалось на моих глазах... Неужели вот так надо было решиться, поднять плеть, чтобы все в этой комнате переменилось — да, они уважают силу. Все вдруг сделались опять шумными и веселыми, как и до моего появления, хохотали, заталкивая друг другу в рот куски мяса, подергивались, размахивая руками, даже Карахан, шевеля вздутыми губами, гримасничал, видно, кукнар успокаивал боль. Все опять требовали, чтобы Бобошо наливал, а он трезво и рассудительно говорил, что нельзя так часто, ночь еще впереди, не лучше ли выспаться, а потом уже по второй, на посошок...

Но всем не терпелось выпить еще, и тогда Бобошо стал разливать осторожно, по каплям, протянул чашку и мне, кивая и как бы прося, чтоб я не отказывался за компанию — это может меня примирить...

Я выпил этот горький настой и сразу почувствовал легкое головокружение, и увидел серое перед глазами, и услышал как бы издалека голос Дауда:

— Ешь, ешь побольше...

Да нет же, не может так сразу подействовать, это просто я внушил себе, что меня пробрало, внутренне поддался общей атмосфере, это все равно что опьянеть, глядя, с каким смаком, наслаждаясь, пьет сидящий напротив собеседник.

Я знал, что много хитрого в этом напитке из пустынных трав, много такого, что действует искажая, ложно. Наверное, в этом его прелесть для заядлых любителей настоя. Не знаю...

Лицо Карахана вздулось и почти закрыло глаза, но после второй чашки он уже не чувствовал боли; я хохотал, глядя на него, он тоже, как и все, жевал и хохотал, только иногда, поймав мой взгляд, должно быть, смутно вспоминал обиду и тогда надувал губы, как ребенок.

Видно, мои торговцы знали целый ритуал пития, и, когда Норбай поставил банку со скорпионами на стол перед Бобошо, я понял, какие здесь все утонченно-извращенные, не просто пьют и веселятся, глядя друг на друга отрешенно, витая каждый в своем маленьком раю, но желают для полного блаженства чего-нибудь остренького, чересчур возбуждающего, даже опасного.

Сквозь дрему и шум возбуждения я понял, что две чашки — это норма кукнара, достаточно, чтобы насладиться, не теряя до конца голову, самые же заядлые, кому мало двух чашек, требуют еще и третью, но с условием, что будут развлекать остальных.

Сладострастный Дауд умолял налить ему третью чашку, он весь дрожал, предвкушая наслаждение, для него, оказывается, и были отловлены эти скорпионы.

Я все подробности опускаю потому, что пишу в спешке, собираясь скоро уезжать. Когда Дауд выпил третью, все стали толкать его на кровать, прыгали вокруг в каком-то странном, страшном возбуждении, порвали на нем рубашку, содрали белье. Дауд улыбался пьяно, не сопротивляясь, просто просил, чтобы не так торопились, не рвали, ему надо внутренне собраться и лежать в позе... Есть две или три точки на теле, которые все же остаются чувствительными к укусам, но никто ждать не хотел, требовали представления взамен третьей чашки. Сабах и Карахан уже прижимали Дауда к кровати, а Норбай, мыча, бросил к нему в постель коричневый комок, комок тут же расползся — и побежали по телу Дауда, подняв на кончике хвоста свой яд, скорпионы.

Тело его, насыщенное кукнаром, не чувствовало укусов, Дауд только дурашливо визжал, будто играя, отбивался от тварей, торговцы веселились и, забыв об осторожности, ловили уползающих скорпионов и бросали их на спину Дауда. Тело Дауда местами вздувалось, когда скорпион ловко вонзал свой хвост, расплывалось, как лицо Карахана от моего удара.

Карахан меня забавлял... Заметив, что я смеюсь, глядя на его перекошенный нос, он вдруг весь переменился от злости и швырнул в меня скорпиона...

Никто этого не заметил, даже трезвый Бобошо, я же погрозил добродушно Карахану, как проказнику, и сказал:

— Играй... играй, — и, шатаясь, вышел, чувствуя, как мне становится не по себе — смутное беспокойство и тоска...

Мне не лежалось и не сиделось спокойно, всех кукнар возбудил, меня же, наоборот, сделал раздражительным и вялым. Но я не должен расслабляться, надо трезво подумать, когда удобнее и безопаснее мне выехать — наши пути разошлись окончательно. Я уже все видел, все знал, мне они осточертели, торговцы, только одно еще оставалось, как далекая мечта, еще как-то бодрило... Наконец-то, думал я, поведу сам лошадь, выйду под утро, когда все они свалятся с ног от усталости, и проберусь, незамеченный к фургонам...

И через степь, сонно раскачиваясь под стук колес... одинокий на всем пространстве, где так свободно... да, наши предки-кочевники кое-что смыслили в этой жизни, и меня манит...

Но куда теперь? Где мне будет еще так уютно и хорошо? Поеду потом к матери... а когда торговцы успокоятся, забудут, вернусь опять, и Бобошо вспомнит, удивившись...

Не знаю, может, сделаю большой, очень большой круг и опять вернусь в Чашму — я все еще ощущаю на кончике языка поцелуй одной местной красавицы, мы с ней вспомним...

Я так торопился, что мысленно был уже далеко отсюда и писал, как бы тоскуя и желая возвратиться в Чашму, чтобы отдохнуть возле ее холмов и успокоить нервы. Это еще одно странное свойство кукнара — смещать время, место и действие, путая их классическое триединство, о котором так любил говорить мой балетный учитель, — уносить человека от места, где ему нехорошо сейчас, и делать так, будто он уже издали тоскует, и это место, этот миг со своим текущим временем кажутся прекрасными...

ЭПИЛОГ

(Рассказ доброжелателя)

Между этим моим рассказом и записками завсегдатая почти три года времени... Все было некогда — ка-

менная болезнь, книга, которую надо сдать в срок, ибо в издательстве свои планы, а тут еще полоса творческой апатии, с которой тоже надо как-то бороться, словом, все не мог собраться, а жаль, к тому времени дело моего соседа Ахуна еще больше запутали, пошли слухи и суеверные разговоры, сложилась легенда, "миф о завсегдатае" — его я и пытаюсь сейчас трезво развеять.

Начну с ранней весны. Приходит ко мне возбужденный чрезмерно этот бывший артист балета, "пенсионер без стажа", как называли его наши квартирные кумушки, и говорит, что нашел себе увлекательное занятие, едет с торговцами, чтобы посмотреть на их дело изнутри, а вернувшись, расскажет мне — может, возбудит мое воображение на новеллу. Наивный человек! Я ему ответил:

— Конечно, я вас с удовольствием выслушаю, когда вы вернетесь, но вряд ли ваш рассказ заинтересует меня творчески. У нас хрусталики зрения повернуты в разные стороны... А вообще берегитесь! — Словом, повторил свое предостережение, а сосед смеялся и не слушал, словно был уже с ними далеко в пустыне, одержимый. Признаюсь, мне сделалось на минуту даже завидно, почти всю зиму Ахун ходил скучный, жаловался, что ничто его не интересует и не радует, и вот появляется совсем другой, оживший, даже слишком живой, и эта его способность выводить себя из состояния, находя самые авантюрные, с точки зрения серьезного человека, бредовые идеи, умиляла меня...

Словом, он уехал очертя голову, а я опять... больше в трудах, чем в днях, и забыл о своем базарствующем соседе.

А много времени спустя, уже летом, приходит ко мне следователь. Грузин Мамидзе, седой, благородного вида человек, с которым мы дружим теперь и по сей день — почитатель... Мамидзе уже сорок лет следователь, и чувствуется, как он этим гордится, и правильно — у них опыт, все делалось на их глазах.

— Я, можно сказать, один из первых, кто начал новейшее судопроизводство во всей Средней Азии, — сказал он. Потом попросил рассказать, что я знал о бывшем артисте Ахуне и что я вообще о нем думал, впечатления... — Его уничтожили, — добавил Мамидзе.

— Как уничтожили? — не понял я. — Убили?

— Сожгли. Так, во всяком случае, гласит наша версия... И торговцы признались...

Я рассказал, какое впечатление производил мой сосед, начал с того, что не очень одобрял его писанину.

— Вы имеете в виду эти записки? — спросил Мамидзе, извлекая из портфеля кучу бумаг.

Я глянул, пробежал глазами.

— Ну, конечно, — сказал я, и тут мой взгляд упал на то место его записок, где Ахун так нелестно — и, разумеется, несправедливо, из чувства зависти — отзывается о моем творчестве, называя его нетрогающим, рассудочным.

Внимательный Мамидзе заметил.

— Вас что-то взволновало? — спросил он осторожно, но я не стал, смешно было бы спорить, не в моих правилах обращать внимание даже на большую, печатную критику, я называл ее "мушиными укусами, огородными страстями", а тут непрофессиональный взгляд эстетствующего соседа... Я прощаю две-три колкости в мой адрес, которые позволил себе сосед Ахун, он гораздо ближе к истине не в момент злобной хандры, а когда в нем опять начинала говорить в общем-то добрая душа.

В одном месте он сказал, что я стал к нему со временем доброжелательнее, сменив подозрительность и высокомерие. В этом он почти прав, я всегда был расположен доброжелательно, я был старшим товарищем, дающим хорошие советы и предостерегающим. Не моя вина, что он не послушался.

Уже через год после суда Мамидзе устроил мне встречу в тюрьме с подозрительным персом Бобошо, главарем, с остальными — Сабахом и Караханом; Дауда оправдали, найдя у него душевную болезнь, а Норбая вообще не привлекали, этот прибежал к постовому в Чашме с раскаянием и увлеченно помогал потом следствию, несмотря на свою безъязыкость.

Их, конечно же, всех троих надо было приговорить к высшей мере, но вот странность — недоставало кое-каких улик, вещественных доказательств, несмотря на то, что почти вся современная тонкая наука была привлечена на помощь: всякие изотопы, анализы, ультрафиолетовые лучи, — не нашли ни грамма пепла, ничего не осталось от сожженного завсегдатая, будто был он вообще бестелесным, как дух. Им присудили не за убийство, а за покушение, хотя Сабах и Карахан в один голос истошно кричали и на суде, и мне в лицо, когда я навестил их в тюрьме:

— Мы его сожгли, клянусь, мы с ним расправились! — Да еще таким тоном, будто готовы были истерично разреветься оттого, что кое-кто еще в чем-то сомневался — так им хотелось, чтобы поверили все в убийство!

— Маньяки, — назвал их Мамидзе, но я думаю, что они просто злы, так ненавидели Ахуна, что были счастливы, разделавшись со своим беглым напарником.

Только Бобошо сконфуженно-удивленно пожимал плечами, признавая, что, да, они подожгли фургон, где сидел запертый наглухо Ахун.

— Но это был такой дьявол, — шептал растерянный Бобошо, — я не удивлюсь, если узнаю, что он пролез в дырку не больше игольного ушка — и спасся... — Главарь, видно, симпатизировал Ахуну даже после того, как ему показалось, что завсегдатай их предал.

Ночью, когда они напились этого кукнара и стали трезветь к рассвету, Карахан вдруг спохватился. Ахуна нигде не было, и тогда торговцы подняли тревогу и помчались на фургонах по следам сбежавшего. По всей пустыне земля была еще влажной, и преследователи без труда нашли близко к вечеру следующего дня фургон Ахуна. Свежий ветер, видно, разморил его — представляю, как он восседал горделиво, натянув поводья. Он пишет о какой-то детской мечте, дяде-офицере и поцелуе лошади — это дешевое притворство, я не верю. Словом, торговцы нашли его спящим внутри фургона, лошадь жевала сено — он бросил ей корм, а сам решил вздремнуть ненадолго...

Они были так воодушевлены, что нашли беглеца, — суетились, не зная, что придумать. Карахан ударил спящего ногой, они его связали, оставив в фургоне. Вышли, дрожа от холода, и развели костер. Сабах уже держал в руке эти роковые записи, они листали и читали отрывки, и никто уже не сомневался в том, что взяли они с собой на дело соглядатая, который записывал каждый их шаг — спокойно и расчетливо — для следствия.

Дауд, воспользовавшись таким случаем, снова приготовил свой сироп, и все стали пить. Единственное, что сумел вымолить Бобошо для своего любимца, — чтобы развязали Ахуну руки, но это как раз-таки и было медвежьей услугой, потому что, развязав его, Карахан и Сабах стали забивать снаружи гвоздями переднюю и заднюю двери фургона, чтобы быть спокойными.

Пили возле костра, глядя на фургон, внутри которого сидел завсегдатай, после второй чашки, забыв о мере, потянулись к третьей, ворча на трезвого Бобошо.

Скорпионов у них под рукой не было, и непонятно, чем бы они развлекались, если бы вдруг Дауду не показалось, будто под фургоном Ахуна загорелось пламя.

— Огонь! — сказал он, волнуясь.

Ахун неправильно изложил и эпизод со скорпионами в постели Дауда, вернее, не понял смысла этого странного поступка.

Доктор Пай-Хамбаров, давший заключение о невменяемости Дауда, сказал мне, что, играя так со скорпионами и возбуждая какие-то нервные точки, он отвлекал себя от зрительных галлюцинаций, которые всегда мучили Дауда после кукнара.

Словом, Дауду показалось, что горит под фургоном, он говорил:

— Смотрите, смотрите! — и показывал всем, убеждая.

— Это не огонь, дым, — сказал Сабах. — Сейчас ты увидишь настоящее пламя. — И бросил вместе с Караханом охапку сена под фургон Ахуна и зажег. — Это огонь! — сказал, вернувшись на место.

Огонь быстро поднялся, и все смотрели, как фургон горел вместе с завсегдатаем, и так сгорел дотла, и остался торчать только его железный остов.

Один лишь Норбай не выдержал этого зрелища. Он успел отвязать лошадь и, вскочив на нее, помчался в сторону Чашмы, был так ловок, что вскоре преследователи отстали, устав, и вернулись, чтобы в панике бежать...

— Вы знаете, — говорил Мамидзе, — ну, ничего не оставил после себя, как сам написал: "ни царапины не оставлю, ни следа..."

— Меня удивляет — вы цитируете, — сказал я, — вы человек профессионально трезвый... и верите этим запискам...

— В таких случаях обычно остается, — повторил Мамидзе. — Сейчас техника может восстановить события даже столетней давности по лоскутку, по одному сохранившемуся волосу. А здесь и она оказалась бессильной... Иногда я думаю: "А был ли вообще среди нас этот завсегдатай? Фантастичный человек!" — Но тут же, боясь, что я могу заподозрить его в суеверии, Мамидзе спохватился: — Ну вы, надеюсь, понимаете, что я так, для красного словца?..

Словом, для многих эта история стала казаться загадочной, и вот слышу: слагают уже легенду, некий коллективный миф о завсегдатае. Ждали год, два напряженно, думали, может, объявится мой сосед у матери в Бухаре или хотя бы напишет ей издалека, нет, молчание.

И женщина, на которой он собирался жениться, после первого потрясения стала в чем-то сомневаться, не

верить, даже эта местная красавица, Савия, отказалась, говорила, что вообще не видела такого человека и никогда не имела с ним дела.

Ее-то можно понять, не хотела смущать своего нового мужа — учителя. Но вот и Шайхов, он тоже почему-то путал — серьезный человек науки, а говорил, что вспоминает что-то такое, какого-то человека, но не уверен, был ли это Ахун...

Как они все любят оставлять место своему воображению, загадке, даже если Сабах и Карахан с таким ожесточением сопротивляются и твердят:

— Мы его уничтожили, вот этими руками! — И даже когда мое мрачное пророчество так очевидно, к сожалению, сбылось.

Не я ли доброжелательно предостерегал:

— Берегитесь, Ахун, они вас как-нибудь словят...— И вот словили, не уберегся...

1977

ЗА ЧЕСТЬ ЭМИРАТА

Молла-бек нанялся разгружать клетки со львами для кочевого цирка. Тянул за собой на веревке все это мрачное хозяйство, боясь, что хмельной лев... Аллах праведный, врагам своим не желает Молла!

Но однажды остановился Молла, посмотрел льву в глаза и удивился.

Робкий и стыдливый, сидел хищник в углу клетки, прижав к тощему телу хвост, и с грустью наблюдал, как суетится Молла.

— Вай! Вай! — зашептал Молла от жалости. — Ведь природа сотворила тебя, брат, для устрашения и мужества, а ты уподобился домашней скотине...

И еще Молла шепнул льву, вступая с ним в заговор:

— Вижу, что ты фальшивый, брат. Самый обыкновенный ты осел, которого обшили внушительного цвета шкурой...

Но тут Моллу вызвал директор и, протянув небольшой ящик, приказал:

— Отнеси, да поосторожнее, главных кормильцев наших!

Какие-то симпатичные существа жалобно стонали в ящике.

Молла не стал дразнить свое любопытство, сел и открыл ящик.

Выскочили на свет два пуделя и смешно затявкали, наступая на своего спасителя.

Спаситель же, никогда ранее не видавший подобных зверьков, засмущался и сказал на всякий случай:

— Здравствуйте... Рад видеть вас в Бухаре...

Но пудели продолжали тявкать, будучи воспитанными в невежливости.

— Ах, как нехорошо! — послышался голос. И выбежала откуда-то маленькая женщина с обручем в руках, в ярких шароварах.

— Ах, ах! — пожурила она растерянного Моллу.

Пудели радостно запрыгали вокруг женщины, не переставая, однако, недоверчиво тявкать на Моллу.

— Жанна! Соломон! — сделала им знак женщина, и пудели, толкая друг друга, пролезли через обруч, проделывая один из своих цирковых номеров.

— Видите, какие у меня красавцы? — пожалела женщина Моллу.

— Удивительно, — осмелел Молла.

— А вот еще! Соломон! — приказала женщина. И Соломон стал вращаться вместе с обручем, да так быстро, что Молла снова повторил:

— Удивительно... — И пояснил женщине: — Никогда не видел таких собачек.

И невольно залюбовался самой женщиной, подумав, какая она маленькая и хрупкая, вполне бы могла поместиться в этом обруче и вращаться в своих ярких шароварах.

Женщина взяла пуделей на руки и понесла в вагончик.

А Моллу снова вызвал директор и сказал:

— Молодец! Ты перенес все ящики с хищниками и остался невредим. Теперь я дам тебе более увлекательное дело.

— Какое? — обрадовался Молла-бек, который привык уже к цирку.

— Признайся, ведь ты был уже раз борцом? — Директор для проверки похлопал Молла-бека по его могучему плечу. — Был ведь чемпионом, говори!

— Ну, был, — стал нехотя вспоминать далекое время молодости Молла.

— Во дворце эмира вашего бухарского, — подсказал директор, — ты там на ковре чемпионом стал.

— Кто это рассказал? — недоверчиво переспросил Молла.

— Неважно, — заторопился директор. — Так вот, предлагаю тебе, пока мы гастролируем, выходить на арену для привлечения местной публики.

— А кто этот борец ваш? Я ведь давно все позабыл.

— Не бойся. Беглый бродяга Мариотти. Платить хорошо будем, — пообещал директор. — Имя твое напишем крупно на афишах и расклеим по всему городу.

— Я подумаю, — стал терзать свою душу Молла.

— Подумай, брат, а мы пока афиши заготовим... "На арене нашего цирка — чемпион эмирата Молла-бек!"

Молла-бек ушел, чтобы побродить вокруг цирка и поразмыслить над новым своим занятием.

Была у него бычья натура. Подразни его раз, подразни второй — не откликнется, зато на третий раз бросится яростно и беспощадно.

Вот и сейчас он долго боялся чего-то и несколько раз даже порывался уйти совсем и не попадаться на глаза циркачам. Но афиши с его именем в каждом переулке, возле каждого дома, где знают Молла-бека лишь как бездельника и неудачника!.. И вдруг перед глазами всех: "На арене чемпион эмирата—Молла-бек!"

Тут недалеко от того места, где он стоял в расстройстве, заржала лошадь и послышались шум и голоса циркачей.

— Эй, чемпион! — позвал его из фаэтона директор, сидевший в компании циркачей. — Поехали, местный базар нам покажешь!

Молла-бек заторопился к фаэтону, тяжело дыша, взобрался на него и стал с этой минуты своим в цирке.

На восточном базаре циркачи затмили всех пестротой своих одеяний. Кричали они громче местных торговцев, набрасываясь на прилавки с дынями и миндалем. Брали фрукты для пробы, ели, но не покупали. Гостеприимные торговцы терпеливо вздыхали, видя, как целая ватага насыщается бесплатно, хватая все, что попадется под руки. Осуждали они только Молла-бека, хозяина жадных гостей.

Молла-бек из вежливости покупал все и торжественно дарил маленькой, хрупкой женщине.

— Мерси, — говорила она, взяв яблоко, самое большое и сочное, которое выбрал для нее галантный кавалер Молла-бек.

И повторяла все время одно и то же непонятное: "мерси", принимая с благодарностью следующий подарок — гроздь винограда или дыню.

Позади нее, не отставая ни на шаг, тихо брел задумчивый мужчина, с которым новая знакомая Молла-бека время от времени делилась чем-нибудь особенно вкусным.

— Яков, — говорила она, жалеючи, — попробуй, какая красота — виноград.

И Яков пробовал, тихо жевал, наслаждаясь.

Молла-бек не обращал на это внимания, был великодушен в обществе маленькой женщины.

Только раз, когда Яков тоном провинившегося ребенка обратился к ней, спросив:

— Рикка, я проглотил нечаянно гранатовое зернышко. Это плохо?

Молла-бек ответил:

— Ничего, это можно! — И был горд, что знает больше человека, с которым маленькая женщина делилась своими подарками.

Прекрасный вечер послал господь Молла-беку. Он прогуливался с загадочной маленькой Риккой и слышал, как народ у афиш удивляется и смеется:

— Да это же наш рябой Молла! Кто бы мог подумать, что он чемпион?! Обязательно надо посмотреть.

Самого Моллу не видели. Он прогуливался в тени аллеи, чтобы остаться незамеченным. Не то бы начали кричать:

— Смотрите, а вот и сам Молла! С женщиной, хе-хе! Конечно — знаменитость! — и дергали бы его за руку, прыгали бы вокруг него, корча разные противные рожи, и хамье могло бы даже что-нибудь такое сделать и маленькой Рикке, ну, например, потянуть ее за шаровары.

У других афиш его не знали. И делали мрачный вывод:

— Кто этот Молла? Самозванец какой-то решил защищать честь нашего города. Ничего путного из этого не выйдет.

Этим бестолковым Молла хотел крикнуть:

— Как, вы не знаете чемпиона Моллу? Для чего же вы живете на свете, ослы? Ничего, я вам докажу, кто такой чемпион Молла!

Маленькая Рикка шла с чемпионом под руку и застенчиво щелкала орешки, доставая их из кармана Моллы.

Моллу тревожило и удивляло ее равнодушие к славе кавалера. Казалось, она и не догадывается, о ком идет молва вокруг.

Когда они очутились на безлюдной улице, Молла остановил даму возле афиши и долго, посапывая тяжело носом, читал о себе и ждал, что наконец Рикка заговорит о том, о чем говорит сейчас весь город.

Но Рикка молча продолжала щелкать орешки, недоумевая, почему они остановились у афиши.

Молла помрачнел сразу и сунул руку в карман, чтобы выбросить оттуда к чертям все орешки. Но сдержал себя, кашлянул и робко начал:

— Тут вот написано о Молле. Мол, чемпион он и прочее. Всегда у вас, циркачей, объявляется все громогласно?

— А что? — будто не поняла Рикка.

— Как что? Ведь Молла — это же я!

— Знаю, — сказала Рикка, беря новый орешек.

— Знаете? — почему-то просиял Молла. — Откуда? — И тут же понял: — Да, я ведь называл свое имя!

Когда отошли от афиши, Молла сказал мрачно, чтобы разговор этот не прерывался:

— Я буду бороться. Через тридцать долгих лет... Снова на ковре. Это правда... Что вы скажете?

— Не боитесь? — спросила Рикка.

— Чего? Директор сказал: не бойся. Народ ждет, что я снова одержу победу. Думают, что я бездельник. Но они увидят чемпиона Моллу! Такого, как много лет назад, молодого и красивого. Не думайте, что я такой. Вот — руки дрожат! Вот — щеки отвисли! И вот — живот у меня выпирает! Ерунда, я не такой! Внутри у меня здоровый дух! Я его оберегал, этот дух, все годы, лежа в чайхане, в темном месте, я его закупорил, как в кувшине, чтобы не тратить на суету и на мелочи. И он у меня сидит здесь и ждет! — хлопнул себя по животу Молла.

В ответ маленькая Рикка весело засмеялась, думая о том, какой он смешной и трогательный со своей оправдательной речью.

— Вы смеетесь, — обиделся Молла, — а это правда...

— Бизон вы, — нежно сказала Рикка, погладив его огромную руку.

— Да, — сказал он торжественно в приливе хороших чувств, — я женюсь на вас, когда вновь стану чемпионом. Вам надо семью наконец и детей. И пусть народ скажет потом: "Молла сошел с ума"...

— Пусть скажет, — согласилась маленькая Рикка.

- Что, чемпион, идешь? — кричали в то утро Молла-беку на всех улицах. — Давай борись, а мы посмотрим, патриот ты своего города или дерьмо?!

— Приходите, — улыбался всем Молла и махал рукой. Он был вежливый, внешне вполне уверенный. Чисто выбритый и праздничный — таким его давно не видели.

— Что же ты пешком, Молла-бек?! Несолидно чемпиону без фаэтона! — кричали на тех же улицах.

— Ни к чему мне фаэтон, — серьезно отвечал чемпион, — ноги у меня крепкие.

Возле цирка к нему бросилась толпа неудачников:

— Дорогой Молла! Билетов нет, а мы пришли страдать за тебя. Будь добр, проведи!

Молла растерялся, но важно сказал администратору:

— Пропустите народ, это мои родственники.

— Куда? На голову себе? — накричал на чемпиона администратор. — Прошу не распоряжаться!

— Сейчас я позову директора, — пообещал народу Молла-бек и ушел через запасной ход в цирк.

Директор, осмотрев зал и подсчитав предполагаемый доход, радуясь, вернулся в контору:

— А, чемпион! — приветствовал он Моллу. — Хорошо! Красив! В форме?

— В форме, — подтвердил Молла робко.

— Да! — почему-то нервно захохотал директор, не находя места, чтобы сесть. Хохотал он прямо в растерянное лицо Моллы, хлопал его по плечам и по животу, сунул ему в рот толстую сигару: — Кури... Ха-ха-ха!

Моллу чуть не стошнило, но он выдержал и стал жевать сигару, глотая ее по частям.

— Там народ собрался, друзья и родственники, безбилетники, — вспомнил Молла.

— Это мы тоже решим! — без сомнения сказал директор и, вызвав администратора, приказал: — Продавай билеты безостановочно, чтобы ни одного пятачка лишнего не осталось, заполняй пустоты народом, для их же удовольствия!

— Я предлагаю территорию манежа сократить и на освободившееся место народ поставить, — изложил свой план расторопный администратор.

— Правильно! Сокращай и ставь! — разрешил директор.

В это время в контору вошли маленькая Рикка и тот самый Яков, проглотивший на базаре гранатовую косточку.

— Здрасьте, коллега, — испуганно приветствовал Яков Моллу, шумно вздыхая.

Молла вскочил и уставился на Рикку, не делая из их связи никакой тайны для окружающих.

Вошёл бухгалтер со счетами. Пристроившись в углу на ящике, он занялся своей основной работой — деловито подсчитывал какие-то немалые суммы на счетах, перенося цифры на бумагу.

— Чемпиону десять процентов. Ладно, пятнадцать, — махнул рукой директор.

Бухгалтер снова занялся подсчетами.

— Двести двадцать пять! — подсчитал он безошибочно. — Сейчас выдать или после представления?

— Как Молла пожелает.

Директор подошел к Молле и протянул ему еще одну сигару.

— Молла, — сказал он добрым тоном, — за каждый сеанс мы платим тебе по двадцать пять ваших рублей — таньга.

— Да, верно, — подтвердил Молла, не зная, куда девать вторую сигару.

— Выходит, если ты выиграешь поединок, получишь двадцать пять. Но выиграть труднее, чем проиграть, верно ведь?

— Да, верно, — стал терять ясность мысли Молла.

— Так вот — ты должен проиграть. И за сознательный проигрыш получишь двести двадцать пять таньга — целое состояние!

Ленивым своим умом Молла не сразу понял нехитрый торг.

— Вы с Яковом не пара, — показал директор на мучающегося сомнениями Мариотти. — Победишь — сразу погубишь весь цирк. А нам еще две недели быть в царстве-государстве вашем. Пойми правильно, чемпион. Кури сигару! Не мни ее! И ступай получай свою крупную сумму!

— Двести двадцать пять, — шепнул Молла, обреченно посмотрев на Рикку.

Та весело подмигнула ему: знаешь, бизон, сколько орешков и разных восточных рахат-лукумов можно купить на такую сумму? Я буду щелкать все вечера, гуляя с тобой в тенистых аллеях. И к черту славу и афиши, мы просто не будем останавливаться возле них.

— Тогда я женюсь, — сообщил Молла и, покончив с сомнениями, направился прямо к Рикке, чтобы поцеловать ее руку.

Минуту все молчали, опешив. Первым захохотал директор, а за ним, всхлипывая, как сквозь слезы, засмеялся и Яков.

Разгоряченный Молла схватил Якова за руку и бросился за ним в коридор, приказав:

— Прошу, коллега, защищаться!

Он дал возможность Якову опомниться и собраться с силами.

Затем сжал его, хилого, в объятиях и швырнул на доски. Да еще ногой придавил стонущего Якова, показывая всем: "Вот как надо бороться!" Мол, не думайте, что продался Молла из-за трусости!

А через минуту Молла уже стоял на виду у тысячи людей и хандрил.

Не слышал ни криков, ни вздохов — внутри у него была тишина.

Не ощущал он также прикосновения потных рук измученного, как и он сам, Якова; бегал Яков вокруг крепконогого Моллы, не зная, как обхватить его мощное тело.

Недоумевает публика: что случилось с Моллой, на которого молится весь город с утра? Криком радости встретила она появление Моллы, подбадривала, просила, умоляла, чтобы дал он настоящее зрелище.

— За ногу хватай, заячья душа, — шептал Молла Якову.

Яков же изнывал от непосильной работы, скулил по-собачьи. И видно по всему — смущался чего-то.

— Да ты не робей, дурак, — журил его Молла, делая при этом различные сложные вариации, чтобы создать видимость честного поединка.

— Прости, — извинялся Яков за свою физическую неполноценность, — грудь мою давит жаба...

Молла хитрит, решили зрители, растягивает удовольствие, желая поиздеваться над немощным противником.

Нелепая ситуация вдруг рассмешила кого-то, сидящего на галерке, и вслед за ним захохотал весь зал.

— Самое время, — сказал Молла Якову.

Жаль ему стало противника за то, что с таким трудом зарабатывает он свой хлеб насущный.

— Чуть подсобери силы — и я упаду...

Яков же в ответ тоже вдруг засмеялся вымученным смехом, кашляя. Молла ахнул от хамства такого и прижал ладонью рот Якова. Но неудачно. От сильной

боли в руке Молла согнулся. Яков успел подтолкнуть его, и Молла рухнул на ковер, удовлетворенный.

Молла лежал на спине и не слышал, как засвистел, заулюлюкал цирк, как стали бросать в него какие-то предметы. Молле хотелось одного — плакать.

— Эх, Яша, Яша, — сказал он Якову, сидевшему на его теле. — Разве можно кусать пальцы? Это же нечестно...

Вечером Молла появился в дорогой чайхане в новых брюках и желтых тяжелых ботинках, держа руку в кармане, где у него лежала крупная сумма.

— Эй, рябой, — толкнул он чайханщика в бок, — живо стели ковер, плов есть буду!

Чайханщик от растерянности успел только рот раскрыть.

Молла направился в дальний угол чайханы и, взобравшись на деревянную лежанку, придрался к безобидному посетителю, сказав:

— Плов мой пронюхал? Слезай отсюда, да поживее!

Посетитель еще позавчера угощал здесь Моллу чаем. Но напоминать не стал, ушел.

Молла снял ботинки и положил их на самом видном месте. И устроился поудобнее, по-турецки, в ожидании плова.

Чайхана была разделена на три зала. Самый дальний, где сидел важный Молла, считался аристократическим. Здесь ели плов, шашлыки и слушали свист перепелов в клетках, подвешенных на стенах рядом с корзинами, полными груш и абрикосов.

Средний зал, поскромнее, был для тех, кто ел плов раз в неделю, но хорошо и сытно. А в самом большом, третьем зале запивали чаем сухие лепешки В этом зале провел большую часть своих дней Молла, довольствуясь лепешкой и слушая неторопливые рассказы грузчиков и арбакешей.

Молла не завидовал тем, кто ест плов. Он загнал далеко вовнутрь тщеславие. Он просто знал, что когда-нибудь появится у врат чайханы другой Молла и пройдет в зал для богатых, чтобы занять достойное место.

— Эй, Уктам! — позвал он чайханщика. — Скажи, чтобы эти бездельники в большом зале не курили так часто. Задыхаюсь я! И живо повара ко мне!

Чайханщик молча и лениво повернулся, чтобы уходить.

— Ты чем-то недоволен? — не понравилась его медлительность Молле. — Скажи, брат, не смущайся, я ведь добрый. Могу купить тебя с твоей чайханой!

Молла говорил нарочито громко, чтобы слышали все три зала и те грузчики и арбакеши, с которыми он грыз сухую лепешку, одалживая ее у чайханщика.

— Нет, я доволен. Сейчас исполню, — ответил чайханщик.

"То-то!" — подумал Молла и в блаженстве прилег, ожидая повара.

Повар принесет казан жирного, с разными пряностями и чесноком плова, и Молла будет долго смотреть, наслаждаясь, прежде чем возьмет на кончик пальца первое зерно из тысячи зерен. Тысячу раз откроет рот и не устанет, будет жевать и глотать, растягивая удовольствие от ощущения сытой и безмятежной жизни.

— Уктам! — закричал он снова, но чайханщик не появился.

— Ослы несчастные! — сказал самому себе Молла. — Когда я был нищ и грыз лепешку, чайханщик прибегал по первому зову. Когда же у меня двести двадцать пять таньга, все вокруг оглохли. Все наоборот, — погрустнел Молла от людской нерасторопности.

В большом зале в это время вчерашние друзья Моллы, всякие грузчики и арбакеши, пили, ели лепешки, обсуждали нехитрые свои дела и веселились.

Молла вынул из кармана всю крупную сумму и стал украдкой делить ее на части. Разделив, запрятал деньги, распихал их по карманам, часть спрятал в пояс, а часть засунул глубоко в ботинки и манжеты брюк.

Тихо, чтоб остаться незамеченным, пробрался он в знакомый большой зал и сел с краю.

Чайханщик тут же поставил перед ним чайник и традиционную лепешку на подносе.

— Смотрите, — сказал кто-то из грузчиков. — Молла!

— Пьет чай, — сообщил второй то, что увидел.

И продолжали они начатый разговор о ценах на верблюдов в ближних казахских аулах. Молла слушал, но не вступал в беседу, хотя и очень хотел — просто он не знал ничего о верблюдах. Тему эту затронули в чайхане, когда Молла был занят цирком, поэтому основные сведения он пропустил.

— Уктам! — крикнул он, желая проверить чайханщика. И остался очень довольным, когда чайханщик сразу же прибежал на зов:

— Слушаю вас!

— Ничего, брат, ничего, — добродушно похлопал его по плечу Молла, — это я слух твой проверял...

Друзья-товарищи говорили теперь о породах верблюдов, и всем нравилась белая, редкая.

— Цена такому верблюду больше тысячи! — доказывал один грузчик.

— Положи мне на ладонь пятьсот, к вечеру я тебе приведу белого, — возразил ему второй.

Молла хотел крикнуть:

— Двести двадцать пять за белого! — но спохватился, поняв, что так вступать в разговор глупо — осмеют

Молла только покачал головой, жалея, что отстал от беседы, выбился из колеи за то время, пока был в цирке, и что не о чем ему больше говорить в чайхане, и что стал он теперь для всех чужим.

Тоскуя, он вышел из чайханы, чтобы хорошенько подумать над этим...

Молла воровски посмотрел на темную улицу, взял и содрал афишу.

— Вот так! — словесно подтвердил он свои действия, когда Рикка снова взяла его под руку и они побрели дальше.

Молла шел, не переставая мрачно думать, и от дум лицо его стало серо-зеленого цвета. И еще его стал мучить насморк в середине лета. Ему хотелось одного — идти и идти по знакомым с детства улицам. В них он искал спасения, зато в улицах, где он давно не был, Моллу страшило что-то.

Рука маленькой Рикки была холодной и дряблой, будто всю жизнь она занималась стиркой. И не было в Рикке больше загадочности и красоты.

И еще Молла заметил, что она истощена какой-то внутренней болезнью и убого одета. Прелесть ее, согревавшая Моллу, улетела куда-то в густое пыльное небо.

Молла привел Рикку к большой шелковице и стал ожесточенно целовать.

Рикка не сопротивлялась, но была равнодушной

— Простите, — сказал Молла, — я совсем сошел с ума.

Потом он решил поделиться тем, что его сильно тревожило.

— Вот уедет цирк и будет набирать в других городах таких, как я, глупцов. А мне придется еще долго

жить с народом. Вчера в чайхане я не мог ничего сказать друзьям о верблюдах, — вздохнул Молла.

— Не тревожьтесь, — вдруг сказала Рикка, — я помогу вам.

— Помогите! — взмолился Молла. — Больше мне не на кого надеяться.

— Яков — мой муж, — без всякого нажима сообщила Рикка. — Попрошу его выступить с вами еще раз, но уже в чайхане, где вы сможете убедить друзей.

Молла долго молчал, борясь с насморком и тщеславием.

— Да, — сказал он, — это чувствовалось, когда вы делили с ним гранаты на базаре... Но согласится ли ваш муж Яков на собственный позор?

Яков согласился. Он лишь предупредил Моллу, когда они направились в чайхану:

— Коллега, только вы не очень старайтесь, как в тот день в коридоре цирка. У меня действительно жаба...

— Ничего, — заверил Молла, — всего один раз, чтобы народ примирился...

Остальной путь они молчали, и обоим почему-то было неловко.

Молла воспрял духом, когда увидел, что в чайхане так же многолюдно, как в цирке.

— Бродяги и бездельники! — закричал Молла, показывая на робкого Якова. — Смотрите, кого я привел!

Люди сразу узнали Якова и ответили:

— Это тот, кто поборол тебя! — и занялись своими разговорами.

— Нет, вы не отворачивайтесь, не притворяйтесь! — стал нервничать Молла. — Тот день в цирке не в счет, там был обман. Посмотрите, как я сейчас с ним расправлюсь, и вы воскликните: "Да, Молла, ты настоящий чемпион!"... Чайханщик, стели ковер на площадку!

— Ну-ка, ну-ка! — оживилась публика, занимая места поудобнее.

А Молла, забыв о просьбе Якова, грубо толкнул его ближе к толпе, злорадствуя при этом.

Яков жалобно пробормотал что-то, но понял, что не будет ему на сей раз пощады.

Грузчики бросились очищать площадку, стелить ковер. Толпа уже гудела, требуя зрелища.

— Я поведу его по всем чайханам города, чтобы за одно ошибочное поражение победить десять, сто раз! — пообещал людям Молла.

— Всевышний спаситель... — зашептал Яков, видя безумный блеск в глазах зрителей.

— Начинай! — закричали они Молле.

Молла толкнул Якова на площадку, не в силах больше ждать.

— Начинай! — закричали снова, ударяя о что-то металлическое.

— Начинаю! — весело и дерзко посмотрел Молла на толпу. — Смотрите все! — И протянул руки к Якову...

Яков поморгал грустными глазами, вздохнул и пошел в объятия Моллы, как идет кролик в пасть удава.

Но пока Яков шел, Молла вдруг потерял над собой контроль. Словно выпустили из тела его кровь. Благодарные глаза Якова, когда тот сидел на теле Моллы, запах сырых досок, запах денег и губ Рикки... и многое горькое и болезненное, продолжительностью в целую жизнь, жизнь человека, уже единожды продавшего себя...

Молла, не чувствуя уже рук Якова, рухнул от небольшого усилия. Лежал он спокойный и белый, понимая, что ничего не сможет поделать теперь с собой, что, однажды продавшись, он потерял себя навсегда...

1968

ЯКИ СЕРЫЕ, РЫЖИЕ...

За скалой открылась знакомая поляна. На ледовом пространстве одиноко чернела юрта старика. Не было видно ни яков, ни Карима, одна только тревожная пустота.

"Что-то случилось, — заволновался Молла-бек, когда нашел на остром камне клок серой шерсти. — Несомненно, что-то случилось..."

Серая шерсть зимой растет на лбу яка, а когда як трется лбом об острые камни, возбуждая себя, значит он зол — жди неприятности.

Молла-бек упал на снег — сильно заныла нога. Дальше, куда старик пойдет, должно быть еще много шерсти на камнях и выступах скал — это ориентир.

Яки зимой серые, как снег на склонах гор вокруг села, летом — рыжие, как маки после снега на поляне...

"Зря я лежу. Надо идти и идти, — стал ругать себя пастух. — Проклятая нога... И яки ушли".

Почему-то старик вспомнил, как летом приезжала его внучка Фатыма, поднялась к деду на поляну и стригла, стригла яков, и рыжая шерсть падала к ее ногам, и яки — эти мирные братья — удивленно обнюхивали свою шерсть и уходили потом в прохладную тень скалы, чтобы лечь там в тоске. Подходили они один за другим, несли гордые, королевские пряди волос, а уходили после стрижки какие-то униженные...

И Молла-бек видел, как стадо уменьшается на глазах. Не то чтобы яков становилось меньше, нет, просто после стрижки на поляне, от скалы до скалы, могли теперь уместиться не десять таких стад по пятьдесят яков каждое, а все двадцать со всего села Бешык.

"Зря все это лезет в голову, — продолжал сердиться пастух. — Пойду-ка лучше поищу, нет ли поблизости на камнях еще шерсти".

Нога совсем распухла, была как деревянная. Яки будто все знали, все чувствовали. Хозяин их, когда устанет, начнет замерзать, а впереди ночь и кругом лед да снег, чувствовали это животные и будто стремились поделиться со стариком своей шерстью. Чтобы пастух мог засунуть ее себе под тулуп и в валенки, положить шерсть под голову, а если хватит, то постелить и на лед, чтобы тепло было спать.

"Нет, вас что-то рассердило, я это вижу. Вон как лбами терлись о камни, столько зла накопили, что хватило бы скалу разворотить".

И раньше так случалось, что стадо уходило от пастуха. В прошлый раз, например, яков увели за собой шакалы. Каждую ночь приходили на поляну и выли, сидя на валунах вокруг юрты. Старик знал, что шакалы не страшны, просто вой их неприятен, как плач голодных детей. Их можно терпеть ночь, от силы — две. Молла-бек терпел, а потом вышел с ружьем и стал палить в воздух.

Шакалы исчезли, но только на эту ночь. Назавтра все началось с новой силой. И яки, видимо чувствуя, что старик не в состоянии справиться с ними, пришли в ярость. И ночью, проснувшись, погнались за шакалами, гнали их до самого рассвета к ущелью, ловко перепрыгивая через расщелины, через валуны, на ледовых площадках садились на задние ноги, и их несло по льду, километров за десять унесло...

Старик догнал их только к утру на совершенно незнакомой поляне, и яки ни за что не хотели возвращаться на старое место — будто дорожили той

землей, которую отвоевали у шакалов; пастуху пришлось перетаскивать сюда юрту со всем хозяйством.

Что же все-таки увело яков на этот раз? Волки отпадают, шакалы тоже. Снежный барс? Но барс в одиночку не страшен якам. А двух или трех барсов старик встречал очень редко.

Люди увели? Но разбойники в горах давно исчезли. Были еще лет сорок назад всякие бродяги, которые угоняли яков. Но даже если появились бы бродяги, целое стадо им все равно не угнать — негде спрятать, вертолет их сразу обнаружит.

Вертолет — это на крайний случай. Если старик не найдет стадо к завтрашему утру, нужно будет спуститься вниз и попросить, чтобы подняли в воздух машину... Спуститься... С раненой ногой не спустишься, замерзнешь на тропинке.

Ладно, нечего об этом думать. Надо самому искать. Самому выпутываться из этой истории.

— Карим! — закричал пастух, подходя к юрте.

Затем махнул рукой в отчаянии и пошел вверх по тропинке...

"Может, Карим чем-то рассердил яков, — думал старик, разгребая свежий снег и ища под ним на льду следы животных. — Нет, мальчик он кроткий, да яки и не злятся на него. Человек якам не враг, животные это чувствуют..."

Ведь кто в пургу загоняет яков за валуны, в пещеры? Кто лечит им раны маковыми зернами? Кто якам висячие мосты строит через пропасти? Пастух.

Яков мало, намного меньше, чем людей, вот человек и оберегает их от всякой напасти.

"Что они без нас? Вот и следы слишком глубокие отпечатали на льду, чтобы снегом не занесло. Чтобы мог я быстрее найти их убежище...

Постой, постой, может, он нарочно ранил меня, толкнул сзади валун, и я упал, подвернув ногу. Хотел силой заставить подписать эту бумажку. Ай, шайтан..." — застонал пастух.

От тоски Молла-бек снова сел на снег и стал засовывать в валенок шерсть, чтобы больной ноге было теплее.

"Поздно же я догадался, дурная голова..."

Старик шел и вспоминал все, как было. Хотел забыть эту историю, но не мог. Может, если б не ушло стадо, он бы успокоился, Карим бы ему ногу вылечил маковыми зернами.

...В день первого снега прилетел он на вертолете и стал осматривать стадо. Потом сел на валун, вытер пот с лица и сказал:

— Слушай, Молла-бек, тут два яка больны. Могут они все стадо попортить. Увезу-ка я их лечить в село.

— Какие? — удивился старик. Знал он, что все яки здоровы, а если какой и заболеет, то всегда сам лечил их прямо здесь, на пастбище.

— Вон, два крайних. Я им уже ноги обвязал, чтобы энергию не тратили.

Подошел старик к тем якам, осмотрел со всех сторон — яки в неволе вздыхают, бьются мордами о камни. Затем в глаза заглянул, глаза отчаянные, здоровые.

— Не ошиблись ли вы, домла-зоотехник?

— Не ошибся! Ты на язык их посмотри. Печень у них простужена.

Молла-бек открыл якам пасти — языки действительно белые, обложенные, но под языками комочки орлиного помета.

— Это они пометом объелись, домла, — не успел старик сказать это, как вскрикнул от боли — один из яков в грусти укусил пастуха за палец.

— Ах, чтоб шайтан вас!..

— Ты со мной не спорь, отец, — рассердился зоотехник. — Мне за больных яков отвечать. Каждый як восемьсот рублей стоит, не шутка!

— Ну, раз вы так считаете... — говорил старик, а сам думал: пусть яки там, внизу, на хорошем корме немного сил наберутся, впереди зима длинная.

Зоотехник отдохнул немного, затем развязал якам ноги и погнал их по тропинке вниз.

— Может, вам, домла, в помощники мальчика дать? — крикнул ему вслед старик.

— Спасибо, сам управлюсь.

— Ну, с богом! — напутствовал его старик перед трудной дорогой.

После шума вертолета яки становятся очень суетливыми. Целыми днями топали они ногами, высекая искры из камней, и почти ничем не питались.

Стали старик с мальчиком якам под ноги соль бросать, чтобы животные лизали ее и успокаивались. Каменная соль тревогу снимает. Хорошо действует на нервы яков орлиный помет, но его надо долго собирать в пещерах.

...Молла-бек остановился, заметив на камне еще клок шерсти. Значит, правильно идет, по следам. Шерсть он засунул себе в рукавицы и тихо, морщась от боли, пошел дальше.

...Так прожили они с Каримом неделю-другую. И яки совсем было уже успокоились и стали прибавлять в весе. Но тут опять на тропинке появился зоотехник.

Был он какой-то нервный, суетливый, как напуганный як.

— Рад вас видеть, домла. — Молла-бек провел руками по щеке и погладил бороду — таким жестом встречают в горах каждого, кто проделал длинный, благополучный путь наверх.

— И я рад тебя видеть, отец, — ответил устало зоотехник.

Они оба помолчали, посмотрели на яков, на мальчика, сидящего возле юрты со свирелью в руке.

— Путь долгий проделал я из-за пустяка, — сказал зоотехник. — Вертолет на ремонте. Пришел просить тебя, чтобы забрал ты яков из лечебницы. Выздоровели они. Сам я не в силах гнать их наверх. На главной дороге камнепад, может, слышал?

— Хорошо, спущусь я с вами.

Они молча пообедали вместе, затем старик приказал Кариму смотреть в оба за яками, пообещав к вечеру вернуться.

Спускались они по узкой тропинке, сначала Молла-бек шел впереди, затем пропустил зоотехника, а сам поплелся сзади, потом снова был впереди. Так менялись они местами из вежливости — закон гор: передний упадет, задний поддержит.

Вдруг сзади что-то сильно ударило старика по ноге.

— Боже! — закричал он и упал, перевернулся несколько раз и оказался в яме.

Мимо Молла-бека прокатился и рухнул в пропасть валун.

— Проклятый камень сорвался, — огорчился зоотехник, помогая старику встать. Но стоять Молла-бек не мог, тут же упал, ноги не держали.

— Я понесу тебя на руках, — сказал зоотехник. — Село уже близко, увидим его за скалой.

— Нет, что ты, сынок, я полежу немного, отдышусь и пойду.

Зоотехник осмотрел его ногу — лодыжка опухла, ушиб был серьезный.

— В прошлом году точно такой же валун сорвался на меня, — сказал зоотехник. — Только тогда было лето. А сейчас не мудрено и замерзнуть. Пойду-ка поищу поляну и наберу там шерсти, чтобы теплее было лежать.

Зоотехника долго не было, и старик стал уже беспокоиться.

"Впрочем, — успокаивал он себя, — домла хорошо знает горы".

Вернулся зоотехник лишь к вечеру, без шерсти, удрученный.

— Я думал, что тебя шакалы съели, — мрачно пошутил он.

Да, шакалы. Как старик о них сразу не подумал? Ведь не так давно они растерзали одинокого раненого пастуха в пещере.

Стало страшно. Хоть и прожил Молла-бек целую жизнь и подготовил себя к мысли об уходе из этого мира, все равно лицом к лицу с опасностью струсил.

— Ну, как нога?

Старик попытался шевельнуть ею, но только вскрикнул.

— Плохо, — сказал зоотехник. — А знаешь, отец, — неожиданно признался он, — ведь где-то здесь недалеко погибли те два твоих яка. Я ходил проверять их трупы, но ничего не нашел, кроме помета шакалов.

— Как погибли?

— Пока гнал я их вниз в тот день, околели. Слишком больны были, не дотянули... А пришел я к тебе вот зачем: тут есть одна бумажка, ты подпиши ее, чтобы мне оправдаться. Пишу я, что мы вдвоем с тобой гнали яков вниз, что ты свидетель их смерти. — Зоотехник вынул эту бумажку. — От тебя ничего не требуется. И никто ничего не узнает.

Молла-бека бросило в жар от его слов.

"Я ведь тебя любил, домла, а ты мне в душу плюнул. Значит, не все в горах братья, есть и такие, кто идет сзади по тропинке и замышляет зло..." От этих мыслей старик невольно застонал.

— Жить мне мало осталось, домла, — прошептал Молла-бек. — Не хочу прибавлять себе грехов.

— Да каких грехов?! — засмеялся зоотехник. — Здесь в горах никто ни о чем не узнает. Мы одни, свидетелей нет.

"Совесть моя — свидетель, — подумал старик, — от нее никуда не спрячешься".

— Нет, нет, лучше уходи. Оставь меня.

Зоотехник бросил на Молла-бека презрительный взгляд и пошел вниз, оставив его одного.

Старику стало легче, он закрыл глаза, довольный собой.

Но не прошло и минуты, как зоотехник снова наклонился над стариком.

— Послушай, старик, неужели ты хочешь, чтобы я пропал из-за двух несчастных яков.

— Уйди, ради бога, — прошептал Молла-бек с мольбой. — Ничего я не подпишу. Яки были здоровы... Совесть меня замучает и на этом и на том свете, оставь меня.

— Хорошо, ты умрешь. И никто не соберет твои кости. Прощай!

Как только зоотехник исчез за скалой, старика снова охватил страх. Скоро ночь, и должны прийти шакалы, они, видно, уже прячутся за валунами, ждут.

Глупая смерть. Молла-бек всегда думал, что умрет спокойно, среди яков. Два яка лягут, и пастух сядет между ними, зароется в их шерсть, и яки долго будут согревать его тело. А потом душа улетит на вершину горы, и какая-нибудь скала обвалится и нарисует нечто, очень похожее на Молла-бека: ведь пастухи не умирают, скалы вокруг очень похожи на ушедших, они стоят, как люди, которые жили среди яков.

"Нет, я не умру! Надо выйти скорее из этой ямы и ползти, не думать ни о чем, ползти к стаду, яки меня вылечат", — решил старик.

Набравшись решимости, он наконец вылез из ямы и стал карабкаться наверх. Тело было легким, видно, вся кровь ушла к ноге, и она, тяжелая и чужая, еле тащилась за стариком. Если бы Молла-бек мог, он бы отрезал и выбросил раненую ногу на съедение шакалам, а сам, легкий и освобожденный, пополз бы дальше, к стаду.

Но уже стемнело, можно сбиться с пути. Здесь, где горы невысокие, тропинок много и в темноте можно уйти по чужой.

Вдруг Молла-бек сполз в высохший ручей и нащупал стенку, сложенную в свое время пастухами, чтобы перегородить воду. Вот здесь, на этой стене, и решил Молла-бек провести ночь. А завтра, с новыми силами, продолжит он путь к стаду.

Уже не помнит Молла-бек, как взобрался он на стену, помнит только запах крови на израненных руках.

Кровь быстро позвала к старику шакалов. Сначала вдалеке они выли, потом, набравшись злости, молча подступили со всех сторон к стене, лязгали зубами и грызли лед.

Потеряй старик волю, он тут же упал бы без сознания. От страха. От боли и усталости. От шакалов, он знал, спасенья не будет. Нет у Молла-бека ни огня, ни ножа, ни веревки — все это так опрометчиво оставил он в юрте.

Что же делать? Бросать в шакалов камни — не поможет.

Эх, если бы увидели старика его яки! Они бы вмиг прогнали этих проклятых шакалов. Его серые, рыжие яки...

Но вот уже вожак полез на стену, и старик отчетливо увидел его грустные глаза — говорят, шакалы жалеют свою жертву. Вот уже его передние лапы, совсем немощные, тонкие, не такие, как у яков.

— Вон от меня! Вон!!! — вдруг встал Молла-бек, затрясся весь и закричал: — Проклятые мошенники! Думаете, что я мертв? Шайтан вас побери!

Кричал он во всю глотку, но не от страха, а от злости, от решимости во что бы то ни стало победить. Что-то в нем пробудилось, что всю жизнь спало, что набирало сил тихо, исподволь.

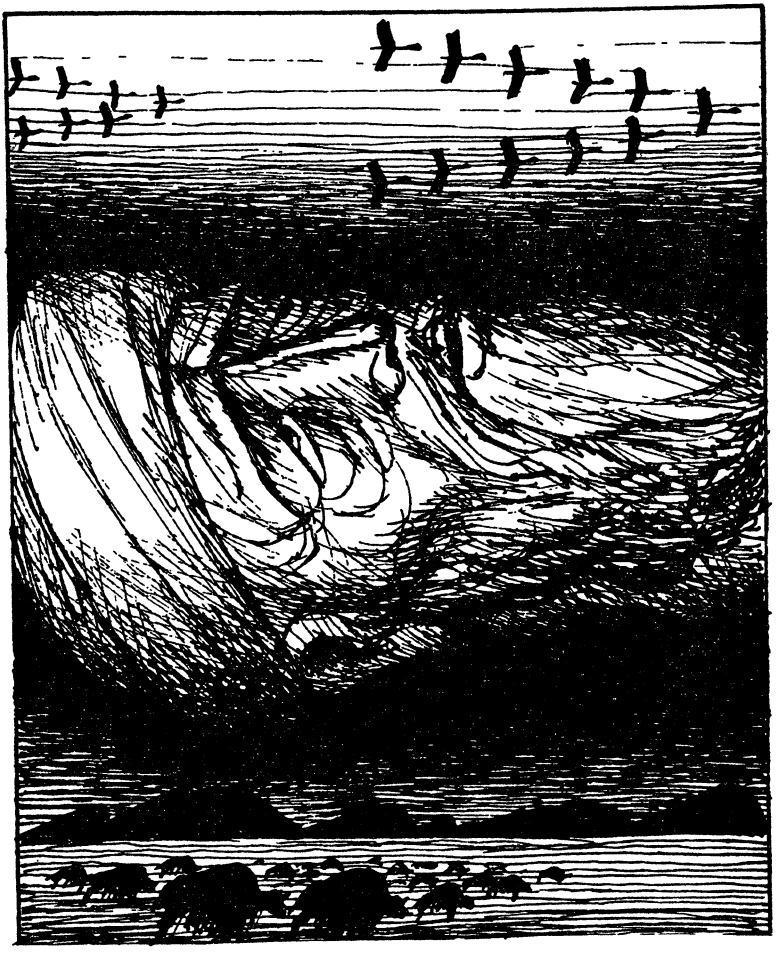
Вожак спрыгнул вниз, стая в страхе заметалась вокруг стены, и шакалы бросились наутек.

А Молла-бек еще смеялся им вслед, кусал в ярости губы и бороду...

Пастух устало опустился на покрытый льдом валун. От воспоминаний у него лихорадочно дрожало тело. Но, может, это не от воспоминаний? Может, нога стала гноиться?

Что бы там ни было, надо продолжить путь. Уже недолго. Яки всегда уходят самое большее за десять километров. Уже пройдено больше половины пути. И в этом месте следы на льду неглубокие — видно, яки успокоились и дальше теперь не бежали, а брели медленно.

Теперь Молла-бек знает, как спасаться от шакалов. Надо подпустить их к себе совсем близко, потом хорошенько отругать их. Крик отчаявшегося человека действует на волков, на диких собак и даже, наверное, на снежного человека. Надо будет рассказать это Кариму.



Старик еще долго будет помнить эту ночь у стены — шакалы выли где-то далеко и подойти к Моллабеку не решались. Если бы даже и подошли, старик придумал бы что-нибудь новое, чтобы прогнать их — криком вторично их не возьмешь.

Только одного не помнит старик — было это во сне или наяву — отчетливо видел он, как под утро над его головой пролетали птицы. Черные большие птицы, не орлы. Странные птицы, не здешние... Нет, наверное, это был сон. Равнинные птицы не могут так высоко подняться в горы...

...Молла-бек медленно, цепляясь за скалу, прошел узкую тропинку и замер от удивления: на большой ледовой поляне мирно паслось его стадо.

Сбившись в кучу, видно, привыкая к новому месту, яки ломали копытами лед и щипали сухую прошлогоднюю траву — мох и лишайник.

"Здесь скудная пища", — смекнул сразу старик. И стоял и смотрел, как ухватившись за горб старого яка, ездил взад-вперед его помощник Карим.

Вдруг один из яков увидел Молла-бека. Тихо замычал. И яки медленно побрели навстречу старому пастуху.

Яки терлись головами о его тело, как бы делясь своим теплом, лизали старику руки и удивленно смотрели ему в глаза, будто спрашивая, что с ним.

Карим подъехал к старику и виновато проговорил:

— Все это из-за птиц, отец. Под утро птицы пролетали над поляной, вот они и сорвались с места. Я совсем из сил выбился...

— Черные птицы? — спросил пастух.

— Черные... Бежали, пока не нашли эту поляну. А где те два яка? Вы ранены, отец?

— Ничего... Только корма здесь мало... Что ж, сами виноваты. Подумать только — птицы понравились! Ладно, за юртой пойдем завтра, а пока заночуем с яками.

Яки послушно опустились на лед, образуя стену, чтобы защитить пастухов от холода, и Молла-бек и Карим легли между их теплыми телами.

Мальчик долго не спал, ворочался, потом сказал в раздумье:

— Видно, в Индию полетели. Там тепло...

1971

ДЕВОЧКА В ПЕЩЕРЕ

В ночь под рождество в нетопленой комнате тихо скончалась старушка Эстер.

Этот прискорбный случай мало кем был замечен из соседей, я же был очень взволнован, потому что на похороны Эстер приехала издалека ее дочь — Камилла.

Прячась за кладбищенской оградой, я наблюдал, как склонилась над свежим холмиком тридцатилетняя, красивая, но уже чуть располневшая Камилла, и

все ее существо выдавало в ней человека, спокойного и довольного жизнью.

Когда два-три старика, которые сопровождали гроб, ушли, Камилла окликнула сторожа и, протягивая ему деньги, сказала:

— Позаботьтесь об останках моей матери. Мне надо уезжать!

Сторож подобострастно кивнул и обещал, что непременно закажет плиту у самого известного мастера. И спросил:

— Как прикажете — вырезать ли на плите изображение покойницы?

— Да, непременно, — распорядилась Камилла. — В жизни она была великой мученицей и заслужила того, чтобы на нее смотрели как на святую.

Сторож после таких ее слов почему-то криво усмехнулся и, поклонившись, удалился.

Камилла уже выходила из-за ограды, когда я бросился к ней и так сильно сжал от волнения ее локоть, что она застонала.

— Так вы не глухонемая?! — спросил я, хотя вопрос был глупым и неуместным.

К моему удивлению, она быстро узнала меня, когда успокоилась, и сказала чуть устало:

— Что с вами и почему вы прятались?

— Вы уезжаете?

— Да, через два часа. Помогите мне поймать машину.

Мы молча вышли на дорогу, и я был рад, что Камилла не расспрашивает о моей теперешней жизни. Я же, человек любопытный, все искал случая поговорить с ней, но время и место были не совсем подходящие: мимо нас одна за другой проезжали, не останавливаясь, машины и густо валил снег.

Наконец пересилив робость, я спросил:

— А помните, Камилла, как вы прятались в пещере? И как я поймал вас и передал в руки отцу? А вы на меня страшно разозлились... Простите, — сказал я с легкой беззаботностью, скрывая чувства.

— Ах, чудак! — рассмеялась она великодушно. — Успокойтесь, я вас давно простила... Моя детская шалость стоила мне потом многих мучений — меня оторвали от семьи, и с тех пор я не видела ни отца, ни матери... Но все прошло, и сейчас я счастлива с мужем и детьми, к ним я и спешу сейчас...

Камилла села в такси, помахала мне, и мы расстались на этот раз, кажется, навсегда.

Я не знал, куда себя деть. В душе было горько и пусто, и не потому ли мне так захотелось снова побывать в той пещере за городом?

Несмотря на снег и стужу, я темными переулками, прячась от людей, пошел на окраину, а оттуда, по узкой тропинке мимо скал — к пещере.

Убедившись, что никто за мной не следит, я вошел в пещеру, освещая себе путь фонариком.

Маленькое озеро в самом центре пещеры дохнуло на меня теплыми парами; я умыл лицо, затем стал подниматься на верхнюю площадку, где всегда сидел в одиночестве.

В пещере я не был с осени, и за это время пары озера застыли на потолке причудливыми рисунками льда и инея. И козьих следов как будто стало больше у озера.

Посидев немного и успокоившись, я достал из расщелины письмо, то, которое оставила здесь для меня Камилла много лет назад.

"Я знаю, что ты немножко трус, но не бойся, — писала она знакомым детским почерком. — Если хочешь, живи со мной в пещере. Здесь мы будем свободны, никто не станет лгать, здесь нет жестоких и злых. Не бойся голода — козы и овцы приносят мне сыр, а беркут — хлеб в мешочке на шее... Мы соберем здесь всех детей, которых обижают, приходи, я знаю, что и тебе трудно..."

Как всегда бывало, прочитав письмо маленькой Камиллы, я почувствовал умиротворение, потушил фонарик, и в полной темноте ко мне снова явилась девчонка.

— Здравствуй, — сказал я ей...

...С этой девчонкой мы жили на одной улице и учились в одной школе, но в разных классах, она в женском, я в мужском. Была Камилла тихой и мечтательной, совсем не такой, как я, озорной и суетливый, — вот эта разность характеров и не давала нам наскучить друг другу.

После уроков мы не сразу отправлялись домой, шли по каким-то бесконечным улочкам, вечно пыльным и знойным, и я как мог веселил ее, печальную.

Показывал ей разные фокусы и говорил, например, что могу даже проглотить карандаш — раз плюнуть! Я давился, но терпел и ждал, пока она, сжалив-

шись надо мной, не отбирала у меня злополучный ка рандаш.

Однажды она спросила, могу ли я взорвать ее дом, облив его рыбьим жиром, и я поразился ее жестокости.

В то время Камилла хворала, и врач приказал ей пить рыбий жир, но он, видно, порядком ей осточертел, вот она и принесла бутылку, чтобы спалить дом.

В подвале дома мы сложили сухие листья и бумагу. Камилла очень сосредоточенно смотрела на меня, но рыбий жир только наполнил подвал горьким дымом, мы задохнулись и выбежали. И, не зная, что делать дальше, решили от скуки пойти в кино.

В кино показывали про какую-то славную семью, в которой девочка мечтает про щенка, прямо бредит им и наконец заболевает от тоски. А мама и папа, не зная, как ее вылечить, покупают этого самого щенка, и он, тявкнув, выползает утром из-под кровати девочки, и девочка эта, счастливая, сразу выздоравливает.

В картине было еще что-то про эту семью и про жизнь взрослых, я уж точно не помню что, помню только, как Камилла сказала:

— Все это вранье про взрослых. Я не верю...

— Да ты сама все выдумала про себя, ненормальная, — сказал я Камилле и стал спорить, но она молчала, потому что не любила два раза повторять сказанное.

Хотя я и не был с ней согласен, все же стал часто думать над ее словами о взрослых. Как-то я сидел на уроке, вертелся как юла, тревожный, и, случайно выглянув в окно, увидел во дворе школы Камиллу.

Она стояла, прислонившись к забору, и, кажется, плакала.

Я попросил учителя, чтобы он разрешил мне выйти из класса, но получил отказ, не выдержал, схватил портфель и убежал вон.

Камилла и вправду плакала. Я спросил, что с ней, но она упрямо молчала, затем, резко повернувшись, ушла.

Целых три дня ее не было в школе, и я бродил возле ее дома, и хотя ни разу не видел Камиллу, зато многое узнал о том, как она живет в семье.

Отец Камиллы, бухгалтер Акман, уже давно встречался с учительницей своей дочери, и об этом знала вся школа, кроме меня. Учительница, вдова Омелия, делала все, чтобы Акман разошелся с семьей, но он почему-то не торопился. И когда он приводил Омелию домой, то всегда прогонял тетю Эстер и Камиллу, и им приходилось ночевать у соседей или на вокзале.

Тетя Эстер, обезумевшая от унижений, срывала зло на Камилле — так что и мать и отец причиняли ей одни страдания.

Соседки советовали тете Эстер уйти от Акмана, но женщина, видно, страшилась одиночества и готова была терпеть все, лишь бы не потерять мужа.

Омелия, эта классная дама с окаменевшим лицом, всегда всем недовольная, ненавидела Камиллу и унижала ее перед всем классом за малейшую провинность, и так до тех пор, пока однажды Камилла не пропала — не вернулась после школы домой...

В те дни, весной, вокруг дома буйно выросла трава, я лежал на ней и думал, как помочь Камилле. Мысли мои неожиданно были прерваны криками Акмана, который прибежал ко мне и схватил за ухо, требуя, чтобы я сказал, где прячется его дочь.

Я поклялся, что не знаю, в конце концов он мне поверил, но приказал, чтобы я отправился с ним на поиски.

Мы начали с осмотра чердаков и подвалов, а Камилла, оказывается, уже была далеко от города, вот в этой самой пещере.

Весной и летом здесь жил старый пастух, и в тот самый день, когда Камилла решила остаться в пещере, пастух пригнал сюда свое стадо с зимовки.

С охапкой сена для постели пастух зашел в пещеру, и Камилла, увидев человека, в ужасе побежала на верхнюю площадку.

Пастух ничего не спросил и быстро вышел, чтобы не тревожить беглянку. Он решил, что, когда девчонке наскучит одиночество, она сама придет к нему и будет помогать пасти коз.

Камилла в страхе прождала его весь день, но пастух ушел со своим стадом далеко от пещеры, на поляну.

Перед ужином старик вдруг вспомнил о беглянке и, решив сделать ей приятное, привязал к шее козы мешочек с овечьим сыром и послал животное в пещеру.

Камилла не знала, что и думать, когда увидела эту необычайную гостью, и, сочинив для успокоения сказку о добром гноме, который подарил ей сыр, уснула.

Утром она выкупалась в озере, причесалась и стала ждать в гости самого гнома, но снова у входа заблеяла коза, и вместе с ней два ягненка прыгнули в пещеру, неся завтрак.

В тот же день Камилла села и стала писать своим подругам, приглашая их жить с ней на свободе в пещере.

Письма эти она клала в мешочек на шее козы и просила всех, кто их найдет, послать по адресам.

Старый пастух в скучные часы одиночества читал их при свете фонарика и тихо плакал, кусая бороду.

Письмо ко мне Камилла почему-то не успела послать, и много дней спустя я нашел его в расщелине — и вот оно у меня в руках.

Прошла неделя, и поиски привели наконец меня и Акмана к той самой поляне, где жил пастух.

Акман очень любил вызывать к себе жалость и каждому встречному подробно рассказывал о своем горе. Он показывал на меня и говорил:

— Вот этот наглец ее друг! — и давал мне оплеуху.

Не успели мы поздороваться с пастухом, как Акман сказал, показывая на свою бороду:

— Посмотрите, на кого я похож — на странника, юродивого. И все из-за того, что сбежала моя единственная дочь. — И добавил, что человеку, который ему поможет, он готов заплатить любые деньги.

— Сколько? — оживился пастух.

Я уже точно не помню, сколько обещал Акман, но пастух просил прибавить; так торговались они до самого вечера, потом ударили по рукам.

Пастух, взяв с собой веревку, повел нас к пещере, и мы увидели, что Камилла купается в озере.

Она застонала и еле выкарабкалась на берег. Акман с проклятиями бросился за ней, но упал, и только я, самый ловкий, догнал Камиллу и повалил ее на камни.

Пастух связал ей руки и ноги веревкой, но Камилла молчала. Только раз, на берегу озера, мы услышали ее стон, а потом она лежала и, безразличная ко всему, смотрела, как отец считает деньги, которые он обещал пастуху.

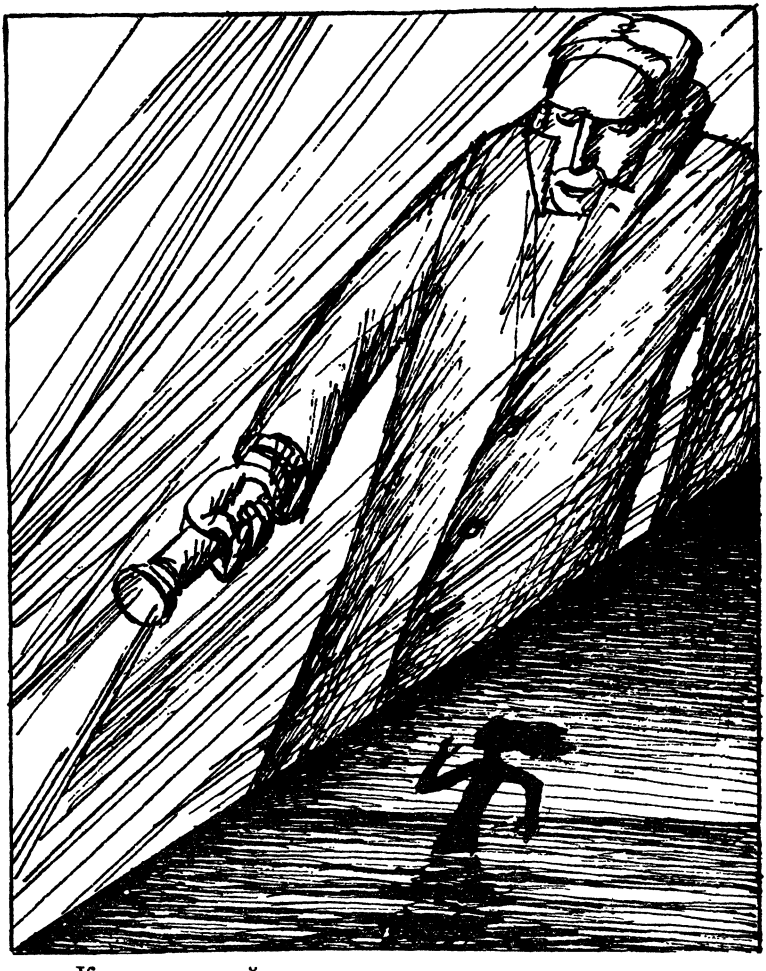
Мы везли ее на повозке, и только у самого города Акман развязал дочери руки. Он злился, ругал Камиллу и даже ударил ее, но у нее был такой вид, будто она не слышит его и не может ответить.

— Ты что, язык проглотила? — кричал Акман. И обращался ко мне: — Спроси, почему она это сделала?

Я бормотал что-то невнятное, но и меня она не слышала и не понимала.

Не понимала она потом ни мать, ни подруг, ни учительницу и только безразличным взглядом следила за губами говорящих.

Акман показал ее известному врачу, и тот сказал,



что Камилла действительно потеряла слух и речь, видно, что-то сильно напугало ее в пещере.

И только я один знал, что с ней творится — Камилла как-то сказала, что она завидует глухонемым детям, которые не могут слышать ни отца, ни мать и не отвечают им.

Я вспомнил об этом, но решил молчать. А вскоре родители послали Камиллу в чужой город, в приют для глухих и немых детей, и с тех пор я ничего не слышал о ней...

Я включил фонарик и еще раз оглядел пещеру,

потом засунул письмо Камиллы обратно в расщелину.

И, поежившись от холода, подумал: сейчас зима и чувства детей как бы притуплены, но придет весна, когда человек рождается заново и когда он особенно чувствителен к злу, и тогда через поляну, усыпанную маками, побежит к пещере какая-нибудь девчонка. И может быть, это будет моя дочь — кто знает...

1972

БРАСЛЕТ

В доме, где всегда было сытно, благополучно, разве что, кроме четырех военных лет, вдруг что-то переменилось и стало неуютно, серо и тревожно. Сын, который был далек от отца, должно быть, позже всех заметил, каким стал непохожим на себя отец — тихим и нелюдимым, и где ни увидишь его — возле лестницы на мансарду, в летней комнате, сидящим прижавшись к матери, на старом, пыльном диване, — он все шепчет что-то матери, медленно и как будто убедительно. Удивительно, вдруг достали откуда-то старые вещи, полупотертые, полуистлевшие, шести-восьмилетней давности, времен послевоенного возрождения — все резиновое и суконное — и стали носить. Сади тоже осторожно так и деликатно советовали по возможности перейти на старое, но особенно не настаивали, потому что сын кончал школу, и успешно. Мебель и ковры тоже незаметно меняли, спускали из мансарды потертые стулья и железные кровати вместо деревянных с матрасами и делали все это, когда Сади не было дома. Сын возвращался и только видел, что опять что-то из старого, военного заняло место в комнате, это его смущало, он пытался спросить, но знал, что опять будут лгать, оберегая его нервы перед экзаменами, скажут: "Да так, ничего особенного, решили кое-что продать, чтобы построить в нижней части двора две комнаты. Но может, не будут продавать, надо еще подумать. Просто новая идея у отца..." За всех объяснял дядя. Сади почти всегда видел его возле умывальника — дядя приходил помогать спускать старую мебель, у него было не в порядке с горлом, и его мучила пыль, но он терпел, потому что это называлось "братской солидарностью". Он так и говорил:

— А кто, если не родной брат? Вот в такие дни и познается братская солидарность.

Дядя где-то работал, но Сади не знал где, только чувствовал по тону отца, по еле заметному, но так бросающемуся в глаза небрежному отношению, что дядя ниже отца по должности. И мать иногда любила без нажима вставить в разговор: "Это так на вашего брата похоже..." Нет, дядя тоже, как и отец, приехавший из голодной деревни в город где-то году в двадцать втором, за эти тридцать лет основательно выбился в люди, но отец выбился особо. Он любил подчеркнуть, что никому во всем городе не подчинен и что лично и прямо, минуя все ступени городской власти, подчинен столице. А поскольку столица далеко и никто из начальства не едет его проверять, ибо доверяют ему, то можно сказать, что он никому не подчинен. Называлась его должность несколько странно — "уполномоченный по культам", и, должно быть, эта странность и была больше всего убедительной в глазах Сади и окружающих, когда говорил отец о своей неподчиненности. Впрочем, сыну было все равно, он не вникал, только раз подумал, что действительно странная должность, из того ряда, скажем, что и "инспектор по кучевым облакам" или же "скупщик мертвых душ", что-нибудь сказочное, фантастическое. Да, да, ближе к этому — "скупщик мертвых душ", как забавно — ха-ха-ха!

И стало это Сади ясно в день, когда было сказано ему шепотом, что отцу надо на время исчезнуть совсем; всем, кто будет о нем спрашивать, говорить: уехал в столицу, на сколько, неизвестно, сам же отец будет прятаться в мансарде и не вылезать оттуда ни днем, ни ночью, и, чтобы ему было чем заняться, подняли наверх мешок маиса, отец будет тихо толочь его в ступе... Сын поднялся и посмотрел — вся новая мебель была теперь в мансарде, и отец, босой, зажав медную ступу между коленями, уже постукивал: увидев сына, он смутился и опустил голову.

— Ну что такое? Сколько можно? Чтобы лгать, я хоть должен знать! — вскричал Сади, и тогда дядя отвел его в угол комнаты, решившись рассказать. Как переменился дядя, все отцовское перешло к нему: и тон, и походка, и так естественно, незаметно — ведь недаром братья.

— Твой отец... — начал дядя так, как если бы мать говорила о нем самом: "Это так похоже на него". — Словом, вышло нехорошо...

И Сади узнал о том, о чем уже давно догадывался

по шепоту и отдельно услышанным фразам: "Сукно", "Ну, где взять столько?"

Недавно отец уволил старого работника и взял на свою голову дьявола, мошенника, вымогателя, который один был и завхозом, и бухгалтером, и сторожем, поскольку контора все же маленькая, — некоего Сафарова. Начали работать. Приходит в тот черный день отец в контору, как обычно чуть возбужденный — рядом осетин сухое вино держит в лавке, — в свой серый, одноэтажный домик из двух комнат, смотрит, в кабинете окно, что выходит во двор, выбито, и красного сукна на столе нет. Кража! Замечательное толстое сукно на пальто, хотя и красное, для дамского пальто.

Отец разволновался: дьявол, вымогатель только лишь еще испытание на честность проходил, и вот случилось... Разговор хотя и короткий, но нелицеприятный и резкий. "Где сукно?" — "Откуда мне знать?" — "Но ты ведь здесь ночевал" — "Да, ночевал, но последним вчера вы уходили, вспомните-ка..."

Отцу, человеку вспыльчивому и подозрительному, вдруг показалось, что Сафаров и не тем тоном говорит, и не так, а главное, не то, будто намекает на что-то, лукаво прищурившись. "На что ты намекаешь? Раз я последний, значит, я и унес... на пальто?" — "Как хотите, понимайте... но я раньше ушел, чтобы заступить к двенадцати" — и это, должно быть, было последнее, что сказал в тот день вымогатель. Словом, отец ударил его стулом по черепу, проломил... Сафаров, придя в сознание на третий день, сказал на свидании матери, что, пожалуй, за пятьдесят тысяч он мог бы отказаться от суда... Мать два раза в день носит ему съестное в больницу — вымогатель оказался без семьи, — вполголоса торгуется с ним, сейчас остановились на сорока тысячах, и больше ни рубля не уступает... скажет, что сам упал со стула.

Что-то во всей этой истории, такой серьезной, было юмористическим, что-то такое полуправдоподобным, поэтому Сади сразу почувствовал: отец выкрутится, не посадят его. Может, впрочем, это юмористическое ощущается оттого, что именно дядя ему рассказал всю историю, не сам отец и не мать, дядя напрягается, чувствуя себя теперь на месте отца, главой дома, но не очень-то это у него выходит — смешон. А может, оттого, что все, чем занимался отец, было полуправдоподобным: сама должность — "уполномоченный по культам", и сам образ его жизни, — вот и попал он в такую историю, которая как будто была нарочно создана для

него. Хотя и было твердо решено остановиться на сорока тысячах, отец все же сомневался — мало ли что может прийти Сафарову в голову, мало ли чему могут научить его недоброжелатели отца — четыре соглядатая работали на отца, каждые шесть часов приходя в дом с узнанным, подслушанным. До вчерашнего дня Сафаров вел себя прилично, но то ли просто выболтнул, то ли умышленно, чтобы ускорить дело, сказал приятелю, что был отец в то утро пьян на работе, возбужден... Соглядатаи донесли, что в городе пошел разговор о том, что уполномоченный, кажется... дядя посоветовал отцу, пока соберут сорок тысяч, уехать, но отец решил отсидеться в мансарде, чтобы держать в руках собственное дело, никому не доверяя.

Тихо позванивает медная ступа...

Кое-что продали — зеркала и китайский фарфор, дядя прибавил десять тысяч к тем, что всегда имелись дома, и к сумме, требуемой вымогателем, недоставало теперь пяти тысяч. А время шло, Сафаров выздоравливал и уже поговаривал о скором выходе, а по условиям, если ко дню его выхода полная сумма не будет собрана, договор, естественно, разрывается, и дело о тяжком преступлении идет в суд.

Сверху доносилось тихое постукивание — перемалывался маис, отец спускался лишь после полуночи, но нервничал и стонал во сне, и хотя пожелтел и осунулся в мансарде, все равно спокойнее чувствовал себя в окружении ее сырых стен.

— Попадись ты в руки нравственного судьи, он, увидев, как ты себя добровольно заточил, вмиг бы прекратил дело, — сказал не без доли иронии дядя. И должно быть, пожалел, потому что при слове "судья" отец побледнел и быстрее, чем обычно, стал подниматься в свою мансарду.

— Все, довольно, надо продавать ковры и мебель! — вскричал дядя, затем сел устало, зная, что мать на это не пойдет.

Мать вообще страшно изменилась, некогда красивая таджичка, с белым чувственным лицом, она стала носить отцовский китель с широкими подложенными плечами, откуда-то достала мужские очки и то и дело постукивала на счетах, подсчитывая и записывая столбики цифр. Лицо ее стало жестким, а губы стянулись и чуть посинели — таковы, видимо, правила естества, стоит женщине даже представить, что муж ее вышел

из привычного семейного круга, как все в ней стягивается и огрубляется, чтобы выскочить за пределы своего пола.

Ковры и все новое решено продать на худший конец, ведь вместе с ними пришло в дом ощущение достатка и благополучия, сразу удалив в прошлое все военное, и теперь ради какого-то вымогателя, чтобы все опять вернулось... Нет, так жить нельзя.

Мать долго терпела, а отец, видимо, в те редкие минуты, когда не стучал в ступе, ждал, что услышит ее голос: ''Ладно, отнесу браслет'', старинный, передаю-

щийся из поколения в поколение, с условием: не продавать даже в самые черные дни. Что-то там было в этом браслете, какая-то тайна, заклинание...

— Я знаю, тебе этот браслет давно не нравится...

— Да, честно признаться, какая-то вещь, пришедшая из прошлой эпохи, связанная с богатством и человеческим унижением, и лежит без движения, держа в себе неиспользованный капитал. Это расточительство. И при нашем-то положении. Грех!

— И действительно... — все боролась с собой мать, — где мне в нашем городишке носить такую прекрасную вещь. Свадьбы сейчас такие убогие. Не на собрании жилищной комиссии и не на родительском в школе блистать браслетом?! Кругом вечно накурено, бумаги в корзинах, запахи...

— Да, запахи меня просто замучили, — вставил дядя, потирая больное горло.

То ли сам разговор утомил Сади, то ли просто день был слишком солнечный — с утра он чувствовал себя нервно, а сейчас и вовсе забеспокоился без всякой причины — и вышел на улицу. "Интересно, любят ли они друг друга?" — подумал сын.

— Вечером вместе отнесем браслет! — крикнула ему мать и осталась думать, кто из знакомых мог бы быстро и выгодно купить браслет. У кого есть наличными пять тысяч? Ну, в крайнем случае, за четыре тысячи. Мать когда-то из простого любопытства показывала ювелиру, и тот оценил в четыре. Но надо стоять на пяти, тогда завтра же отца можно торжественно вызволить из его заточения.

— Вот это преданность, — сказал дядя, — ради мужа — самую дорогую свою вещь, можно сказать, память рода и так далее...

Вечером мать и сын пошли, и мать все шептала Сади на темных улицах:

— Ты ведь понимаешь, мало ли кто может встретиться в этих переулках.

Сади молчал и кивал, а мать удивлялась его равнодушию: столько дней уже в доме разговор об этих несчастных сорока тысячах, а он хоть раз бы поддержал, взволновался. Мать начертила и показала ему схему улиц, сохранивших еще свои старые, причудливые названия: "Куйи мургкушон" — "Улица убивающих птиц", "Махаллаи кухна" — "Старая еврейская слобода", "Кыргыз-оим" — "Госпожа киргизка". Здесь, по ее предположениям, и должны жить покупатели браслета, а он опять ничего не сообразил, спросил:

— А почему именно вечерами?

— Да очень просто, люди дома, неужели непонятно? Ты меня удивляешь...

Сади удивляло другое, как мать довольно точно нарисовала схему улиц, — еще один скрытый талант. За эти дни у нее обнаружилась масса иных достоинств, противоположных женским, — запаяла что-то в кране водопровода, развела столярный клей для дивана... Теперь на всякий стук в ворота она выходила спокойно, с бесстрастным лицом и лгала об отце очень умело, без волнения в голосе: отец же по-прежнему бледнел, дядя закрывался в зимней, темной комнате, куда даже с обыском не зайдут, — такая она маленькая и пустая.

Сади ждал у ворот, пока мать торговалась, ему было немного стыдно — вдруг повстречается какой-нибудь сокашник и, увидев тихого Сади, чутьем догадается, что пришел он сюда с матерью продавать браслет. "Ну вот, дружок, а ты всегда был так уверен, так сыт и опрятен..." На что он хотел бы ответить: "Это вам так казалось, на самом деле я очень робок и сомневаюсь..." — как будто это могло убедить...

Мать выходила и долго не могла успокоиться, пока шли к следующему покупателю:

— Черта с два с этой публикой! Бабы позабыли блеск золота, а мужики — ни один не сделает широкий жест: "Беру за пять тысяч этот браслет, чтобы бросить к ногам жены!" Все жмутся, пробуют на вес, на зуб: "А не фальшивый ли? Да что вы, дорогой! У нас таких денег сроду не было".

Еще в два дома заходила, вышла, потеряв уверенность: а может, не удастся целиком продать, придется распиливать и предлагать по частям ювелирам и зубным врачам.

— Подумала о врачах и вспомнила. Каражан! Она все мечтала о таком браслете, говорила: "Были бы у меня деньги..." Сейчас она врач, разбогатела. Но гордячка, строптивая, и тогда была гордячкой... Порадуется, увидев меня торгующей... Надо что-нибудь придумать поубедительнее. Может, какую-нибудь легенду? Она полна предрассудков...

Сади ждал теперь возле двухэтажного дома с освещенными подъездами где-то в квартале "Разбивателей фисташек".

"Да любят ли они друг друга?" — от нечего делать подумал сын и решил, пока мать торгуется, вспомнить все, что знал о своих родителях.

Кто-то стоял и смотрел на Сади из-за угла дома — он это сразу заметил, как только подошли сюда с матерью. Человек явно не прятался, а, наоборот, стоял так, чтобы его видели, но не полностью вышел, ибо оставлял для себя возможность в случае надобности быстро скрыться. Поведение человека явно заинтересовало Сади, и он уже не думал о любви матери и отца, только мелькнуло: "Ведь права была, опасно одной..."

Сади, видимо, тоже заинтересовал человека, он вышел к освещенному подъезду — это оказался мальчик одного с Сади возраста, наверное, тоже десятиклассник, и потому Сади успокоился, ободренный таким родством.

— Нет у меня ни спичек, ни сигарет, — как-то само собой вырвалось у Сади.

Мальчик подошел и выразительно глянул на Сади, оценивая и сказав тихо: "Хорошо", вернулся на свое место в углу.

"Как он меня раздражает", — подумал Сади, — не люблю, когда смотрят в упор".

Мать вошла в средний подъезд, и он еще успел заметить, как тяжело она поднималась на второй этаж. Чтобы скрыться с глаз мальчика, он зашел в подъезд, повернулся и чуть было не столкнулся с возбужденным, со сверкающими глазами знакомым лицом. Это была Массис. Сразу узнал ее, будто ждал и думал о ней, все от нервного напряжения.

— Европеец? — закричала Массис, удивившись и обрадовавшись. — Как ты? Что ты в нашем подъезде? — И тоже вся напряглась, желая угадать и даже в волнении взяла его за руку. — Ну, здравствуй...

— Здравствуй... Жду я... А ты как?

— Любимую? — спросила Массис как будто с иронией.

— Ага, — кивнул Сади неуклюже.

— В этом подъезде только я одна... любимая. — Что-то в ней было такое странное, вся она как будто светилась.

— Ты что, лицо помазала чем-то... Я мать жду, сказала: "Зайду на минуту к знакомой". Ты ведь знаешь женщин, как встретятся, так...

— Как же, эту породу хорошо знаю... Я сразу поняла, что обманываешь. Я бы прямо упала со смеху, если бы увидела тебя с девушкой...

— Это почему же? — обиделся Сади. — "Зайду, — сказала, — на минуту..."

— А ты не волнуйся. Хочешь, я побуду с тобой за

компанию? — Массис вывела его за руку из подъезда.

"Но почему она вся будто светится?" — не понимал Сади.

— Да ты умрешь, ты бы в жизни не ждал у подъезда... Скорее она бы тебя ждала, — сказала Массис и как будто смутилась... — Да ничем я не мазалась, посмотри. — И она прижала его ладонь к лицу. — Что я, старуха?

Сади не заметил, как тот мальчик приблизился к ним, Массис каким-то чутьем это почувствовала и сказала, не оборачиваясь:

— Да не ходи ты за мной... Это Азим, — объяснила Массис Сади. — Не бойся, он добрый и не дерется. Один раз на пляже я его ласкала, ну, гладила, он как овчарка добрый. Тогда он расплакался. А мне противно стало...

Сади было странно все это слышать — он оглянулся и увидел, что Азим опять вернулся к своему углу.

А они прошли к концу переулка и повернули обратно, в это время и женщины вышли к подъезду.

— Ну, что вам так не терпится — день раньше, день позже, — холодным, укоряющим тоном говорила Каражан матери.

— Мама, — сказала Массис и, поняв все, внимательно посмотрела на Сади. — Странно, как же они?.. — И пошла, а Сади остался стоять сконфуженный.

— Массис, с кем ты там? — спросила Каражан.

— С Сади...

— С Сади? — переспросила мать. — Это мой сын, Каражан... Дети наши познакомились, как хорошо. Всего доброго, Каражан, до встречи послезавтра...

Не успели Каражан и Массис подняться к себе на этаж, как мать дала волю своему раздражению:

— Сколько спеси, боже мой! Черная вся, черная! Ты слышал, как она со мной разговаривала?!

— Купила? — спросил, чтобы поддержать разговор, Сади.

— Ты бы видел, какая она пришла в двадцать седьмом. Босая, стояла у ворот, вся растрепанная, немытая. Волосы я ей не могла расчесать, комки одни. Приказала снять наголо... А теперь у нее любовник. С любовником решила посоветоваться послезавтра. Как увидела браслет, сознание чуть не потеряла. Деньги у него будет вымаливать...

— А ты как ей объяснила? — спросил тихо Сади,

вспомнив, как увидела его Массис и как она вся светилась, будто это было давно.

— Жалко мне ее было, сиротку. Решили взять в семью — сиделкой к больному деду. Школу заставила кончать. А теперь врач, любовник...

— А кто они, имя странное...

— Уйгуры, кажется, а может, монголы. В общем, оттуда...

Едва они зашли в дом, как отец, забыв об осторожности, быстро спустился из мансарды.

— Ну как? — Видно, был он уже в отчаянии, надоело прятаться и молоть маис, потому-то и спустился раньше полуночи.

— Велела послезавтра еще прийти, с любовником посоветуется. Ты бы видел, какой она стала...

— Не верю я этим женщинам и их любовникам, — раздраженно сказал отец, и Сади заметил, что и раздражается он теперь как-то по-другому — мягче, печальнее. Что-то менялось там в нем исподволь, в мансарде. Походка его стала плавной, и появилась у него новая привычка — жестикулировать и пожимать плечами. Видно, он долгими днями в одиночестве кого-то убеждал в чем-то темпераментно.

— Возьми себя в руки, — сказала мать. И он какой-то нелепый, в длинном, до пят, халате, сел, утомленный, сжал колени и прикрыл их руками, как это делают машинально женщины, а ведь любил он во всем широту и свободу: все умещались за одной половиной стола, а за другой отец, один.

— Дьявол, и этот мулла исчез... Гаиб, — как будто нечаянно вырвалось у отца, и он виновато глянул на мать.

— Да ну, о ком ты? Не дай бог... Ты ведь сам говорил, что это может быть и подвох, — проговорила мать, да так, будто и сама думала о мулле Гаибе.

— Нет, непохож он... Да, я его гнал! Но теперь можно было бы сразу кончить...

Мать и отец были одни, дядя вечерами возвращался к своей семье, а Сади услышал только начало разговора и вышел, чтобы подумать над мучившим его: "Так любят они друг друга?"

Сади знал этого муллу Гаиба и даже как-то подслушал их разговор с отцом. Гаиб был необычайно высокий и полнотелый старик с черной бородой на свирепом лице. И Сади было интересно, как это такой свирепый человек может становиться робким и тихим с отцом.

— Вы понимаете, к чему это приведет? — втолковывал ему отец. — Наша задача, чтобы их было с каждым годом меньше — до полного исчезновения...

— Но ведь она маленькая, человек двадцать вместит, не мечеть, а молебенный дом, — вкрадчиво убеждал Гаиб.

— Недопустимо! В Каратеппе работает мечеть — и хватит! Из Кзылсая туда ходят. Мерки она обслуживает, Карвон, Обинав, на сто тысяч населения — одна мечеть. А сколько среди этих ста тысяч верующих — сто, ну семьсот — больше не будет. Идет на уменьшение. И мы над этим работаем...

— Да ведь и так туда ходят. Снимают замок по пятницам — и тайком... А если бы вы разрешили открыть — благодарность была бы... А так все равно тайно...

— А ты сам кто? — подозрительно глянул на собеседника отец. — Говоришь чисто, по-светски. И рассудительно...

— Так вы — человек светский, я на вашем языке.. Я просьбу привез, здесь подписей сто пятьдесят...

— Нет! Просьбу оставь, но знай — нельзя! Мы боремся с этим... сокращаем...

Ходок Гаиб упорно приходил, всякий раз с новыми просьбами — двести подписей, двести сорок... и отец кричал:

— Будешь еще предлагать мзду — сразу позвоню: увезут! — но упрямый Гаиб, видимо, для того, чтобы совсем не терялась связь с отцом, оставлял самую малость из того, что приносил, — корзину смоквы или связку веников — деревенские дары.

Сади все не терпелось, он ждал, пока отец спустится. Отец был теперь в таком отчаянии, что осмелел, и обедал и ужинал со всеми внизу, и, когда мать гнала его опять наверх, он делал обиженное лицо, словно ребенок, которого незаслуженно наказывают. Мать понимающе жалела его:

— Я все вижу, трудно, тоскливо, но потерпи еще день-два.

И Сади в такие минуты казалось, что отец и мать любят друг друга. У него дерзкая мысль мелькнула: "Вот было бы наоборот: мать — мужчиной, а отец — женщиной, сотворилось бы так сначала, они бы любили друг друга". Мысль эта была просто забавной, и Сади недолго думал о ней, забыл.

Сади не терпелось надеть снова браслет. Что-то в нем было, в этом браслете, какая-то загадка... Сади

чувствовал это всегда, он знал, где лежит браслет и куда мать прячет ключ от сундучка.

Когда никого не было дома, Сади от нечего делать надевал этот браслет и поднимался на площадку к мансарде, и там, возле большого кувшина, где хранилось масло, с ним случались странные вещи.

Впрочем, ничего странного! Сади казалось, что на него смотрят откуда-то сверху, может, с соседней крыши, но это неважно. Он разглядывал браслет, три его рубиновых камня, подвески, идущие от двух золотых роз по бокам, и ему слышалось, как говорят: "Боже, как ты красив, у тебя мягкие волосы. Ты ни на кого не похож... Люби меня..."

Сади слушал с наслаждением — он был готов любить, он желал любви...

Но все уходило, когда он снимал браслет и спускался во двор — становилось тоскливо и серо, и он чувствовал себя таким усталым, словно пережил непосильное напряжение.

Но, может, ему просто все это казалось? Может, дело не в браслете? При чем здесь браслет, когда молодому человеку хочется любви? Это ведь так естественно, ничего загадочного, сверхъестественного, никаких тайн. А браслет Сади надевает просто потому, что любит красиво сделанные вещи, таким он родился, утонченным, чувствительным.

Услышав, как снизу донесся голос отца: "Не знаю, что со мной, не радует меня больше твоя еда", — Сади надел браслет и вдруг снова почувствовал на себе взгляд: "Боже, как ты красив, у тебя мягкие волосы. Ты ни на кого не похож... Люби меня".

Сейчас это был не просто голос, неизвестно чей, так говорила ему Массис, и вся она светилась...

Едва мать зашла в подъезд, как Азим вышел из своего угла и направился к Сади. Он был в черном свитере и сам очень мрачный, и, глядя на него, у Сади мелькнуло как спасительное: "Он ведь добрый..."

Азим не остановился, а прошел мимо Сади к другому углу дома, лишь сказал тихо:

— Знай, я ее люблю...

Сади удивился его словам и пожал равнодушно плечами, подумал: "Вот тебе добрая овчарка". И снова, как и в первый раз, он чуть не столкнулся с Массис, выбежавшей из подъезда, восторженной и светящейся.

— Я тебя в окно увидела... Пошли, женщины будут долго торговаться.

— Куда? — и хотел сказать: "Вчера я слушал твой голос", — чтобы заинтриговать ее, но вместо этого подумал: "Ведь мать так волновалась, когда шла сюда. И отец так нервничал, провожая ее, у него сосудик в глазу лопнул, и глаз покраснел..."

Массис как будто удивилась и обиделась его вопросу, но, зная хорошо Сади, скрыла обиду и сказала простодушным тоном:

— За домом пустырь. И там два гладких морских камня, посидим... Не бойся, с той стороны наше окно, и мы увидим, когда женщины закончат торг. Мать сразу бросается открывать окно, чтобы проветрить, — это ее невроз... А пока гости, она терпит и почему-то не открывает, даже летом...

Сади стало весело, и он подумал, что с ней и впрямь забавно и интересно, и пошел.

Массис смотрела на Сади с какой-то робкой боязнью, будто он был таким огромным в ее глазах, что подавлял.

— Тебе через пять дней семнадцать?

— Да, откуда ты знаешь?

Массис рассмеялась:

— Очень забавно... Это правда, что есть у вас такая семейная легенда о браслете?

— Да, что-то я слышал, — смутился Сади — ему сразу представился торг, отец в мансарде, мать, считающая на счетах, и дядя, чихающий от пыли старой мебели, и он затосковал.

— Забавно... Но почему именно в семнадцать лет?

— Не знаю... Разве в легендах есть логика? — поучительно сказал Сади.

Они были на пустыре, возле этих двух гладких камней, а недалеко, освещая все, горел костер, приносящий запахи листьев, резины, бумаги.

Камни действительно были как выточенные, серые с красными пятнами, и теплые, будто на них только что сидели другие.

— Костер горит все время, уже много дней. — Массис села совсем близко от него, и, несмотря на громкий треск огня, было слышно, как она дышит.

— Ты вот сказал: "В легендах нет логики". — Решила она в тон ему поспорить на серьезную тему, но Сади перебил ее, засмеявшись:

— Забавно... — Он вдруг почувствовал, что ему хорошо здесь, все удалилось: эти сорок тысяч и мансарда с отцом, он решил быть честным и великодушным.

— Массис, честно, я ведь ничего не знаю об этой легенде...

Массис глянула на него испытующе и тоже рассмеялась:

— Все ясно. Мать скрывала от тебя легенду, потому что отчасти она касается тебя. Ты нервный, впечатлительный... Но теперь вся опасность позади, не бойся, мать покупает браслет для меня...

— Покупает? Значит, все кончено. — Он почувствовал себя так свободно.

— Оказывается, в вашем роду, в каком-то поколении не было мальчиков. И все горевали, ибо роду наступал конец... А наши предки ведь были все с неврозами, им важен был род. И вот нашлась такая предсказательница, которая якобы приносит твоей бабушке или прабабушке браслет и говорит: купите. Назвала какую-то ужасную сумму. И тот, кто будет носить его, родит мальчика. Но условие — браслет должен переходить от семьи к семье, и за несколько дней до того, как мальчику исполнится семнадцать. Если же не передать, во-первых: дальше уже опять в роду мальчиков не будет, во-вторых, самое ужасное — этот мальчик после семнадцати тоже умирает... нет, кажется, заболевает... Тут я не разобрала...

— Да, ерунда какая-то, — смутился Сади и побледнел. — Это мать моя рассказала?

— Конечно, потому-то она и продает браслет. А дальше у вас в роду, оказывается, никого не осталось... Ты знаешь, я так испугалась, когда услышала, всю ночь матери спать не давала — согласилась. К матери один приходит. Любовник. Раньше я радовалась, думала, кроме меня и мамы, еще кто-то, потянулась к нему, чтобы дружить: "Вы читали "Мадам Бовари"?", даже глупость сказала: "Вы умеете из ничего пузыри делать?", чтобы он пожалел меня как дурочку. А он сидит, чай пьет и ждет, пока ночь наступит. Так вот, этот любовник оказался положительным человеком — добавил к маминым деньгам на браслет. "Пусть Массис носит, — сказал, — ведь ей скоро невестой..." — Массис съежилась, как будто ей стало холодно, и потянулась к нему. — Поцелуй меня...

Сади оробел, но поцеловал ее в полуоткрытый рот, вдруг подумав, что из окна может его увидеть мать.

— Для тебя это неожиданно? Для меня нет, — шепнула Массис, и лицо ее не только светилось, но будто и горело от жара.

Для Сади все было действительно неожиданно, их такое сближение. "Нет логики", — подумал он, хотя кто знает, что Массис чувствовала, может быть, когда Сади ее совсем не видел, после тех нескольких месяцев, когда они учились два года назад в одном классе, Массис думала о нем, шептала: "Как ты красив, у тебя мягкие волосы. Ты ни на кого не похож... Люби меня..." Может быть, это был ее голос у кувшина возле мансарды?

Сади, возгордившись, поднялся:

— Пошли...

— Нет, подожди. Окно еще не открылось. — Она обхватила его голову руками, чтобы посадить, и дрожь ее тела передалась Сади: — У тебя такие мягкие волосы...

Хотя деньги, накопленные уже дома, почти равнялись сорока тысячам, с отцом случилась истерика. Он отказался ужинать, заперся в своей мансарде и не отвечал на зов, заглушая его стуком медной ступы. Каражан стояла твердо на своем и согласилась взять браслет лишь за четыре тысячи, матери ничего не оставалось делать, но ведь у отца были свои надежды — хотел он уже к воскресному дню торжественно выйти из своего добровольного заточения.

— Она так подвела! — говорил он о Каражан. — Поступила как чужая. А мы жалели бедную сиделку...

Сади, глядя на отца, еще больше удивлялся: никогда у него не было такого истеричного голоса, всегда твердый, с металлическим звоном; странно и то, что отец теперь почти не брился — щетина его стала расти медленнее. Зато неприятно поразила Сади мать; за обедом он впервые за много дней внимательно глянул ей в лицо — и вдруг заметил над верхней губой полоску черных волос. Откуда у нее нечто вроде усов? Ведь не было? Или было, а Сади просто не всматривался? В этом, правда, нет ничего удивительного, в природе встречается, и довольно часто. Однажды Сади очень рано пришел к первому уроку и, открыв дверь класса, застал учительницу с пинцетом у подбородка. Видимо, не успела дома выдернуть волос, торопилась.

"Почему меня все так раздражает? — подумал Сади. — Ведь должен радоваться..."

Ночью у него была бессонница и он думал о Массис и об этом странном вечере на пустыре у костра. Все так неожиданно и забавно, только немного сму-

щало его то, что Массис такая порывистая и так много в ней страсти, как будто она за ним ухаживает, а он, как женщина, сдержан, немного даже холоден... Она сказала, что любит...

"У женщин своя логика", — вспомнил он прочитанное, и вот сейчас, когда он ждал Массис у ее дома, эта истина снова подтвердилась: уже восемь вечера, а Массис все не спускается, а ведь условлено было в семь. Это его сначала удивляло, потом он стал тревожиться, и сердиться, и думать, а не смеялась ли Массис над ним, не выдумали ли они все это вместе с Азимом. Ведь слишком неправдоподобно вела она себя, слишком безрассудно и быстро призналась, что любит... Так не бывает...

Массис вышла не из подъезда, куда он смотрел в упор, а из-за угла дома, где все дни стоял Азим.

Сади сразу увидел, что она совсем другая, рассеянная и подавленная, и, когда подняла глаза, посмотрела на него почти безразлично.

— Странно, — сказала Массис, — сегодня его нет, ни здесь, ни на пустыре... Прости, сегодня не суббота?

— Суббота, — холодно сказал Сади и сам же испугался, подумал: как нехорошо он начал...

— Суббота — я совсем дни потеряла... Как я сразу не подумала: ведь по субботам он приходит после девяти, мать его допоздна сидит в своем ателье, а он маленькую сестру, совсем крошку, в люльке качает... Ну, здравствуй. Она протянула ему руку.

— Здравствуй, Массис. — Он держал ее руку. Словно ее пожатие могло окончательно все выяснить в ее странном настроении.

— Ну, идем, у меня еще есть время до девяти. — Массис свернула за угол, чтобы направиться к пустырю.

Сади молча пошел, хотя думал он, что все будет совсем не так, что будут сидеть они не возле ее окон у этого костра, пахнущего резиной, а где-нибудь далеко, в чьем-нибудь саду... Всю ночь он лежал и думал, как они будут целоваться...

Массис не села на камень, ей хотелось просто ходить взад-вперед по пустырю.

— Скажи, а кто тебя назвал так: "европеец"? — спросила она, измеряя шагами расстояние от морских камней до костра.

— В седьмом классе... — Он хотел, чтобы был рассказ хоть немного смешным, — развеселить ее. — Был урок национальной музыки... Все сидят смотрят в ноты, водят смычками по воздуху — воображали, что

играют. А у меня была книга, я смотрю в нее и тоже как будто смычком по воздуху. У учителя был такой наметанный глаз, видно, заметил, что я что-то не так вожу, подкрался. Хватает книгу... "Ба, "Королева Марго", — и, с иронией показывая на меня: — Европеец!" Все подхватили, понравилось. И с того дня "европеец"... Тебе нравится?

— Нет, это глупо... То есть я хотела сказать: неостроумно.

— Но ты ведь говорила, что...

— Не пойму, откуда это, от костра или же ты намазал волосы бриолином?

Сама она сегодня не светилась, будто забыла помазать лицо, впрочем, нет, глаза светились.

— Сегодня ты другая, — сказал Сади, — обидел кто?

— Нет, никто, — ответила она с вызовом. — Сегодня я люблю... по-настоящему...

Сади повеселел, думая, что после ее этих слов все будет как вчера, просто и приятно.

— Идем, посидим на камнях...

— Я хотела ему это сказать... Сегодня суббота. Вчера с ночи и весь день я жду. Как ты думаешь, он не мог заболеть или попасть под машину?

— Кто? — дрогнул Сади.

— Азим. — Она с укором глянула на Сади, как бы виня его за недогадливость. — Я ведь знакомила вас...

Он уже не мог вот так, спокойно ходить рядом с ней от костра до камней, пошел и сел один.

— Но ты ведь сказала мне. Я пришел. Странно... Ты говорила, что я один, непохож, — добавил он тихо, скорее для себя...

— Боже, вот мы стоим и говорим с тобой совсем не то... А он качает люльку и поглядывает на часы... Я его так люблю...

Сади встал, что-то смутное мелькнуло, какое-то предчувствие, тоска пронзила.

— Можно? — сказал он и взял ее руку и потрогал...

— А, браслет, — сказала она, — очень красивый. Я ношу его, не снимая со вчерашней ночи...

Когда Сади вернулся, мать была еще в больнице. Он неприязненно поморщился, вспомнив: "Ты бы хоть раз посмотрел на его лицо, мы так откормили вымогателя, что готов он еще лежать там год". Так говорила мать отцу всякий раз, возвращаясь. И вот уже месяц, изо дня в день одно и то же. Богатый месяц, сколько

за это время выражений придумано, вроде: "Мы так откормили вымогателя", сколько жестов отработано, жалоб наподобие: "Не радует меня больше твоя еда, не возбуждает", и даже полушуток, полупоговорок, таких, как "Лучшее наказание — это когда сам себя" и "Чужие харчи сладки — готов и год терпеть больницу".

Лежа в своей комнате, Сади слышал, как пришла мать и как отец, забыв об осторожности, быстро спустился к ней.

— Все, спасены...

— Как? Рассказывай же...

— Гаиб приходил, — проговорил отец смущенным тоном.

— Бедный! — воскликнула мать. — Как он себя чувствовал... Тебе-то, я знаю, было неловко...

— Бедный? — усмехнулся отец, желая снова обрести твердость в голосе, ибо ему не нравилось, когда мать жалела других мужчин. — Ты думаешь, он о них заботится, чьи подписи привез? Дьявол, о себе — доходное место...

— Я хотела спросить, он обрадовался?

— Плут все, оказывается, слышал обо мне, удивительно. До деревни дошло... А может, и у Гаиба свои соглядатаи — вертелись вокруг дома, узнавали, где у меня что лопнет, ослабеет...

Мать побежала в комнату, щелкнула на счетах, записала в столбик цифру и воскликнула:

— Все, сорок тысяч! — И всплакнула, наверное, отпустило напряжение, отец утешал ее, дядя подбадривал.

...Ночью отец на всякий случай еще спал у себя наверху и только на следующий день был торжественно принят внизу в лоне семьи — были дядя с тетей, и шесть племянников, и еще один дальний родственник из деревни.

Когда напряженная и густая радость утомила всех немного, стали тихо, вполголоса подсчитывать снова, что было продано и чего лишились, и мать вспомнила о браслете. Даже открыла сундучок, будто не верила, что браслета уже нет. Она еще и пошарила рукой, словно в темноте, и удивилась, вынув тетрадь.

— Да вот же! — сказала она, суетясь. — Это мой почерк, боже, сколько лет прошло. Это я легенду о браслете записывала со слов матери... Дайте вспомнить... вот и дата стоит, мне было четырнадцать... Легенда о браслете такая, — стала читать она: — "В

нашем роду одна из женщин ни за что не хотела выходить замуж и рожать сына для продолжения рода. В нее влюбился торговец верблюдами, все ходил и умолял. Тогда прорицательница сказала: "Купи у меня этот браслет за большие деньги, не скупись, продай всех своих верблюдов и еще займи. А когда подаришь ей этот браслет и заставишь ее носить, не снимая, она полюбит тебя, и вы будете счастливы. Только одно условие: когда родится у вас сын и будет ему семнадцать, надо передать браслет дальше, чтобы и у других было счастье и сыновья для связи рода. Никогда, даже в самые черные дни, пусть никто не продает браслет — он будет нелюбим и проведет серые дни до скончания своего века..."

Все рассмеялись.

— Забавная сказка, — сказал дядя.

— Очень! Наивная!

— Таинственная. Глуповатая, — поддержали дядю.

— И ты все это записала в четырнадцать лет? — спросил отец. — Глупышка...

— А как я чувствовала! — взбодрилась мать. — Где-то у меня здесь, сбоку ума, сидела, оказывается, эта легенда. И потому-то, наверное, я так ловко сочинила для Каражан свою легенду. Какая память! А талант? Кто теперь скажет, что я сочиняю хуже нынешних писателей?

— Конечно, память, ведь четырнадцать лет это уже возраст... — глубокомысленно сказал дядя.

— Возраст любви, — сказала тетя и смущенно глянула на всех. — Глупых страданий, вздохов. Вот моя Савия сейчас... Или Амон, как мотылек, начинает жить лишь с полуночи...

Мать молчала, и ей почему-то сделалось грустно, будто что-то она хотела вспомнить, но не могла, какие-то ощущения...

— Может, в этой легенде что-то есть, — усмехаясь, чтобы не подумали, будто она верит предрассудкам, сказала мать. — Ведь бывало тогда... тайком от матери надевала браслет, и будто чей-то нежный голос... Так было оба раза... — И она посмотрела на отца, он пожал плечами, как бы раздражаясь, и опустил глаза.

"Им, должно быть, совестно, что не любили", — подумал Сади.

— Таинственная, глуповатая, наивная сказка, — в последний раз, как бы подводя черту под всей этой историей, сказал дядя.

Да, действительно, история с сорока тысячами

кончилась, и всем теперь казалось, что в доме всегда было так заведено — мать держала над всеми власть, будто отец всегда чувствовал себя в заточении. Что-то в отце надломилось, и он теперь творил истинно женские чудеса, стоя на кухне. Особенно ему удавались маисовые лепешки и маисовая каша. "Меня осенило, когда в мансарде разглядывал я маисовое зерно, пронзила тайна женской натуры", — признался он.

У Сади тоже перемены, но незначительные, в главном он шел, как по линии судьбы, — успешно окончил школу и продолжал учебу в институте. Только теперь ему было так же серо и скучно возле кувшина у мансарды, как и всюду дома: в летней комнате, в нижнем дворе... тоска какая-то...

Может быть, мы скоро узнаем еще кое-что интересное об этой семье, потому что мать, уверовав, что сочиняет она не хуже нынешних литераторов, села писать нечто вроде воспоминаний под личиной романа, спрятав себя, и своих близких, и даже ненавистного Сафарова под вымышленными именами: "Тридцать тревожных дней, или Легенда рода".

Сын как-то заглянул, начало было совсем как в настоящем романе: "Герои этого произведения, как и ситуации, составляющие его канву, целиком вымышлены. Любые аналогии, могущие возникнуть при чтении книги, следует объяснить чистой случайностью, как не зависящие от воли автора", — усердно переписала мать с какой-то книги это предупреждение.

Сын усмехнулся — все это так выражало то состояние неправдоподобия, полуправды, в котором все они еще недавно пребывали, то особое состояние, когда кажется, что жизнь прямо-таки выпячивает всю себя, чтобы быть запечатленной в романе. Мать ловко поймала "момент за хвост", чувствуя, должно быть, как быстро потом уходит эта полоса неправдоподобия, и опять начинается долгая, длиной почти в целую жизнь, правда...

1977

ПРЕВРАЩЕНИЯ ЖИЗНИ

Тимур Пулатов родился в Бухаре в 1939 году в семье школьного преподавателя. В четырнадцать лет Тимур начал работать на обувной фабрике, затем в буровой бригаде геологов. Окончив Бухарский педагогический институт, учительствовал в сельской школе.

В 1964 году вышла первая повесть Пулатова "Не ходи по обочине", которую сам писатель считает еще ученической и не включал в последующие издания. В 1966 году появилась повесть "Окликни меня в лесу", которая принесла ему всесоюзную известность и по сию пору поминается критиками в ряду лучших советских книг о военном детстве.

В 1965 году молодой писатель был принят на двухгодичные Высшие курсы киносценаристов в Москве. И, пожалуй, на этом кончается то, что именуется биографией, и начинается писательская судьба, когда вехами жизни становятся уже не даты поступления и окончания, а вышедшие книги. Судьба, складывающаяся у Пулатова счастливо, поскольку он сравнительно много пишет, довольно часто издается и благосклонно, а то и восторженно принимается критикой. Но судьба трудная, потому что каждая его повесть заново вспарывает литературную целину, а это, как известно, дается совсем не легко.

Читая его повести в хронологической последовательности, видишь, как непросто проходило становление его таланта, как колебалась поначалу стрелка его литературных пристрастий и увлечений. Но уже давно и прочно он определился как крупный мастер со своим самобытным мировосприятием, своим этическим кодексом, своими любимыми приемами эстетического преображения реальности. Короче говоря, писатель со своим миром, миром сложным, оригинальным, многомерным. Не случайно ведь "Литературное обозрение" два года подряд, в 1978 и 1979 годах, отмечало выход его книг публикациями дискуссионных рецензий под рубрикой "С разных точек зрения", да еще сопровождая их своим, третьим, мнением. Впрочем, мнений в такой подборке могло быть еще больше — настолько непривычны, многозначны и глубоки его повести.

Попробую и я выразить свое мнение, не претендуя на его полную исчерпанность и бесспорность: ведь повести Пулатова

подобны музыке — в них всегда существует то, что слышит благодарно один и не умеет расслышать другой, откликающийся зато на иные мелодические сочетания. Если можно так сказать, я предлагаю не опыт критического анализа, а опыт критической интерпретации, в которой место категоричного объяснения заняло воодушевленное истолкование.

Если бы не было привычного для нас изречения "У каждого писателя должна быть своя малая родина", то следовало бы сказать: у каждого писателя должна быть своя Бухара. Именно Бухара с ее пестротой, живостью и, по словам Пулатова, "с ее утонченной, лирико-аллегорической культурной традицией" и есть для него та малая родина, куда он беспрестанно возвращается и в поисках сюжетных ситуаций, и для пополнения жизненных реалий, и, главное, для воссоздания художественно-духовной атмосферы своих повестей.

И, наверное, с этой утонченной, лирико-аллегорической традиции в его прозе и следует начать. При всем своем тематическом различии повести Пулатова равно отмечены явным смещением в аллегоричность, условность. Но условность, которая не нарушает жизненные пропорции, не заменяет реальные фигуры эманацией, а как бы опрощает жизненный материал, чтобы подчеркнуть философскую мысль автора.

В ответ на сомнения, могут ли быть на росписи стен ярко-красные деревья, один из героев "Сторожевых башен" говорит: "Мастера тем были и велики, что не торопились передать свое первое впечатление от окружающего... Действительно, все должно быть наоборот, красной — река пустыни, а зелеными деревья. Но если поломать обыденное и не бояться показаться странным, то все выйдет гораздо сложнее, как у мастеров". Примерно тот же ход мысли обнаруживается и в словах героя рассказа "Детские игры": "Что поделаешь? Такая уж натура у детей — все перевернуть, разрушить, чтобы добраться до сути вещей. Разрушив построенную кем-то игру, они хотят осмыслить вещь — а в этой вещи для них заключена загадка всего мира! — чтобы потом построить нечто свое, непохожее, неповторимое, свою игру, свой мир".

Вот и Пулатов не торопится передать свое первое впечатление, свое первое ощущение. "Поломав", "разрушив" обыденное, он строит свой мир, не боясь показаться странным и обходясь как бы меньшим количеством деталей, чтобы яснее представить суть вещи.

В "Сторожевых башнях" перед нами опустевший, старинной постройки замок, из которого недавно вывезли колонию заключенных, и бригада грузчиков, которая прежде была командой охраны и за тридцать лет охранной службы привыкла к укладу

жизни, ставшему для них уже чем-то более высоким — не укладом, а обрядом. Узнав, что с нового места, куда перевели колонию, бежали трое заключенных, грузчики отправились в погоню и, поймав, привезли их в замок. Жизнь вошла в свою колею: у них снова есть заключенные, и они могут с наслаждением исполнять обряд содержания узников, пока не прибудет конвой.

При видимой реалистичности основы все здесь нарочито опрощено: пустота замка, который может снизу, из села за рекой, казаться необитаемым; одноликость команды, в которой все похожи внешне друг на друга, и лишь двое из них имеют в повести имена; ничего не известно об их семьях, и оттого преследователи, сорвавшиеся ночью в погоню и тайком вернувшиеся с пленниками в замок, считаются пропавшими без вести. Короче говоря, нам предлагают условно-притчевую ситуацию: стражники и узники, сильные и слабые, свобода и плен.

Внутреннее движение — "мораль" — повести в том, как человек-страж, человек-башня, человек-власть начинает видеть человека в узнике, начинает ощущать живую силу, чувствовать чужую боль. Все происшедшее с начальником стражи Вали-бабой означает, в конечном счете, пробуждение неразвитого сознания, преодоление одиночества, отчуждения, понимание того, что "мы, люди, очень скоро растеряем все ценное, если будем друг к другу равнодушны".

Есть в повести знаменательный эпизод: замок посетили строители и, приняв находящихся здесь бывших охранников за экскурсоводов, пошли за ними по коридорам замка, переговариваясь.

"Голоса эти, не находя себе выхода, ударялись о серые камни коридора и, замурованные в четырех его стенах, теряли человеческий смысл, становясь похожими на бормотание и стон.

Калихан долго морщился, вздыхая, и, наконец, сказал идущим сзади:

— Прошу, граждане, не разговаривать!

Строители умолкли..."

Все здесь реалистически правдиво, вплоть до того, что раздосадованный нарушением привычного покоя Калихан сказал "граждане", а не, к примеру, "товарищи". Но вместе с тем все взывает к подтексту: эти стены хранят разделение на стражей и узников, и оттого голос трансформируется в бормотание и стон — человеческому общению нужны простор, свобода, доверие... И это не амнистирование преступников, не осуждение любой стражи, а раздумье над условиями человеческого общения.

О пробуждении духовного начала в человеке повествует и "Второе путешествие Каипа". И здесь, при всей реалистичности деталей плавания Каипа, также главенствует "вечная проблема",

еще одна "загадка всего мира": человек и смерть. Каип, отплывший когда-то в первое путешествие от Айши, теперь, став старым и почувствовав приближение смерти, понимает и свою вину перед нею, и ее боль. Первое его путешествие было от гнезда и от себя, второе — к гнезду для обретения себя. Да и нарочито расшифровывается к концу повести смысл имени героя: Каип — Гаиб — Гариб — странник. Человек вообще странник. И второе путешествие Каипа в известной мере путешествие в глубь себя, когда ищут "не утешения, а истины".

В странствиях Каипа есть что-то необычайно близкое той совокупности этико-эстетических принципов, которые утверждал в русской литературе Платонов (и чье влияние сказалось в прозе Пулатова в конце шестидесятых годов, особенно в повести "Прочие населенные пункты", которую можно вообразить как своеобразное продолжение "Джан" — судьбу пустынных жителей, выведенных к свету).

Каип близок платоновскому Фоме Пухову и самим мотивом странничества, и уровнем своих воззрений на мир. Сходна и некоторая растерянность Каипа и платоновских простых людей перед стихией жизни: в обоих случаях поэтизируются люди, не покоряющие, а избывающие жизнь. Мир простых людей, их этика, их поэзия, их уровень познания мира и практическое отношение к нему и служит предметом пристального внимания обоих писателей. Да и представление Пулатова о чужих, враждебных человеку силах и о внутреннем единении простых людей очень близки платоновским. Близка платоновской и философская "нагруженность" бытового факта, переводящая простое отправление жизненной функции в осмысленную частицу бытия: перед отплытием в иной мир Каип "ел и пил умеренно, чтобы тело не тратило свои соки на мелочи".

С полным основанием писала Г. Трефилова: "Наложение поэтики иносказания на поэтику социально-бытового реализма превращает повести Т. Пулатова в одну из разновидностей философски-дидактической прозы, тяготеющей к жанру параболы".

Благодаря своеобразному совмещению реальности и символики в повести действительно возникает не поучение, как то свойственно притче, а раздумье... Причем это не натурфилософия, не проблема "природы как внешней силы и природного начала в человеке", которую усматривали в повести некоторые критики, а "обыкновенная" философия. В судьбе Каипа речь идет не столько о взаимоотношениях человека с природой или о его природной сущности, сколько об общественной людской сущности.

Отец Каипа, когда "природа позвала его к себе", захотел хоть как-то искупить свою вину перед ней — выпустил зайца, попавшего в силки (этот-то эпизод и побуждал критиков к экскурсам в натурфилософию). А Каип, захотевший общения, не

может теперь подвести другого человека, доверившегося ему: "Нет, старик не имеет права доставлять хлопоты живущим". Тоже искупление, но уже не перед природой — перед людьми.

И не случайно тоненькой, но крепкой ниточкой вплетена в странствия Каипа история врача-литовки, приехавшей на это море и не понимающей языка, на котором с ней говорят: вне ее лежащая отчужденность, мучающая ее, контрастно высвечивает добровольную отчужденность Каипа и горечь от того, что в такую минуту он не смог помочь человеку, просившему о чем-то, видимо, важном.

Дальнейшее художественное движение обрели мысли Пулатова о единении и отчужденности во "Владениях". Сохраняя и даже наращивая "количественное" богатство реалистических деталей, повесть "Владения" еще заметнее выводит их из привычного ряда человеческих переживаний, остраняет их.

Центральный герой повести — старый коршун. Есть и второстепенные: суслик, туман, ветер, летучая мышь. А весь сюжет сведен к облету коршуном своей территории после ночи полнолуния. Но это опять-таки в большей мере повесть философа, чем натуралиста; во всяком случае, кино по этой повести не снимешь — несоизмеримо видимое и скрытое. Правда, было бы упрощением свести повесть лишь к наглядной аллегории, нравоучительному иносказанию. Реальные картины раскрывают здесь отвлеченные и общие понятия, а не просто намекают на человеческие состояния. Не следует в каждом витке сюжета отыскивать непременную аналогию с человеческой жизнью, хотя и упускать из виду, что автора толкнули к этой повести раздумья над человеческим бытием, тоже нельзя.

Наверное, прагматичный европеизированный ум мог бы увидеть в финале повести притчу: как ни бегай от своих жен, все равно потянет к одной из них, к умиротворению. Но "Владения" — не притча, в которой наличествует нравственно акцентированная точка зрения и динамичная нацеленность сюжета на конечный вывод, а опять-таки параболическая повесть, в которой разворачиваются раздумья о кругообороте в природе, о сладости высокого полета, о гордом и страшном одиночестве, о тяге к сближению, дарующему умиротворение коршуну, что уткнулся клювом в теплое тело самки...

Коршун для Пулатова — один из способов приблизиться к разрешению "загадки всего мира", при том что всякое параболическое прочтение предполагает известную свободу ассоциаций.

С полным основанием можно, к примеру, трактовать судьбу коршуна и как одиночество диктатора — недаром и в заголовок вынесено "владения", и в тексте поминается "территория, над которой властвовал коршун..." Вместо лежащих на поверхности и уже использованных критиками аналогий и ассоциаций

с "Моби Дик" Г. Мелвилла, "Старик и море" Э. Хемингуэя, "Чайка по имени Ливингстон" Р. Баха не худо было бы, пожалуй, сравнить повесть Пулатова с романом "Осень патриарха" Г. Маркеса.

Ощущение ночных страхов владыки пустыни сделано с удивительной психологической (если это слово применимо к птице) и, так сказать, фактурной достоверностью, проницательностью, но все равно главное здесь — что боится владыка; так боялся всего у Маркеса патриарх, забираясь в самую дальнюю комнату дворца... И самки ждут коршуна так же безропотно, как безропотно принимают женщины из гарема петушиные наскоки патриарха в романе Маркеса.

Одиночество коршуна — одиночество не самца, но владыки, как петушиная похоть патриарха — не просто его физиологическое свойство, а прерогатива владыки, отчужденного от всех. И эта философия перекликается с наблюдениями маленького Душана из "Жизнеописания строптивого бухарца". Всерьез постигнутой малышом истиной было: две ветви у куста, две горлицы рядом, "одно к одному — все должно было рождать пару, никто не может быть принятым в одиночку, ни подаренное, ни купленное, зато мертвое и ненужное довольствовалось своей цифрой "1"... Одинокий — это обиженный, отверженный, разделенный".

Как видим, мысль об одиночестве-отчужденности проходит через все повести Пулатова.

Оттого и движется сюжет "Владений" материализацией идей, "умственных установок" автора: показать страхи владыки, усталость владыки, силу владыки. А уже отсюда идет пластичное описание "на заданную тему": отверженность одинокого, если даже этот одинокий — владыка. Это как бы рассказ, перерастающий в повесть, чтобы своей неторопливостью передать значительность происходящего.

Но если в других повестях Пулатова "аромат" интонации рождается из сплетения пластики и символики, то здесь причудливо соединились поэзия и точность... Насколько поэтичны точные, неторопливые описания коршуна, суслика, тумана, ветра!

Мир одухотворенной природы играет существенную роль во всей художественной концепции Пулатова.

Почти одними и теми же словами пишет Пулатов во "Втором путешествии Каипа" о председателе колхоза Аралове, объезжающем островки, которые возникают в море после штормов, и во "Владениях" о коршуне, облетающем свою территорию после каждой ночи полнолуния.

Точно так же, почти одинаково говорит писатель о простой мудрости жизни во "Владениях": "Только старые птицы знают цену каждого запрета, сколь бы неприятным и мучительным он

ни был", — и в "Жизнеописании строптивого бухарца", где ребенок постигает один из важнейших законов человеческого бытия: "...порой разумный запрет, который хочется нарушить, все же полезнее разрядки, нетерпеливого освобождения от разгадки".

Уже эти пересечения подсказывают, насколько важны для писателя те идеи, которые он старается воплотить в движении художественных образов — будь то образ стражника Вали-бабы, старого рыбака Каипа, ребенка Душана или одряхлевшего коршуна...

И неудивительно, что отгадка многих особенностей пулатовского мировосприятия, воплощенного в его повестях и рассказах, таится в "Жизнеописании строптивого бухарца", создаваемом на протяжении многих лет параллельно с работой над другими, "сюжетными" произведениями. В "Жизнеописании...", как отмечали критики, то и дело просвечивают "взрослые" мысли, выходящие за пределы того, что реально доступно детскому восприятию. Но это не художественная слабость, а художественное своеобразие. Постижение мира ребенком является для писателя своеобразной формой осознания мира. И то, что это осознание происходит в детстве и отрочестве, назначено передать непосредственность, свежесть, изначальность тех раздумий, которые обуревают писателя, тех мыслей, к которым он пробивается.

Первозданность впечатлений как бы остраняет, одухотворяет запечатленное в словах. Еще грудным младенцем Душан ощущает, что своим лепетом он мог выразить больше, чем взрослые с их "заученными словами, которые их всех делают похожими друг на друга и говорящими одно и то же". И мы понимаем, что здесь не столько проницательность Душана, сколько истина, постигаемая писателем Пулатовым. Равно как и та истина, что может существовать "странное течение времени не в длину, а вовнутрь себя". Писатель ищет и создает простые модели не ради описания самих состояний, а как своеобразные ходы, направляющие поток читательских ассоциаций на решение загадок мира, заложенных в каждой вещи, если отнестись к ней с "детской" жаждой понять ее суть.

Другая характерная черта мировосприятия Пулатова — сочетание противоречивости и целостности. Во всех его повестях легко заметить одоление противоречия, двойственности во имя целостности, рождающейся не из поглощения одного другим, а из внутренне напряженного их сосуществования.

Прежде всего — двойственность языка самого писателя. В детстве — противоборство таджикского, на котором говорила мать, и узбекского, на котором говорил отец. А затем — столь

важное для писателя совмещение узбекского или, точнее, восточного образа жизни с русским языком. Это не просто двуязычие, о чем в последние годы стали говорить, как о некоем само собой разумеющемся и легко достижимом явлении в связи с творчеством многих национальных писателей, пишущих на русском языке, а беспрерывное внутреннее напряжение, неутихающая борьба противоречий. Хорошо показал это в одной из статей сам Т. Пулатов.

Русский язык, писал он, рожден другой жизненной стихией, он назначен выразить другую природу, другой характер, другой народ. Узбек, живущий большую часть года под палящими лучами солнца, никогда не скажет ласково-уменьшительно "солнышко"; зато к луне, связанной с благодатной ночной прохладой и умиротворением, у узбека совсем иное отношение — все красивое и желанное он называет "луноликим", "луноподобным", да с такой интонацией, что для русского слуха это может показаться по меньшей мере вычурным. А слово "лес" существует для узбека лишь как метафора, выражающая нечто сложное, запутанное, темное. И поэтому откровенно метафоричным было для Пулатова название повести "Окликни меня в лесу". Оно предлагало читателям "чтение некой условно-притчевой аллегорической повести", в которой органически возникали некоторые сказочные элементы, тесно переплетенные с реалистическими.

А затем вступают противоречия жанра, в котором реалистическая и притчевая проза рождают в своем столкновении новое качество — прозу параболическую, предполагающую, как я уже говорил в связи с "Владениями", двойное прочтение: как вполне реалистическую вещь и как символико-аллегорический подтекст, сокрытый в паузах, интонации, метафорах и т. д. Пожалуй, нет сегодня в нашей литературе другого такого прозаика, у которого за неоспоримой пластичностью, реалистической достоверностью ощущался бы столь выразительно некий символический пласт, символический смысл, образованный общими раздумьями о жизни.

Парабола оказалась для Пулатова тем наиболее удачным типом повествования, в котором осуществляется у него слияние восточного образа мышления и русской реалистической прозы, вносящей в стилистику, по его словам, "ту долю серьезного, глубокого, что всегда подразумевается под понятием "русская литература".

А все эти, казалось бы сугубо литературные, противоречия, раздвоения — двух языков, языка и образа жизни, разных жанровых потоков, двух литературных традиций — органично и естественно сочетаются с осознанием двойственности, внутренней противоречивости целостных героев.

По представлению Пулатова, в литературе существует два

типа героев, которые соответствуют принятому у древних бухарских филологов образному определению "санъати руз", что в переводе означает искусство, обращенное к дню, и "санъати шаб" — искусство, обращенное к ночи. Герой-современник, близкий и понятный в насыщенной и быстротекущей действительности каждого дня, — и герой, словно возникающий в прохладной, величественной и тихой ночи, полной эпической мощи и созерцания вечных истин. И оба героя не противопоставлены, а соединяются у Пулатова, обозначая реальные противоречия жизни и выводя к осознанию общих закономерностей человеческого бытия. Не таковы ли эпичный Каип и кажущийся его антиподом Алишо?!

Вот как характеризовал критик П. Ульяшов своеобразную интонацию повести "Впечатлительный Алишо": "Возможно, скажут, что автор-де сам иронически относится к своему герою. Да, ирония — прекрасное свойство, но, смею думать, в повести об Алишо она не более чем игра и мало что меняет в сущности героя и в нашем к нему отношении. Потому что автор, на мой взгляд, относится к своему герою столь же серьезно, сколь и иронически, пожалуй, даже в основном серьезно".

И эта двойственность отношения выражена в самом заглавии повести. Оно иронично, ибо впечатлительность никогда не относилась к "мужским" добродетелям. Но может быть сказано и всерьез: обостренно воспринимающий. Это "совмещение" и стало стилевой доминантой всей повести и характера центрального героя.

Раздвоенность характера Алишо как его психологическое свойство имеет много истоков и проявлений. То жена Мариам разделяется в его представлении на сегодняшнюю жену и давнюю шестнадцатилетнюю возлюбленную и в этом раздельном восприятии сказывается неотвратимая смена ощущений "от сознания того, что наступила другая жизнь, жизнь дня, а ее надо признать, покориться — ведь ее ценности... совсем иные, чем ценности ночных фантазий; трудно сводить их, они разные и несравнимые, и в каждый момент принимаешь то, что ощущаешь истинным". А на эти частые перемены мнимого и подлинного накладывается свойство актерской профессии героя, в которой заложено беспрестанное противоречие между изображаемой им жизнью и жизнью подлинной. Все это прекрасно уловлено Пулатовым и составляет основу тончайшего психологизма этой повести.

Во "Впечатлительном Алишо" Пулатов воссоздал, казалось бы, неприметные и маловажные, но на самом деле образующие эмоциональный мир человека впечатления, вынесенные из тех драматичных состояний любви, которые тридцатишестилетний актер счастливо испытал в своей жизни: восьмилетним первоклашкой к своей учительнице, восемнадцатилетним юношей к такой же, как и он, абитуриентке, с которой он и виделся

всего два дня, да и то неизменно на людях; двадцатилетним парнем, изведавшим первый поцелуй и первую близость с женщиной; и вот теперь, десять лет супружества, надоевшего, но уже не могущего быть разорванным. Впрочем, автор тут же рассудительно определил устами своего героя эти тончайше воссозданные состояния как "тему детской влюбленности", "тему первой любви", "тему познания женщины", "тему спутницы жизни". Эту авторскую точность формулировок некоторые критики расценили как рассудочность: все, дескать, разъято, проанализировано, разложено. И в этом есть доля истины: при всей своей художнической впечатлительности Пулатов не любит писать "просто так", он всегда должен писать "зачем-то". Оттого-то он столь силен в создании параболических произведений: таких, где за всей пластичностью, психологичностью, проникновенностью открывается нечто большее, чем просто запечатленное состояние.

Размышляя об отличиях героя советской литературы 70-х годов от героя предшествующего десятилетия, Пулатов утверждал, что герой 60-х годов был больше всего озабочен самоутверждением в жизни, в работе, в творчестве, в любви: "он был энергичен, и нередко в ущерб карьере и спокойствию других". Нынешний герой предстает как бы "на своем месте", но что-то в его природе возмущается исподволь, что-то сосет по ночам; "он считает плодотворным нравственные сомнения и мучения, все, что относится к сфере человеческой совести". И хотя у самого Пулатова и в 60-е годы не было "энергичных людей", общую тенденцию он отметил справедливо. А самое главное — довольно точно определил тип своего героя.

И опять-таки многое в раздвоенности его героев открывается в "Жизнеописании строптивого бухарца".

У каждого человека есть тайное имя, внушает бабушка Душану. И в воображении мальчика это существо, обозначаемое тайным именем, воспринимается как "двойник, которого не обманешь, он знает все, каким бы ты хорошим ни притворялся, он дух иронии и противоречия". И когда Душан пробует прочесть свое имя наоборот, то получается Нашуд, что означает несостоявшийся, несовершенный. Можно сказать, что это тайное имя всех его героев, их жизненный тип. Таковы Каип, впечатлительный Алишо, завсегдатай Ахун, да и сам "имам" Душан в отрочестве. Удачливый "деловой" герой кажется Пулатову — а мы знаем, что не только ему — неинтересным, одномерным, не таящим в себе необходимого художественного разделения, расщепления между словом и делом, желанием и свершением, гордостью и неудовлетворенностью, влечением и самоограничением.

Заманчиво вымолвить, что любимый пулатовский тип героя представляет собой вечный тип "лишнего человека" в во-

сточном обличии. Но это совсем не так. Если позволительно развернуть одно банальное сравнение, то перед нами ветвистое дерево, похожее на другие деревья той же породы, а отнюдь не ошкуренный столб, к которому прикрепили для экзотики или маскировки "восточные" ветви.

К рефлексии, составляющей неотъемлемую часть существования таких героев в европейской прозе, присоединяется у героев Пулатова восточная медитация. Если рефлексия представляет собой поглощающее всю энергию личности обсуждение предполагаемого действия, то медитация — склонность к размышлениям на вечные, общие темы.

А от этого типа героев — прямой путь к общему философскому осмыслению мира в его раздвоении, противоречиях. Множество таких соединений-противостояний прошло перед нами в повестях.

Самое броское из них — детство и старость, начало и завершение жизни, столь близкие друг другу по своей глубинной сути: мудрая наивность и наивная мудрость, переход из небытия в бытие и из бытия в небытие и т. д.

А какое изумительное противоречие, сконцентрировавшее всю изображаемую картину в "Прочих населенных пунктах", обнажил Пулатов в притче о святом и дереве, выращенном на ладони! Любопытно, что сам писатель в одной из бесед объяснял появление этой притчи в повести тем, что ему показалось, будто повесть теряла национальные черты, абстрагировалась до рассказа "вообще и обо всем". На самом же деле реалистической картине трагического возвращения Бекова, не принятого нынешними гаждиванцами, понадобилась притча, раскрывающая общий смысл изображенного противоречия мечты и действительности, силы и слабости, вечного и скоропалительного.

"Разве можно было знать молодому Бекову, что и большое добро может прийти не к месту и обернуться злом?" Пожалуй, никто в литературе последнего времени не выразил с такой художественной силой мысль о бесполезности чужеродного для людей добра: добро должно вытекать естественно из закономерностей жизни, потребностей людей, должно совершенствовать круговорот жизни, а не разрывать или выпрямлять его насильственно.

А наряду с двойственностью, раздвоенностью, вскрытием беспрестанной противоречивости существует в его прозе превращение, перевоплощение — или реальное, или воображенное героем, или существующее в легенде, сказке. В воображении мальчика знакомая женщина-зеленоглазка была когда-то пчелой или вороной, а другие люди после смерти могут родиться вновь — лотосом с изящной чашкой или горлицей с сизыми крыльями. Камень может превратиться в черепаху, монеты в ко-

пилке — в быка или скарабея, а из съеденного мозга овцы человеку переходит вся овечья трусость и глупость.

И сам писатель постоянно перевоплощается — то в ребенка Душана или Магди, то в старика Каипа или Вали-бабу, то в парящего над пустыней коршуна. И это для Пулатова не просто литературный прием или писательская страсть к "лицедейству", а и, в определенной мере, сущность его миросозерцания, не противопоставляющего человека миру, не отчуждающего его от мира, а естественно и органично осознающего его частицей, звеном общего "круга жизни" — и в пространстве, и во времени, и, что уже является присущим именно Пулатову, — в живой сущности мира. Да, именно так, вместо привычных двух измерений — во времени и пространстве — у него постоянно присутствуют три: время, пространство и живая сущность, живая субстанция, в которой все связано между собой. Определить эту субстанцию логическим языком критики очень трудно — да, возможно, и сам писатель не осознает ее в ясных и завершенных философских категориях, — но обостренное чувство непрекращающегося, взаимопереходящего, текучего "вещества жизни" неоспоримо присутствует в его прозе, добивающейся такой гармонии, в которой было бы сведено воедино "все противоположное в жизни — радость и трагедия, удача и неуспех, старость и детство, рождение и смерть".

Благодаря этому веществу жизни извечный круговорот представляет собой не карусельное верчение вокруг одной оси, а переход из одной структуры "вещества жизни" в другую.

На русский лад это могло бы трактоваться как некая разновидность язычества, на современный западный философский лад — как разновидность гегелевской философской притчи о господине и слуге, перманентно меняющихся местами (есть в "Жизнеописании..." свой вариант истории о господине и слуге, а "Прочие населенные пункты" словно реализуют притчу о богах и рабах). Но, пожалуй, у Пулатова более всего сказалось в этом влияние восточной философии завершенности, гармонии, круга.

Для каждого, прочитавшего хотя бы одну его повесть, становится очевидным, что писатель живет не по законам привычной для нас европейской просветительской реалистичности, а по восточному притчевому, насыщенному многозначительностью и раздумьями восприятию мира. В одной из бесед он прямо говорил о том, что все эти годы его носит между Бухарой и Ташкентом: "научность и современность столицы уравновешиваются в моем сознании традиционностью и мифологичностью Бухары".

Недаром так часто говорит он не о национальной природе обычаев, культуры, образа мышления своих героев, а о восточной их природе. Так, в сознании Душана "боролись восточное представление, суеверное и мистическое, с научным, практическим", свойственным "европейской мысли". Да и вообще — при-

вычно переходит он к обобщениям — "Не так ли сотворен ум восточного человека, что не способен он спокойно и трезво тянуть одну мысль от самых ее банальных и простейших ходов до самых глубоких, он постигает лишь короткой, но яркой догадкой, нечаянным озарением высший смысл вещей". Признаюсь, мне всегда казался слишком жестким любой водораздел между европейским и славянским или европейским и восточным — хотя бы по той причине, что слишком смешивались на протяжении столетий европейская и славянская, славянская и восточная, европейская и восточная кровь. Но, как говорится, из песни слова не выкинешь. Да и главное для Пулатова, как мне кажется, в этом подчеркивании: высший смысл вещей, а не их назначение, так интересующее, приковывающее обычно практичный ум.

Для понимания концепции круговорота жизни большое — и обычно символическое — значение имеют в сюжете его повестей уходы и возвращения. Возвращается коршун в свое гнездо, возвращается Каип на родной остров, возвращается Беков в "Прочих населенных пунктах", возвращаются беглецы в "Сторожевых башнях", возвращается в свой городок завсегдатай, чтобы начать новый круг жизни. И опять-таки объяснение этому содержится в повествовании о "строптивом бухарце". Вычитанная Душаном фраза "И я был таким, как ты" толкуется им поначалу: "И я был таким, как ты, когда родился", затем логически продолжается: "И я был таким, как ты, и ты будешь таким, как я". А поскольку в толковании конец изречения связан с его началом, то окончательное выражение будет: "Какими бы разными ни были наши пути в жизни, мы придем к одному, ибо начали с одного". Здесь кроме понятной черты характера Душана, склонного к саморефлексии, и поминавшейся выше "восточной" склонности героев Пулатова к медитации, отчетливо звучит мотив завершенности круга, возвращения к исходному пункту.

И становится понятным, почему возникает такое вроде бы мимолетное упоминание о том, что существует легенда, по которой ребенок в материнском чреве видит те же сны, что и она, — через сон матери весь длинный род от предков к потомкам обретает гармонию и, как сказано в другом месте, образует "круг жизни от уходящих в роду к приходящим". Не эстафета, не восхождение и уж тем паче не отвержение, а круг!

Все эти принципы — раздвоенность, превращения, круговорот жизни при полной социальной определенности акцентов — нашли наиболее совершенное воплощение в последней по времени написания "сюжетной" повести "Завсегдатай". И, пожалуй, о ней и следует в заключение сказать более подробно.

В "Завсегдатае" действует удивительная, невообразимая, не присутствовавшая дотоле в нашей прозе фигура базарного

завсегдатая — человека, который ходит без дела по торговым рядам и воспринимается одними как соглядатай, другими как знаток базарных уловок, третьими как знамение торговой удачи.

Мы вольны представить его в прямой роли тридцатисемилетний артист балета (вспомним — тридцатишестилетний Алишо) вышел два года назад на положенную ему пенсию и теперь любит праздно шататься по базару. И поскольку он, как восточный человек, склонен к медитации, раздумьям, то его наблюдения над бытием этого прелюбопытного жизненного уголка, жизненного "узелка" свежи, глубоки, многозначны Да вот втянули его торгаши в воровскую операцию, трагически закончившуюся для него, непригодного для таких дел.

А вольны за всем этим вообразить с некоторой зыбкостью "базар нашей жизни". Базар, где уживаются вера и безверие, щедрость и скупость, простодушие и лукавство, где существуют из века поставщики и посредники, перекупщики и "художники торговли", баловни и неудачники, где беспрестанно рождаются мифы и поверья. Базар, по которому бродит человек, не нашедший себе места ни по ту, ни по эту сторону прилавка, человек, потянувшийся к любви и доброте, но настигнутый злом, ибо не выкрутиться на базаре на одних естественных порывах, даже если они безобидны, никому не причиняют зла.

Нарочитая необычность обстановки в повести — базар, игры со скорпионами — это не страсть к экзотике, не "экзотизация", а остраненность. Только остраненность не искусственно смоделированная, а счастливо обнаруженная в реальной жизненной ситуации.

Чего стоит одно описание базара — его нравов, его прилавков, его настроения в разные времена года. Все это сочно, лирично, колоритно. Но при этом нет традиционных жанровых картин: ни одного завзятого покупателя, ни одной сценки, как торгуются, пробуют товар, хитрят и т. д. Тяжба торговца и покупателя сразу бы сбила, заземлила одухотворенность, напряженный лиризм повести. Не случайно взят зимний базар — чтоб не было толчеи, а была неторопливость малолюдья: трудно философствовать в базарной гуще, в базарной буче.

Такое двойное прочтение и является параболическим, поскольку течение повести органично несет в себе возможность философичного, символического "расширения".

Можно было бы провести любопытнейшие литературные аналогии, сопоставив "Завсегдатая", с одной стороны, с "Посторонним" А. Камю, "Человеком-ящиком" К. Абэ, "Кентавром" Д. Апдайка, написанными — с разной степенью жесткости — в системе примерно тех же координат, а с другой — с лермонтовским "Героем нашего времени", где герой тоже неприкаянный, тоже "лишний", тоже тянется к природному, естественному,

но где существует совершенно иная атмосфера, без какого бы то ни было намека на "моделирование".

Но я хочу поставить повесть Пулатова в иной литературный ряд.

Герой повести Ахун, от имени которого ведутся эти записки завсегдатая, является, можно сказать, родным братом вампиловского Зилова из "Утиной охоты", липатовского Игоря Саввовича из одноименного романа и некоторых прочих литературных героев последних лет. Это человек, который всюду чувствует себя посторонним, человек, который пресыщен жизнью, который неспособен довести до конца ни одно дело, даже любить увлеченно и самозабвенно неспособен. Этакий образ сидячего странника: не он идет мимо жизни, а жизнь идет мимо него. "Все чужое — и слезы, и радость — тебя обременяет", — подметила в Ахуне его мимолетная возлюбленная.

Только то, что было написано Вампиловым и Липатовым остро социально, в драматичных общественных взаимосвязях героя, Пулатов осознал и передал не столько как социальное явление, сколько как умонастроение: "А сам я? Куда меня несет сейчас?.. Может быть, все, что я прочувствую за целую жизнь, соберется у меня потом в одну устоявшуюся идею, через нее можно будет всякий раз осмыслять увиденное и услышанное..." Соберется потом. Может быть. А пока... пока куда занесет. Конечно, балетная жизнь, по нынешним нашим, воспитанным деревенской прозой представлениям, не дает корней, истоков, устоявшихся идей. И в этом смысле Пулатов — "строгий реалист". Но корней, как мы знаем, не дает порой и иная жизнь. Как часто люди, уехавшие из деревни в город, тоже оказываются завсегдатаями, не приросшими душой ни к оставленному, ни к обретенному! И вот в этом смысле Пулатов уже "философский романтик", трактующий базар как символ существования, а завсегдатайство как форму жизни.

И, видимо, так уж совпало: социальная инфантильность, обнаруженная одними художниками в "деловой" жизни, в "деловом" человеке, и постановка Пулатовым вопроса о постороннем — завсегдатае, соглядатае, равнодушном. Впрочем, так и бывает в настоящем искусстве: общие вопросы ставятся не потому, что писатель высосал их из пальца, а потому, что в воздухе носится потребность разобраться в этом, взглянуть на них и социально-конкретно, и нравственно-определенно, и философски-обобщенно. И философизм Пулатова как бы подталкивает нас самих задуматься над истоками, проявлениями, финалом этого явления.

Вслед за Липатовым и Вампиловым Тимур Пулатов не осуждает своего героя, а сострадает ему. Понимая, что это не лучший жизненный путь, он все-таки не может поставить своего Ахуна за

один прилавок с "продавцами", видит в нем искренний, хотя и беспомощный порыв к идеалу.

Герой повести привлекает самораскрытием и самоиронией. Самораскрытием потому, что под многими размышлениями незаурядного Ахуна мог бы подписаться не только автор, но и читатель. А самоиронией потому, что ирония, по словам Пулатова, "это дар не каждого незаурядного ума — слегка отстранившись, ирония разглядывает жизнь". Ирония над собой, самоирония, всегда располагает нас к человеку.

Секрет своего характера Ахун раскрыл сам: "таким, как я, двуличным и столичным". Двуличным — не вероломным, а двуликим, как бывает во всяком межеумочном состоянии. Он завсегдатай не потому, что так сложилось, а потому, что сам так выбрал: завсегдатай — это не состояние, а позиция тех, кто боится действия. И в этом тоже несомненное проявление той двойственности, которую не боится обнажать Пулатов у своих героев с "тайным именем" Нашуд — несостоявшийся, несовершенный.

В самом деле, Ахун отличается своей непогруженностью в базарную грязь — и своей погруженностью, едва его кто-то туда потянет. Неспособен всерьез увлечься чем-либо — и вдруг мимолетно увлекся в самый критический для дела момент. Природное начало в нем сильнее социального, если, конечно, иметь в виду, что природное — не всегда плохо, а социальное не является синонимом положительного: базарное стяжательство тоже ведь социально.

Странно исчезает Ахун: преступники сами сознаются, что сожгли его за "измену делу" в закрытом фургоне, но никакой самый что ни на есть разизотопный криминалистский анализ не подтвердил наличие человеческого пепла в оставшейся золе.

Что это — символ того, что завсегдатаи проходят по жизни бесследно? Или того, что завсегдатаи и сейчас бродят где-то. Оба вывода, напоминающие об искусстве дня и искусстве ночи, — правомерны в равной степени. И оба глубоко поучительны.

Про его двуликость можно сказать: симпатичный, но зыбкий. А можно: зыбкий, но симпатичный. От перестановки слагаемых в данном случае меняется и сумма, степень нашего осуждения. Впрочем, Пулатов предлагает нам и третий вариант: не ставить окончательно точки, не разносить по плюсам и минусам, а задуматься. Задуматься — и испугаться стать завсегдатаем, при всем том, что завсегдатайство, по словам Пулатова, симпатичная, одурманивающая форма жизни.

В "Жизнеописании..." — вернемся к нему еще раз — есть примечательное рассуждение героя об уме, разуме и мудрости как трех ступенях самоопределения человека в мире и обществе.

("Ступени и числа" — так прямо и называется вторая часть "Жизнеописания...") Ум и даже разум еще не в силах преодолеть все противоречия этого самоопределения. И только мудрость дарует истинную целостность: "Мудрость — это видящий все в гармонии, с собой в ладу, доводы ума проверяет сердцем и умеет так управлять собой, чтобы не причинять другим хлопот".

В познании этих ступеней и есть для самого Пулатова его главный философский вывод, его моральный кодекс, его эстетический идеал.

А. БОЧАРОВ

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

Окликни меня в лесу 5
Прочие населенные пункты 74
Второе путешествие Каипа 157
Сторожевые башни 200
Владения 254
Впечатлительный Алишо 296
Завсегдатай 361

РАССКАЗЫ

За честь эмирата 429
Яки серые, рыжие... 441
Девочка в пещере 450
Браслет 457

ПРЕВРАЩЕНИЯ ЖИЗНИ. *Послесловие* А. Бочарова 477

Тимур Исхакович ПУЛАТОВ

ЗАВСЕГДАТАЙ

Приложение к журналу "Дружба народов"

М., "Известия", 1982, 496 стр. с илл.

Редактор приложений **Е. Мовчан**

Оформление "Библиотеки" **Ю. Алексеевой**

Редактор **Н. Игрунова**

Художественный редактор **И. Смирнов**

Технический редактор **В. Новикова**

Корректор **И. Горячева**

●

А 06627. Сдано в набор 10.07.81 г. Подписано в печать 21.10.81 г.
Формат 84X108 1/32. Бумага тип. № 1. Печать высокая.
Гарнитура латинская. Печ. л. 15,5. Усл. печ. л. 26,04.
Уч.-изд. л. 28,65. Зак. 3612. Тир. 238.000.

Цена 2 руб. 10 коп.

●

Издательство "Известия Советов народных депутатов СССР".
Москва, Пушкинская пл., 5.

Ордена Трудового Красного Знамени типография "Известий Советов народных депутатов СССР" имени И. И. Скворцова-Степанова.
Москва, Пушкинская пл., 5.

Набрано на машинах ИБМ "Композер" по оригинал-макету.
Отпечатано с полимерных форм.

В 1982 году
издается 16 книг
библиотеки
"ДРУЖБЫ НАРОДОВ"

А. Ананьев. Годы без войны. Роман. Том 1

А. Ананьев. Годы без войны. Роман. Том 2

В. Астафьев. Последний поклон. Роман

Г. Ахунов. Ядро ореха. Роман. Повести. Перевод с татарского

В. Бэзкман. И сто смертей. Роман. Повесть. Перевод с эстонского

Д. Гранин. Место для памятника. Повести

С. Капутикян. Меридианы карты и души. Перевод с армянского

В. Козько. Судный день. Повести. Перевод с белорусского

Т. Пулатов. Завсегдатай. Повести. Рассказы

П. Сажин. Севастопольская хроника. Повесть

З. Скуинь. Нагота. Роман. Повести. Перевод с латышского

М. Слуцкис. На исходе дня. Роман. Перевод с литовского

Г. Троепольский. Повести. Рассказы

О. Чиладзе. И всякий, кто встретится со мной... Роман. Перевод с грузинского

А. Якубов. Совесть. Романы. Перевод с узбекского

Проза молодых. Сборник. К 60-летию образования СССР

Scan Kreyder - 27.10.2018 - STERLITAMAK

2р. 10к.